

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ • DER GOLDENE SCHNITT

ЗОЛОТОЕ
СЕЧЕНИЕ

DER
GOLDENE
SCHNITT

*Австрийская
поэзия
XIX-XX
веков
в русских
переводах*



DER GOLDENE SCHNITT



*Lyrik
aus Österreich
in russischen
Nachdichtungen*

19.-20.
Jahrhundert

MOSKAU ● RADUGA-VERLAG

1988

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ



*Австрийская
поэзия
XIX-XX
веков
в русских
переводах*

МОСКВА ● «РАДУГА»

1988

Составление В. В. ВЕБЕРА и Д. С. ДАВЛИАНИДЗЕ
Предисловие А. В. МИХАЙЛОВА
Справки о писателях и примечания В. В. ВЕБЕРА
Оформление В. В. КИРЕЕВА
Редактор Н. Т. БЕЛЯЕВА

Золотое сечение. Австрийская поэзия XIX–XX вв.: Сборник./Сост. В. В. Вебер и Д. С. Давлианидзе.– М.: Радуга, 1988.– На нем. яз. с параллельным русским текстом.– 816 с.

В сборнике представлена широкая панорама австрийской поэзии двух веков (Ф. Грильпарцер, Н. Ленау, А. Штифтер, М. Гартман, Г. фон Гофмансталь, Р. М. Рильке, Т. Дойблер, Г. Тракль, Й. Вайнхебер, Т. Крамер, М. Гуттенбрунер, П. Целан, И. Бахман, П. Хандке и др.) в сопровождении классических и современных переводов (В. Г. Бенедиктов, В. А. Жуковский, К. Д. Бальмонт, А. Н. Апухтин, И. Ф. Анненский, А. В. Луначарский, А. А. Ахматова и др.).
Издание включает предисловие, справки о писателях и примечания.

З $\frac{4703000000-132}{031(01)-88}$ 393–87

ISBN 5–05–001923–0

© Составление, предисловие, справки о писателях и примечания, переводы стихотворений, кроме отмеченных в содержании знаком*, издательство «Радуга», 1988

ИЗ ИСТОЧНИКА ВЕЛИКОЙ КУЛЬТУРЫ

Чтобы по-настоящему чувствовать и понимать хорошую поэзию, нужно слышать ее конкретность. Не только то, что она вообще хороша и что в ней сказывается мастерство поэтов, но и то, как непосредственно – и преодолевая напряженность труда – складывается ее смысл. Он же всегда идет от жизненной потребности и заботы, но только таких, которые требуют своего выражения именно в стихотворной форме. Тут всегда есть противоречие, вроде противоречия между заботой и красотой, и оно поэзией не то чтобы преодолевается, разрешается: коль скоро уж получается большая и настоящая поэзия, противоречие приобретает такой совершенно особенный и уникальный вид, что и все жизненное, житейское, человеческое и даже само творчество оказывается в сфере высокого поэтического смысла. Гул жизни – однако он отражен чуткой сферой слуха, претворен и преображен. И все это, став словом, в давние или близкие века, доступно даже и нам, живущим в другое время и в другом месте. И теперь уже наше дело – не дать слову звучать в пустоте, развиваясь плоской ленточкой хотя бы и красивого звучания, но слышать его объемность – упорядоченно-стройное звучание жизненной полноты и противоречивости.

Чем менее привычна для нас поэзия, тем труднее распознавать ее конкретный язык, все те непосредственные импульсы, которые, преображаясь в ней, составляют ее неповторимость. Австрийская поэзия (как бы то ни показалось странным) – именно такая непривычная поэзия. Со своим языком, со своими способами и приемами преображения жизненного смысла. И при этом все ее особенности – не внешние, они уходят в глубь своеобразной традиции австрийской культуры. Поэтому, чтобы схватить эту поэзию в ее конкретности, в том, как течет в ней мысль, важнее знания любых внешних фактов и обстоятельств будет принять во внимание основные закономерности и особенности этой культуры.

И наша задача сейчас – не объяснять австрийских поэтов и не рассказывать историю австрийской поэзии, а открыть вид на происхождение этой поэзии из духа австрийской культуры.

Это крайне важно потому, что в Австрии, как, пожалуй, редко где, в XIX веке сложилось внутреннее идейно-нравственное единство всей культуры – культуры в ее высоких проявлениях. Такое единство обретается тогда, когда творчество поднимается на максимально возможную, мыслимую высоту.

Если отдельные стихотворения – это, по словам Гёте, «фрагменты исповеди», то большая, классическая австрийская поэзия – это исповедь культуры и в то же время часть куда большего целого, часть великого единства культуры, достигшей своих вершин. Именно поэтому хорошо видеть культуру в целом – поэзию, музыку, живопись, философию.

Культура Австрии и складывалась, и существовала в условиях, отмеченных парадоксальностью и для нее, как правило, неблагоприятных. Вот один парадокс – австрийская поэзия, литература, музыка очень своеобразны, однако само это своеобразие подается так, что читатель, слушатель и зритель, не будь он уж очень внимателен, легко проходит мимо него. Эта равнодушная невнимательность стала принципом восприятия австрийской культуры в прошлом. Между тем, если преодолеть эту грань «незадетого» равнодушия, тут-то и открывается все любопытное и волнующее. Франц Грильпарцер как поэт открывается тогда, когда удается пробить суховатую и шероховатую, как скорлупа, поверхность его поэзии и оказаться внутри его мира. Адальберт Штифтер как писатель открывается тогда, когда удается преодолеть пространность его описаний и очутиться внутри такого поэтического мира, где *каждое* слово несказанно выразительно и в своем кажущемся бесстрастным покое нервно и трепетно-тонко. Георг Тракл становится интересен тогда, когда удается преодолеть бессвязность поэтических строк и почувствовать твердую руку, которая управляет мнимым хаосом и всякое слово, как необходимое, ставит под высокое напряжение смысла. Австрийская поэзия словно нарочно окружает себя защитным слоем – полосой равнодушия, и это ведь так понятно: и в XIX веке, да и в XX веке тоже, ее окружение пол-

но небывалой пошлости, безвкусицы и пресности. Так вот, хороший австрийский поэт (и музыкант тоже) никогда не решается бросить свое произведение, эту квинтэссенцию смысла и красоты, на произвол судьбы – как естественно поступал всякий романист XIX века, знавший свою силу, – чтобы его создание раздирали на куски и делали с ним все, что заблагорассудится, судя о нем вкривь и вкось. Австрийскому поэту или композитору легче думать, что его поймут поздно, но не поймут неправильно, в его душе словно живет представление о произведении как драгоценном и хрупком сосуде – его ведь не поставишь посреди улицы, где его непременно разобьют и растопчут. И какой же *незачитанной* предстала поэтическая проза Штифтера, музыка стиха Грильпарцера – когда нашлись уши, чтобы слушать их самозабвенно и упоенно-внимательно, какой *незаигранной* и *незаслушанной* явилась музыка Антона Брукнера и даже Франца Шуберта (все еще неизвестного в доброй своей доле), когда их начали по-настоящему слушать и исполнять! Каким *незачитанным* и *незаигранным*, *ненаскучившим*, *внутренне неисчерпанным* и *неисчерпаемым* остается все это по сей день! Тревожась о судьбе своего творчества, деятели австрийской культуры поступали одновременно опрометчиво и дальновидно – уступая (почти без борьбы!) место шумному и пошлому, завоевывая (сами не ведая того) будущее. Для всякой иной европейской культуры, даже самой древней и зрелой, австрийская культура в течение долгого времени оставалась *обманчиво-своим*, на деле же – чужим и непонятным, и до нее надо было дорастать, подобно тому как европейские культуры лишь постепенно, и основательно, и без суеты дорастали и дорастают до уразумения восточных культур, их внутренней ценности и своеобразия.

И вот еще другие парадоксы. За столетия своего существования Австрия, как государство, пережила небывалые метаморфозы, и мы все помним еще о недавнем (по историческим меркам) существовании развалившегося в итоге первой мировой войны странного государственного образования – «королевско-кайзеровской монархии» Австро-Венгрии, в состав которой входили не только земли современного австрийского государства, но и Венгрия, и Чехия, и югославянские земли, и польские (Краков), и украинские (Львов), а еще раньше, в пору австрийской поэтической

классики, даже и большие территории Италии – Венеция, Милан... Если бы мы вдруг забыли об этом или не знали, мы могли бы вновь узнать об этом из произведений чешского писателя Ярослава Гашека, из романа «Марш Радецкого» и других прозаических произведений австрийского писателя Йозефа Рота, из незавершенного, колоссального по объему романа Роберта Музиля «Человек без свойств». Все эти писатели были свидетелями развала габсбургских владений, и все они наблюдали этот, затронувший судьбы миллионов, развал со слезами смеха и горя на глазах... Старая Австрия была многонациональным государством, и все населявшие ее народы на протяжении XIX века все больше рвались из него на свободу, стараясь сбросить с себя эти цепи, оковы... Между тем опыт сосуществования народов, словно насильно втиснутых в один государственный организм, приносил и свои положительные плоды: в творчестве великого прозаика Адальберта Штифтера (1805–1868), родившегося в деревне Оберплан в Богемском лесу (и потому официально числившегося «богемцем»), возникло чудесное утопическое – и такое реальное видение народов, живущих в мире, дружбе, братстве. Прекрасная мечта! Она словно подсказана самим этим уголком Европы – стоило только отвлечься от трудной реальности жизни. Однако *читать идеальное сквозь неприглядную, тягостную и сумбурную реальность дня было не только умением Штифтера, но способностью великих австрийских мыслителей, писателей прошлого.*

Само же многонациональное начало мирно проникло и в творчество немецкоязычных писателей Австрии, в ее культуру в целом. Так, славянское не просто окружало немецкие области, и не просто славяне жили среди немецкоязычного населения этих австрийских областей: славянское было естественным субстратом – слоем-подосновой всей культуры в целом. Такое, как говорится, впитывается с молоком матери.

Вот как превосходный и глубоко австрийский по своему духу поэт Гуго фон Гофмансталь рассказывал о детских годах Франца Грильпарцера, австрийца из австрийцев: «Сидя на коленях своей няни, Грильпарцер учится читать – перед ним либретто «Волшебной флейты». Случайностей не бывает – ни во всемирно-историческом, ни в индивидуально-биографическом плане. Текст «Волшебной

флейты» – что же это за примечательное создание! Наивное, ребячливое, встреченное презрением в позднейшие культурные эпохи и все равно несокрушимое и достойное самого Гёте, который задумывался над его продолжением и даже создал его, это продолжение. Хочется думать – и это ведь очень вероятно! – что эта няня, что эта кормилица, сидя на коленях которой Грильпарцер учился читать по складам, глядя в текст «Волшебной флейты», была славянкой по крови, наполовину или совсем, и что это из ее уст до Грильпарцера донеслось дыхание легенд о Драгомире, о герцоге Крое и его дочерях – дыхание легенд, которые в течение всей жизни окружают его воображение сумеречным светом полуварварской фантазии, которые питают его»¹.

«Волшебная флейта» – это уникальное создание Эмануэля Шиканедера и Вольфганга Амадея Моцарта, гения, в музыке которого переплавились бесчисленными струями и струйками втекавшие в нее линии самых разных традиций, направлений, стилей искусства Европы. А немецкий текст этой оперы – одновременно совершенно легкомысленной и совершенно глубокомысленной – сочетал в себе сегодняшнюю забаву и седую древность; во всем европейском искусстве всех веков такое способен был создать один только Моцарт. Единство индивидуального гения и всемирно-исторической широты! Сама старая Вена напоминает древний город – стоящий на пересечении караванных путей; здесь складывается культура интенсивного обмена, однако свое, собственное, не уступает чужеземному, но, обогащаясь им, выступает тем тверже и весомее. Это явление – Моцарт – и не могло сформироваться иначе как в Австрии, – стремясь к самому центру вещей (языков, стилей, приемов, средств искусства), куда съезжаются они сами, и разъезжая за ними во все концы Европы. Но когда наступили годы учения Франца Грильпарцера, кульминационная пора таких необыкновенных, вершинных культурных синтезов уже миновала, особое качество собственного, национального культурного языка все более выходило на передний план из смешения языков и притягало на внимание к себе; однако это качество – исторически уже свершив-

¹ Hofmannsthal H. von. Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden. Frankfurt a. M., 1979, Bd. IX. Reden und Aufsätze II, S. 14.

шийся синтез. «Полуварварское» же – слово, каким Гофмансталь охарактеризовал мир старочешских сказаний, отразившийся в драме Грильпарцера «Либусса» (издана в 1872 году, а написана значительно раньше), как прежде он отразился уже в драме немецкого романтического поэта Клеменса Брентано «Основание Праги» (1815), а позднее в торжественной опере Бедржиха Сметаны «Либуше», созданной на текст немецкого поэта Йозефа Венцига (завершена в 1872 году, поставлена в 1882 году), – это слово «полуварварское» здесь звучит вовсе не обидно – оно отнесено ко всей той сфере неукротенной и тем более могущественной подспудной мифологии, какая, как заповедное море, бьется вокруг всего осознанного, обработанного и официально признанного; так римляне могли смотреть на восточные божества, давно отраженные и усмирненные в их собственном пантеоне.

Итак, славянские культуры встречаются в австрийской литературе, поэзии отчасти *со своим же* – только своеобразно, своевольно преломленным. Вникать в австрийскую литературу – значит узнавать *свое* и подобное своему – в пределах единства всей человеческой культуры; быть может, это напомнит долгожданные «узнавания», известные из классической драматургии, – но только те, что приносят облегчение и торопят счастливый исход.

Однако облегчает ли такая внутренняя близость диалог культур – сообщение между ними? Как ни странно, нет. Еще одно парадоксальное обстоятельство, однако противоположного свойства, соопределяет судьбу австрийской культуры. Это общность ее языка с культурой немецкой. Ведь литературный язык, которым пользуются в Австрии, – это не какой-то особый язык (подобно обособившемуся немецкому языку в Швейцарии), а все тот же немецкий – несмотря на множество особенностей. Коль скоро политическая история всей Германии на протяжении веков протекала в условиях чрезвычайной раздробленности и коль скоро каждой области в таких условиях были присущи свои более или менее резко выявленные культурные особенности, всему австрийскому можно было так же легко «тонуть» во всем немецком, как и прочему. Никакое своеобразие не могло уже помочь: ведь ясно, что в некоторых областях Германии литература, поэзия развивались

чрезвычайно своеобразно – можно говорить, например, о швабской литературе, и с полным основанием, – однако все это своеобразие тем не менее вливалось в единство немецкой литературы, скорее идеальное, чем конкретное. Если же смотреть со стороны такого идеального единства, то специфическое и особенное можно было уже не слишком и ценить. Между тем своеобразие австрийской литературы всегда было выражено очень отчетливо, а в XIX веке, с усилением и укреплением национального начала во всех без исключения литературах, оно проявилось тем более ясно. В какой-то момент, в эпоху Грильпарцера, ей была присуща даже какая-то вполне определенная психологическая атмосфера – как если бы вся литература в целом могла выступать как один совокупный индивид.

Грильпарцер в 1837 году насчитывал три таких свойства австрийской литературы, вернее, австрийских поэтов, которые отличают их «от всех прочих *современных* немцев». Эти три свойства – скромность, здравый смысл и истинное чувство. Грильпарцер определил эти свойства весьма точно. И всё это свойства поэзии как совокупного индивида. Каждый отдельный поэт своей психологией как бы примыкает к индивидуально-психологическим особенностям родной ему поэзии. И зависимость каждого от поэзии как живого целого мы могли бы считать четвертой особенностью этой литературы.

Тогда есть еще и пятая! Грильпарцер исходит из поэзии как общего человеческого достояния – все частное и все национальное выступит тогда как вторичная и несущественная отличительная черта. Так вот особенность австрийской культуры в целом, очевидно, заключается – если говорить об эпохе Грильпарцера, то есть о классической поре развития этой литературы, – в том, что вся вообще поэзия рассматривается как *единство*, на фоне которого могут выступать некоторые не вполне важные отличия – исторические, национальные и всякие иные. Так видит себя, так сознает себя и поэзия, так – и поэт. Поэт отнюдь не привык ставить себя в центр мироздания, как точку, от которой он сам ведет отсчет всего в мире, как самовольного и самовластного творца, – напротив, он скромен; эту черту Грильпарцер находил и в прежних немцах, а новое ощущение – ощущение себя «гигантом» – связывал с победой над

«гигантом» Наполеоном: «Необъятное пытаются объять, неисполнимое исполнить, невыразимое – выразить»². Какая прекрасная характеристика романтического искусства! И к каким великолепным победам – и к каким потерям – привело развитие искусства под флагом таких усилий – об этом мы знаем теперь лучше, чем Грильпарцер в 1837 году. Но вся такая безмерность для него неприемлема; скромность – значит, не просто психологическая черта, но и само отношение к искусству. Искусство, рассуждал Грильпарцер, – все равно что живое существо; в живом существе не может быть пробелов, пустот – так и в произведении искусства; искусство должно воплотить идею, подчеркивал Грильпарцер, – должно, сказали бы мы вслед за ним, воплотить ее с конструктивной полнотой, наподобие живого, органического существа. Вот в этом последнем моменте Грильпарцер – не случайно – соприкасается с немецкой эстетикой рубежа XVIII–XIX веков, с классицизмом той поры (от Винкельмана до Гёте), с эстетикой организма. В остальном же в Германии – всё не так, всё решительно не так, как это было в Австрии. Гёте во второй половине 1820-х годов сформулировал идею *всемирной литературы*, причем этой идее способствовали труды романтиков, прежде всего Августа Вильгельма и Фридриха Шлегелей. У Гёте единство всемирной литературы только складывается на определенном этапе развития культуры (именно современном) из общения и взаимообмена разных национальных литератур; всемирная литература в конечном счете и сотрет когда-то национальные черты, которые окажутся тогда не столь уж важными, – так полагал Гёте. А самое главное, литература в сознании и Гёте, и романтических мыслителей – исторически дифференцирована, она сама есть исторический рост, историческое развитие. Ее единство – это для них своего рода заключительный акт; литературу надо собрать воедино, чтобы она стала единством, ее надо освоить как единство – так думал Гёте. А для Грильпарцера и австрийской поэзии она была единством, только начавшим теперь распадаться, и единство это не предполагало бесконечную внутреннюю дифференциацию, а было представлено всяким подлинно поэтиче-

² Grillparzer F. *Sämtliche Werke*. Hrsg. von P. Frank und K. Pörnbacher. München, 1964, Bd. III, S. 810.

ским созданием; такое создание и есть носитель *всей* поэзии в ее единстве.

Как же мало годилась австрийская поэзия на то, чтобы смешивать ее с немецкой – ей современной! Но как же потворствовала она тому, чтобы ее смешивали с немецкой: ведь «скромность» не аргумент тогда, когда надо смело заявить о себе, будь то на литературном рынке или на арене культурного общения. Но австрийский поэт, австрийская классическая поэзия с Грильпарцером во главе – «скромна». В то же время немецкий поэт, и романтик, и Гёте, вошедший в себя несколько столетий развития в рамках протестантской традиции, испытавший все потрясения, связанные с классическим идеализмом Канта, Фихте, Шеллинга, почувствовавший все искушения, связанные с самоутверждением «я», – он безусловно *нескромен*; что поэт – «второй бог», было сказано ему еще в XVI столетии, что «я» самодержавно и самовластно утверждает свой мир, было сказано ему теперь и было услышано в словах Фихте; что чувствующему «я» принадлежит весь мир и что мир чувств, мир, преображенный чувством, – единственно подлинный, ценный, твердилось ему не раз, многими и по разным поводам. Для такого «нескромного» «я», которое владеет миром или, вернее, вознамерилось им овладеть, скромное «я» просто перестает существовать! Для первого это второе «я» попросту лишено самых необходимых черт, лишено творческой способности, лишено, стало быть, поэтичности. Выходит, *можно* нивелировать всю особенность этого второго «я», потому что закономерности собственного положения второго – что оно черпает силу в *общем* единстве поэзии и т. д. – вовсе не принимаются во внимание. Для первого, безудержно самовластного, «я» иное, «скромное», «я» – до предела скованное. Как же иначе! Ведь оно же не занято исключительно самовыявлением и самовыражением, не стремится во что бы то ни стало построить свой оригинальный мир, не теряется в безднах чувства. И вот нередкая судьба австрийского поэта – его сначала ставят в ряд европейских поэтов XIX века, а затем, видя, что он сильно не похож на них и как бы «отстает» в выражении личного чувства в его неповторимости, перестают интересоваться им.

Между тем у этого австрийского поэта есть свой способ освоения мира, в этом мире – все противоположно, в

самом общем смысле. Противоположно – относительно того, как вырисовывались вещи в немецком и европейском романтизме, где действительно произошел прорыв поэтической мысли к совсем новой картине бытия, где скопились все связанные с этим переходом кризисные моменты. Для австрийского поэта, пока он верен своей традиции, личное и общее, частное, индивидуальное и общечеловеческое соотносятся иначе. В его сознании, в его голове стоит картина целого, целого мироздания, быть может гармонично устроенного, – не поврежденного, не разъятого, тем более не разрушенного нарочно. Человеческие чувства, которыми он занят с большим и понятным волнением, он сопоставляет с этим целым, можно даже сказать – осторожно вписывает в целое, находя ему положенное место. Так поступают не только классические поэты Австрии – так поступал и великий композитор Антон Брукнер, так раньше поступал и Франц Шуберт – не просто «романтик», как иногда слишком просто его понимают, но «романтик-классик», по куда более точному определению историка музыки Вальтера Феттера. «Чувство» никогда не превращается в целый мир – не застит свет солнца; переживания субъекта не превращаются во всемирно-историческое бедствие. Антон Брукнер боготворил Рихарда Вагнера, сам же поступал иначе, чем он, иначе *творил*: для Вагнера мир – развитие, всегда кризисное и критичное, которое нельзя свести в реальное, устойчивое единство, в «гармонию мира», для Брукнера – устойчивое целое, закономерное и гармоничное, как система планет, и это «здоровое» целое как таковое – без изъяна, хотя в его пределах и могут происходить ужасные беды и несчастья, разражаться кризисы, которые непременно разрешатся, однако, катарсисом, очищением от изъяна, беды и вины, и утвердят неколебимость постоянного, целостного бытия. Читая великих и выдающихся классических поэтов и писателей Австрии, не следует прилагать к ним стереотипы лирики XIX века, ожидая, что и они тоже будут соответствовать им. Стереотипы – но, главное, стереотипное восприятие! Стереотипное в лирике XIX века – это «начитанное», то есть сложившееся уже в последующем читательском опыте, однако за этим стоит и реальность – реальность «открытого», обнаженного, выставленного напоказ и твердо верующего в себя чувства – целого мира чувств в движении. Этот лириче-

ский «мир чувств в движении» – великое завоевание XIX века, его поэзии, его искусства. Но у австрийских поэтов, в основном, было совсем иное. И они тоже завоевывали мир чувств, *новый мир чувств*, однако он освоен ими совершенно иначе! Это мир красоты – и в нем царит разнообразие, богатство, но, во всяком случае, *над движением, динамикой, преобладают устойчивые формы и состояния.*

Пока поэтов Австрии не читают так – так, как требует того своеобразие их искусства, требуют самые основания этого искусства, – они остаются вовсе неизвестными!

В XIX веке вполне воспринимается и осознается своеобразие культурной *поверхности* Австрии и Вены, ее атмосфера и ее «аромат», ее кулинарный и рекламный фасад, сконцентрированный для публики XIX и даже XX века в талантливых вальсах Йоганна Штрауса, как первом предмете экспорта и массового потребления, – это глубина, выведенная наружу, до конца растолкованная, до конца утопленная в чувственном материале, расплескавшаяся в многословии. Когда Гуго фон Гофмансталь и Рихард Штраус создают «Кавалера Роз» (1911), тут, *естественно*, штраусовский тип вальса, преображенный и художественно усиленный, укрепленный южнонемецкой, баварской самозабвенной чувственностью и размахистостью всемогущего композитора-творца, выступает как язык вечной красоты. К Вене XVIII столетия, к эпохе Марии Терезии этот вальс не имеет ни малейшего отношения, тем более к прелестному, завораживающему – и уже рекламно-броскому – мифу об Австрии. Популяризируется действительная *глубина* – но только она оторвана от жизненных оснований, которые вызвали к существованию классическую австрийскую поэзию и ее язык – трудный, обращенный вовнутрь, деловито фиксирующий свои проблемы, боящийся нарочитой яркости. Все высокое австрийское искусство, в сущности, интимно – оно даже всемирно-исторические проблемы должно переносить в задумчивость и уединенность, чтобы остаться с ними с глазу на глаз. Таковы исторические драмы Грильпарцера: среди бурь истории непременно открываются, пронизанные тревогой, укромные уголки, где герой может предаться размышлению наедине с собою. Не только творчество поэтов, но и творчество музыкантов таково: сдержанно-интимное искусство Франца Шуберта, для которого дружеский кружок являлся первич-

ной социальной почвой, именно поэтому с трудом пробивалось к широкой общественности, между тем как Большая до-мажорная симфония с ее торжественностью, скорбной и праздничной, размеренная и строгая, оваянная сосредоточенностью проникновенной мысли, — разве это не прямое соответствие исторической драме известного типа, разве не выводит здесь музыка на необозримые просторы бытия? Рихард Вагнер писал, что искусству немецкого художника чужда погоня за внешним эффектом; с еще большим основанием он мог бы сказать это о настоящем австрийском искусстве. Романтическая струя патетического самоутверждения личности, смятенной, разъятой, раздрганной, проходила мимо него, отклонялась как заведомо далекое.

Резкая линия, незримо разделявшая немецкую и австрийскую поэзию, литературу, их культурные языки, их основные тенденции, воплощенные в наивысших достижениях искусства, линия, разделяющая и смешивающая, — она сказала и на восприятии австрийской литературы в России. Очень повезло в России Й. К. Цедлицу (имя его писали — Зедлиц), второстепенному поэту, замеченному большими русскими поэтами. Никакой другой австрийский литератор не мог бы похвалиться тем, что способствовал появлению на свет двух шедевров русской поэзии: это «Ночной смотр» В. А. Жуковского (1836) и «Воздушный корабль» М. Ю. Лермонтова (1840).

Грильпарцеру же на русской почве не везло: когда в 1909 году Александр Блок по просьбе великой актрисы Софьи Комиссаржевской перевел «Праматерь» Грильпарцера, первую зрелую драму поэта, он к этому времени совсем не читал еще австрийского писателя и, восхищенный ранним его созданием, параллели к его драме все же находил в близкой к себе эпохе символизма, в поздних пьесах Ибсена, в его «Росмерсхольме». Не в эпохе Грильпарцера, в которую неожиданное создание поэта вписывается органически — проще, чем все последующее его творчество. «Золотого руна» и «Братской розни в доме Габсбургов» и до сих пор нет на русском языке. Точно так же и вершинных произведений австрийской прозы — романов Адальберта Штифтера «Бабье лето» (1857) и «Витико» (1865–1867); они никогда не переводились на русский язык, как и подавляющее большинство его рассказов.

С чем сопоставимы эти произведения Штифтера – по духу, по нравственному тону? Прежде всего с симфониями Антона Брукнера, которые грандиозный мастер начал создавать в зрелости и именно в 1860-е годы. Прежде насчитывали девять симфоний Брукнера, которым дал номера сам автор; теперь в обиход входят и предшествующие этим девяти две пробные (не ранние!) симфонии, созданные именно в 1860-х годах и не получившие номера; кроме того, в мировой музыкальной практике все более осваиваются созданные в разное время параллельные редакции девяти основных его симфоний. Творчество Брукнера по-новому начало раскрываться именно теперь.

В Австрии XIX века было множество явлений несущественных, вторичных, чисто внешних и даже упадочных, если же теперь, задним числом, с расстояния в век и более видеть генеральную линию ее становления, делается вполне очевидным, что от Штифтера эту линию прямо перенимает Брукнер – и содержательно, и этически, и даже со стороны формы. Для любого внимательного читателя Штифтера и внимательного слушателя Брукнера это непосредственно ясно: огромные масштабы романов Штифтера, в которых торжествует ясность и логика связности, словно по наследству переходят к Брукнеру с его эпическим простором и драматической продуманностью всей композиции в целом (как этого достигал лишь Вагнер в своих музыкальных драмах – с их безграничной динамикой становления). А ведь Брукнер, человек «нелитературный», безусловно не читал Штифтера – следовательно, тут действовали законы воплощения глубоко жизненного содержания в таких формах, какие подсказаны тенденциями национальной культуры. Это формы – максимальные и как бы окончательные; в них обретает монументальное воплощение скромность австрийских поэтов-художников, о чем писал Грильпарцер. Патетичности, патетике театрального, картинного, широкого жеста в них нет места – ни поэтически-романтическому пафосу, ни музыкальному, листовскому. Есть лишь пафос целого – наследующий то восхищение гармоничной правильностью и совершенством мироздания, какое было у поэтов XVIII века, когда, восторгаясь устройством мира в целом, они одинаково находили совершенство и в Солнечной системе, и в существе, едва видимом под микроскопом. Переживающий человек

с его страстями и страданиями принят в это искусство, но он не может и не смеет заполнять его своим мученьем и своей тоской – ему отведено хорошее, заметное, однако подчиненное место.

Колоссальные просторы брукнеровских симфоний и штифтеровских поздних романов исподволь готовились в австрийской культуре – у самого же Штифтера, в музыке у Шуберта, в драме у Грильпарцера. И не потому, чтобы новеллы Штифтера, камерные ансамбли Шуберта, драмы Грильпарцера были велики по объему, – нет, в них вместе с освоением, в новом духе, душевного мира человека сосредоточивается, накапливается то, что можно было бы назвать *пафосом пребывания* при истине, при красоте. Художник погружен в созерцание истины и красоты – не просто убежден в их существовании и не просто должен биться за них, но он видит, видит всякий миг эту истину и красоту, видит их *за* всем временным и случайным и *над* всем временным и случайным, и ему не надо даже стирать с мира случайные черты, потому что и со всем случайным, нелепым, глупым и пошлым мир все равно и несмотря ни на что прекрасен и совершенен. Все это есть уже у Моцарта, все это восходит к нему, к его музыке чистой красоты. В такой картине целого ничто отдельное не может брать верх над всеобщим; поэтому динамика движения, перехода, скольжения чувств никогда не может одолеть всеобщее – гармонию самого мироздания. Произведение искусства – мир в малом; в нем же мир человеческий, мир людей – но только людей, которым дано созерцать единство бытия. Все австрийские художники, поэты – в душе философы, естествоиспытатели, даже если не читают философских сочинений (неожиданный интерес к естественной науке был даже у Брукнера, целиком погруженного в музыку, в ее закон красоты); усваивая почерпнутый из традиции же взгляд на мир как на совершенство, гармонию и красоту, они переносят его в свое искусство. Это искусство полно интеллектуальной напряженности, и даже в инструментальной, оркестровой музыке представлено – и как бы изложено – целое учение о мире. Мир пробуждает восторг, и этот восторг вызывает потребность остановиться перед красотой мира. Роберт Шуман в свое время замечательно сказал о «божественных длиннотах» Шуберта; эти «длинноты» поддержаны теплотой душевного, непосредственно-

го и постоянного, верного себе чувства. Моментам почти недвижимого замирания отвечает не простая удлинённость произведения, а его распространённость – оно расширяется изнутри и увеличивается в масштабах. Сборнику Штифтера «Пестрые камешки» (1852) предпослано введение, которое размеренностью своего построения вызывает естественную ассоциацию с музыкой Брукнера, с его задумчивой и торжественной скорбью; само это вступление – музыкально. В нем три части – две главные, параллельные по содержанию, и завершение (традиционнейшая форма поэзии в ее единстве с музыкой! – строфическая форма *a a b*). В первой, главной части говорится о внешней природе, во второй – о внутреннем мире человека, о природе человеческого рода. Природа и внутренний мир совершенно аналогичны – они управляются всепроникающим последовательным законом бытия, для которого все малое, обыденное – не менее велико и возвышенно, чем исключительные явления природы, чем катастрофы, но еще более велико, ибо постоянно и закономерно: «Веяние ветра, журчание ручья, рост посевов, волнение моря, зелень земли, блеск неба, мерцание звезд я считаю великим». И в жизни людей царит тот же «кроткий закон»: «Закон этих сил есть закон справедливости, есть закон добрых нравов, есть закон, который желает, чтобы каждый существовал и был уважаем и чтим и жил без страха и без ущерба рядом с другим, чтобы он мог идти своим высшим путем человека, чтобы он заслуживал любовь и восхищение своих ближних, чтобы он был храним как сокровище, ибо всякий человек есть сокровище для других». Штифтер высказывает здесь то самое, что вплетено в ткань высокого, классического австрийского искусства XIX века, поры его зрелого расцвета; все пронизано здесь преклонением перед человеком – но не перед самовластной личностью Ренессанса, перед неукротимой энергией которого, казалось бы, должно было отступить все, и не перед мятущейся личностью европейского романтизма, которая жаждет беспредельности и силы которой множит страсть. Здесь человек – только самая органичная часть природы с ее «справедливым нравственным законом»: «Даже если отдельные люди и целые поколения погибали за справедливость и нравственность, мы не чувствуем, что они побеждены, мы видим их триумф, и к нашему состраданию примешивается восторг

и восхищение, ибо целое больше, чем часть, ибо доброе выше, чем смерть, мы переживаем трагическое и, пораженные ужасом, возносимся в чистый воздушный мир нравственного закона. Если мы видим, что человечество в своей истории, как спокойный серебристый поток, течет к великой вечной цели, тогда мы переживаем возвышенное, эпическое по преимуществу»³.

Классическое австрийское искусство – это искусство почти немислимого оптимизма. Ненарушима целокупность управляемого совершенным законом мироздания. Грильпарцер по своей натуре был меланхоликом, но ясно, что такая личного свойства меланхолия несопоставима с общей картиной бытия – это величины разномерные, их нельзя складывать. Оптимизм австрийских поэтов и мыслителей восходит по прямой линии к Лейбницу, уроки которого были усвоены прочно. Никакой опыт, никакой скепсис и сомнения, никакие литературные остережения (вроде Вольтерова «Кандида») не могли разрушить твердости веры в добро. Две оратории Иосифа Гайдна – «Сотворение мира» (1798) и «Времена года» (1801) – были вершинами австрийского просветительского оптимизма, в котором полнокровно жила еще традиция XVII века, эпохи барокко – а Лейбниц всецело принадлежал той эпохе. «Сотворение мира» Гайдна – торжество человеческого мира, юного, только что созданного богом, не тронутого никакой порчей: в отличие от библейского рассказа гайдновских новоотворенных людей вовсе забывают изгнать из рая, но счастье, процветание, совершенство всего человечества тут уже достигнуто и воспето. Как и всё у Гайдна, это музыка великой радости бытия, музыка беспримерно глубокая, даже и в самых малых формах словно повторяющая – в основных контурах-опорах конструкции – совершенство самого бытия. В 1823 году, в Девятой симфонии, Бетховен использует слова оды Шиллера «К Радости» – так, как ни один из немецких композиторов его времени не мог бы и подумать сделать это. Великий вольнолюбивый мыслитель-демократ, глубочайший философ и математик Бернард Больцано (1781–1848) в эпоху позднего Гайдна, в эпоху Бетховена, в эпоху Штифтера воплощал этот дух

³ История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. М., 1967, т. III, с. 473, 475, 476.

всемирного оптимизма, в котором отражалась красота совершенно созданного бытия⁴. Несмотря на все ненастья XIX века, этот дух был крепок в творчестве Штифтера и Брукнера – его ничем нельзя было вытравить, и тоны горечи, ноты меланхолии его не нарушают. Какое резкое отличие от Германии второй половины века, захваченной темами и настроениями пессимистической и мизантропической философии Шопенгауэра!

Нечто подобное было до поры до времени и в изобразительном искусстве Австрии. Нельзя его не упомянуть, потому что все искусства здесь неразрывно связаны – не в попытках соорганизовать в одном произведении, как это было в Германии, начиная с романтического универсализма, стремления к «совокупному произведению искусств», а в глубинном идейно-нравственном единстве. В изобразительном искусстве царил тот же оптимизм – не просто внешний, а по-своему глубинный, со – страшно подумать – сколь глубокими корнями! Таким оптимистом был в своем искусстве живописец Фердинанд Георг Вальдмюллер (1793–1865). Его милая, фотографически-точная и скрупулезно-тщательная живопись детально и живо воспроизводит безущербный мир. Природа и люди – все красиво, все совершенно, здорово и розово, все на своем месте. Художник старался как можно точнее передать видимый мир – как можно точнее, потому что в видимом мире воплощена истина.

После середины века характер австрийской живописи сильно меняется: в 1860-е годы и особенно после 1869 года утверждается стиль Ганса фон Макарта, помпезно-декоративный, пышный и чувственный. Живопись раньше других искусств уловила искушения «декаданса» – но и австрийская поэзия тоже была затронута настроениями 1880-х годов и конца века, настроениями, оказавшимися неожиданными для классически оформленной традиции австрийского искусства. Штифтер писал в 1847 году: «Все великое просто и кротко, как само мироздание, а все жалкое трещит, как Шекспиров Пистоль, и бессилие шумно и драчли-

⁴ Без Б. Больцано невозможно писать не только общую историю австрийской культуры, но и историю ее литературы – настолько ясно выражены в его работах (внешне чуждых поэзии) духовные ее предпосылки.

во – так мальчишки, играя, изображают взрослых»⁵. Высокое искусство не было подготовлено ни к коммерциализации искусства, ни к социальным переменам в обществе, внезапно, ближе к концу века, выплеснувшим на поверхность «порок» как притягательную, манящую, всеобщую силу. Никаких орудий защиты, орудий критики при нем не было – австрийская классика (в отличие от русского реализма середины и второй половины XIX века), увлеченная образом идеального бытия, значительно меньше занималась критикой реальных человеческих отношений, правдой конкретности. Не было ничего – кроме самой традиции, кроме образцов высокого творчества.

* * *

Австрийская поэзия, австрийское искусство развивались не совсем так, как это иногда рисуется усталому взгляду литературоведа: сентиментализм сменяется романтизмом, романтизм – реализмом, реализм – натурализмом, натурализм – символизмом. В Австрии стилистические и идейно-художественные фазы развития не столько сменяли друг друга, сколько наслаивались друг на друга, слагая прочный ствол традиции, в которой все прошлое сохранялось в настоящем и пребывало в нем. Просветительство накладывается на барочный образ мира, но не отменяет его: у Грильпарцера, у его современников – драматургов венского народного театра, гениальных Ф. Раймунда и И. Нестроя, – продолжает жить барочная сцена с ее аллегориями, с противопоставлением земного, нижнего, и небесного миров, с неудержимым разлетом фантазии. Традицией, восходящей к барокко, живет искусство XIX века, и реалистические чаяния долгое время укладываются в эти рамки. Романтизм такая традиция почти не допускает до себя, и понятно, почему: образ мироздания, цельный и гармонический, несовместим с представлением о вольной, «эмансипированной» личности, которой хочется овладеть миром и безраздельно властвовать в нем.

Но в австрийской поэзии можно видеть и разрывы связей. Во второй половине XVIII века в Австрии не было больших поэтов, но были известные: Алоис Блуммауэр

⁵ Stifter A. Sämtliche Werke. Prag, 1916, Bd. 17, S. 238.

(1755–1798), перелицевавший «Энеиду» Вергилия, как русский поэт Николай Осипов, как украинский поэт И. Котляревский; Иоганн Баптист Аلكсингер (1755–1797), автор виртуозно написанных «рыцарских поэм» «Доолин Майнцский» (1787) и «Блиомберис» (1791), Лоренц Леопольд Хашка (1749–1827), Йозеф Франц Рачки (1757–1810). Имена всех этих поэтов встречаем в перечне подписчиков на известное гёшеновское собрание сочинений Гёте в 1790 году; однако для усвоения немецких поэтических ценностей еще не подоспела пора – лишь в эпоху Венского конгресса, к середине 1810-х годов, сочинения Виланда, Шиллера, Гёте, очевидно, пользовались в Вене широким спросом.

Венским, австрийским поэтам приходилось как бы заново овладевать языком и стилем новой поэзии. Надо было окультурировать поэзию, которая в 1780-е годы порой предстает в какой-то хаотической смеси традиций и мотивов; Алоис Блумауэр начинает сборник своих стихотворений с обращения «К Музе», чей «неземной лик» зрит поэт, однако тут же оказывается, что Муза слишком доступна – благословение Музы для поэта все равно что плотское общение с ней:

... Und faßt ihn dein Arm, und befeurt ihn dein Kuß,
So strömt ihr, und schließt ihr im feurigen Guß,

Wie Flamme und Flamme, zusammen.

Da reißt er dir ringend den Gürtel entzwey,

Und wohnt in Männlicher Fülle dir bey,

Und schenket zu Kindern dir – Flammen.

Doch jeglichem, der eine Metze dich glaubt,
Und geil mit Gewalt dir Umarmungen raubt,

Dem lohnest den Frevel du bitter:

Er windet sich kraftlos, und stillet an dir

Die schnöde, sich selbst überlegene Gier,

Und zeuget sich – Krüppel und Zwitter⁶.

Видно, однако, что Блумауэр знал своего Шиллера... А Герберт Цеман приводит выразительный пример того, как один австрийский поэт-просветитель (Готлиб фон Леон)

⁶ Blumauer J. A. Gedichte. Frankfurt, Leipzig, 1785, S. 6.

под сильным впечатлением «Майской песни» Гёте, этого лирического излияния-восклицания, начинает варьировать и расширять ее, возвращая в сферу риторических упражнений⁷.

Только у Грильпарцера австрийская новая поэзия встает на ноги и достигает классического качества, не оставляя риторических рамок, приемов, которые, впрочем, были общи для всей европейской романтической поэзии и в ней использовались и ломались. Тут лирика на высоте отечественной идейно-нравственной традиции, она ее осуществляет, осуществляется в ней – не без явных трудностей. Мрачновато-сдержанный, Грильпарцер не создавал поэзию открытого, обнаженного чувства – чувство в его стихах приторможено, оно выражено контурно, прерывисто, чуть бесплотно, чуть угловато. А ведь Грильпарцер был мастером настоящей поэтической музыки, какой добивался тогда, когда мог почти совершенно отстранять свое «я» (в лирике оно иной раз стоит ему поперек дороги); Гейнц Киндерман не случайно назвал драму Грильпарцера «Волны моря и любви» самой прекрасной из драм, когда-либо написанных по-немецки⁸. Чего стоит одно ее название – „Des Meeres und der Liebe Wellen“, необычное и не сентиментальное, а возвещающее лирический поток мысли, чувства, стиха – в их слитности. Австрийское искусство XIX века не могло бы создать ничего подобного «Тристану и Изольде» Вагнера – динамике безысходного томления в австрийской музыке противостоят величественные конструкции брукнеровских симфоний, «готические соборы», по давнему удачному сравнению. Немецкой трагедии любви в австрийской поэзии соответствует и противостоит драма Грильпарцера о Геро и Леандре, вобравшая в себя прекрасную и простую музыку слова. Всегда неповторимо-особенный тон несказанно тонко и конкретно передает внутренние движения, жесты персонажа; патетика Шиллера, нарочитые нагнетания Клейста, словоизвержения Ваг-

⁷ Z e m a n H. Die österreichische Lyrik des ausgehenden 18. und des frühen 19. Jahrhunderts – eine stil- und gattungsgeschichtliche Charakteristik. – Die österreichische Literatur. Ihr Profil im 19. Jahrhundert. Graz, 1982, S. 531–532.

⁸ K i n d e r m a n n H. Einführung. – Dichtung aus Österreich. Wien. München, 1966, S. 47.

нера, громкая риторика Ф. Геббеля ему чужды. Чтобы быть лиричным, Грильпарцеру надо смотреть на лирическое «я» со стороны:

Wie schön du brennst, o Lampe, meine Freundin
Noch ists nicht Nacht, und doch geht alles Licht,
Das rings umher die laute Welt erleuchtet,
Von dir aus, dir, du Sonne meiner Nacht.
Wie an der Mutter Brust hängt alles Wesen
An deinem Umkreis, saugend deinen Strahl.
Hier will ich sitzen, will dein Licht bewahren,
Daß es der Wind nicht neidisch mir verlöscht.
Hier ist es kühl, im Turme schwül und schläfrig,
Die dumpfe Luft drückt dort die Augen zu.
Das aber soll nicht sein, es gilt zu wachen⁹.

Между тем в собственно лирическом стихотворении Грильпарцер мог написать иногда:

... Denn er, der Allbelaurer, sah übrall Lauscherblick¹⁰.

Написанное не просто не звучит, но и толком непонятно.

Идеи, образы, мысли, представления, занимавшие европейский романтизм, присутствуют в его стихах – однако отнюдь не в романтическом обличье:

Auf blinkenden Gefilden
Ringsum nur Eis und Schnee,
Verstummt der Trieb zu bilden.
Kein Sänger in der Höh.
Kein Strauch, der Labung böte,
Kein Sonnenstrahl, der frei,
Und nur des Nordlichts Röte
Zeigt wüst die Wüstenei.

So siehts in einem Innern,
So stehts in einer Brust,
Erstorben die Gefühle,
Des Grünens frische Lust.

⁹ Grillparzer F. Sämtliche Werke. München, 1970, Bd. II, S. 74.

¹⁰ Grillparzer F. Sämtliche Werke. München, 1969, Bd. I, S. 186.

Nur schimmernde Ideen,
Im Kalten angefacht,
Erheben sich, entstehen
Und schwinden in die Nacht¹¹.

Это «Полярная сцена» из цикла „Tristia ex Ponto“ (1833). Название навеяно «Скорбными элегиями» Овидия, и тема безжизненного Севера – тема овидиевская. Такое стихотворение не назвать, однако, риторическим упражнением – своя для Грильпарцера тема решена стилистически ново. Но вот что характерно: душа в параллель с северной пустыней – не душа самого поэта, не «моя» душа, а душа вообще, *чья-то* душа, которая лежит перед глазами поэта как пейзаж, – изведенная изнутри, но *не* своя!¹²

В эпоху Грильпарцера в австрийской поэзии пролетает, словно метеор, еще один большой поэт – это Николаус Ленау. Уроженец и подданный Венгрии (теперь городок Чатад, где родился Ленау, находится на территории Румынии и переименован в его честь), Ленау вносит в австрийскую поэзию особую ноту – связанную с пейзажем, людьми и традицией Венгрии. Его поэзия, не всегда ровная, но смелая и открытая, не лежит уже на той генеральной, венской линии, к которой всецело принадлежит Грильпарцер, и Ленау даже избегает Вены, не чувствует к ней привязанности. В отличие от Грильпарцера, Штифтера вопреки цензуре Ленау удается печататься за пределами Австрии, у одного из самых солидных издателей – И. Ф. Котты в Штутгарте. Благодаря этому произведения Ленау становятся быстро известны, часто переиздаются, и ситуация европейской поэзии крайне благоприятна певцу «мировой скорби». Не так связанный с центральной австрийской традицией, Ленау готов заявить о своей независимости от нее: минуя Вену, Ленау находит теплый прием у швабских поэтов – Густава Шваба, Людвигу Уланда, Карла Майера (безусловно, любопытного «микропоэта», как называет его Ф. Зенгле), Юстинуса Кернера. Швабия, Вюртемберг – это протестантский угол южной Германии, а Ленау – католик (как и 97% всего населения габсбургской Австрии);

¹¹ Grillparzer F. Op. cit., Bd. I, S. 215.

¹² См.: Sengle F. Biedermeierzeit. Stuttgart, 1980, Bd. III, S. 57ff.; Kainz F. Grillparzer als Denker. Wien, 1975, S. 290ff.

дружба со швабскими поэтами, сложившимися в целую поэтическую школу высокого и ценного уровня, едва ли не привлекала Ленау возможностью как-то обособиться или отвлечься от своего вероисповедания – оно привязывало к себе и мучило его, как всякого австрийского поэта, как и Грильпарцера, пытавшегося даже поэтически восстать против католицизма в стихотворении „Campo vassino“, посвященном римским впечатлениям 1819 года, – с исторической типологией в духе шиллеровских «Богов Греции», с противопоставлением языческой древности – христианству. Не то что Грильпарцер – Ленау был очень смел, и его поэзия подхватывает разбойничьи мотивы венгерского фольклора¹³. И Ленау принадлежал уже иной стилистической фазе развития поэзии – когда романтическое мифотворчество оборачивалось реалистической конкретностью. Той же фазе, отнюдь не просто романтизму, принадлежал наш Ф. И. Тютчев – конечно, по духу творчества не похожий на Ленау. Вот стихотворение Ленау, которое прекрасно показывает эту метаморфозу к уникальной конкретности, – «Скорбь небес» (1831):

Himmelstrauer

Am Himmelsantlitz wandelt ein Gedanke,
Die düste Wolke dort, so bang, so schwer;
Wie auf dem Lager sich der Seelenkranke,
Wirft sich der Strauch im Winde hin und her.

Vom Himmel tönt ein schwermutmattes Grollen,
Die dunkle Wimper blinzet manches Mal,
– So blinzen Augen, wenn sie weinen wollen, –
Und aus der Wimper zuckt ein schwacher Strahl.

Nun schleichen aus dem Moore kühle Schauer
Und leise Nebel übers Heide land;
Der Himmel ließ, nachsinnend seiner Trauer,
Die Sonne lässig fallen aus der Hand¹⁴.

¹³ См.: Seidler H. Grillparzer und Lenau. – Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, 1973, N. F. Bd. 14, S. 337–358; Sengle F. Op. cit., Bd. III, S. 640–690.

¹⁴ Lenau N. Sämtliche Werke und Briefe. Hrsg. von W. Dietze. Leipzig, 1970, Bd. I, S. 64.

Небо уподоблено лицу, по которому пробегает тень тяжелой мысли; туча, где сверкает молния, – ресницам; молния – мгновенно брошенному взгляду. Есть и земной план вещей: кусты, которые треплет буря – так мечется душевнобольной на своем неудобном ложе; когда же гроза минула, из болот поднимаются – уже более не одушевленные – струи прохлады и тихие туманы. Тогда небо, размышляя о пережитой скорби, тихо, нерешительно выпускает из своих рук солнце – оно, надо представить себе, грустно закатывается за горизонт. Вот поэтический и реалистический пейзаж, который возникает из целой системы мифологических отождествлений, – только это совсем не педантическая, а рождаемая образной мыслью система. Для конкретного поэтического мышления очень характерны тонкие и переходные оттенки: гнев и ворчание, какое прокатывается по небу, не просто меланхолическое, но меланхолически-вялое, и луч молнии – не яркий, а слабый. Все это создает выразительную ясность – угрюмый и поразительно живой пейзаж! Есть в стихотворении и еще одно интересное явление: его можно было бы назвать скрытой полифонией – подобно тому как такая скрытая полифония бывает присуща даже одностольной музыке. Выделенная тире строка второго четверостишия звучит, как тихо подсказанная реплика, словно в этом тихом, но полном внутреннего терзания стихотворении звучит не один голос поэта, а два голоса – они не перебивают друг друга и вслушиваются в чужие речи. Стихотворение почти совершенное. Хотя есть в нем и слабое место – это четные строки второго четверостишия, которые почти повторяют друг друга по смыслу. Наконец, заключительный образ стихотворения, неожиданный и отчетливый, чуть напоминает неоромантическую манерность, хотя ее время наступило лет через шестьдесят.

Образ – смелый и новый, но в нем как бы заключен некий поэтический риск. Риск – стоит только привыкнуть к такому построению образа: поэт словно всецело предается вещам и забывает о себе, но при этом властно распоряжается всем, что только есть на небе и земле, и не трудно представить себе его режиссером всех природных явлений, который составил свой сценарий – для туч, рек, кустов и деревьев – и теперь ждет, что те будут поступать так, как им назначено. Речь идет уже не о Ленау, а о той особой поэзии

хаотически сплетающихся вещей и душ, предметности и одушевленности, какая появляется на рубеже XX века.

Когда в австрийской поэзии выступил Райнер Мария Рильке, культура Австрии пережила по меньшей мере два события, которые разделили этого поэта с классической традицией.

Во-первых, то был прорыв всей чувственной сферы во-вне – из-под «гнета» сдерживавших ее форм, на каких настаивала классическая культура: разнузданное чувство, не знающая меры страсть – все это чуждо миру классической австрийской культуры, все это факт и фактор реальной жизни, а затем искусства, и все это мало напоминает даже романтическую пору, так как теперь чувство, расстающееся в своем выражении с последними остатками традиционной риторики, говорит само за себя, не обращаясь ни к каким формулам-посредникам, и органически связано со всей чувственной, физиологической сферой. Психианализ не случайно зародился в Австрии, в Вене: мощь, с которой высвобождалось все чувственное, подсознательное и бессознательное, энергия, с которой оно претендовало на главную, определяющую роль в жизни человека и в жизни людей, общества, соответствовала той культурной силе, которая, сдерживая «недра», ставила все «внутреннее» на вторые и третьи места в своей картине мироздания. Уже говорилось, что классическая культура Австрии не была готова к такому почти внезапному перевороту представлений. Фрейд разрабатывал свое учение, когда еще писал последние симфонии Брукнер, когда еще был жив и работал в Вене Иоганнес Брамс (приехавший сюда из Германии). Временно сосуществуют разные, противоположные миры – сдержанного знания и распушенной явности. Требовалось некоторое время, чтобы подлинное искусство вновь овладело открывшейся сферой разнузданного чувства и фантазмагорическим потоком подсознательного, чтобы оно вновь призвало все это к порядку и ввело в свой строй. В музыке такую роль выполнила вторая венская школа Арнольда Шёнберга – Альбан Берг, Антон Веберн. Задачей творчества было исчерпание и укрощение душевных *недр*, придание им формы, и дисциплины, и способности соотножаться со всем мирозданием. В поэзии все происходило пестрее и безнадежнее.

Во-вторых же, классическую австрийскую поэзию и

Рильке разделило глубокое падение уровня поэзии – Рильке-поэт вырастает из пропасти и поднимается из болота эпигонства. Сам он – поэт на перепутье. Прециозность его зрелой поэзии уравнивает эпигонство начал, поэтическая мысль – слабость мысли в ранней поэзии, ее робкую чувствительность. Все творчество Рильке – беспримерный взлет. Оно было бы невысказано без того, чтобы самые скрытые и тайные недра человеческой души распахнулись перед словом – ситуация, противоположная той, которая существовала за полвека до Рильке, когда и Грильпарцер и Штифтер глубоко верили в то, что внутренний мир всякого человека – его личное достояние, и нельзя касаться его в прямой форме, нельзя и выставлять на всеобщее обозрение. Теперь иначе – все внутреннее, вся неясность, темнота, тревожащая загадочность поднимаются наверх, как туманы из глубокого лога, рвутся к слову, и поэт призван сказать нечто небывалое, выразить глубокую и субстанциальную (как сказал бы Гегель), а значит, затрагивающую всех тайну человеческих глубин. Рильке был наделен столь высоким поэтическим даром, что, выработав собственную своему таланту поэтическую технику, мог чутко и тонко как бы почти наделять словом всякое веяние чувства, все то, что только нарождается в душе. Поэзия распахнутых душевных глубин. Слово не следует за сформированной и заданной мыслью, но на лету превращает в мысль то, что еще не вполне осознано самим же поэтом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что поэзия Рильке не раз становилась предметом пристального внимания философов; сам поэт мог быть вполне неискушенным в философии как учебном предмете. Именно здесь, в этом своем полусознательном поэтическом философствовании, Рильке воспроизводит главные принципы миропонимания, характерные для классической австрийской культуры; это прежде всего отношение к вещи, к вещам, в которых концентрируется вся действительность, – вещи абсолютно конкретны, но в них же и воплощение всеобщего, вещи уникальны, но они же и олицетворения мировых первоначал. Это соединение в вещи полнейшей реальности и предельной символичности и служит опорой для поэтической мысли Рильке: сугубо оригинальная и в *таком* виде никем прежде не высказанная, эта мысль в то же время всем обязана классической традиции

австрийской литературы, является ее новым выражением.

Как трудно давалось самому поэту это выражение – из каких низин псевдолирической расхлябанности пришлось ему подниматься! Ранний Рильке провинциален, прост и наивен – свой сборник «Подорожники» он решает преподнести народу («песни, подаренные народу»), не понимая, как смешаны в таком посвящении небывалые притязания и прекраснодушная безответственность. Надежда, что эти песни «возрастут к высшей жизни в душе народа»¹⁵, были неосновательны, а народ Рильке был кабинетной фантазией: Рильке приехал в Россию и ему удалось почти немыслимое – видеть эту страну и разговаривать с ее людьми, но, словно пребывая во сне, сбересть жившие в его душе фантастические представления о ней. Поэзия Рильке до самого конца оставалась лабораторно выращенным растением, что, к счастью, не отнимает у нее ни действительной глубины, ни высокого поэтического качества. Ей свойственна чистота, какую едва ли можно получить в реальных житейских обстоятельствах, когда поэта гложет и пожирает Забота, но в изолированном пространстве поэзии Рильке забот и озабоченности не меньше, эхо тысячекратно отражается стенами... Не келья, но зал с невероятно высокими потолками – экзотическое прибежище этой поэзии – так представляет Рильке известная фотография поздних лет. Рильке в Шато-де-Мюзон-сюр-Сьерр: «Двойное окно и, за углом, еще одно окно, на освещенном солнцем фасаде, – все это мой рабочий кабинет [...], который мы обставили наличными предметами [...], со старинными шкафами, с дубовым столом 1600-х годов и старой, потемневшей балкой на потолке, на которой вырезана дата – MDCXVII...»¹⁶. Чудом эта книжная и экзотическая поэзия становится настоящей, и поза глубокомыслия переходит в существенную мысль. Однако таково положенное настоящей поэзии чудо ее возникновения. Борис Пастернак своими переводами повторил и довершил это чудо.

Книжность – это свидетельство *критического* состояния поэтической традиции. Гуго фон Гофмансталь – поэт ни-

¹⁵ Rilke R. M. Werke. Hrsg. von H. Nalewski. Leipzig, 1978, Bd. I, S. 128.

¹⁶ Rilke R. M. Briefe. Wiesbaden, 1950, Bd. II, S. 240–241.

чуть не меньшего значения, чем Рильке, — не менее книжный поэт; с самого начала поэтическая мысль черпает свои богатства не из жизни с ее изобилием, а из культуры с ее капиталом; с самого начала в этой поэзии нет и признака живой неотесанности. Она красива, вольна, возвышена, правильна, глубока, мудра. Ранняя мудрость — знак позднего, кризисного состояния культуры. Все живое и родное возвращается в эту поэзию — реставрируется в ней. Советскому читателю в будущем предстоит открывать для себя Гофмансталя — по мере того как австрийская поэтическая традиция будет выступать перед ним в своей сущности, не просто в отдельно взятых, случайных явлениях.

Но какой же страшный контраст — и какой культуре под силу вынести его! Одновременно — Гуго фон Гофмансталь, такой цивилизованный поэт, такой полномочный представитель мировой поэзии, где общаются дипломатично и уверенно владея светскими манерами, и Георг Тракль, несчастный и обреченный, несущий на себе и вину, и беду, и отчаяние, и всю безутешность *этой же самой* культуры, переспевшей, пресытившейся, безжалостно играющей на оголенном нерве поэтического чутья: безудержный эгоцентризм все обращает в свое достояние — вещи, и тона, и краски мира (потому что все видит и все воспринимает по-своему), однако эта выходящая бессвязным бредом капёль слов, редких, падающих раздельно, внятно, вдруг превращается в горький полновесно-общезначимый смысл. Борозда смысла проложена в тяжелой почве, и пролегла она тяжкой, прерывистой строкой, со стоном, с выстраданностью, — неприкрашенный образ мира. В 1912 году в Мюнхене был издан «Голубой всадник»; этот альманах подготовили замечательный немецкий художник Франц Марк, погибший на фронте первой мировой войны, и замечательный русский художник В. В. Кандинский; Австрию весомо представляли произведения трех композиторов — Шёнберга, Берга, Веберна. А поэт Георг Тракль жил тогда в своей провинции, еще толком никем не услышанный (Веберн писал песни на слова Тракля с 1917 года), и в нем уже дышала жертва страшной войны, на которой ему суждено было погибнуть не от пули, но от неспособности справиться с войной душевно, нервно, физически. В канун катастрофы в искусстве может нарастать гигантской волной

ощущение кризиса, которое не сразу поймешь и выразишь словом; тут порой привычные отношения переворачиваются, и вместо громкого крика, бывает, почти беззвучно шевелятся губы. Так, Теодор Адорно в пьесах Веберна, порой очень скупых на звучания и очень тихих, слышал отголосок невыносимого грохота канонады, доносящегося с расстояния в десятки километров. Звук и слово – они начинают сжиматься, тяжелые, как новые звезды; и поэзия Тракля именно такова – словно каждое слово отделено от другого большой дистанцией, словно связывает их лишь невидимая сила всемирного тяготения – как звуки в разреженном и полном невидимой энергии пространстве Антона Веберна:

Ein sanftes Glockenspiel tönt in Elis' Brust
Am Abend,
Da sein Haupt ins schwarze Kissen sinkt.

Ein blaues Wild
Blutet leise im Dornengestrüpp.

Ein brauner Baum steht abgeschieden da,
Seine blauen Früchte fielen von ihm.

Zeichen und Sterne
Versinken leise im Abendweiher.

Hinter dem Hügel ist es Winter geworden.

Blaue Tauben
Trinken nachts den eisigen Schweiß,
Der von Elis' kristallener Stirne rinnt.

Immer tönt
An schwarzen Mauern Gottes einsamer Wind¹⁷.

Такое произведение – в зрении, в слухе – слагается в живой иероглиф своей формы. Творчество поэта принимает на себя и, как мост через болото, выносит на себе кризис эпохи.

¹⁷ Trakl G. Das dichterische Werk. 3. Aufl. München, 1974, S. 51.

А в то же время – какая связанность с традицией в этих конструктивно-напряженных, скелетных устоях формы – они обнажаются, с них слетает вся плоть, как плоды с дерева, но они не сдаются: лаконизм, который в классическом австрийском искусстве был скорее скрыт от глаз за просторностью формы, выступает наружу. Там – речь о главном, и здесь – об истине, которую, как молнию, хотелось бы свести внутрь своего произведения, внутрь его ясной и таинственной формы.

Однако чем дальше, тем труднее австрийскому поэту справляться со своей традицией – любому поэту, и такому, как Гофмансталь, и такому, как Трахль. Стражу смысла, неумолимо вымываемого из его рук временем, и тихому бунтовщику с его совсем новым словом. Карл Краус – публицист, а не поэт, философ, а не поэт – вот человек, который в своем неудержимом и баснословно объемистом, поэтически подлинном творчестве (Краус с 1899 по 1936 год издавал журнал «Факел», который, за исключением первых лет, писал один, сам) мог продолжить традицию, соединить в себе крайности и с диалектической остротой, со стремлением к истине в чистом виде, к *самой* истине, обдумывать проблемы жизни и слова, языка, творчества. Личность – как целая стихия, где присутствует и самое высокое и драгоценное и откуда не выпадает ничто обыденное, прозаическое, низкое и ужасное, – на всё откликается Краус своим едким, правдивым, безжалостным словом; как такая стихия, воплощенная в одном человеке, – его мысль, его слово эгоцентричны и всеобщы! Краус должен был стать и поэтом тоже. Вот специфически австрийское начало поэзии (а ведь Краус прикасался и к самому великому творчеству – например, переводя сонеты Шекспира) – поэзия из остроты слова, голого, несущего в себе только истину, поэзия от публицистически-полемического запала, от той абсолютной *точности* слова, к которой рвется мысль, от *логики* вещей, которую должно было бы вобрать в себя слово... Импульс логический и поэтический сливаются и идут в обнимку: Карл Краус, быть может, единственный в мире автор, кто создал прозу одновременно деловую, порой желчную, и поэтическую, озаренную гениальным творчеством, – она почти не поддается переводу, словно самые трудные стихи, – кто создал поэзию – изложенную стихами прозу публициста.

Но только после окончания первой мировой войны все рассыпается – сама страна на историческом перепутье, и культуру и традицию надо собирать из развалин. Гофмансталь доживает тут свой век в этом совершенно неуютном мире: в своей родной Вене он должен был бы чувствовать себя изгнанником, если бы был способен до конца осознать, воспринять душой всю меру совершившегося перелома. Однако Гофмансталь давно уже существовал словно в полусне – ближе к шедеврам поэзии, чем к окружающему миру. Теперь идут в рост совсем новые победы и возникает какой-то новый, более простой контакт поэзии и действительности. Однако завязи простого, как всегда, обманчивы и таят в себе опасности. К 20-м годам относятся начала Хаймито фон Додерера, прозаика, который создал свои наилучшие произведения лишь в 1950–1960-е годы. Отличительная черта его творчества – неисчерпаемое здоровье и жизнелюбие, которому не нужно никаких особых удовольствий, чтобы чувственно наслаждаться самим процессом жизни, – удовольствие просто в том, чтобы жить. Отдаленно отражается старинный австрийский оптимизм, но если сказать о Додерере, что никакие бедствия и катастрофы современного мира не могли вывести его из состояния здоровой чувственной невозмутимости, – будет ли это лучшая ему похвала? После первой мировой войны духовно-нравственное единство классической австрийской культуры распадается не только на мелкие осколки, но и на солидные фрагменты, которые испытывают тягу к целому. Можно исходить из логики и острой правдивости мысли, можно исходить из чувственности как мира «в себе». Крупнейший поэт межвоенной Австрии, Йозеф Вайнхебер, исходил из риторической поэзии – само представление о ней едва ли где было так живо, как в Австрии, где дерево барочно-просветительской традиции стояло долго, неколебимо и где даже поэт XX века мог бы чувствовать себя его веточкой.

Представление о том, что поэзия есть нечто «вообще» возвышенное, а стихотворная форма гарантирует высоту формы, и мысли, и содержания, именно в Австрии и могло возродиться в нетронутom виде. И очень символично то, что такое представление перешло теперь к поэту не по наследству – как в 1880-е годы поэтическая традиция к Гофмансталю, – но что поэт 1920-х годов должен был подни-

маться к такой поэзии из «низов». Йозеф Вайнхебер и был таким поэтом, мечтавшим о строгих и вневременных формах поэзии, где он мог быть соседом Алкея или Горация. Вайнхебер достиг в поэзии большого уровня – однако не без натужности усилий, которые ощутимы в искусственности поэтической дикции; и, как положено такой риторической поэзии, возвышенное и житейски-простое, комическое, юмористическое распались, и наряду с возвышенно-вневременной лирикой Вайнхебер создавал «венскую» поэзию, которая должна была быть безыскусной, простой.

Гвидо Цернатто написал в одном стихотворении такую строку:

Ich möcht nichts werden. Ich will sein¹⁸.

Сказано скромно, между прочим – и безапелляционно, с вызовом: *быть*, сознание своей самоценности «в себе» как частицы стройного и прекрасного мира, противопоставлено *становлению* на «немецкий» лад – вечным, мучительным и редко успешным поискам самого себя, своей сущности, противопоставлено росту, развитию, борьбе, годам учения и годам странствия без конца и края, только с надеждой на удачу. Однако – как *быть* без этих поисков и борьбы?! Как *быть* – не став еще самим собой! И все же – какая это посвоему сильная и звонкая строка, на беду угодившая в слабое по мысли, утомленное и, конечно, очень скромное стихотворение.

Эта одна строка служит, однако, залогом беспрестанной мысли о своем существовании, бесконечного процесса самоосознания, которое живет и возрождается в лучших австрийских поэтах. Так, Пауль Целан, родом с восточного края прежней Австрии, стал задачей для поэтического сознания всей Европы, так и не разрешив противоречия между весомостью слова и невыразительностью и требовательностью немоты. Так, в наше послевоенное время австрийская линия мысли – отчаявшейся в бытии и его утверждающей – парадоксально и чудесно возродилась в творчестве Томаса Бернхарда, талантливейшего среди новых австрийских писателей.

¹⁸ Zernatto G. Die Sonnenwekde. Gesamtausgabe der Gedichte. Hrsg. von H. Brunmayr. Salzburg, 1961, S. 116.

* * *

Если взглянуть теперь на прошлое австрийской поэзии, то можно видеть, что она теряется в глубине веков и в этой глубине не всегда легко отделяется, как нечто несомненно специфическое, от окружающих ее поэтических, литературных явлений. С конца XVIII века австрийская поэзия выступает как нечто вполне сформировавшееся, ставшее самим собою, ставшее – к своему бытию. Здесь, напротив, нельзя смешивать ее с окружающим развитием, с окружающим общим движением литературных сил. Адальберт Штифтер писал однажды (3 августа 1847 года): «Люди, которые говорят [...], будто смешно и забавно оставлять за Австрией создателя «Песни о нибелунгах», сами для меня смешны и забавны, потому что даже не подозревают, что сели в лужу. Кто знает Австрию и «Песнь о нибелунгах», для того уже не может быть сомнений – но Гримм и Лахман именно Австрии и не знают, поэтому для них эта поэма повисает в воздухе...»¹⁹ Урок – не просто читать австрийских поэтов, но познавать через них то, что существенно для них самих, познавать и читать их в свете этой сущности...

А. В. Михайлов

¹⁹ Stifter A. Op. cit., Bd. 17, S. 245.

*Lyrik
aus Österreich
in russischen
Nachdichtungen
19.–20.
Jahrhundert*

*Австрийская
поэзия
XIX–XX
веков
в русских
переводах*

Österreichische Bundeshymne

Melodie von W. A. Mozart

Text von Paula Preradovic

Musikalische Einrichtung
von Viktor Keldorfer

Feierlich, doch nicht zu langsam

Sing-
stimmen

1. Land der Ber - ge, Land am S'tro-me, Land der Äk - ker, Land der
2. Heiß um - feh-det, wild um-strit-tan, liegst dem Erd-teil du in -
3. Mu - ßig in die neu - en Zel-ten, frei und gläu-big steh uns

1. Do-me, Land der Hü-m-mer, zu - kunfts-reich! Hei-mat bist du
2. mit-ton ei-nem star-ken Her-zen gleich. Hast seit frü-hen
3. schreiten, ar-beits-froh und hoff-nungs-reich. Ei-nig laß in

1. gro-ßer Schö-ne, Volk, be-gna-delt für das Schö-ne, viel-ge-
2. Ah-nen-ta-ge-n ho-her Sen-dung Last ge-tra-gen, viel-ge-
3. Brü-der-chö-ren, Va-ter-land, dir Treu-e schwören, viel-ge-

1. rüh-m-tes Ö-ster-reich. Viel-ge-rüh-m-tes Ö-ster-reich.
2. prüf-tes Ö-ster-reich. Viel-ge-prüf-tes Ö-ster-reich.
3. lieb-tes Ö-ster-reich. Viel-ge-lieb-tes Ö-ster-reich.

Paula von Preradović

LAND DER BERGE, LAND AM STROME

Land der Berge, Land am Strome,
Land der Äcker, Land der Dome,
Land der Hämmer, zukunftsreich!
Heimat bist du großer Söhne,
Volk, begnadet für das Schöne,
Vielgerühmtes Österreich!

Heiß umfehdet, wild umstritten
Liegst dem Erdteil du inmitten,
Einem starken Herzen gleich.
Hast seit frühen Ahnentagen
Hoher Sendung Last getragen,
Vielgeprüftes Österreich!

Mutig in die neuen Zeiten,
Frei und gläubig sieh uns schreiten,
Arbeitsfroh und hoffnungsreich.
Einig laß in Brüderchören,
Vaterland, dir Treue schwören,
Vielgeliebtes Österreich!

Паула фон Прерадович

АВСТРИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГИМН

Наши доли, наши горы,
Реки, пашни и соборы,—
Будь вовек себе верна,
Ты, сынов отчизна славных,
Гордых, вольных, равноправных:
Австрия, моя страна!

В дни страданья, в дни раздора,
Ты не угашала взора,
Ты всегда была сильна,—
Где течет Дуная лента—
Бьется сердце континента:
Австрия, моя страна!

Глянь в грядущее спокойно:
Будь сынов своих достойна,
Будь надеждою полна—
Дней беды не вспоминая,
Процветай, земля родная,
Австрия, моя страна!

Ignaz Franz Castelli

DIE BEIDEN PFLÜGE

In einer Scheuer lag versteckt
Ein Pflug, schon ganz mit Rost bedeckt;
Er sah mit Neid und stillem Gram,
Wenn blank und glänzend alle Nacht
Sein Bruder von dem Felde kam.
Da fragt' er einst mit trübem Sinn:
„Wie kömmt's, daß ich so rostig bin,
Indes du glänzest voll von Pracht,
Wir sind aus gleichem Stoff gemacht?“ –
„Sieh, lieber Freund!“ – versetzte der,
„*Mein Glanz kömmt von der Arbeit her.*“ –

SCHLUMMERLIED

Sohn der Ruhe, sinke nieder,
Holder Schlummer auf die Flur,
Dein Umarmen stärke wieder
Die ermüdete Natur.

Schweigt ihr Vögel! ihr entweihet
Jenen Gott der stumm und blind,
Wenn er auch die Sonne scheuet,
Ist er doch der Unschuld Kind.

Lispelt Kühlung ihm ihr Weste,
Rosenhügel sei sein Thron,
Beugt euch drüber hin ihr Äste,
Frieden ihm, des Friedens Sohn!

Игнац Франц Кастелли

ДВА ПЛУГА

В сарае ржавый плуг в углу
На земляном лежал полу.
Взирал он, завистью объят,
Как с поля в сумерках домой,
Сверкая, возвращался брат.
Однажды брата он спросил:
«И как ты блеск свой сохранил,
Тогда как я, твой брат родной,
Ржавее ржавчины самой?»
А тот – в ответ: «Пойми, мой друг,
Ржаветь мне было недосуг».

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Сын покоя, сладкой дремой,
Сон, природу опьяни,
Всю усталость, всю истому
Нежной лаской отгони.

Звук – кощунство! Смолкни, птица!
Бог немой, незрячий свят.
Солнечных лучей стыдится
Он, чистейшее из чад.

Ветры, свежестью овейте
Трон его среди долин.
Ветви, полог богу свейте –
Дай покой, покоя сын!

Marianne von Willemer

AN DEN OSTWIND

Was bedeutet die Bewegung?
Bringt der Ostwind frohe Kunde?
Seiner Schwingen frische Regung
Kühlt des Herzens tiefe Wunde.

Kosend spielt er mit dem Staube,
Jagt ihn auf in leichten Wölkchen,
Treibt zur sichern Rebenlaube
Der Insekten frohes Völkchen.

Lindert sanft der Sonne Glühen,
Kühlt auch mir die heißen Wangen,
Küßt die Reben noch im Fliehen,
Die auf Feld und Hügel prangen.

Und mich soll sein leises Flüstern
Von dem Freunde lieblich grüßen;
Eh noch diese Hügel düstern,
Sitz ich still zu seinen Füßen.

Und du magst nun weiterziehen,
Diene Frohen und Betrübten;
Dort, wo hohe Mauern glühen,
Finde ich den Vielgeliebten.

Ach, die wahre Herzenskunde,
Liebeshauch, erfrishtes Leben
Wird mir nur aus seinem Munde,
Kann mir nur sein Atem geben.

AN DEN WESTWIND

Ach, um deine feuchten Schwingen,
West, wie sehr ich dich beneide:

Марианна фон Виллемер

К ВОСТОЧНОМУ ВЕТРУ

Ах, откуда оживленье?
Не с Востока ль ветер дует?
Свежих крыл его движенье
Рану сердца мне врачует.

Вот, ласкаясь, прах он тронет
И закрутит облачками,
И в листву под лозы гонит
Мушек радостных с жучками.

Нежно солнца жар смягчает,
Холодит мой он щеки,
Мимо гроздьев пролетает,
Их целует на припеке.

Мне в его дыханьи веет
Друга тысяча признаний;
Холм погаснуть не успеет,—
Встречу тысячу лобзаний.

Так, ты можешь мчаться дале
В пользу близким и томимым.
Там, где в блеске стены встали,
Встречусь вновь с многолюбимым.

Весть от сердца, вздох любви,
То, чем жизнь моя свежеет,
Мне звучит в его лишь слове,
Из его лишь уст мне веет.

К ЗАПАДНОМУ ВЕТРУ

Ах, завидую тебе я,
Ветер западный крылатый:

Denn du kannst ihm Kunde bringen,
Was ich durch die Trennung leide.

Die Bewegung deiner Flügel
Weckt im Busen stilles Sehnen;
Blumen, Augen, Wald und Hügel
Stehn bei deinem Hauch in Tränen.

Doch dein mildes, sanftes Wehen
Kühlt die wunden Augenlider;
Ach, für Leid müßt ich vergehen,
Hofft ich nicht, wir sehn uns wieder.

Geh denn hin zu meinem Lieben,
Spreche sanft zu seinem Herzen;
Doch vermeid, ihn zu betrüben,
Und verschweig ihm meine Schmerzen.

Sag ihm nur, doch sags bescheiden:
Seine Liebe sei mein Leben;
Freudiges Gefühl von beiden
Wird mir seine Nähe geben.

Ты ему расскажешь, вея,
Как я мучаюсь утратой!

Только двинешь ты крылами,
Полною тихой я тоскою,
Взор, цветы, леса с холмами
Увлажняются слезою.

Все же нежное дыханье
Студит раненые веки;
Умерла б я от страданья,
Разлученная навеки.

Мчись же к милому скорее,
Прошепчи привет разлуки
И, смущать его не смея,
Умолчи про эти муки.

Ах, скажи, но не волнуй:
Жизнь моя в его любви,
Заживу я, полюблю я,
Только с ним лишь буду внове!

Johann Mayrhofer

MEMNON

An Franz Schubert

Den Tag hindurch nur einmal mag ich sprechen,
Gewohnt zu schweigen immer und zu trauern:
Wenn durch die nachtgebor'nen Nebelmauern
Aurens Purpurstrahlen liebend brechen.

Für Menschenohren sind es Harmonien.
Weil ich die Klage selbst melodisch künde
Und durch der Dichtung Glut das Rauhe ründe,
Vermuten sie in mir ein selig Blühen.

In mir, nach dem des Todes Arme langen,
In dessen tiefstem Herzen Schlangen wühlen;
Genährt von meinen schmerzlichen Gefühlen
Fast wütend durch ein ungestillt Verlangen:

Mit dir, des Morgens Göttin, mich zu einen,
Und weit von diesem nichtigen Getriebe,
Aus Sphären edler Freiheit, [aus Sphären] reiner Liebe,
Ein stiller, bleicher Stern herab zu scheinen.

SCHIFFERS NACHTLIED

Dioskuren, Zwillingsterne,
Die ihr leuchtet meinem Nachen,
Mich beruhigt auf dem Meere
Eure Milde, Euer Wachen.

Wer auch fest in sich begründet,
Unverzagt dem Sturm begegnet;

Иоганн Майргофер

МЕМНОН

(Францу Шуберту)

Судьбы моей печален приговор.
Я глух и нем, пока в тумане горы.
Но лишь блеснет пурпурный луч Авроры,
С пустыней я вступаю в разговор.

Как легкий вздох гармонии живой,
Звучит мой голос скорбно и уныло.
Поэзии волшебное горнило
Миротворит мой пламень роковой.

Я ничего не вижу впереди,
Лишь смерть ко мне протягивает длани.
Но змеи безрассудных упований
Еще живут и мечутся в груди.

С тобой, заря, увы, с тобой одной
Хотел бы я покинуть эти своды,
Чтоб в час любви из ясных недр свободы
Блеснуть над миром трепетной звездой.

НОЧНАЯ ПЕСНЬ ЛОДОЧНИКА

Диоскуры, свет ваш тихий
Дарит мне успокоенье.
По ночам в открытом море
Неусыпно ваше бденье.

Кто отваги не теряет
В ураганном диком вое,

Fühlt sich doch in euren Strahlen
Doppelt mutig und gesegnet.

Dieses Ruder, das ich schwinge,
Meeresfluten zu zerteilen;
Hänge ich, so ich geborgen,
Auf an eures Tempels Säulen.

HELIOPOLIS

Am Bache, wo die Rosen hauchen,
Die Wellen steigen, niedertauchen,
Die Luft in rotem Golde schwimmt:
Da fühlst du selig dich gestimmt.

Du saugst die Strahlen ein des Lichts,
Du wünschest nichts, du schaffest nichts—
Denn jedes äußre Bild zerfließt,
Im Frieden, der im Innern ist.

Doch—hat des Schicksals rohe Macht
Zum Zwiespalt dich mit dir gebracht:
Dann sproßt aus deiner tiefen Qual—
Der Wirklichkeit zum Hohn—das Ideal.

AKKORDE

Tannen düstern,
Schauer flüstern,
Und die Zukunft,
Wie ein Riese,
Steigt empor
Auf jener Wiese,
Und auf eines Tempels Trümmer
Fällt des Mondes grauer Schimmer.

Tannen düstern,
Schauer flüstern:

Тот под вашими лучами
Тверже и смелее вдвое.

Эти весла не страшатся
Даже вала рокового,
Я вздымаюсь на колонны
Храма вашего святого.

ГЕЛИОПОЛИС

У струй ручья, где розы дышат,
Где волны мерно гладь колышут,
Где в алом злате даль плывет,
Блаженство в душу мне сойдет.

Устами жадно тянешь свет,
Желаний нет, стремлений нет.
Размыты внешние черты
У мира, что познал здесь ты.

Но рока грубый произвол
Душе твоей несет раскол:
Ростком из мук глубинных встал –
В упрек всей пошлой яви – идеал.

АККОРДЫ

Ели чернеют,
Люди робеют.
Образ грядущего –
Тень исполина –
Тихо вздымается
Ввысь над долиной.

Над грудой храмовых развалин
Свет месяца парит, печален.

Ели чернеют,
Люди робеют.

Was die Dunklen
Dir bereiten,
Du vermagst es
Nicht zu deuten;
Was die Träne längst befeuchtet,
Schau es traurig klar beleuchtet!

Gedanken gehen
Auf und nieder—
Sterne säen
Zauberlieder;
Büsche streuen
Träumereien;
Geister raten
Uns zu Taten,
Jene wiegen,
Diese kriegen,
Kräfte engen,
Kräfte drängen
Nichts erzielend, ewig streben—
Ist das Leben?

Что́ проступает
Тьмою угрюмой,
То непостижно,
Сколько ни думай.
Слезами некогда омытое
Пугает, взорам всем открытое.
Мысли реют
И падают вниз,
Звезды сеют
Мечту и каприз,
И шорох куста
Звучит неспроста.
Нас духов дыхание
Ведет на деяния –
Один нас улещит,
Другой нас исхлещет,
То хлад нас остудит,
То сил в нас прибудет,
В бесцельном стремленьи – закон естества?
Жизнь такова?

Joseph Christian von Zedlitz

DIE NÄCHTLICHE HEERSCHAU

Nachts um die zwölfte Stunde
Verläßt der Tambour sein Grab,
Macht mit der Trommel die Runde,
Geht wirbelnd auf und ab.

Mit seinen entfleischten Armen
Rührt er die Schlägel zugleich,
Schlägt manchen guten Wirbel,
Reveil und Zapfenstreich.

Die Trommel klinget seltsam,
Hat gar einen starken Ton:
Die alten toten Soldaten
Erwachen im Grab davon.

Und die im tiefsten Norden
Erstarrt in Schnee und Eis,
Und die in Welschland liegen,
Wo ihnen die Erde zu heiß;

Und die der Nilschlamm decket
Und der arabische Sand,
Sie steigen aus ihren Gräbern
Und nehmen's Gewehr zur Hand.

Und um die zwölfte Stunde
Verläßt der Trompeter sein Grab,
Und schmettert in die Trompete
Und reitet auf und ab.

Da kommen auf luftigen Pferden
Die toten Reiter herbei,
Die blutgen alten Schwadronen
In Waffen mancherlei.

Йозеф Кристиан фон Цедлиц

НОЧНОЙ СМОТР

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабанщик;
И ходит он взад и вперед,
И бьет он проворно тревогу.
И в темных гробах барабан
Могучую будит пехоту:
Встают молодцы егеря,
Встают старики гренадеры,
Встают из-под русских снегов,
С роскошных полей италийских,
Встают с африканских степей,
С горячих песков Палестины.

В двенадцать часов по ночам
Выходит трубач из могилы;
И скачет он взад и вперед,
И громко трубит он тревогу.
И в темных могилах труба
Могучую конницу будит:
Седые гусары встают,
Встают усачи кирасиры;
И с севера, с юга летят,
С востока и с запада мчатся
На легких воздушных конях
Один за другим эскадроны.

Es grinsen die weißen Schädel
Wohl unterm Helm hervor,
Es halten die Knochenhände
Die langen Schwerter empor.

Und um die zwölfte Stunde
Verläßt der Feldherr sein Grab,
Kommt langsam hergeritten,
Umgeben von seinem Stab.

Er trägt ein kleines Hütchen,
Er trägt ein einfach Kleid,
Und einen kleinen Degen
Trägt er an seiner Seit.

Der Mond mit gelbem Lichte
Erhellte den weiten Plan,
Der Mann im kleinen Hütchen
Sieht sich die Truppen an.

Die Reihen präsentieren
Und schultern das Gewehr,
Dann zieht mit klingendem Spiele
Vorüber das ganze Heer.

Die Marschäll und Generale
Schließen um ihn einen Kreis,
Der Feldherr sagt dem Nächsten
Ins Ohr ein Wörtlein leis.

Das Wort geht in der Runde,
Klingt wieder fern und nah:
„Frankreich!“ heißt die Parole,
Die Losung „Sankt Helena!“

Dies ist die große Parade
Im elyseischen Feld,
Die um die zwölfte Stunde
Der tote Cäsar hält.

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает полководец;
На нем сверх мундира сюртук;
Он с маленькой шляпой и шпагой;
На старом коне боевом
Он медленно едет по фрунту:
И маршалы едут за ним,
И едут за ним адъютанты;
И армия честь отдает.
Становится он перед нею;
И с музыкой мимо его
Проходят полки за полками.

И всех генералов своих
Потом он в кружок собирает,
И ближнему на ухо сам
Он шепчет пароль свой и лозунг;
И армии всей отдают
Они тот пароль и тот лозунг:
И *Франция* – тот их пароль,
Тот лозунг – *Святая Елена*.
Так к старым солдатам своим
На смотр генеральный из гроба
В двенадцать часов по ночам
Встает император усопший.

Ferdinand Raimund

SO MANCHER STEIGT HERUM

So mancher steigt herum,
Der Hochmut bringt ihn um,
Trägt einen schönen Rock,
Ist dumm als wie ein Stock,
Von Stolz ganz aufgebläht,
O Freundchen, das ist öd!
Wie lang stehts denn noch an,
Bist auch ein Aschenmann!
 Ein Aschen! Ein Aschen!

Ein Mädchen kommt daher,
Von Brüßlerspitzen schwer,
Ich frag gleich, wer sie wär?
Die Köchin vom Traiteur!
Packst mit der Schönheit ein,
Gehst gleich in d' Kuchel 'nein!
Ist denn die Welt verkehrt?
Die Köchin ghört zum Herd.
 Ein Aschen! Ein Aschen!

Doch vieles in der Welt,
Ich mein nicht etwa 's Geld,
Ist doch der Mühe wert,
Daß man es hoch verehrt.
Vor alle braven Leut,
Vor Lieb und Dankbarkeit,
Vor treuer Mädchen Glut,
Da zieh ich meinen Hut.
 Kein Aschen! Kein Aschen!

Фердинанд Раймунд

* * *

Не ведая стыда,
Он лезет в господа,
Разряжен, словно шут,
От гордости раздут,
А глупый, как бревно,
Ну разве не смешно?
Видали жениха! –
Не человек – труха!
Труха, труха.

Вот барышня прошла,
Не правда ли, мила?
Оборки, кружева...
Графиня? – черта с два!
Кухарка в кабаке,
Не в пудре, а в муке!
Совсем рехнулся мир,
Не нужен мне трактир! –
Труха, труха.

Поймите, господа,
Я труд ценил всегда
И не богатство чту,
А честь и доброту.
Пред доблестью святой
И девушкой простой
Снимаю шляпу я,
А прочее, друзья, –
Труха, труха!

LIED DES VALENTIN

Da streiten sich die Leut herum
Oft um den Wert des Glücks,
Der eine heißt den andern dumm,
Am End weiß keiner nix.
Da ist der allerärmste Mann
Dem andern viel zu reich.
Das Schicksal setzt den Hobel an
Und hobelt s' beide gleich.

Die Jugend will halt stets mit Gewalt
In allem glücklich sein,
Doch wird man nur ein bisschen alt,
Da find't man sich schon drein.
Oft zankt mein Weib mit mir, o Graus!
Das bringt mich nicht in Wut.
Da klopf ich meinen Hobel aus
Und denk, du brummst mir gut.

Zeigt sich der Tod einst mit Verlaub
Und zupft mich: Brüderl, kumm!
Da stell ich mich im Anfang taub
Und schau mich gar nicht um.
Doch sagt er: Lieber Valentin!
Mach keine Umständ! Geh!
Da leg ich meinen Hobel hin
Und sag der Welt Adje.

ПЕСНЯ ВАЛЕНТИНА

Иной готов на стенку лезть,
О счастье спор затеяв,
А где найти его? – бог весть!
Послушать грамотеев:
Живет в довольстве голытьба
И деньги сберегает, –
Рубанок вытащит Судьба,
Любого обстригает.

Мечтает юность, что всегда
Она счастливой будет,
А станет голова седа,
Совсем иначе судит.
Жена ругается – хоть вой!
Попутал черт старушку, –
Подсуну ей рубанок свой:
Пускай снимает стружку!

Когда ж совсем я стану плох,
И Смерть придет за мною,
Я притворюсь, что, мол, оглох
И повернусь спиною.
Процедит старая зуда:
«Нельзя ли без комедий!» –
Рубанок брошу я тогда:
«До скорого, соседи!»

Franz Grillparzer

CHERUBIN

Wer bist du, die in meines Herzens Tiefen,
Die nie der Liebe Sonnenblick durchstrahlt,
Mit unbekannter Zaubermacht gegriffen?
Wer bist du, süße, reizende Gestalt?
Gefühle, die im Grund der Seele schliefen,
Hast du geweckt mit magischer Gewalt;
Gefesselt ist mein ganzes, tiefstes Wesen,
Und Kraft und Wille fehlt, das Band zu lösen!

Seh ich der Glieder zarte Fülle prangen,
Entstellt durchs schöngeschmückte Knabenkleid,
Das süße Rot der schamgefärbten Wangen,
Die blöde, knabenhafte Schüchternheit,
Das dunkle, erst erwachende Verlangen,
Das brennend wünscht und zu begehren scheut,
Den Flammenblick scheu in den Grund gegraben;
So scheinst du mir der reizendste der Knaben!

Doch seh ich dieses Busens Wallen wieder,
Verräterisch durchs neidsche Kleid gebläht,
Des Nacken Silber, gleich des Schwans Gefieder,
Vom weichen, seidnen Lockenhaar umweht,
Hör ich den hellen Klang der Zauberlieder,
Und was ein jeder Sinn noch leis erspät,
Horch ich des Herzens ahnungsvollen Tönen;
So nenn ich dich die Krone aller Schönen.

Schlicht diesen Streit von kämpfenden Gefühlen,
Bezähme dieses siedend heiße Blut,
Laß meinen Blick in diesen Reizen wühlen,
Laß mich der Lippen fieberische Glut
In dieses Busens regen Wellen kühlen,
Und meiner Küsse räuberische Flut
Soll das Geheimnis dir im Sturm entreißen,
Welch ein Geschlecht du würdigst sein zu heißen.

Франц Грильпарцер

ХЕРУВИМ

ЛЕВИЦЕ

Ты, взволновавший солнечным сияньем
Мою мечту в сердечной глубине,
С твоим непостижимым обаяньем,
Прелестный образ, кто ты, молви мне!
Небесным пробуждаешь ты влияньем
Земные чувства в беспросветном сне,
И покорен твоим волшебным зовом,
Не в силах я противиться оковам.

Когда я созерцаю стан твой стройный
И вижу твой полумужской наряд,
Румянец твой застенчивый и знойный,
Как будто бы грехом тебя корят,
Твой робкий пыл, твой жар благопристойный,
И твой смущенный ненасытный взгляд,
То, пламенем светясь небезопасным,
Ты кажешься мне мальчиком прекрасным.

Но я смотрю, как трепетным пареньем
Ткань легкую твою вздымает грудь
И словно лебединым опереньем
Кудрями ты не можешь не блеснуть,
А песнь твою чарующим прозреньем
Мне к небесам указывает путь,
И, нежностью прельщая сокровенной,
Ты женственностью дышишь совершенной.

Ты совладай с моим кипучим жаром,
Пока еще я у тебя в плену
И взор привержен бесподобным чарам;
Дай погрузиться мне в твою волну,
И прохладив уста твоим нектаром,
К твоей груди я, наконец, прильну,
В разбойных поцелуях постигая,
Какого пола красота такая!

ALLGEGENWART

Wo ich bin, fern und nah,
Stehen zwei Augen da,
Dunkelhell,
Blitzesschnell,
Schimmernd wie Felsenquell,
Schattenumkränzt.

Wer in die Sonne sieht,
Weiß es, wie mir geschieht;
Schließt er das Auge sein,
Schwarz und klein,
Sieht er zwei Pünktlein
Überall vor sich.

So auch mir immerdar
Zeigt sich dies Augenpaar,
Wachend in Busch und Feld,
Nachts, wenn mich Schlaf befällt,
Nichts in der ganzen Welt
Hüllt mir es ein.

Gerne beschrieb ich sie,
Doch ihr verstündets nie:
Tag und Nacht,
Ernst, der lacht,
Wassers und Feuers Macht
Sind hier in eins gebracht,
Lächeln mich an.

Abends, wenns dämmert noch,
Steig ich vier Treppen hoch,
Poch ans Tor,
Streckt sich ein Hälslein vor,
Wangen rund,
Purpurmund,
Nächtig Haar,
Stirne klar,
Drunter mein Augenpaar!

ВСЕПРИСУТСТВИЕ

Днем и во тьме ночной
Очи передо мной,
Молния или луч
В грозном соседстве туч,
Светящийся горный ключ
В мрачной тени.

Хочешь понять меня?
На солнце средь бела дня
Глянь и зажмурься, друг,
Чтоб вместо солнца вдруг
Двоящийся черный круг
Перед тобой поплыл...

Даже ночью, во сне,
Очи видятся мне;
Там, где трава шумит,
Взор их меня томит,
И ничто не затмит
Этих очей.

Их описать нельзя;
Радуя и грозя,
Всюду, везде, всегда
Двоящаяся звезда,
Жар холоднее льда,
Огонь, в котором вода,
Улыбается мне.

Только темнеть начнет,
Я стучусь у ворот,
Чтобы скорей возник
Надо мной милый лик.
Трепетная краса,
Черные волоса,
И средь ночных лучей
Светится горячей
Пламень этих очей!

ALS SIE, ZUHÖREND, AM KLAVIER SASS

Still saß sie da, die Lieblichste von allen,
Aufhorchend, ohne Tadel, ohne Lob;
Das dunkle Tuch war von der Brust gefallen,
Die, nur vom Kleid bedeckt, sich atmend hob;
Das Haupt gesenkt, den Leib nach vorn gebogen,
Wie von den fliehnden Tönen nachgezogen.

Nenn ich sie schön? Ist Schönheit doch ein Bild,
Das selbst sich malt und nur sich selbst bedeutet,
Doch Höheres aus diesen Zügen quillt,
Die wie die Züge einer Schrift verbreitet,
An sich oft bildlos, unscheinbare Zeichen,
Doch himmlisch durch den Sinn, den sie erreichen.

So saß sie da, das Regen nur der Wangen
Mit ihren zarten Muskeln rund und weich,
Der Wimpern Zucken, die das Aug umhangen,
Der Lippen Spiel, die Purpurlädchen gleich,
Den Schatz von Perlen hüllen jetzt, nun zeigen,
Verriet Gefühl, von dem die Worte schweigen.

Und wie die Töne brausend sich verwirren,
In stetem Kampfe stets nur halb versöhnt,
Jetzt klagen, wie verflogne Tauben girren,
Jetzt stürmen, wie der Gang der Wetter dröhnt,
Sah ich ihr Lust und Qual im Antlitz kriegen
Und jeder Ton ward Bild in ihren Zügen.

Mitleidend wollt ich schon zum Künstler rufen:
„Halt ein! Warum zermalmst du ihre Brust?“
Da war erreicht die schneidendste der Stufen,
Der Ton des Schmerzes ward zum Ton der Lust,
Und wie Neptun, vor dem die Stürme flogen,
Hob sich der Dreiklang ebend aus den Wogen,

Und wie die Sonne steigt; die Strahlen dringen
Durch der zersprengten Wetter dunkle Nacht,
So ging ihr Aug, an dem noch Tropfen hingen,
Hellglänzend auf in sonnengleicher Pracht;

КАК ОНА, СЛУШАЯ, СИДЕЛА У КЛАВИРА

Предавшись мимолетному мечтанью,
Она не смела, кажется,дохнуть;
С плеч соскользнул платок, и легкой тканью
Была прикрыта трепетная грудь;
Склонясь вперед, пленительное тело
Как будто вслед за музыкой летело.

Неужто назначенье красоты –
Лишь запечатлеваться перед нами?
Но нет! Преображаются черты,
С таинственными схожи письменами,
Прекрасными не в чувственном гореньи,
А как бы в сверхъестественном прозреньи.

Она не шевелилась; лишь порою
Дрожали мышцы нежные ланит,
Пока ресницы чуткою игрою
И тот румяный ларчик, что хранит
Жемчужины, хоть спрячешь их едва ли,
В безмолвии волненье выдавали.

Верны своим бушующим глубинам,
Наполовину лишь примирены,
То шумом гроз, то стоном голубиным,
То жалобой, то грохотом волны
Лады вскипали в творческом броженье,
Являя в ней свое изображенье.

Артисту крикнуть я хотел: «Довольно
Мелодиями сердце надрывать!»
Но в этот миг он сделал ей так больно,
Что можно было счастьем боль назвать;
Так бог Нептун возносит временами
Смиряющий трезубец над волнами.

Как бы сквозь толщу туч лучи скользнули,
Когда внезапно минула гроза;
Так в дымке слез доверчиво блеснули
Заоблачным сиянием глаза,

Ein leises Ach aus ihrem süßen Munde,
Sah, wie nach Mitgefühl, sie in die Runde.

Da trieb mich auf; nun soll sie hören!
Was mich schon längst bewegt, nun werd ihr kund!
Doch blickt sie her; den Künstler nicht zu stören
Befiehlt ihr Finger schwichtgend an dem Mund,
Und wieder seh ich horchend sie sich neigen
Und wieder muß ich sitzen, wieder schweigen.

BEGEGNUNG

Wie schön sie war! die bräunlich blonden Flechten
Bedeckt vom Strohhut mit dem breiten Rand,
Ging sie allein! – Doch nein! zu ihrer Rechten
Ging Unschuld, wie ein Kind sie leitend an der Hand.

Das Antlitz Rosen; aber nicht wie rote,
Wie weißer Rosen Schmelz im Morgentau;
Das Auge, feurig kaum – denn Feuer drohte –
Nicht blau, nicht braun, fast, fürcht' ich, eher grau;

Und doch hob sich der Wimper weiche Seide
Und richtete der Stern sich heimatwärts,
In warmen Strahlen lächelnd wie die Freude,
In feuchtem Taue schwimmend wie der Schmerz.

Nichts scharfgezogen in dem schönen Runde,
Die Nase, wie kein Kunstblatt sie begehrt,
In weichem Einbug schließend zu dem Munde,
Halb kindisch fast nach aufwärts noch gekehrt.

Der Mund, in üpp'ger Fülle leicht geschlossen,
Hielt nur zu sehr mit seinen Perlen Haus,
Doch Blumen gleich, von Zephyrhauch umflossen,
Sog er die Luft und hauchte Balsam aus.

Der Glieder Spiel – doch vor dem milden Scheine
Trat ich zurück, obgleich von Wünschen heiß,
Der leichte Kahn, wie schön trägt er die eine,
Spräng' noch ein zweites zu – wer weiß? wer weiß?

И, мнилось, на устах душа живая
Трепещется, к сочувствию взывая.

Подумал я, что высказать мне можно
Сочувствие, которым я дышал,
Но пригрозил мне пальчик: Осторожно!
Артисту как бы я не помешал;
И снова в ней все фибры зазвучали,
И вновь я принужден молчать в печали.

ВСТРЕЧА

Соломенной шляпой чуть прикрыта,
Светилась темно-русая коса,
Как будто не нужна красе защита,
Пока невинностью овеяна краса.

Схож с розой лик, однако с розой белой
В росистой свежести, не с красной, нет;
У нежных глаз в прозрачности несмелой
Не голубой, боюсь я, серый цвет.

Затаена в ресницах шелковистых,
Вот-вот взлетит звезда в родную даль,
Смеюсь, как радость, в проблесках лучистых,
В струистой мгле купаясь, как печаль.

Точеный в совершенстве безмятежном,
Безоблачно венчающий уста,
По-детски вздернут нос в изгибе нежном,
Чья трепетная линия чиста.

Не выдают уста своих жемчужин,
Ревниво берегут бесценный клад,
Как вдруг цветок бывает обнаружен:
Предательски повеял аромат.

Как хороши осанка и походка!
Но не грозит ли святотатцу месть?
Ее одну выдерживает лодка,
А выдержит ли двух – бог весть, бог весть!

EIFERSUCHT IST EINE LEIDENSCHAFT...

Eifersucht ist eine Leidenschaft,
Die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.

FÜR KATHARINA FRÖHLICH

Ist's gleich, daß ich dich kenne,
Fast nur ein Augenblick,
Doch wenn ich wert dich nenne,
Nehm' ich es nicht zurück.
In flüchtigen Sekunden
Trifft das Geschick,
Was Jahre nicht gefunden,
Das gibt im Nu das Glück.
Der Erde dürft'ger Meister
Webt jahrelang am Stück,
Für Herzen und für Geister
Gebeut der Augenblick.

KUSS

Auf die Hände küßt die Achtung,
Freundschaft auf die offne Stirne,
Auf die Wange Wohlgefallen,
Sel'ge Liebe auf den Mund;
Aufs geschloßne Aug' die Sehnsucht,
In die hohle Hand Verlangen,
Arm und Nacken die Begierde;
Alles weitre Raserei!

AN EINE MATTE HERBSTFLIEGE

Wanken dir die matten Füße?
Ist der Flügel Schwung erlahmt?
Traurig schleichst du an dem Fenster,
Das einst deine Spiele sah;
Ach, der Sommer ist vergangen
Und der rauhe Winter nah!

РЕВНОСТЬ

Ревность — это страсть
Самому искать для себя напасть.

КАТАРИНЕ ФРЁЛИХ

Пусть нас неудержимый
Сегодня сблизил миг,
Союз нерасторжимый
В сердцах уже возник.
В бесплодном бьешься рвенье,
Как робкий ученик,
И вдруг в одно мгновенье
Блаженства ты достиг.
За годом год напрасно
Усердствует старик;
Умом и сердцем властно
Единый движет миг.

ПОЦЕЛУЙ

Руку целовать с почтеньем,
Лоб с благоговейной дружбой,
Щеки с восхищеньем нежным,
Губы с жаром целовать;
Очи целовать в томленьи,
Шею с вождельеньем пылким,
В исступлении безумном
Остальное целовать!

ОСЕННЕЙ МУХЕ

Шевелишься еле-еле?
Крылышки в параличе?
А, бывало, ты играла
Возле этого окна,
Только лето пролетело,
И зима тебе страшна.

Doch sieh meine welken Knie,
Sieh das Antlitz totenbleich,
Sieh der Augen mut'ges Feuer
Von der Krankheit Hauch dahin:
Ist denn schon mein Herbst gekommen,
Eh' mein Sommer noch erschien?

HEGEL

1

Möglich, daß du uns lehrst, prophetisch, das göttliche Denken;
Aber das menschliche, Freund, richtest du wahrlich zugrund.

2

Was mir an deinem System am besten gefällt?
Es ist so unverständlich wie die Welt.

3

Du schreibst die Musik zum Weltentext,
Singst, wie, was schon da ist, wird und wächst;
Doch wäre dein Tonstück nur Schall gewesen,
Hätten wir nicht früher den Text gelesen.

ABSCHIED VON GASTEIN

Die Trennungsstunde schlägt und ich muß scheiden,
So leb denn wohl, mein freundliches Gastein!
Du Trösterin so mancher bitterer Leiden,
Auch meine Leiden wiegtest du mir ein.
Was Gott mir gab, worum sie mich beneiden,
Und was der Quell doch ist von meiner Pein,
Der Qualen Grund, die wenige ermessen,
Du liebest michs auf kurze Zeit vergessen.

Denn wie der Baum, auf den der Blitz gefallen,
Mit einemmale strahlend sich verklärt,
Rings hörst du der Verwundrung Ruf erschallen,

Видишь, как я ковыляю,
Видишь, как я побледнел,
Как мои глаза померкли,
Как дышать мне тяжело;
Неужели мое лето
Скрылось, прежде чем пришло?

ГЕГЕЛЬ

1

Может быть, нас, как пророк, ты научишь божественной
мысли,
Но человеческий ум уничтожаешь ты, друг.

2

Чем хороша система твоя?
Она не ясней самого бытия.

3

Музыку пишешь ты на слова
Былого и будущего естества,
Но музыку мы оценим едва ли,
Если мы текста не прочитали.

ПРОЩАНИЕ С ГАСТЕЙНОМ

Итак, настало время расставанья;
Прощай, любезный Гастейн, минул срок,
Когда во мне будил ты упованья,
Смирив ожесточение тревог;
Скорбь моего завидного призванья,
Страдания божественный исток,
Глубины непомерные печали
Лишь здесь меня не слишком удручали.

Как дерево в роскошном освещенье,
Грозою беспощадной зажжено,
Во мраке вызывает восхищенье,

Und jedes Aug ist staunend hingekehrt,
Indes in dieser Flammen glühndem Wallen
Des Stammes Mark und Leben sich verzehrt,
Der, wie die Lohe steigt vom glühnden Herde,
Um desto tiefer niedersinkt zur Erde.

Und wie die Perlen, die die Schönheit schmücken,
Des Wasserreiches wasserhelle Zier,
Den Finder, nicht die Geberin beglücken,
Das freudenlose, stille Muscheltier,
Denn Krankheit nur und lange Qual entrücken
Das heißgesuchte, traurige Kleinod ihr,
Und was euch so entzückt mit seinen Strahlen,
Es ward erzeugt in Todesnot und Qualen.

Und wie der Wasserfall, des lautes Wogen
Die Gegend füllt mit Nebel und Getos,
Auf seinem Busen ruht der Regenbogen,
Und Diamanten schütteln rings sich los;
Er wäre gern im stillen Tal gezogen,
Gleich seinen Brüdern in der Wiesen Schoß.
Die Klippen, die sich ihm entgegensetzen,
Verschönen ihn, indem sie ihn verletzen.

Der Dichter so, ob hoch vom Glück getragen,
Umjubelt von des Beifalls lautem Schall,
Er ist der welke Baum, vom Blitz geschlagen,
Das arme Muscheltier, der Wasserfall.
Was ihr für Lieder haltet; es sind Klagen,
Gesprochen in ein freudenloses All,
Und Flammen, Perlen, Schmuck, die euch umschweben,
Gelöste Teile sinds von *seinem* Leben.

NAPOLEON

So stehst du still, du unruhvolles Herz,
Und bist gegangen zu der stillen Erde?
Was fünfzig Jahr' voll Hoheit und Beschwerde,
Was Heldenlust nicht gab und Heldenschmerz,
Das fandst du endlich nun im Schoß der Erde!
Ein Sohn des Schicksals stiegst du hinab—
Verhüllt wie deine Mutter sei dein Grab.

Хоть зрителям понять немудрено,
Что пламень этот – божье попущенье
И, вековое, небом сражено,
Не успевая при смерти потухнуть,
Пылает, чтобы тяжелее рухнуть;

Как жемчуг, украшение прекрасных,
Лучистая подводная звезда,
Вознаграждает в промыслах опасных
Ловцов, а не жемчужницу, когда,
Созрев едва в мучениях ужасных
Ценой непоправимого вреда,
Игрой своей земные тешит страсти,
Исчадие губительной напасти;

Как водопад в сиянии алмазном,
Являющий нам радугу свою,
Навек прельщен единственным соблазном:
Подобно братьям странствовать в краю
Радушном, ровном, хоть однообразном,
Где травы зеленеют, как в раю,
Не может не блистать красой гремучей
Лишь потому, что сломлен горной кручей;

Так и поэт; пускай с поэтом счастье,
Среди успехов и среди наград
Он дерево, горящее в ненастье,
Жемчужница, страдалец-водопад;
В ответ на ваше пылкое пристрастье
Он жалобы бросает наугад;
И перлами в восторге вы зовете
Частицы жизни в гибельном полете.

НАПОЛЕОН

Мятежный дух! И ты почил теперь,
И ты в земле нашел успокоенье?
Провел полвека ты в мирском волненье,
Герой, среди побед, среди потерь
И лишь в земле нашел успокоенье?
Ты сын судьбы; тебя прияла тьма,
Таинственная, как судьба сама.

Das Fieber warst du einer bösen Zeit;
Vielleicht bestimmt, des Übels Grund zu heben.
So flammtest du durchs aufgeregte Leben!
Doch, wie des Krankenlagers Ängstlichkeit
Dem Fieber pflegt der Krankheit Schuld zu geben,
Schienst du allein der Feind nur aller Ruh
Und trugst die Schuld, die früher war als du!

Was sie gesündigt ohne Unterlaß,
Was sie gefrevelt seit den frühesten Tagen,
Ward all zusammen auf dein Haupt getragen,
Du duldest für alle aller Haß!
Dich ließen sie nach jenem Schimmer jagen,
In dem sich jeder gerne selbst gesontt,
Wie du gewollt, nur nicht wie du gekonnt!

– Denn seit du fort, fließt nun nicht mehr das Blut,
In dem vor dir schon alle Felder rannen?
Ward Lohn den gegen dich vereinten Mannen?
Ist heilig das von dir bedrohte Gut?
Die Tyrannei entfernt mit dem Tyrannen?
Ist auf der freien Erde, seit du fort,
Nun wieder frei: Gedanke, Meinung, Wort?–

Dich lieben kann ich nicht!–Dein schweres Amt
War: eine Geißel Gottes sein hienieden.
Das Schwert hast du gebracht und nicht den Frieden,–
Genug hat dich die Welt darum verdammt!
Doch jetzt sei Urteil vom Gefühl geschieden,
Das Leben liebt und haßt; der Toten Ruhm
Ist der Geschichte heil'ges Eigentum.

Zum mind'sten wardst du strahlend hingestellt,
Zu kleiden unsrer Halbheit ekle Blöße,
Zu zeigen, daß noch Hoheit, Ganzheit, Größe
Gedenkbar sei in unsrer Stückelwelt,
Die sonst wohl gar im eignen Nichts zerflösse,
Daß noch die Gattung da, die starker Hand
Bei Cannä schlug, bei Thermopylä stand.

Und so tritt hin denn, in der Herrscher Zahl,
Die ewig leben auf der Nachwelt Zungen!
Zum Alexander, der die Welt bezwungen,

Ты мучил жгучим жаром век дурной;
Быть может, в этом вся твоя заслуга,
Но, как в припадке жалкого испуга
На горестном одре своем больной
Считает жар причиною недуга,
Так век решил, что ты виновней всех;
Однако до тебя родился грех.

Все, чем лукавый век сперва грешил,
Он приписал тебе в сужденье резком
И лицемеря в приговоре веском,
Тебя предать проклятью поспешил
За то, что ты дерзнул прельститься блеском,
Который влек других среди тревог;
Они хотели только, ты же смог.

Быть может, без тебя не льется кровь,
Что до тебя залить успела нивы,
И недруги твои миролюбивы,
И собственность везде бесспорна вновь,
Правители, быть может, справедливы,
И может быть, хоть где-нибудь народ
Законных удостоился свобод?

Любить я не могу тебя, но ты,
Бич божий, был ты сам себе уставом;
Не мир, но меч принес ты всем державам,
И подвиг твой превыше клеветы,
Так что сказать могу я с полным правом:
Жизнь любит и клянет, но наконец
Истории принадлежит мертвец.

По крайней мере, прикрывал ты срам
Ничтожной половинчатой эпохи;
Величие и цельность, а не крохи,
Явил ты крохоборам, то есть нам,
Которые для целостности плохи;
Ты доказал, что род героев жив
И Фермопилы, стало быть,—не миф.

Вступай же, своенравный властелин,
В сонм властелинов, памятных потомкам,
Как Александр, который по обломкам

Zum Cäsar, der, mit tadelnswertrer Wahl,
Am Rubikon zur Herrschaft vorgedrungen,
Zum--stellt kein Held sich mehr als Gleichnis ein?
Und ist man streng da, wo die Wahl so klein?

Geh hin und sag' es an: der Zeiten Schoß,
Er bringt noch fürder: Mäkler, Schreiber, Pfaffen--
-- Die Welt hat nichts mit Großen mehr zu schaffen,
Und ringt sich auch einmal ein Löwe los,
Er wird zum Tiger unter so viel Affen.
Wie soll er schonen, was hält länger Stich,
Wenn niemand sonst er achten kann als sich?

Geh hin, und Ruhe sei mit deinem Tod,
Ob du die Ruhe gleich der Welt gebrochen!
Hat doch ein Größerer bereits gesprochen!
„Von Höherm lebt der Mensch als nur vom Brot!“
Das Große hast am Niedren du gerochen,
Und sühnend steh' auf deinem Leichenstein:
Er ward zu groß, weil seine Zeit zu klein!

AN DEN FÜRSTEN METTERNICH

Für unser Glück, du edler Fürst,
Bemühst du dich gar sehr;
Ist der Profit nicht immer klar,
Es kommt der Tag zuletzt im Jahr--
Wir danken dir, o Herr.

Der lange Frieden, hört man wohl,
Verweichlicht nur die Leut;
Drum setzest du, ein Feind der Rast,
Im Frieden fort des Krieges Last--
Wir danken dir, o Herr.

Als Fresser schilt das Ausland uns,
Das fällt mir hart ins G'hör,
Da schiebst du, vor des Übels Tür,
Durch Steuern und Gaben ein Riegel für--
Wir danken dir, o Herr.

К державе мировой шагал один;
Как Цезарь при своем призванье громком,
Как... Но кого бы я еще назвал?
Что значит строгость, если выбор мал?

Им выскажешь ты справедливый гнев:
Растленный мир сегодня под влияньем
Дельцов, прельщенных крупным состояньем,
И если среди них родится лев,
Он тигром станет в стаде обезьяньем;
Едва ли мир способен породить
Того, кто мог бы мытарей судить.

Итак, бессмертный смерти не избеж,
Но, даже если ты герой редчайший,
Припомни, что сказал нам Величайший:
«Живет не только хлебом человек».
Тобою был наказан век жалчайший,
И для тебя надгробный стих возник:
Ничтожен мир, в котором он велик!

КНЯЗЮ МЕТТЕРНИХУ

О князь достойный! Ради нас
Ты трудишься один;
За наш сомнительный доход
Благодарим под Новый год;
Спасибо, господин!

Нам говорят, что вреден мир
И вызывает сплин;
Уподобляя мир войне,
Ты не даешь скучать стране;
Спасибо, господин!

Пиявкой Австрия слывет,
Увы! не без причин.
Угрозу мира превозмог
Ты, назначая нам налог;
Спасибо, господин!

Ja endlich kost's nicht gar so viel,
Sonst wär' es wohl zu schwer;
Statt barer Zahlung, gradem Kauf
Nimmst du ein neues Anlehn auf—
Wir danken dir, o Herr.

Und wird der Jud nun endlich stolz,
Schaut an uns nach der Quer:
Du leidst kein' Hochmut in dein'm Reich,
Ein Staatsbankrut macht alle gleich—
Wir danken dir, o Herr.

Und war nun, das ein Bauern g'freut,
Der Nutzen und die Ehr';
Für unser bißl Einlösschein
Setzst du ein'n König in Spanien ein—
Wir danken dir, o Herr.

Und führst du d' Jesuiten ein,
Steigt d' Glori immer mehr;
Man arbeit' leicht, wenn noch so hart,
Ist einem 's Denken erst erspart—
Wir danken dir, o Herr.

Nur auf dich selber schau mir auch,
Ist noch mein letzt's Begeh'r;
Denn wer im Rohr nicht Pfeifen schneid't,
Verzeih mirs Wort, der ist nicht g'scheit—
Drum schneid und pfeif, o Herr.

OHNE HEIM

Wenn der Vogel singen will,
Sucht er einen Ast,
Nur die Lerche trägt beim Sang
Eigne, leichte Last.

Doch der Fink, die Nachtigall,
Selbst der muntre Spatz
Wählen, eh' die Kehle tönt,
Für den Fuß den Platz.

Чтоб гнет не слишком был тяжел
Для наших слабых спин,
Отсрочиваешь ты платеж;
Заем ты новый предпочтешь;
Спасибо, господин!

Плюют на нас ростовщики,
Достигшие вершин;
А граждане твоей страны
В своем банкротстве все равны;
Спасибо, господин!

Пусть за интриги принужден
Платить простолюдин;
К Испании благоволя,
Ты подарил ей короля;
Спасибо, господин!

Иезуитов ты призвал,
Крепя церковный чин;
Работать можно без помех;
Внушают нам, что думать грех.
Спасибо, господин!

Не оглянувшись на себя,
Ты дожил до седин;
Ты продолжаешь канитель,
А сделать мог бы ты свирель;
Подумай, господин!

БЕСПРИЮТНЫЙ

Ветки не найдя себе,
Птица не поет;
Только жаворонку мил
С песнею полет.

Но воробушку, дрозду
Да и соловью
Нужен сук, чтобы запеть
Песенку свою.

Gebt mir, wo ich stehen soll,
Weist mir das Gebiet,
Und ich will euch wohl erfreun
Noch mit manchem Lied.

Denn in Deutschland weht der Sturm,
Sturm, man weiß, ist Wind;
Wähnen, wenn der Ast sie schnell,
Daß sie flügge sind.

Und hier Landes dunkelt's tief,
Nacht wie Pech und Harz,
In den Zweigen nächst dem Stamm
Nisten Dohlen schwarz.

Kauz und Eule dämisch dumm
Schaun zum Astloch 'raus,
Nur der Starmatz schwatzt vom Platz,
Kanzelt für das Haus.

Tiefer unten aber steigt's
Auf vom Boden dumpf,
Und die Frösche quaken laut
Aus verjährtem Sumpf.

Und so schweb' ich ew'gen Flugs
Zwischen Erd' und Luft,
Und kein Platz dem müden Fuß,
Als dereinst die Gruft.

MEIN VATERLAND

Sei mir begrüßt, mein Österreich
Auf deinen neuen Wegen,
Es schlägt mein Herz, wie immer gleich,
Auch heute dir entgegen.

Was dir gefehlt zu deiner Zier,
Du hast es dir errungen,
Halb kindlich fromm erbeten dir
Und halb durch Mut erzwungen.

Как бы мне найти приют,
Как найти предел,
Где бы новые мои
Песни я пропел!

Но в Германии гроза,
Небо далеко,
И падение принять
За полет легко.

Ночь сгущается в стране,
Словно деготь мгла;
Гнезда галок на ветвях
Около ствола.

Глупый сыч торчит в дупле;
Дескать, вот он, кров!
За скворечники скворец
Ратовать готов.

А внизу болотный дух,
Повсеместный мор;
Надрывается впотьмах
Лягушиный хор.

В небесах передо мной
Тучи вместо троп;
На земле мое гнездо –
Разве только гроб.

МОЕЙ ОТЧИЗНЕ

С твоею новою судьбой
В целительной надежде
Я сердцем, Австрия, с тобой
Сегодня, как и прежде.

В молитве выпросила ты,
В боях завоевала
Все то, на что в пылу мечты
Сперва претендовала.

Die Freiheit strahlt ob deinem Haupt,
Wie längst in deinem Herzen,
Denn freier warst du, als man glaubt,
Es zeigtens deine Schmerzen.

Nun aber, Östreich, sieh dich vor,
Es gilt die höchsten Güter,
Leih nicht dem Schmeichellaut dein Ohr
Und sei dein eigener Hüter!

Geh nicht zur Schule da und dort,
Wo laute Redner lärmen,
Wo der Gedanke nur im Wort,
Zu leuchten statt zu wärmen;

Wo längst die Wege abgebracht,
Die Kopf und Herz vereinen,
Und, statt der Überzeugung Macht,
Der Mensch ein grübelnd Meinen;

Wo Falsch und Wahr und Schlimm und Gut
Sie längst auf Formeln brachten,
Rasch wechselnd die erlogne Glut
Gleich bunten Kleidertrachten;

Wo selbst die Freiheit, die zur Zeit
Hinjauchzt in tausend Stimmen,
Halb großgesäugt von Eitelkeit
Und von der Lust am Schlimmen.

Bleib du das Land, das stets du warst,
Nur Morgen, wie sonst Abend,
Die Unschuld, die du noch bewahrst,
An heiterm Sinn erlabend.

Denn, was der Mensch erdacht, erfand,
Als Höchstes wird er finden:
Gesund natürlichen Verstand
Und richtiges Empfinden.

Свобода на твоём челе,
Но ты в былые годы
Изнемогала в кабале,
Уже вкусив свободы.

Так добивайся лучших благ,
Сама себе защита;
И помни: льстец – твой злейший враг,
Неправда ядовита!

Ты не ходи на торжества,
Где предрассудки зреют
И где трескучие слова
Сверкают, а не греют;

Где, головам наперекор,
Сердца в таком разладе,
Что процветает вечный спор,
А спорщики внакладе;

Где совместимы «да» и «нет»,
Где думают по моде,
Меняя мнение, как жилет,
При всем честном народе;

Где неподдельных нет красот,
Где самоё свободу
Высокомерие сосет
В угоду сумасброду.

Останься же, какой была,
И помни: в этом сила,
Когда бы злостная хула
Тебя не поносила!

Отвергнув нарочитый шум,
Над сновиденьем скверным
Восторжествует ясный ум
В союзе с чувством верным.

Franz Schubert

MEIN GEBET

Tiefer Sehnsucht heil'ges Bangen
Will in schön're Welten langen;
Möchte füllen dunklen Raum
Mit allmächt'gem Liebestraum.

Großer Vater! reich dem Sohne,
Tiefer Schmerzen nun zum Lohne,
Endlich als Erlösungsmahl
Deiner Liebe ew'gen Strahl.

Sieh, vernichtet liegt im Staube,
Unerhörtem Gram zum Raube,
Meines Lebens Martergang
Nahend ew'gem Untergang.

Töt' es und mich selber töte,
Stürz' nun Alles in die Lethe,
Und ein reines kräft'ges Sein
Laß', o Großer, dann gedeih'n.

Франц Шуберт

МОЯ МОЛИТВА

Дух тоскует по отчизне –
По иной, прекрасной жизни,
И любви живой мечтой
Наполняет мир немой.

Отче милостивый! Сыну
Скорби дав познать пучину,
Свет любви своей пролей,
Как спасительный елей.

Видишь, в прахе пред тобою
Я с поверженной душою,
Пытка-жизнь меня сломила,
Мне уж видится могила,

Брэнной жизни не жалея,
В Лету брось меня скорее,
Свежим силам в новый май
Расцвести, о боже, дай.

Eduard von Bauernfeld

IMMER DASSELBE

Die Raupe kriecht und frißt, spinnt sich zur Puppe ein,
Bald fliegt der Schmetterling im hellen Sonnenschein,
Nippt Blumenstaub und liebt, legt Eier auch indessen,
Und Raupen werden draus, zu kriechen und zu fressen –
So geht's in einem fort, schon seit den Schöpfungswochen:
Es wird ohn Unterlaß gefressen und – gekrochen!

KLEINE BEAMTE

Im Stillen untergräbt den Staat,
Wird gegen ihn sich rüsten
Das neue Proletariat:
Verheiratete Kopisten.

Sie sind eine Macht, sie sind ein Heer,
Sie trotzen allen Gewalten,
Und unzufrieden sind sie sehr
Mit ihren kleinen Gehalten.

Sie zeugen Kinder, hohl und bleich,
Die zum Büro Verdammten;
Zittre, Du großes Österreich,
Vor Deinen kleinen Beamten!

Эдуард фон Бауэрнфельд

ВСЁ КАК ПРЕЖДЕ

Жрет гусеница лист, и кокон свой совет,
И бабочка взлетит, сияя, в небосвод.
И любит среди цветов, и яйца в них отложит.
Вот гусеница вновь то ползает, то гложет.
Какой-то вечный зуд! Ведь с первых дней творенья
Без отдыха ползут и жрут без промедленья!

МЕЛКИЕ ЧИНОВНИКИ

Толкайте государство в ад,
Ему готовьте беды—
Вы, новый пролетариат,
Отцы семейств, буквоеды!

Вы—войско, которое трудно разбить,
Препона властям всевозможным.
И вы недовольства не в силах скрыть
Доходом вашим ничтожным.

Дано вам бледную немочь рождать,
Конторы забить сынами.
Великой Австрии—трепетать
Пред малыми семи чинами!

Johann Nepomuk Vogl

AUF DER BRÜCKE

Hingelehnt am Brückenbogen,
Blick ich in die Flut so gern,
Spiegelt in dem Naß der Wogen
Sich der helle Abendstern.

Sieh, wie treibt da Well' auf Welle
Sich so wild, so hastig fort,
Nur der Stern, der silberhelle
Schimmert stets am alten Ort.

So auch blickt dein Bild voll Liebe
In mein Leben immerdar,
Sei die Flut von Stürmen trübe,
Oder sei sie morgenklar.

Doch die Zeit entflieht, die schnelle,
Und Du bleibst mir ewig fern,
Wie der raschen, flüchtgen Welle
Unerreichbar bleibt der Stern.

Иоганн Непомук Фогль

НА МОСТУ

Как люблю глядеть с моста я
На неистовство воды...
На волнах дрожит, не тая,
Отражение звезды.

Волны мчат в порыве яром.
Их проглатывает мгла.
Лишь звезда на месте старом
Серебриста и светла.

Так взирает лик твой нежный
На течение дней моих:
То тревожных в час мятежный,
То смиренно-голубых.

Жизнь течет не удержиимо.
Ты, как прежде, светишь мне,
Далека, недостижима,
Как звезда речной волне.

Nikolaus Lenau

SCHILFLIEDER

1.

Drüben geht die Sonne scheiden,
Und der müde Tag entschlief.
Niederhangen hier die Weiden
In den Teich, so still, so tief.

Und ich muß mein Liebstes meiden:
Quill, o Träne, quill hervor!
Traurig säuseln hier die Weiden,
Und im Winde bebt das Rohr.

In mein stilles, tiefes Leiden
Strahlst du, Ferne! hell und mild,
Wie durch Binsen hier und Weiden
Strahlt des Abendsternes Bild.

2.

Trübe wirds, die Wolken jagen,
Und der Regen niederbricht,
Und die lauten Winde klagen:
„Teich, wo ist dein Sternenlicht?“

Suchen den erloschnen Schimmer
Tief im aufgewühlten See.
Deine Liebe lächelt nimmer
Nieder in mein tiefes Weh!

3.

Auf geheimem Waldespfade
Schleich ich gern im Abendschein
An das öde Schilfgestade,
Mädchen, und gedenke dein!

Николаус Ленау

ПЕСНИ В КАМЫШАХ

1

Вечер бурный и дождливый
Гаснет. Все молчит кругом.
Только глухо шепчут ивы,
Наклоняясь над прудом.

Я покинул край счастливый...
Слезы жгучие тоски,
Лейтесь, лейтесь! Плачут ивы,
Ветер клонит ростники.

Ты одна сквозь мрак тоскливый
Светишь, друг, мне иногда,
Как сквозь плачущие ивы
Светит вечером звезда.

2

Сумрак... Тучи набегают,
Низвергая дождь с небес.
Ветры все к пруду зывают:
– О, куда свет звезд исчез?

Ищут звездного сиянья
Глубоко на дне пруда...
Не блеснет во тьме страданья
Милый лик твой никогда.

3

К берегам тропой лесною
Я спускаюсь в камыши,
Озаренные луною,–
О тебе мечтать в тиши.

Wenn sich dann der Busch verdüstert,
Rauscht das Rohr geheimnisvoll,
Und es klaget, und es flüstert,
Daß ich weinen, weinen soll.

Und ich mein, ich höre wehen
Leise deiner Stimme Klang
Und im Weiher untergehen
Deinen lieblichen Gesang.

4.

Sonnenuntergang;
Schwarze Wolken ziehn,
O wie schwül und bang
Alle Winde fliehn!

Durch den Himmel wild
Jagen Blitze, bleich;
Ihr vergänglich Bild
Wandelt durch den Teich.

Wie gewitterklar
Mein ich dich zu sehn
Und dein langes Haar
Frei im Sturme wehn!

5.

Auf dem Teich, dem regungslosen,
Weilt des Mondes holder Glanz,
Flechtend seine bleichen Rosen
In des Schilfes grünen Kranz.

Hirsche wandeln dort am Hügel,
Blicken in die Nacht empor;
Manchmal regt sich das Geflügel
Träumerisch im tiefen Rohr.

Weinend muß mein Blick sich senken;
Durch die tiefste Seele geht

Если тучка набегаёт,
Ветра вольного струя
В камышах, в тиши, вздыхает
Так, что плачу, плачу я.

Мнится мне, что в дуновенье
Слышу голос твой родной,
И твое струится пенье,
И сливается с волной.

4

Солнечный закат;
Черны облака,
Ветры прочь летят,
Душно, и тоска.

Молний огневых
Борозды бегут;
Быстрый образ их
Озаряет пруд.

Мнится, ты со мной,
В четкости зарниц,
Волосы – волной,
Взоры – взмахи птиц.

5

На пруду, где тишь немая,
Медлит месяц, мглой лучей
Розы бледные вплетая
В зелень стройных камышей.

На холме блуждают лани,
В ночь глядит их чуткий взгляд.
Крылья вдруг всплеснут в тумане,
Шевельнутся, замолчат.

Взор склонил я, в нем страданье.
Всей душевной глубиной –

Mir ein süßes Deingedenken,
Wie ein stilles Nachtgebet!

DIE DREI ZIGEUNER

Drei Zigeuner fand ich einmal
liegen an einer Weide,
als mein Fuhrwerk mit müder Qual
schlich durch sandige Heide.

Hielt der eine für sich allein
in den Händen die Fiedel,
spielte, umglüht vom Abendschein,
sich ein feuriges Liedel.

Hielt der zweite die Pfeif' im Mund,
blickte nach seinem Rauche,
froh, als ob er vom Erdenrund
nichts zum Glücke mehr brauche.

Und der dritte behaglich schlief,
und sein Zimbal am Baum hing,
über die Saiten der Windhauch lief,
über sein Herz ein Traum ging.

An den Kleidern trugen die drei
Löcher und bunte Flicken,
aber sie boten trotzig frei
Spott den Erdengeschicken.

Dreifach haben sie mir gezeigt,
wenn das Leben uns nachtet,
wie man's verraucht, verschläft, vergeigt
und es dreimal verachtet.

Nach den Zigeunern lang noch schau'n
mußt ich im Weiterfahren,
nach den Gesichtern dunkelbraun,
den schwarzlockigen Haaren.

О тебе мое мечтанье,
Как молитва в час ночной.

ТРИ ЦЫГАНА

Степью песчаной наш грузный рыдван
Еле тащился. Под ивой,
Рядом с дорогою, трое цыган
Расположились лениво.

В огненных красках заката лежал
Старший с лубочною скрипкой,
Буйную песню он дико играл
С ясной, беспечной улыбкой.

Трубкой дымил над собою другой,
Дым провожая глазами,
Счастлив, как будто нет доли иной
Лучше, богаче дарами.

Третий, раскинувшись, сладко заснул,
Над головою висела
Лютня на иве. По струнам шел гул,
По сердцу греза летела.

Пусть из-за пестрых заплат из прорех
Голое тело сквозится –
Все на лице у них гордость и смех,
Сколько судьба не грозитя.

Вот у кого довелось мне узнать,
Как тебя, доля лихая,
Дымом развеять, проспять, проиграть,
Мир и людей презирая.

Глаз я не мог отвести от бродяг.
Долго мне будут всё сниться
Головы в черных, косматых кудрях,
Темные, смуглые лица.

HERBSTENTSCHLUSS

Trübe Wolken, Herbstesluft,
Einsam wandl' ich meine Straßen,
Welkes Laub, kein Vogel ruft –
Ach, wie stille! wie verlassen!

Todeskühl der Winter naht;
Wo sind, Wälder, eure Wonnen?
Fluren, eurer vollen Saat
Goldne Wellen sind verronnen!

Es ist worden kühl und spät,
Nebel auf der Wiese weidet,
Durch die öden Haine weht
Heimweh; – alles flieht und scheidet.

Herz, vernimmst du diesen Klang
Von den felsentstürzten Bächen?
Zeit gewesen wär es lang,
Daß wir ernsthaft uns besprächen!

Herz, du hast dir selber oft
Wehgetan und hast es andern,
Weil du hast geliebt, gehofft;
Nun ists aus, wir müssen wandern!

Auf die Reise will ich fest
Ein dich schließen und verwahren,
Draußen mag ein linder West
Oder Sturm vorüberfahren;

Daß wir unsern letzten Gang
Schweigsam wandeln und alleine,
Daß auf unsern Grabeshang
Niemand als der Regen weine!

BLICK IN DEN STROM

Sahst du ein Glück vorübergehn,
das nie sich wiederfindet,

ОСЕННЕЕ РЕШЕНИЕ

Осень. Хмуры небеса.
Я гляжу, раздумья полный,
На увядшие леса:
Как все пусто, как безмолвно!

Смерть и стужа у дверей.
Где навес дубрав тенистый?
Где краса родных полей—
Волны жатвы золотистой?

Безнадежный, мрачный вид!
На лугу туман клубится;
Ветер жалобно шумит.
Все, прощаясь, в путь стремится.

Сердце! слышишь плач глухой—
То ключей нагорных пенье.
Звук забытый, звук родной—
Мне сулит он утешенье.

Сердце! в жизни ни людей,
Ни себя ты не щадило
Оттого, что все страстней
Ты стремилось и любило.

Все прошло! Скорей же в путь.
Наш удел теперь—скитанья.
Я замкну ревниво грудь
От страстей и упованья.

Чтоб забвенье, верный страж,
Молчаливо шло за нами,
Чтобы холм могильный наш
Только дождь омыл слезами.

ВЗГЛЯД В ПОТОК ·

Когда узнал ты, как бежит,
Как счастье мчится мимо,

ist's gut in einen Strom zu sehn,
wo alles wogt und schwindet.

Oh, starre nur hinein, hinein,
du wirst es leichter missen,
was dir, und soll's dein Liebstes sein,
vom Herzen ward gerissen.

Blick unverwandt hinab zum Fluß,
bis deine Tränen fallen,
und sie durch ihren warmen Guß
die Flut hinunterwallen.

Hinträumend wird Vergessenheit
des Herzens Wunde schließen;
die Seele sieht mit ihrem Leid
sich selbst vorüberfließen.

IN DER SCHENKE

*Am Jahrestag der unglücklichen
Polenrevolution*

Unsre Gläser klingen hell,
Freudig singen unsre Lieder;
Draußen schlägt der Nachtgesell
Sturm sein brausendes Gefieder,
Draußen hat die rauhe Zeit
Unsrer Schenke Tür verschneit.

Haut die Gläser an den Tisch!
Brüder, mit den rauhen Sohlen
Tanzt nun auch der Winter frisch
Auf den Gräbern edler Polen,
Wo verscharrt in Eis und Frost
Liegt der Freiheit letzter Trost.

Um die Heldenleichen dort
Rauft der Schnee sich mit den Raben,
Will vom Tageslichte fort
Tief die Schmach der Welt begraben;

Гляди в поток, где все кипит,
Струясь невозвратно.

И долго ты туда гляди,
И сердцу легче станет,
И боль в измученной груди
На время перестанет.

Гляди в поток, пока глаза
Слезами будут полны,—
Пока их не затмит слеза,
Смотри, как мчатся волны.

В больное сердце тишина
Сойдет, и с упованьем
Душа увидит, что она
Сама пройдет с страданьем.

В КОРЧМЕ

*В годовщину злосчастного
польского восстания*

Мы пируем и поем,
Звон стаканов раздается.
В мутном вихре за окном
Стая хлопьев снежных бьется.
За окном метель и тьма,
Дышит холодом зима.

Братья, ныне ровно год,
Ныне петь не будем больше!
Вьюга пляшет и поет,
Топчет прах героев Польши.
Там, в полях, погребены
Павшей вольности сыны.

Там, в полях, у воронья
Снег добычу отбивает,
От всевидящего дня
Стыд великий закрывает.

Wohl die Leichen hüllt der Schnee,
Nicht das ungeheure Weh.

Wenn die Lerche wieder singt
Im verwaisten Trauertale,
Wenn der Rose Knospe springt,
Aufgeküßt vom Sonnenstrahle,
Reißt der Lenz das Leichentuch
Auch vom eingescharten Fluch.

Rasch aus Schnee und Eis hervor
Werden dann die Gräber tauchen;
Aus den Gräbern wird empor
Himmelwärts die Schande rauchen,
Und dem schwarzen Rauch der Schmach
Sprüht der Rache Flamme nach.

HERBSTKLAGE

Holder Lenz, du bist dahin!
Nirgends, nirgends darfst du bleiben!
Wo ich sah dein frohes Blühn,
Braust des Herbstes banges Treiben.

Wie der Wind so traurig fuhr
Durch den Strauch, als ob er weine;
Sterbeseufzer der Natur
Schauern durch die welken Haine.

Wieder ist, wie bald! wie bald!
Mir ein Jahr dahingeschwunden.
Fragend rauscht es aus dem Wald:
„Hat dein Herz sein Glück gefunden?“

Waldesrauschen, wunderbar
Hast du mir das Herz getroffen!
Treulich bringt ein jedes Jahr
Welkes Laub und welches Hoffen.

Мертвый спит, под снегом скрыт,
Но не скрыть нам скорбь и стыд.

Птица вновь в урочный срок
Запоет над грустным долом,
Вновь раскроется цветок,
Пробужден лучом веселым,
И проклятья семена
К свету вызовет весна.

Ветер сгонит снег и лед,
Обнажит могилы в поле,
Из могил столбом взойдет
Черный дым стыда и боли,
Срама горький дым – и в нем
Запылает месть огнем.

ОСЕННЯЯ ЖАЛОБА

Дух весны, уходишь ты!
Промедленье невозможно!
Где цвели твои цветы –
Ходит осень осторожно.

Плачет ветер. То вдали,
То в кустах бредет, печальный.
Умирающей земли
Слышу в роще вздох прощальный.

Вот и снова предо мной
Год уходит, и ненастье
Шепчет мне под шум лесной –
– Ну и что ж, обрел ты счастье?

Ранят сердце те слова,
Горько я смыкаю вежды:
Что ни год – летит листва,
Осыпаются надежды...

WINTERNACHT

Vor Kälte ist die Luft erstarrt,
Es kracht der Schnee von meinen Tritten,
Es dampft mein Hauch, es klirrt mein Bart;
Nur fort, nur immer fortgeschritten!

Wie feierlich die Gegend schweigt!
Der Mond bescheint die alten Fichten,
Die, sehnsuchtsvoll zum Tod geneigt,
Den Zweig zurück zur Erde richten.

Frost! friere mir ins Herz hinein,
Tief in das heißbewegte, wilde!
Daß einmal Ruh mag drinnen sein,
Wie hier im nächtlichen Gefilde!

FRÜHLINGSGRÜSSE

Nach langem Frost, wie weht die Luft so lind!
Da bringt Frühveilchen mir ein bettelnd Kind.

Es ist betrübt, daß so den ersten Gruß
des Frühlings mir das Elend bringen muß.

Und doch der schönen Tage liebes Pfand
ist mir noch werter aus des Unglücks Hand.

So bringt dem Nachgeschlechte unser Leid
die Frühlingsgrüße einer bessern Zeit.

DEIN BILD

Die Sonne sinkt, die Berge glühn,
Und aus des Abends Rosen
Seh' ich so schön dein Bild mir blühn,
So fern dem Hoffnungslosen.

Strahlt Hesperus dann hell und mild
Am blauen Himmelsbogen,

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Сквозь лед и снег вперед, вперед!
Оцепенел от стужи воздух,
Звенит мой ус, дымится рот,—
Вперед, забыв привал и роздых!

Над миром царствует зима!
В лучах луны белеют ели,
И, мнится, клонит смерть сама
Их ветви к ледяной постели.

И мне, мороз, ты вмерзни в грудь,
Оледени мой жар мятежный,
Чтоб сердцу пылкому заснуть
Глубоким сном равнины снежной!

ВЕСЕННИЙ ПРИВЕТ

Солнышком весенним снова мир согрет.
Вот приносит нищий мальчик мне букет.

Больно мне, что первый твой привет, весна,
Приносить нам бедность грустная должна!

Но залог прекрасный лучших ясных дней
Стал в руках несчастья мне еще милей...

И страданья наши так должны принести
Новым поколениям — лучшей жизни весть!

ТВОЙ ОБРАЗ

Заката луч золотит горы...
И мнится мне, что светят в нем
Твои таинственные взоры
С их грустно блещущим огнем.

Зажглись на небе звезды ночи,
Сияя тайною святой.

So hat mit ihm dein süßes Bild
Die Sternenflur bezogen.

Im mondbeglänzten Laube spielt
Der Abendwinde Säuseln;
Wie freudig um dein zitternd Bild
Des Baches Wellen kräuseln!—

Es braust der Wald, am Himmel ziehn
Des Sturmes Donnerflüge,
Da mal' ich in die Wetter hin,
O Mädchen, deine Züge.

Ich seh' die Blitze trunkenhaft
Um deine Züge schwanken,
Wie meiner tiefen Leidenschaft
Aufflammende Gedanken.

Vom Felsen stürzt die Gemse dort,
Enteilet mit den Winden;
So sprang von mir die Freude fort
Und ist nicht mehr zu finden.

Da bin ich, weiß nicht selber wie,
An einen Abgrund kommen,
Der noch das Kind der Sonne nie
In seinen Schoß genommen.

Ich aber seh' aus seiner Nacht
Dein Bild so hold mir blinken,
Wie mir dein Antlitz nie gelacht;—
Will's mich hinunter winken?

MEIN HERZ

Schlaflose Nacht, der Regen rauscht,
Sehr wach ist mir das Herz und lauscht
Zurück bald nach vergangnen Zeiten,
Bald horcht es, wie die künftgen schreiten.

Твои задумчивые очи
Блеснули в них передо мной.

Лесной ручей заколыхался
Под бледным отблеском луны...
И образ твой мне показался
На склоне трепетном волны.

Завыла злобно непогода,
И солнце прогнано грозой;
Но светлый лик твой с небосвода
Мне светит, добрый гений мой...

Средь молний гордо ты сияешь:
Они не могут сжечь тебя.
Так ты, далекая, не знаешь,
Как я измучился, любя...

Пугливо серна с гор сбежала,
И нет нигде ее следа...
Так из души моей усталой
Сбежала радость навсегда.

Зияет бездна темной пастью,
И солнце с высоты своей
Ни в светлый день, ни в день ненастья
Не шлет туда своих лучей.

Но мне глаза твои сияют.
Средь мглы бездонной глубины
К себе манят и призывают,
Привета грустного полны.

МОЕ СЕРДЦЕ

Бессонной ночью истомлен,
Я слышу сердцем шаг времен;
Грядущее во тьме ненастной
Над прошлым торжествует властно.

O Herz, dein Lauschen ist nicht gut;
Sei ewig, Herz, und hochgemut!
Da hinten ruft so manche Klage,
Und vorwärts zittert manche Frage.

Wohlan! was sterblich war, sei tot!
Naht Sturm! wohlan!—wie einst das Boot
Mit Christus Stürme nicht zerschellten,
So ruht in dir der Herr der Welten.

BITTE

Weil auf mir, du dunkles Auge,
Übe deine ganze Macht,
Ernste, milde, träumerische,
Unergründlich süße Nacht!

Nimm mit deinem Zauberdunkel
Diese Welt von hinnen mir,
Daß du über meinem Leben
Einsam schwebest für und für.

AUS: „FAUST“

(*AUS: „DIE LECTION“*)

Mephistopheles:

„Verkümmert stets, doch nie zu scharf,
Dem Volk den sinnlichen Bedarf.“
O haltet fest an diesem Worte.
Wie Weingeistsflamme, der Retorte
Dienstbar, muß Elixire kochen,
Sollt Menschengeist ihr unterjochen,
Soll's Feuer eurer Sklavenköpfe
Dem Magen heizen seine Töpfe.
Will jemals von den Nutzgeschäften,
Daran ihr müßt die Geister heften,
Sich der und jener dispensieren,
Sich in's Ideenreich verlieren,
Will er in Schriften gar den Knechten
Einraunen was von Menschenrechten:

О сердце, вечно слушай ты
И не пугайся темноты;
Плач позади неосторожный,
А впереди вопрос тревожный.

Пусть гроб для смертного готов,
О сердце, ты корабль Христов;
Хоть вихрь грозит скорлупке тленной,
В тебе почиет царь вселенной.

ПРОСЬБА

Темный глаз, на мне помедли,
Всю яви живую мочь,
Кроткий, вдумчивый, серьезный,
Неисчерпанный, как ночь.

От меня весь мир отторгни
Волхвованьем темноты,
Чтоб над всей моею жизнью
Был один лишь ты, лишь ты.

ИЗ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ «ФАУСТ»

(ИЗ СЦЕНЫ «ЛЕКЦИЯ»)

Мефистофель:

«Лишайте, только осторожно,
Народы чувственных утех»,—
Держитесь всюду, где возможно,
Вы слов высокоумных тех!
Как винный дух реторту греет
И эликсиры варит нам,
Так дух людской пусть цель имеет:
Готовить пищу дуракам.
Огнем горячей головы
Желудку суп варите вы!
А чуть посмеет кто-нибудь
Вступить на умозренья путь,
Принципом пользы пренебречь,
Чуть о правах начнет он речь,—

So müßt ihr solche Herrscherplagen
In ihrem Keime gleich erschlagen.
Ich rat' euch hier das beste Mittel:
Wie für die Taten einst die Alten
Zensoren hielten, sollt Ihr halten
Zensoren als Gedankenbüttel.
Ja, so ein Zensor, so ein ächter
Ein unerbittlich scharfer Wächter
Und tapferer Gedankenwürger,
Der leider! erst zum Heil der Bürger
In fernen, schönern Zeiten sproßt,
Das wäre so mein Augentrost!
Einst schlief ich unter grünen Bäumen,
Da ist sein Bild mir klar erschienen,
In meinen patriotischen Träumen:
Wie er mit lieben Forschermienen
Gedanken greift auf ihrer Flucht,
Und ihre hüllenden Gewande,
Jed' Fältlein lüftend, streng durchsucht,
Ob sie nicht führen Contrebande
An allerlei verruchten Dingen,
Ob sie ein Liebesbrieflein
Der Freiheit wollen überbringen,
Und ein gefährlich Stelldichein.—
Mir ward in jenen Visionen
Beglückter Zukunft schönster Gruß:
Ich sah das Heer von Maulspionen,
Welch ein prophetischer Hochgenuß!
Wie Jäger, einen Fuchs zu prellen,
An's Loch des Bau's ihm Schlingen stellen,
Drein sich der Lose muß verfangen,
Treibt ihn aus seiner dunklen Schlufft
Hinaus vorwitziges Verlangen
Nach freier frischer Waldesluft:
So schaut' ich damals mit Ergetzen
An Menschenmundes offner Pforte
Spione lauern und die Worte
Auffangen mit Verrates-Netzen.
Hat es die Politik gebracht
In ihrer Kunst zu solchen Flügen,
Dann ist begründet eure Macht,
Dann ist Regieren ein Vergnügen.

Без дальних слов: в зерне скорей
Душите вы таких людей!
И вот вам средство: в древнем Риме
Был цензор для оценки дел,
Пусть будут цензором ценимы
Все те, кто *вольно мыслить* смел.
Да... цензор! стражник неподкупный!
Палач фантазии преступной,
Для блага граждан, к сожаленью,
Не скоро явится на свет,
Но мне он был бы в утешенье,—
И это лучший мой совет!
Однажды я заснул, и снится
Мне цензор словно наяву:
Как мысли он поймать стремится,
Напрягши мудрую главу,
Как он все складки одеянья
Исследует без состраданья
И ищет контрабанды там,
И ищет там вещей запретных,
И нет ли писем там секретных
От воли к страждущим друзьям.
В патриотическом том сне
Виденье это было мне
Поклоном будущих времен:
Я видел—шестьует шпион!
Как для лисицы тихо строит
Капкан охотник пред норой,
Который бедную накроет,
Когда она ночной порой
На волю в лес родной, чудесный,
Пойдет из душной ямы тесной,—
Так и шпион в видении том
Стоял перед открытым ртом,
Слов ожидал, чтоб живо в сети
Поймать слова шальные эти.
Когда политика придет
К такому тонкому уменью,
Фундамент власть себе найдет
И станет радостью правленье!

EINSAMKEIT

Hast du schon je dich ganz allein gefunden,
Lieblos und ohne Gott auf einer Heide,
Die Wunden schnöden Mißgeschicks verbunden
Mit stolzer Stille, zornig dumpfem Leide?

War jede frohe Hoffnung dir entschwunden,
Wie einem Jäger an der Bergesscheide
Stirbt das Gebell von den verlornen Hunden,
Wie's Vöglein zieht, daß es den Winter meide?

Warst du auf einer Heide so allein,
So weißt du auch, wie's einen dann bezwingt,
Daß er umarmend stürzt an einen Stein;

Daß er, von seiner Einsamkeit erschreckt,
Entsetzt empor vom starren Felsen springt
Und bang dem Winde nach die Arme streckt.

Der Wind ist fremd, du kannst ihn nicht umfassen,
Der Stein ist tot, du wirst beim kalten, derben
Umsonst um eine Trosteskunde werben,
So fühlst du auch bei Rosen dich verlassen;

Bald siehst du sie, dein ungewahr, erblassen,
Beschäftigt nur mit ihrem eignen Sterben.
Geh weiter: überall grüßt dich Verderben
In der Geschöpfe langen dunklen Gassen;

Siehst hier und dort sie aus den Hütten schauen,
Dann schlagen sie vor dir die Fenster zu,
Die Hütten stürzen, und du fühlst ein Grauen.

Lieblos und ohne Gott! der Weg ist schaurig,
Der Zugwind in den Gassen kalt; und du?—
Die ganze Welt ist zum Verzweifeln traurig.

EITEL NICHTS

's ist eitel nichts, wohin mein Aug ich hefte!
Das Leben ist ein vielbesagtes Wandern,

ОДИНОЧЕСТВО

Ты ведал одинокие скитанья –
Без бога, без любви, в пустынном поле,
Терзанья оскорбленного сознания
В немой гордыне, в пекле тайной боли?

Померкнул свет, исчезли упования.
Так горный егерь стонет поневоле:
Пропали псы, и вьюги завыванья
Прогнали птиц – и нет конца недоле...

Столь одинокому дано понять
Того, кто изнемог в безлюдье мглы.
Он рухнет ниц, чтоб камни обнимать.

Но одиночество – глухая жуть. –
И в ужасе он вскочит со скалы,
Чтоб робко к ветру руки протянуть.

Но что бурану до твоих объятий?
Но камень мертв – его прикосновенья,
Как острый лед, не дарят утешенья.
И в гуще роз печаль твоя некстати.

На чувствах – смерти скорбные печати.
И сокровенное – добыча тленья.
Ступай туда, где темные строенья
Сомкнулись, словно гибельные рати.

Как странно на тебя глядят из хижин...
Захлопнув ставни, рушатся дома –
Во прах. А ты от страха неподвижен.

Без бога, без любви! Твой путь кромешный
Освищет в узких улочках зима.
В тоске весь мир – безумный, безутешный.

* * *

Всё суета, ничто, куда ни поглядим!
О жизненном пути болтают слишком много:

ein wüstes Jagen ist's von dem zum andern,
und unterwegs verlieren wir die Kräfte.
Ja, könnte man zum letzten Erdenziele
noch als derselbe frische Bursche kommen,
wie man den ersten Anlauf hat genommen,
so möchte man noch lachen zu dem Spiele.
Doch trägt uns eine Macht von Stund zu Stund,
wie's Krüglein, das am Brunnenstein zersprang,
und dessen Inhalt sickert auf den Grund,
so weit es ging, den ganzen Weg entlang.
Nun ist es leer; wer mag daraus noch trinken?
Und zu den andern Scherben muß es sinken.

Мы жадно гонимся за тем и за другим,
А силы тратятся да тратятся дорогой;
Когда бы, подходя к последней цели дней,
Мы были б все еще так свежи, словно дети,
И бодры так, как в первой юности своей,
Могли б мы хохотать над всем, что есть на свете;
Но сила темная несет нас по пути,
Как кружку, что слегка надбилась у фонтана,
И капает вода, и всё сочится рана,
И в кружке под конец воды уж не найти...
Пуста она, никто к ней жадно не нагнется,
Средь черепков других лежать и ей придется.

Adalbert Stifter

HERBSTABEND

Der Herbstwind weht durch falbe Auen,
Das Abendrot ist blaß und kalt,
Zwei halberblichne Sterne schauen
Hernieder auf den Tannenwald.
Zerstörte Wolkenbilder ziehn
Vereinzelt durch den Himmel hin,
Und kalte Abendnebel wehen
Von jenen ausgestorbnen Höhen.
Und was dein Auge keimen sah,
Zerstört ists, oder ist erkranket,
Nur daß in Stoppeln hie und da
Noch ein vergeßnes Hälmdchen wanket.

Das Abendglöcklein tönt von ferne,
Wehmütig schwillt das Herz mir an.
Die A stern sehn mit traur'gem Sterne
Aus diesem Blumenbeet mich an.
Und wie des Ostes feuchter Hauch
Die Blätter regt am Fliederstrauch,
So flüstert es, wie eine Klage
Um längst vergangne Friedenstage.
Und fröstelnd bricht die Nacht herein,
Und Nebel dehnt sich dort am Teiche,
Und hüllt die toten Gründe ein,
Wie weiße Tücher eine Leiche.

LEBEN

Es steht ein grünes Stäudlein,
ein schönes Pflanzenkind,
auf einem kleinen Weidlein,
wo Gras und Kräuter sind.

Адальберт Штифтер

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

В лугах гуляет ветер осенний.
Бесцветен, холоден закат.
И две звезды, две тусклых тени,
Вниз, на еловый лес, глядят.
По небосводу там и тут
Виденья рваных туч бегут.
С вершин на мокрые поляны
Ползут белесые туманы.
Куда ни глянь, любой росток
Мертвеет, чахнет. Сиротливо
Дрожит последний колосок
Среди жнивья у края нивы.
Унылые наводит думы
Вечерний колокол, звоня;
И звезды астр, бледны, угрюмы,
Взирают с клумбы на меня.
Восточный ветер налетел
И куст сиреневый задел.
Он шелестит, как будто плачет,
Как будто грусть о прошлом прячет
И в страхе ждет прихода тьмы.
Стоит туман над гладью водной,
Земли печальные холмы
Закутав в саван свой холодный.

ЖИЗНЬ

Зеленый, сочный, вкусный,
Полуприкрыт травой,
Растет кочан капустный
В низине луговой.

Zwei Häslein sitzen drunter,
eins schwarz, das andre weiß,
sie nagen dran ganz munter,
sie nagen dran mit Fleiß.

Strebt jedes, daß es nage,
damit es werd vollbracht,
das eine nagt am Tage,
das andre bei der Nacht.

Das Stäudlein immer spendet
dem Häslein neues Grün;
doch einmal war's geendet,
das Stäudlein war dahin.

ABSCHIED

Nun sind sie vorüber, jene Stunden,
die der Himmel unsrer Liebe gab,
schöne Kränze haben sie gebunden,
manche Wonne floß mit ihnen ab.

Was der Augenblick geboren,
schlang der Augenblick hinab;
aber ewig bleibt es unverloren,
was das Herz dem Herzen gab.

Зайчата, белый с черным,
Конечно, тут как тут,
Со тщанием проворным
Капустный лист жуют.

Один во мраке ночи,
При свете дня другой,
Стараясь что есть мочи,
Грызут кочан тугой.

А тот растет прилежно
И зелень им дает.
И все же неизбежно
Конец ему придет.

ПРОЩАНИЕ

Не воротишь, вспять бросая взоры,
Небом нам дарованные дни:
Дивные они плели узоры,
С радостью дружили искони!

Что мгновенья даровали –
То и отняли они.
Но подвержен тлению едва ли
Дар сердец друг другу в эти дни.

Anastasius Grün

DAS BLATT IM BUCHE

Ich hab' eine alte Muhme,
Die ein altes Büchlein hat,
Es liegt in dem alten Buche
Ein altes, dürres Blatt.

So dürr sind wohl auch die Hände,
Die einst im Lenz ihr's gepflückt.
Was mag doch die Alte haben?
Sie weint, so oft sie's erblickt.

BOTENART

Der Graf kehrt heim vom Festturnei,
Da wallt an ihm der Knecht vorbei.
„Holla, woher des Wegs, sag an!
Wohin, mein Knecht, geht deine Bahn?“
„Ich wandle, daß der Leib gedeih,
Ein Wohnhaus such ich mir dabei.“
„Ein Wohnhaus? Nun, sprich frei heraus,
Was ist geschehn bei uns zu Haus?“
„Nichts Sonderliches! Nur todeswund
Liegt Euer kleiner weißer Hund.“
„Mein treues Hündchen todeswund,
Sprich, wie begab sich's mit dem Hund?“
„Im Schreck Eu'r Leibroß auf ihn sprang,
Drauf lief's in den Strom, der es verschlang.“
„Mein schönes Roß, des Stalles Zier!
Wovon erschrak das arme Tier?“
„Besinn ich mich recht, er schrak's davon
Als von dem Fenster stürzt' Eu'r Sohn!“
„Mein Sohn. So blieb er unverletzt?
Wohl pflegt mein süßes Weib ihn jetzt?“
„Die Gräfin rührte stracks der Schlag,

Анастасиус Грюн

* * *

У няни моей, у старушки,
Теперь и слепой и больной,
Хранится заветная книжка,
А в книжке – цветочек сухой:

Знать, дорог он ей, что порою
Бедняжка так плачет над ним:
Быть может, он сорван рукою
Того, кто был ею любим...

ИЗВЕСТИЕ

С турнира скачет граф домой.
Ему навстречу, сам не свой,
Его слуга идет и плачет.
«Скажи-ка, что все это значит?
Куда направился, дружище?»
«Иду искать себе жилище».
«А что стряслось? Ответь толково».
«Да в общем ничего такого.
Но, испустив последний вздох,
Любимый песик ваш издох».
«Не может быть!.. Совсем щенок!
Он что, внезапно занемог?»
«Ему копытом вдарил с маху
Ваш верный конь, поддавшись страху».
«Мой конь всегда был храбр и смел.
Кто напугать его посмел?»
«Сыночек ваш, премилый крошка,
Когда бросался из окошка».
«Но он остался невредим?
Моя супруга, верно, с ним?»
«Да нет. Ее хватил кондрашка,

Als vor ihr des Herrleins Leichnam lag!“
„Warum bei solchem Jammer und Graus,
Du Schlingel, hütetest du nicht das Haus?“
„Das Haus? Ei welches meint Ihr wohl?
Das Eure liegt in Asch und Kohl!
Die Leichenfrau schlief an der Bahr’,
Und Feuer fing ihr Kleid und Haar.
Und Schloß und Stall verlodert’ im Wind,
Dazu das ganze Hausgesind!
Nur mich hat das Schicksal aufgespart,
Euch’s vorzubringen auf gute Art.“

SALONSZENE

Abend ist’s; die Girandolen flammen im geschmückten
Saal,
Im Kristall der hohen Spiegel quillt vertausendfacht
ihr Strahl,
In dem Glanzmeer rings bewegen, schwebend fast und
feierlich,
Altehrwürdige Matronen, junge schöne Damen sich.

Und dazwischen ziehn gemessen, schmuck im Glanze des
Ornats,
Hier des Krieges rauhe Söhne, Friedensdiener dort des
Staats;
Aber einen seh’ ich wandeln, jeder Blick folgt seiner
Bahn,
Doch nur wenig der Erkornen sind’s, die’s wagen, ihm
zu nahn.

Er ist’s, der das rüst’ge Prachtschiff Austria am
Steuer lenkt,
Er, der im Kongreß der Fürsten für sie handelt, für
sie denkt;
Doch seht jetzt ihn! wie bescheiden, wie so artig,
wie so fein!
Wie manierlich gegen alle, höflich gegen groß und klein!

Когда угробился бедняжка». «О горе! Горе мне! О, боже! А дом остался на кого же?» «Какой там дом! Сгорел дотла. Там только пепел и зола. Пожар внезапно начался. Огонь страшенный поднялся. Он все спалил и все пожег. А я со всех помчался ног – И выжил, – господи, прости! – Чтоб вам сие преподнести».

САЛОННАЯ СЦЕНА

Вечер; в зале полыхает пламя тысячи свечей,
Зеркала усердно множат блеск их праздничных лучей,
В море света проплывают и кружатся тут и там
Телеса матрон почтенных и фигуры юных дам.

Между ними ходят гордо, в сединах и орденах,
Бесшабашные рубаки и сановники в чинах;
Но из них один лишь явно привлекает взоры всех,
И простую с ним беседу почитают за успех.

Это он, искусный кормчий у австрийского руля,
Неустанно направляет бег большого корабля;
В государственном совете он за всех дела вершит,
Но взгляните, как учтиво он со всеми говорит!

Seines Kleides Sterne funkeln karg und lässig fast
Aber freundlich mildes Lächeln schwebt ihm stets ums
Wann von einem schönen Busen Rosenblätter jetzt er
Oder wenn, wie welke Blumen, Königreiche er zerstückt.

Gleich bezaubernd klingt's, wenn zierlich goldne
Oder wenn er Königskronen von gesalbten Häuptern reißt;
Ja fast dünkt's mich Himmelswonne, die den sel'gen
Den sein Wort auf Elbas Felsen, den's in Munkats'
Kerker schickt!

Könnst' Europa jetzt ihn sehen, so verbindlich, so galant,
Wie der Kirche frommer Priester, wie der Mann im
Wie des Staats besternter Diener ganz von seiner
Und die Damen, alt' und junge, erst bezaubert und
entzückt!

Mann des Staates, Mann des Rates! da du just bei
Da du gegen alle gnädig überaus zu dieser Frist;
Sieh, vor deiner Türe draußen harret ein dürftiger Klient,
Der durch Winke deiner Gnade hochbeglückt zu werden
brennt.

Brauchst dich nicht vor ihm zu fürchten; er ist artig
Trägt auch keinen Dolch verborgen unter seinem schlichten
Österreichs Volk ist's, ehrlich, offen, wohlherzogen
Sieh, es fleht ganz artig: Dürft' ich wohl so frei
sein, frei zu sein?

На его камзоле важно блещут звезды и кресты,
Но мягка его улыбка и намеренья чисты,
Когда он с груди девичьей роз срывает лепестки
И когда рукою твердой режет царства на куски.

С равным шармом он у дамы хвалит цвет ее кудрей
И с престола низвергает несговорчивых царей;
И завидна участь даже тех, кого он, добр, но строг,
Лично шлет в тюрьму над Эльбой иль в Мукачевский
острог!

Если б видела Европа, как он скромн и умен,
Как он служит беспорочно, как за это награжден,
Наш заступник бескорыстный, покровитель и отец,
Благородный покоритель нежных девичьих сердец!

Муж державы, муж совета! Раз уж ты сказать велишь,
Раз ты в этот славный вечер к нам ко всем благоволишь,
То взгляни: вон там, за дверью, ждет оборванный
клиент,
Снизойди к нему, светлейший, хоть на миг, хоть на
момент!

Ты не бойся, он не жулик, не разбойник, не бандит,
И кинжала рокового он под платьем не таит;
Это наш народ австрийский, изнемогши эдак жить,
Просит чинно-благородно жить свободно разрешить!

Ernst von Feuchtersleben

ABENDLICH

Abendsonnenstrahlen zittern
Gold auf stille Wiesen hin,
Säuselnd spricht aus Blättergittern
Ahnung zu des Menschen Sinn.

Hoffnung, ach! ist zu vermessen,
Ahnung schwebt mit zarterm Schwung,
Hoffnung ist nur – ein Vergessen,
Ahnung ist – Erinnerung.

Hoffnung ist nur ein Vergessen:
Daß geschieht – was stets geschah;
Ahnung ist ein Fühlen; – wessen?
Was du fühlst, es war schon da.

War schon da, in deines Innern
Tiefster Tiefe, halb bewußt:
Alles, alles ist Erinnern
In des Menschen tiefer Brust.

Эрнст фон Фойхтерслебен

ВЕЧЕРНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Солнце осыпает травы
Теплым золотым дождем.
Чудится в листве кудрявой
То, чего мы сердцем ждем.

Ожиданье – как виденье,
Ждать – едва припоминать...
А надежда – лишь забвенье,
Чтобы вновь и вновь дерзать.

А надежда – лишь забвенье:
Мир – один во все года.
Ожиданье – ощущение:
Это было... но когда?

Это было... лишь в сознание –
То, что брезжит впереди.
Жизнь, вся жизнь – воспоминанье,
Свет, таящийся в груди.

Hermann von Gilm

ALLERSEELEN

Stell auf den Tisch die duftenden Reseden,
Die letzten roten Aestern trag herbei
Und laß uns wieder von der Liebe reden,
 Wie einst im Mai.

Gib mir die Hand, daß ich sie heimlich drücke,
Und wenn man's sieht, mir ist es einerlei;
Gib mir nur einen deiner süßen Blicke,
 Wie einst im Mai.

Es blüht und funkelt heut' auf jedem Grabe,
Ein Tag im Jahre ist den Toten frei;
Komm an mein Herz, daß ich dich wieder habe,
 Wie einst im Mai.

Герман фон Гильм

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ

Ты дом укрась пахучей резедою
И поздних астр нарежь – на холмик мой.
Мы о любви поговорим с тобою,
 Как той весной.

Дай мне твою пожать украдкой руку,
Склонись с улыбкой нежной надо мной,
Чтоб я изведаль сладостную муку,
 Как той весной.

Лишь раз в году я волен перед богом,
И весь в цветах сегодня мир иной.
Не уходи, побудь со мной немного,
 Как той весной.

Karl Isidor Beck

WARUM SIND WIR ARM?

Ihr sitzt, im Glanz und in Ehren geboren,
Und spielt mit Dukaten und Louisdoren;
Wir scheuern die Wappen an euern Toren
In Hunger und in Harm.
In Hunger und in Harm.

Wir werben um Ketten und nennens Erwerben.
Ha, trinkt und schlagt die Gläser in Scherben!
Ha, laßt uns sterben und laßt uns verderben—
Denn—*warum sind wir arm?*
Denn—*warum sind wir arm?*

Ihr Seligen könnt euch pflegen und mästen.
Wir spähen für euch nach Kohlen und Ästen,
Wir frieren und hacken vor euern Palästen,
Doch euch ist wohl und warm.
Doch euch ist wohl und warm.

Ihr habet Orden und Ämter und Pfründen.
Wir leben um euer Lob zu verkünden,
Wir schmeicheln euern Launen und Sünden,
Denn—*warum sind wir arm?*
Denn—*warum sind wir arm?*

Wenn unsere Töchter ums Glück sich raufen,
Euch in die lüsternen Arme zu laufen,
Wenn die Mütter die eigne Brut verkaufen,
Daß Gott, daß Gott erbarm—
Daß Gott, daß Gott erbarm:—

Dann fürchtet nimmer der Väter Rache,
Verloren und faul ist unsere Sache.
Schlagt auf die weithin schallende Lache!
Denn—*warum sind wir arm?*
Denn—*warum sind wir arm?*

Карл Исидор Бек

ОТЧЕГО МЫ БЕДНЫ

Рожденные в блеске, гордыней объята,
Играете золотом, швыряя дукаты.
Для вас полируем гербы и палаты.
Мы — голь, и мы голодны.

Мы — голь, и мы голодны.

Себя мы сковали — и цепи желанны...
Так пей и бей о стенку стаканы!
Пусть мы подохнем, как пес окаянный.
И впрямь — отчего мы бедны?

И впрямь — отчего мы бедны?

В дворцах наслаждаетесь в неге и в холе,
А мы замерзаем в лесу или в поле,
Но уголь добыли и дров накололи,
Чтоб вам не тужить до весны.

Чтоб вам не тужить до весны.

У вас ордена, и чины, и доходы.
Мы славим и славим вас долгие годы,
Мы чествуем ваши пороки и моды.
И впрямь — отчего мы бедны?

И впрямь — отчего мы бедны?

Когда наши дочери в грезах счастливых
Окажутся в ваших руках похотливых,
То матери их продают, боязливых —
О боже, вот сеть сатаны!

О боже, вот сеть сатаны!

Тогда и отцов не бойтесь вы мести.
Мы в пух проигрались, забыли о чести.
Так смейся — от хохота падай на месте! —
И впрямь — отчего мы бедны?

И впрямь — отчего мы бедны?

Wir sinds; dafür ein Fluch den Alten,
Die uns gelehrt die Hände falten:
Wer nur den lieben Gott läßt walten,
Der ist erlöst von Harm.

Der ist erlöst von Harm.

Wir borgen und sorgen, ihr häufet die Gulden,
Wir füllen die Kirchen und beten und dulden.
Dies Dulden ist unser unendlich Verschulden,
Und-*darum sind* wir arm.

Und-*darum sind* wir arm.

На нас проклятие старой науки:
Склонять колени, складывать руки.
Тому, кто к богу взывает в муке,
Лишь скорбь и стон суждены.
Лишь скорбь и стон суждены.

У нас обнищанье—у вас накопленье.
Мы в храмах толпимся, моля о спасенье.
Наш долг—беспросветное долготерпенье.
И вот отчего мы бедны!
И вот отчего мы бедны.

Moritz Hartmann

SCHWEIGEN

Kein Wort und keinen Hauch –
Wir wollen schweigen.
Die Trauerweiden, die sich neigen
Auf Leichensteine, schweigen auch.

Sie neigen sich und lesen,
Wie ich auf deinen Wangen:
Es ist ein Glück gewesen
Und ist vorbeigegangen.

LENAU

Ein Klosterbau mit altverfallnen Bogen –
Da sickert Düsternis aus Zell' und Saale
Wie dunkler Trank aus der gesprungenen Schale,
Und alles ist von Wolken überflogen.

Die Nessel brennt auf Christi Wundenmale,
Der Quell erzählt in leisen Monologen
Von Glück und Glauben, längst vorbeigezogen –
Ein Waldhorn tönt, doch fern, ach, fern im Tale.

Was hauste wohl vor Zeit in dem Gemäuer?
Herzzehrendes Savonarolafeuer?
Faustgrübeleien? Wie? Don Juan-Gelüste?

Efeu und Rosen wuchern auf gemeinsam
Mit Dorn und Unkraut – immer mehr wird's einsam,
Wie Wahnsinn unentrinnbar wird die Wüste.

Мориц Гартман

МОЛЧАНИЕ

Ни слова, о друг мой, ни вздоха...
Мы будем с тобой молчаливы...
Ведь молча над камнем могильным
Склоняются грустные ивы...

И только склонившись читают
Как я, в твоём взоре усталом,
Что были дни ясного счастья,
Что этого счастья — не стало!

ЛЕНАУ

Обрушился с годами свод крестовый,
Сочится тьмою мертвое окно
Обитатели, — так горькое вино
Из чаши льется, раны жжет Христовы

Крапива, о былом скорбеть готовы
Одни ручьи, — вокруг черным-черно:
Ни благости, ни веры нет давно,
Охотничьи рога смолкают, — кто вы,

Хранители руин? Ужель потух
Огонь Савонаролы? Гордый дух
Покинул Фауста? Не стало страсти

В груди у Дон Жуана? Вместо роз
Бурьяном монастырский сад зарос.
Пустыня у безумия во власти.

DIE REGENTROPFEN

Ein Regentropfen sprach
Zu andren Regentropfen:
Möcht wissen, warum wir
An dieses Fenster klopfen?

Der andre Tropfen sprach:
Hier wohnt ein Kind der Not,
Und dem verkünden wir:
Es wächst, es wächst das Brot.

ДОЖДЕВЫЕ КАПЛИ

Капля дождевая
Говорит другим:
«Что мы здесь в окошко
Громко так стучим?»

Отвечают капли:
«Здесь бедняк живет;
Мы ему приносим
Весть, что хлеб растет».

Alfred Meißner

DER VERBANNT

Wie stumm mein Vaterland! Es flüstert kaum
Zum grauen Himmel, der darüber hängt,
Es zittert, wie ein winterlicher Baum,
Die Äste aneinander festgedrängt,
Und ringsumher verhüllt der tiefe Schnee
Gefrorenes Blut und eingesargtes Weh.

Dort singt der Dichter ohne Lohn und Dank,
Ein armer Gaukler, seines Herzens Not,
Des Reichen Halle reicht ihm keinen Trank,
Des Armen Hütte keine Krume Brot.
Den Fuß im Schnee, das Haupt auf einem Stein,
In seines Kummers Mantel schläft er ein.

Was sollt' der arme Mann auch singen im Gedicht,
Da es ringsum so kalt und leichenhaft!
Der Vorzeit Größe? Ach sie dulden's nicht!
Der Jetztzeit Schmach? Man straft's mit Kerkerhaft!
Um nicht zu singen seiner Mutter Hohn,
Legt auf den Mund die Hand der treue Sohn!

Альфред Мейснер

ИЗГНАННИК

Как родина нема! Едва-едва
Замерзшими губами шевелит:
Дрожащие, невнятные слова;
Как дерево зимой, она дрожит.
И кровь застывшая, и боль моей страны
Под снегом глубоко погребены.

И там поэт, как ярмарочный шут—
Унижен, нищ: за крик его души
Имущие награды не дадут,
А нищим жаль их жалкие гроши.
И спит он под плащом тоски своей
На снежных простынях промерзших площадей.

Да что он мог воспеть в своих стихах
В стране, где беспощадная зима!
Величье прошлого? О, не тревожьте прах!
Позор сегодняшний? За это ждет тюрьма!
И чтоб не оскорбить родную мать,
Он должен рот себе рукой зажать!

Robert Hamerling

O TROCKNE DIESE TRÄNE NICHT

O trocken diese Träne nicht,
Die dir im Auge schimmert,
Der Perle gleich, die rein und licht,
Im Kelch der Rose flimmert!
Die Liebe war's, die sie gebar,
Der sel'ge Schmerz der Liebe;
Drum schimmert sie so wunderbar –
Ach, daß sie ewig bliebe!

Sie glänzt so rein, sie glänzt so hell,
Mich rührt ihr flüchtig Leben;
Ach, daß, was aus so heil'gem Quell
Geflossen, muß verschweben,
Daß, was der reinsten Seele Schacht
Entblühte, schmerzumwittert,
Mit seines Glanzes Wunderpracht
Verschwindet und verzittert!

Sie glänzt so rein, sie glänzt so klar
In deinem Aug', dem blauen,
Und immer lockt mich's wunderbar,
In ihren Glanz zu schauen!
Du schonst der Perle sonst, die licht
Im Kelch der Rose flimmert –
O trocken diese Träne nicht,
Die dir im Auge schimmert.

Роберт Гамерлинг

СЛЕЗУ, ЧТО НА ЩЕКЕ БЛЕСТИТ..

Слезу, что на щеке блестит,
Не смахивай небрежно:
Так ясным жемчугом горит
Роса на розе нежной.

Слеза – дитя любви твоей,
Дитя тоски сердечной,
Пускай, сияя все ясней,
Она пребудет вечно.

Она прекрасна и ярка,
Но знаю, к сожаленью,
Сей дар святого родника
Мерцает лишь мгновенье.

И та, что рождена среди мук
Души простой и чистой,
Вдруг задрожит и канет вдруг,
Померкнет жар лучистый.

Сиянье голубых очей
Ее мне подарило;
И вот мой взор прикован к ней
Какой-то тайной силой.

О пусть жемчужина горит,
Роса на розе нежной:
Слезу, что на щеке блестит,
Не смахивай небрежно.

Marie von Ebner-Eschenbach

LEBENSZWECK

Hilflos in die Welt gebannt,
Selbst ein Rätsel mir,
In dem schalen Unbestand,
Ach, was soll ich hier?

– Leiden, armes Menschenkind,
Jede Erdennot,
Ringend, armes Menschenkind,
Ringend um den Tod.

EIN KLEINES LIED

Ein kleines Lied! Wie geht's nur an,
daß man so lieb es haben kann,
was liegt darin? Erzähle!

– Es liegt darin ein wenig Klang,
ein wenig Wohllaut und Gesang
und eine ganze Seele.

Мария фон Эбнер-Эшенбах

ЖИЗНЕННАЯ ЦЕЛЬ

Мне, попавшей в этот мир,
Где в тенетах смут
Не найти ориентир,
 Что мне делать тут?

– Век терпеть, земная дочь,
Горя круговерть,
Жить борьбой, земная дочь,
 Жить борьбой за смерть.

МАЛЕНЬКАЯ ПЕСЕНКА

Я не могу никак не петь.
Что в этой песенке, ответь,
Скажи мне, не тая!

Ее напев нетороплив,
Просты слова, и прост мотив.
...В ней вся душа твоя.

Ferdinand von Saar

ALTER

Das aber ist des Alters Schöne,
Daß es die Saiten reiner stimmt,
Daß es der Lust die grellen Töne,
Dem Schmerz den herbsten Stachel nimmt.

Ermessen läßt sich und verstehen
Die eigne mit der fremden Schuld,
Und wie auch rings die Dinge gehen,
Du lernst dich fassen in Geduld.

Die Ruhe kommt erfüllten Strebens,
Es schwindet des verfehlten Pein—
Und also wird der Rest des Lebens
Ein sanftes Rückerinnern sein.

OTTILIE

Es hat der ernste Gang der Jahre
Dein Antlitz leise schon gekerbt,
Und dir die dunkelbraunen Haare
Zu mattem Silber fast entfärbt.

Doch hold und schlank sind noch die Glieder,
Die du so leicht im Gange regst,
Und reich hängt deine Flechte nieder,
Wenn du sie tief im Nacken trägst.

Und Stunden gibt es, wo die ganze
Zurückgedrängte Jugend bricht
Aus deinem Aug' mit scheuem Glanze,
Der von verlornem Leben spricht.

Фердинанд фон Саар

СТАРОСТЬ

О, прелесть старости святая!
Уж коль придет ее черед,
Осенняя струна литая—
И боль, и радость воспоет!

Ни суеты, ни сожаленья.
Покой, смиренность, тишина.
Долготерпенье. Снисхожденье.
В чужой вине—своя вина.

И в ожиданье смерти станет
Неважно то, что не сбылось.
Ничто не ранит, не обманет.
И жизнь видна до дна. Насквозь.

ОТТИЛИЯ

Судьбою уязвлен твой облик.
Года сквозят в твоих чертах.
Серебряный холодный отблеск
Лежит на черных волосах.

Но как легки твои движенья.
Как грациозен жест любой!
И как таинственно сплетенье
Тяжелых кос над головой.

И словно в юности, лучится
Твой взгляд. Но в нем прочесть дано,
Что было не всему случиться
И сбыться в жизни суждено.

Dann will es schmerzlich mich durchsprühen,
Und küssen möcht' ich deinen Mund!
Du fühlst es und mit sanftem Glühen
Erbebst du tief im Herzensgrund.

So bebt des Herbstes letzte Traube,
Vergessen von des Winzers Hand,
Mit letzter Glut im fahlen Laube,
Wenn sie ein später Wanderer fand.

DRAHTKLÄNGE

Ihr dunklen Drähte, hingezogen,
so weit mein Aug zur Ferne schweift,
wie tönt ihr, wenn der Lüfte Wogen
in euch so wie in Saiten greift!

O, welch ein seltsam leises Klingen,
durchzuckt von schrillum Klagelaut,
als hallte nach, was euren Schwingen
zu raschem Flug ward anvertraut!

Als zitterten in euch die Schmerzen,
als zitterte in euch die Lust,
die ihr, aus Millionen Herzen
verkündend, tragt von Brust zu Brust.

Und so, ihr wundersamen Saiten,
wenn euch des Windes Hauch befällt,
ertönt ihr in die stillen Weiten
als Äolsharfe dieser Welt!

Благоговенье, а не жалость –
Мою переполняет грудь.
Извечно мне предназначалась
Лишь ты одна – не кто-нибудь.

Но я, как путник запоздавший,
Пришедший к празднеству не в срок.
А ты – случайно не опавший,
В багрянце осени листок.

ТЕЛЕГРАФНЫЕ НИТИ

В мраке скучных осенних ночей,
Телеграфные темные нити,
В блеске майских сверкающих дней
Вы печально и нежно дрожите!
И мелодия жизни звучит
В вашем робком, тоскливом дрожаньи –
Весть о смерти кого-то летит,
Весть о близком, желанном свиданьи.
Вам свою поверяют печаль
Миллионы сердец истомленных...
Вы несете в туманную даль
Поцелуи и клятвы влюбленных.
Вы несете и радости взгляд,
И судьбы беспощадной перуны...
И дрожат в вас, незримо дрожат
Чуткой арфы эоловой струны...

Ludwig Anzengruber

VOLKSWEISE

Wie vieler deiner Freuden
Hab' ich umsonst geharrt,
Wie wenig deiner Leiden
Hast du mir, Welt, erspart!

Die einen wie die andern
Ich hätt' sie gern gemißt,
Weil doch ein planlos Wandern
Das arme Leben ist.

Und ruhen wir am Ziele
Im tiefen Erdgeschoß,
Dann gleichen ihre Spiele,
Wer darbt, wer genoß.

Verderbet nicht den einen
Der Freuden frohen Schein,
Und seht ihr andre weinen,
Verschärfet nicht die Pein.

Daß keine wehmutreiche
Erinnerung euch betrübt,
Und man an euch die gleiche
Geduld und Treue übt!

Людвиг Анценгрубер

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Как часто у Печали
Бывали мы в чести,
Как редко замечали
Мы Радость на пути.

Родною нам не стала
Ни Радость, ни Печаль:
Всю жизнь бредем устало
В безжизненную даль.

Окончен путь, и вскоре
Истлеть нам суждено,
Кто счастье знал, кто горе
Отныне все равно.

О бурях несчастливых
Не думай по весне,
При виде слез тоскливых
Не мучь себя вдвойне.

Дорогу к нам забудут
Печали прошлых дней,
Тогда и люди будут
Терпимей и честней.

Peter Rosegger

URWALDSTIMMUNG

O ruhsamer Wald, wie bist du fein!
Wie bist du in Ewigkeit jung und rein!
Vom blutigen Kreuzweg der Menschensöhne
Entweiht keine Spur deine heilige Schöne.
Wohl heut wie zur Urzeit die Stürme tosen,
Und wühlen im See und brechen den Baum.
Wohl heut wie zur Urzeit blühen die Rosen
Und funkelt der Tau am Blütensaum.—
In dir ist Ruh.
Mein Leib will liegen
In blumiger Wiegen.
Meine Seele kam her aus unendlichen Zeiten,
Und wie der wandernde Vogel den Ast,
So wählt diesen Leib sie zur kurzen Rast,
Ehe weiter sie fliegt in die Ewigkeiten.

AUCH DER ANDRE, DER BIST DU

Was die Erde mir geliehen,
Fordert sie schon jetzt zurück.
Naht sich, mir vom Leib zu ziehen
Sanft entwindend Stück für Stück.
Um so mehr, als ich gelitten,
Um so schöner ward die Welt.
Seltsam, daß, was ich erstritten,
Sachte aus der Hand mir fällt.—
Um so leichter, als ich werde,
Um so schwerer trag' ich mich.

Петер Розеггер

НАСТРОЕНИЕ ОТ ПЕРВОБЫТНОГО ЛЕСА

Ты блаженно хорош, первобытный мой лес,
И стоишь сотни лет, исполин-чародей...
Ах, таится в тебе много ярких чудес!
Ты не знаешь следов кровожадных людей.
Так же буря гудит, как в былые года,
На заре пролетевших далеких веков,
И пощады она не дает никогда,
Низвергая громады могучих дубов.
...В первобытном лесу я хочу схоронить
Свое тело в таинственной чаще густой—
Над могилой моей будет ландыш грустить,
И фиалка шептать о любви золотой.
А душа улетит в бесконечную даль,
Из которой она в мое тело пришла...
Улетит и моя вековая печаль...
В первобытном лесу нет всевластного зла...

ТОТ, ДРУГОЙ, — ОН ТОЖЕ ТЫ

Все, что мне земля дарила,
Ныне требует вернуть—
Гложет плоть и точит силы,
Приближаясь, давит грудь.
Я страдал. И чем сильнее,
Тем светлей был мир вокруг.
Странно видеть, как трофеи
Тихо падают из рук.
Странно, что чем легче тело,
Тем трудней ступаю я.

Kannst du mich, du reiche Erde,
Nicht entbehren? frag' ich dich.–
„Nein, ich kann dich nicht entbehren,
Muß aus dir ein' andern bauen,
Muß mit dir ein' andern nähren,
Soll sich auch die Welt anschauen.
Doch getröste dich in Ruh.
Auch der andre, der bist du.“

Если б ты, земля, сумела
Отказаться от меня!–
«Не могу, ведь ты основой
Новой жизни должен стать:
Из тебя создам другого,
Чтобы мир ему отдать.
Но не бойся темноты:
Тот, другой,– он тоже ты».

Ada Christen

NOT

All euer girrendes Herzeleid
tut lange nicht so weh,
wie Winterkälte im dünnen Kleid,
die bloßen Füße im Schnee.

All eure romantische Seelennot
schafft nicht so herbe Pein,
wie ohne Dach und ohne Brot
sich betten auf einen Stein.

ICH SEHNE MICH NACH WILDEN KÜSSEN

Ich sehne mich nach wilden Küssen,
Nach wollustheißen Fieberschauern;
Ich will die Nacht am hellen Tag
Nicht schon in banger Qual durchtrauern.

Noch schlägt mein Herz mit raschem Drang,
Noch brennt die Wang' in Jugendgluten—
Steh' still, lösch' aus mit einem Mal!
Nur nicht so tropfenweis verbluten.

Ада Кристен

НУЖДА

Все ваше пошлое страданье
Не так ужасно, как мороз
Тому, кто в легком одеянье,
И зимний снег – тому, кто бос.

Порывы ваши в даль и в небо
Не столько мук несут с собой,
Как без пристанища и хлеба
Ночлег на голой мостовой.

ХОЧУ БЕЗУМСТВА ПОЦЕЛУЕВ...

Хочу безумства поцелуев,
Озноба страсти, неги томной,
И не хочу, стыдом терзаясь,
Днем сожалеть о ночи темной.

Еще горит румянца жар
И в сердце – юное биенье;
Но мне милее смерть сейчас,
Чем жизни медленное тленье.

Jakob Julius David

AM WEGE

Ich kannte eine. Wie sie hieß?
Wer nennt das Wort, das mir verklang?
Vergessen ist's. Ich weiß nur dies:
daß ich sie liebte und umschlang.

Das Lied von der, die mir entschwand,
singt nur der Nachtwind meinen Ohren—
Am Wege hab ich sie verloren,
die sich zu mir am Wege fand.

LETHE

Im Irren war ich überlang gegangen,
nun senkte heimwärts sich mein müder Pfad;
ich saß allein; der Himmel war umhangen,
und schluchzend schlug die Seeflut ans Gestad.

Zum Ufer sah ich starke Wogen rollen,
stahlgrün geharnischt und die Helme blank;
ich sah ihr Drängen und vernahm ihr Grollen,
indes ein Träumen meine Brust bezwang.

Und da ich so, die Augen halb geschlossen,
in wachem Schlummer saß und einsam sann:
ahnt ich, wie alles, das ich kaum genossen,
wie selbst das helle Bild um mich zerrann.

Das Leid verflog, das ich als mein empfunden,
die Stürme schwiegen, die in mir gewühlt;
ich rührte sacht die Narben alter Wunden,
ich hab verwundert keinen Schmerz gefühlt ...

Якоб Юлиус Давид

НА ПУТИ

Все это было так давно.—
Как звать ее, я позабыл,
осталось в памяти одно:
я эту женщину любил.

А ветер, ветер все мрачней
гудит, ревет из темноты:
с ней на пути столкнулся ты
и на пути расстался с ней.

ЛЕТА

В конце пути домой бреду устало,
стою один на берегу морском,
ночное небо сумеречным стало,
сгустились тучи над сырым песком.

Смотрю, как разбивается о скалы
победоносных ратников броня:
ревущих волн враждебные оскалы
открыли рану в сердце у меня.

Смотрю, как волны стонут, погибая,
и под прозрачной пеленою сна
догадываюсь, что мечта любая
в душе моей на смерть обречена.

Я даже горечь отдал поневоле,
смолкает шторм, прорывший борозду
в моей груди,—я не замечу боли,
когда рукой по шраму проведу.

Begehrt ich einst, das Glück der Welt zu zwingen?
und schlug mein Herz verlangend einst und heiß?
mir schien mein Sein, mein Wollen und mein Ringen
ein wüster Traum, des Ende niemand weiß.

Geträumt die Schläge, die zu tiefst mich trafen,
geträumt auf meinem Pfad das späte Licht...
als wäre meine Seele längst entschlafen –
woran und wie? ich weiß es selber nicht...

Но разве сердце бедное просило
о счастье, разве билось горячей? –
Желанье, воля, жизненная сила
растаяли в безмолвии ночей.

Все это сон – и худшие невзгоды,
и над тропой моею поздний свет...
душа уснула, пролетели годы, –
когда и почему? – ответа нет...

Arthur Schnitzler

ORCHESTER DES LEBENS

Verklungen sind die holden Freudenlieder
Die vollen Jubeltöne sind verstummt,
Eintönig hör ich nur, wie immer wieder
Der trübe Baß des Lebens summt und brummt.

Der sanften Flöte heitres Tirilieren,
Die immer nur von Glück und Liebe sang,
Der lustigen Geigen Finden und Verlieren,
Des hellen Jugendmuts Trompetenklang,-

Dahin verhallt! Das ganze Spiel will enden,
Da jeder Spieler seines Parts vergißt.
Nur einer noch mit nimmermüden Händen
Führt seinen Bogen: Trübsinn, der Bassist.

CABINET PARTICULIER [DE] LIÄSON

Sag, warum Du lachst, mein süßes Kindchen,
Wenn ich Dich umarm in Liebesglut,
Wenn ich küsse dein vielholdes Mündchen
Und Dir sage: Maid, ich bin Dir gut?
„Weil ichs nicht glaube, Bester.“

Sag, warum Du lachst, o trautes Wesen,
Wenn ich schmachtend Dir ins Auge seh,
Mein Geschick darin, mein Glück zu lesen,
Meiner Seele Lust und ach ihr Weh?
„Weil ichs nicht glaube, Teurer.“

Sag, warum Du lachst, Du Engelschöne,
Wenn Du selbst mir heiße Küsse gibst,
Daß ich schier im Himmelreich mich wähne
Wenn Du selbst mir sagst, daß Du mich liebst?
„Weil Du mirs glaubst, du Guter!“

Артур Шницлер

ОРКЕСТР ЖИЗНИ

Уже веселья песни отзвучали,
От ликований воздух не дрожит,
И только монотонно бас печали
Гудит и над землею все кружит.

Умолкли переливы флейты нежной,
Что лишь о счастье и любви поет,
Валторны нашей юности мятежной,
Задорных скрипок взвизги и полет,—

Все кончилось! Концерт здесь отыграли,
У оркестрантов пыл давно угас.
И лишь печаль, одна печаль в запале
Из рук не выпускает контрабас.

CABINET PARTICULIER [DE] LIÄSON

— Отчего смеешься ты, малютка,
Из объятий выскользнув моих?
Не играй с огнем, любовь — не шутка.
Ты же мне милее всех других...
— Я тебе не верю, мой хороший.

— Отчего смеешься ты, плутовка?
Лишь в глаза тебе взгляну с мольбой —
Милою качаешь ты головкой...
Я весь мир отдам за миг с тобой.
— Я тебе не верю, самый лучший.

— Отчего же ты опять смеешься,
Ты скажи, прекрасный ангел мой?
Не сама ли мне в любви клянешься,
Ласками даруя рай земной?
— Оттого что ты мне веришь, славный.

Carl Dallago

SONETT

In meiner Heimat rauschen dunkle Tannen,
Der Fels erglüht im güldnen Abendscheine,
Purpurne Rosen zittern am Gesteine,
Und hoch hinauf zieht sich der Duft der Tannen.

Berauscht möcht ich die ganze Welt umspannen.
Ich streck die Arme in die lichte Weite,
Da schleicht sich Sehnsucht heiß an meine Seite:
Schwermütig rauschen meine dunklen Tannen.

Rot wallt es auf und schießt empor in Strahlen,
Spätlichter lagern müde um mein Haus,
Es träufelt Schmerz aus glühenden Pokalen

Auf mich, tief düster tönt des Tanns Gebraus,
Und blutend, still vom höchsten End der Strahlen
Weint meine Sehnsucht in die Nacht hinaus.

Карл Даллаго

СОНЕТ

На родине моей темнеют ели,
И в отраженьях золотисто-алых
Пурпурные цветы дрожат на скалах,
Пьянящие благоухают ели.

Смотрю туда, где дали просветлели,
Хочу обнять весь мир, но, обжигая,
Растет волна тоски, за ней другая,
Шумят угрюмо траурные ели.

У дома моего необжитого
Ночная тень темна и глубока,
Стекает боль из кубка золотого,

Закатный бор шумит издалика,
В лучах огня кроваво-золотого
Беззвучно плачет давняя тоска.

Felix Dörmann

WAS ICH LIEBE

Ich liebe die hektischen, schlanken
Narzissen mit blutrotem Mund;
Ich liebe die Qualengedanken,
Die Herzen zerstoehen und wund;

Ich liebe die Fahlen und Bleichen,
Die Frauen mit müdem Gesicht,
Aus welchem in flammenden Zeichen,
Verzehrende Sinnenglut spricht;

Ich liebe die schillernden Schlangen,
So schmiegsam und biegsam und kühl:
Ich liebe die klagenden, banger,
Die Lieder von Todesgefühl;

Ich liebe die herzlosen, grünen
Smaragde vor jedem Gestein;
Ich liebe die gelblichen Dünen
Im bläulichen Mondenschein;

Ich liebe die glutendurchtränkten,
Die Düfte, berauschend und schwer;
Die Wolken, die blitzedurchsengten,
Das graue wutschäumende Meer;

Ich liebe, was niemand erlesen,
Was keinem zu lieben gelang:
Mein eigenes, urinnerstes Wesen
Und alles, was seltsam und krank.

Феликс Дёрман

ЧТО МНЕ ДОРОГО

Мне дорог болезненно-хрупкий
нарцисс с окровавленным ртом
ранимого сердца уступки,
печали о пережитом.

Мне дороги чахлые лица
изысканно-бледных детей
и женские очи, где длится
годами пыланье страстей.

Мне дороги пятна, отливы
прохладной и гладкой змеи,
напев сиротливо-пугливый
о вечном ночном забытьи.

Мне дороги желтые дюны,
где волны вздохнут и замрут,
и блеск опьяняюще лунный,
и тинистый изумруд.

Мне дорог мучительно-жгучий,
полуднем расплавленный зной,
и молнии в бездне тягучей,
и тучи над серой волной.

Мне дорого все, что вовеки
любить не удастся другим:
изломанное в человеке
зову для себя дорогим.

Franz Blei

VOR HORIZONTEN

Vor Horizonten stehen, monotonen, weiten,
Nicht mehr zu sein und träumen, daß man war,
Nach Wolken schauen, die vorübergleiten,
Entsiegelt sein und allem offenbar.
Kein Leben mehr wie dieses dumpfe Beben
Um Tat und Ding und Schrei und Müdigkeit,
Kein Nehmen mehr von mir, von dir kein Geben,
Und ausgelöscht das Ein und das Zuzweit...
Wir haben keinen Ort und keine Stunde
Und nicht mehr Dauer als ein Traumgesicht,
Wir sagen Schmerz, und was ist unsre Wunde?
Wir sagen Lust, und was ist unser Licht?

Франц Блей

В РАСПАХНУТЫЙ ПРОСТОР...

В распахнутый простор смотреть, мечтая
О прошлом, ничего не замечать,
Следить, как облаков летучих стая
Несется вдаль,—последнюю печать
Сорвать с души: нам нечем поделиться,
Нет больше ни тебя, ни нас вдвоем,
Лишь слабый гул, что бесконечно длится
Вокруг вещей и дел, мы устаем
От суеты, нас приневолил странный
Безликий сон—ни места, ни примет,
Мы скажем: «Боль», но что такое раны?
Мы скажем: «Страсть», но что такое свет?

Alexander Roda Roda

AUF DEM FRIEDHOF ZU GRAZ

Auf dem Friedhof zu Graz hinter eisernem Gitter,
da ruhen die alten Theresienritter,
Major, Oberstleutnant, General,
bunt durcheinander mit Subaltern-
wie sie der Tod zu sich befahl,
die grauen pensionierten Herrn:
Haudegen, Radetzky's Schlachtkumpane,
armeeberühmte Grobiane,
gelehrte Köpfe, Gamaschenknöpfe,
Strategen, Raufhäuse, Kriegssoldaten;
in einer Reihe die tapfern Kroaten
Maroicic, Rodic, Grivisic.
Über den Grüften vergoldete Schriften,
Gewaffen und Kronen,
gekräuselte Löwen und Marmorkanonen.
Der Efeu wächst aus den steinernen Nischen.
Geranien, Rosen, Anemonen
und Unkraut dazwischen.

Wenn eines Tages bei den Kapuzinern
Franz Joseph zu erwachen geruhte
und käme hierher zu seinen Dienern
auf der braunseidigen irischen Stute
und ruft in gellem Kommandogrimme
zum Frontappell seine morschen Scharen:
Herrgott, wie wird die gefürchtete Stimme
den Schläfern in die Knochen fahren!
So gemessen er war in Ton und Gebärden:
im Dienst – im Dienste konnt er ungemütlich werden.
Wird das ein Schnaufen, Durcheinanderlaufen,
Ellbogenstoßen und Richtungnehmen,
eh sich die wirrgewürfelten Haufen
zur vorgeschriebenen Reihe bequemen!
Denn sterben darf der Soldat, wann er will;

Александр Рода-Рода

НА КЛАДБИЩЕ В ГРАЦЕ

На кладбище в Граце, среди крестов и поэзии,
лежит родовое дворянство Марии Терезии:
майор, лейтенант, генерал,
рядом – какой-нибудь прапорщик
непочтительно в ящик сыграл, –
седые имперские пенсионеры:
рубаки маршала Радецкого,
знатоки занятия удалецкого,
боевые стратеги, тактики,
словом – солдаты,
частично – хорваты:
Маройчич, Родич, Кривичич.
Золотые буквы надгробий,
короны, гербы, всё такое –
гранитные пушки, курчавые львы на покое;
плющ обвивает колонны и полки –
герани, розы, левкой –
и всему не хватает прополки.

Если однажды, дела загробные бросив,
решив, что слуги свой долг забыли,
встанет из гроба Е. И. В. Франц-Иосиф
и приедет сюда на роскошной ирландской кобыле,
он увидит – на кладбище слишком тихо.
Он покойникам рявкнет: «Во фронт, господа!»
Боже, ну и неразбериха
на почтенном погосте начнется тогда!
Император-то был кавалер и герой,
но кого угодно допек бы муштрой!
Все рванутся, место занять желая, –
толкотня, сопение, самооборона,
пока, наконец, толпа гнилая
не встанет поротно и позскадронно!
Солдаты смертны, – однако ради

doch zum Empfang
des Allerhöchsten Herrn gebietet der Drill:
Genau nach dem Rang.

Am rechten Flügel die Feldmarschälle
in Ordnung nach dem Datum der Listen.
Alsdann die Generalobristen.
Die Feldzeugmeister an dritter Stelle.
Der Kaiser wird sie gehörig zwacken:
„Herr Feldmarschall! Sie schlafen da, statt Dienst
zu placken??“

Der Marschall aber schlottert und stottert:
„Majestät! Geruhen zu grollen!
Ich weiß nicht, wem wir dienen sollen.
Altösterreich mit allem Ruhm und Glanz
ist verweht und verschollen.“
Das wird der alte Kaiser Franz
gar nicht glauben wollen.

Auch meine Mutter ruht in Graz;
zur Rechten ein Hauptmann Bonifaz v. Lüben;
zur Linken Schreiner, der Husar,
Major, der immer so lustig war;
genüber ein Oberst der Infanterie.
Da hat nun Mutter drüben
ihre gemütliche Whistpartie.

национальной славы
обязаны встретить при полном параде
главу державы!

Фельдмаршалы, ясно, на левом фланге,
по старшинству и по выслуге лет,
дальше, конечно, генералитет,
артиллерия и остальные ранги.
Император браниться начнет, бойцов заушая:
«Фельдмаршал, вы спите, а это вина, и большая!..»

Задрожит фельдмаршал, задремлет:
«Ваше Величество – высшая мудрость сама!
Я не знал, что обязан служить, – о, простите мне
слабость ума!

К сожалению, вся имперская слава
теперь не дороже дерьма!..»
Новость подобная кайзеру, право,
удивительна будет весьма.

Также и мать моя похоронена в Граце.
Справа – персона лежит неизвестная,
капитан Бонифаций фон Любен, – слева Шрайнер,
гусарский майор,
чье веселье мне помнится до сих пор.
Напротив – полковник-кавалерист.
Такая, можно сказать, прелестная
загробная партия в вист.

Heinrich Suso Waldeck

GEIGERIN

Ein tiefes Bitten, Beben
Im Singen deiner Geige:
Du willst dich mir ergeben,
O junges, heißes Leben.
Ich aber weiß und schweige.

Ein Wohltrank ohne Neige,
Ein Wohltraum ohne Ende
Dein Lied, solange ich schweige.
Ich liebe deine Geige,
Vielleicht noch deine Hände.

DAS UFER

Der Weiher blühte weiß in jener Nacht.
Es paarten sich mit Rosen brünstig Sterne.
Der Nachen glitt. Wir schwiegen mit Bedacht.
Doch immer sang die dunkelblaue Ferne
Und Busch und leises Ried
Ein Liebeslied.

So zärtlich bot sich uns die Stunde dar.
Doch band uns Dank an seltsam schöne Tage
Geheimer Freude, die nicht Liebe war
Und allzu keusch, als daß man Namen sage,
Die je in Weib und Mann
Der Rausch ersann.

Nun kämpfte eine Lust um unser Blut
Und eine Furcht wie vor Geschwistersünde—
Da schlug mein Ruder lauter in die Flut,
Daß nicht ein Schluchzen deine Qual verkünde.
Und heftig stieß der Kahn
Das Ufer an.

Генрих Сузо Вальдек

СКРИПАЧКА

Мольбу и трепет снова
Я слышу в пенье скрипки.
Весь юный пыл сурово
Ты мне отдать готова –
Я знаю без ошибки.

Мечты блаженно-зыбки,
Пока не смолкли звуки.
Но знаю без ошибки:
Люблю лишь пенье скрипки,
Твои люблю лишь руки.

БЕРЕГ

В ту ночь весь пруд был белым от цветов,
И звезды к розам страстью пламенели.
Наш челн скользил. И мы боялись слов.
Но и тростник, и куст, и дали пели,
Будя огонь в крови,
Песнь о любви.

Прекрасными часы казались нам,
Но не любовь связала нас счастливо,
А благодарность этим редким дням,
И радость чистая, которая стыдливо
От слов, что дарит ночь,
Бежала прочь.

Да, в нас росли желание и страх,
Похожий на боязнь кровосмешенья.
Я шумно весла опустил впотьмах,
Чтоб заглушить твой плач, мои сомненья,
И к берегу средь волн
Причалил челн.

Dort fanden sich die Hände ernst und sacht.
Dann folgte jedes einsam seinem Sterne,
Und harte Schritte klangen in die Nacht.
Doch immer sang die dunkelblaue Ferne
Und Busch und leises Ried
Ein Liebeslied.

EIN FREMDES MÄDCHEN

Begegnung auf der Fahrt:
Ein Blondhaupt, sanfte Glieder,
Das Antlitz schön erglommen überm Buch.
Ein Kleidchen, blau wie junger Flieder,
Doch süß von einem leisen Nelkenruch.

Ach, Mädchen, deiner Art
Bin ich vorlängst begegnet,
Doch ging kein Bild so zärtlich zu mir ein
Und wie von Gott für mich gesegnet:
So Reines will eraltert und erlitten sein.

Du bleibst in mir bewahrt,
Du Fremdes bist mein Eigen
Und wirst nicht altern je an Zeit und Leid.
Dich will ich hüten, dich verschweigen,
Dich trag ich, wie du bist, in meine Ewigkeit.

Простились мы, своих пугаясь рук,
Взглянуть в глаза друг другу не посмели.
И гулким был шагов печальный звук.
Но и тростник, и куст, и дали пели,
Будя огонь в крови,
Песнь о любви.

ЧУЖАЯ ДЕВУШКА

Моей попутчицы черты,
Светловолосой, хрупкой...
Над книгой светится прекрасный лик.
И, как сирень, чуть лиловет юбка.
Но сладок слабый аромат гвоздик.

Дитя мое, таких, как ты,
Встречал я в жизни много.
Но так не задевала ни одна –
Ты в мир несешь благословенье бога.
И страшно, что погибнуть ты должна.

Беречь всю прелесть чистоты
Я буду бесконечно,
Не дам стареть от лет и от невзгод.
Чужая, – ты теперь моя навечно.
Нетленный образ твой во мне живет.

Hugo von Hofmannsthal

WELTGEHEIMNIS

Der tiefe Brunnen weiß es wohl,
Einst waren alle tief und stumm,
Und alle wußten drum.

Wie Zauberworte, nachgelallt
Und nicht begriffen in den Grund,
So geht es jetzt von Mund zu Mund.

Der tiefe Brunnen weiß es wohl;
In den gebückt, begriffs ein Mann,
Begriff es und verlor es dann.

Und redet' irr und sang ein Lied—
Auf dessen dunklen Spiegel bückt
Sich einst ein Kind und wird entrückt.

Und wächst und weiß nichts von sich selbst
Und wird ein Weib, das einer liebt
Und—wunderbar wie Liebe gibt!

Wie Liebe tiefe Kunde gibt!—
Da wird an Dinge, dumpf geahnt,
In ihren Küssen tief gemahnt...

In unsern Worten liegt es drin,
So tritt des Bettlers Fuß den Kies,
Der eines Edelsteins Verlies.

Der tiefe Brunnen weiß es wohl,
Einst aber wußten alle drum,
Nun zuckt im Kreis ein Traum herum.

Гуго фон Гофмансталь

ВСЕЛЕНСКАЯ ТАЙНА

Да, глубь колодца знает то,
Что каждый знать когда-то мог,
Безмолвен и глубок.

Теперь невнятны смысл и суть,
Но, как заклятье, все подряд
Давно забытое твердят.

Да, глубь колодца знает то,
Что знал склонявшийся над ней —
И утерял с течением дней.

Был смутный лепет, песнь была.
К зеркальной темной глубине
Дитя склонится, как во сне,

И вырастет, забыв себя,
И станет женщиной, и вновь
Родится в ком-нибудь любовь.

Как много познает любовь!
Что смутно брезжило из тьмы,
Целуя, прозреваем мы.

Оно лежит в словах, внутри...
Так нищий топчет самоцвет,
Что коркой тусклою одет.

Да, глубь колодца знает то,
Что знали все... Оно сейчас
Лишь сном витает среди нас.

BALLADE DES ÄUSSEREN LEBENS

Und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen,
Die von nichts wissen, wachsen auf und sterben,
Und alle Menschen gehen ihre Wege.

Und süße Früchte werden aus den herben
Und fallen nachts wie tote Vögel nieder
Und liegen wenig Tage und verderben.

Und immer weht der Wind, und immer wieder
Vernehmen wir und reden viele Worte
Und spüren Lust und Müdigkeit der Glieder.

Und Straßen laufen durch das Gras, und Orte
Sind da und dort, voll Fackeln, Bäumen, Teichen,
Und drohende, und totenhaft verdorrte...

Wozu sind diese aufgebaut? und gleichen
Einander nie? und sind unzählig viele?
Was wechselt Lachen, Weinen und Erbleichen?

Was frommt das alles uns und diese Spiele,
Die wir doch groß und ewig einsam sind
Und wandernd nimmer suchen irgend Ziele?

Was frommts, dergleichen viel gesehen haben?
Und dennoch sagt der viel, der „Abend“ sagt,
Ein Wort, daraus Tiefsinn und Trauer rinnt

Wie schwerer Honig aus den hohlen Waben.

DEIN ANTLITZ...

Dein Antlitz war mit Träumen ganz beladen.
Ich schwieg und sah dich an mit stummem Beben.
Wie stieg das auf! Daß ich mich einmal schon
In frühern Nächten völlig hingeben

Dem Mond und dem zuviel geliebten Tal,
Wo auf den leeren Hängen auseinander

БАЛЛАДА ВНЕШНЕЙ ЖИЗНИ

И дети милые с глубокими глазами
Растут невинные, растут и умирают,
И люди все идут по их дороге...

И сладкие плоды из горьких вырастают,
И ночью падают, как с выстрелами птицы,
И день-другой лежат – и тоже исчезают.

И ветер все-то дует, все-то небылицы
Мы говорим и ловим в оба уха,
И страсти чувствуем, и боли в поясице.

И через луг бежит дорога... глухо...
И даль наполнена деревьями, прудами,
Огнем, и все грозит, и все мертвяще сухо...

К чему все создано? Зачем нет меж вещами
Двух одинаковых и массе нет счислений?
Что заменяет смех беспечности слезами?

Какой же прок во всем, в пустой игре явлений.
Когда мы все ж душою одиноки? –
И не в скитаньях скрытый смысл стремлений.

Что в том, что многое увидеть вам случится?
И все-таки тот мудр, кто «вечер» говорит:
Из слова этого исходит смысл глубокий, –

Так из пустых сотов тяжелый мед сочится.

ТВОЕ ЛИЦО...

Твое лицо отягощали слезы.
Я смолк, я стал смотреть и вдруг воочью
Увидел прежнее. Вдруг все всплыло!
Я так же предавался ночь за ночью

Долине – ибо я ее любил
Безмерно – и луне, и голым склонам,

Die magern Bäume standen und dazwischen
Die niedern kleinen Nebelwolken gingen

Und durch die Stille hin die immer frischen
Und immer fremden silberweißen Wasser
Der Fluß hinrauschen ließ – wie stieg das auf!

Wie stieg das auf! Denn allen diesen Dingen
Und ihrer Schönheit – die unfruchtbar war –
Hingab ich mich in großer Sehnsucht ganz,
Wie jetzt für das Anschauen von deinem Haar
Und zwischen deinen Lidern diesen Glanz!

MANCHE FREILICH...

Manche freilich müssen drunten sterben,
Wo die schweren Ruder der Schiffe streifen,
Andre wohnen bei dem Steuer droben,
Kennens Vogelflug und die Länder der Sterne.

Manche liegen immer mit schweren Gliedern
Bei den Wurzeln des verworrenen Lebens,
Andern sind die Stühle gerichtet
Bei den Sibyllen, den Königinnen,
Und da sitzen sie wie zu Hause,
Leichten Hauptes und leichter Hände.

Doch ein Schatten fällt von jenen Leben
In die anderen Leben hinüber,
Und die leichten sind an die schweren
Wie an Luft und Erde gebunden:

Ganz vergessener Völker Müdigkeiten
Kann ich nicht abtun von meinen Lidern,
Noch weghalten von der erschrockenen Seele
Stummes Niederfallen ferner Sterne.

Viele Geschicke weben neben dem meinen,
Durcheinander spielt sie alle das Dasein,
Und mein Teil ist mehr als dieses Lebens
Schlanke Flamme oder schmale Leier.

Где мелкие скользили облака
Между худых разрозненных деревьев,

Где серебристо-белая река,
Всегда журчащая, всегда чужая,
Текла сквозь тишину. Вдруг все всплыло!

Вдруг все всплыло! То прежнее томление,
В котором предавался я часами
Бесплодной красоте долин и рек,
Пробуждено твоими волосами
И блеском между увлажненных век.

ОДНИ, КОНЕЧНО...

Одни, конечно, там под палубой умрут,
Где веслами гребут, изнемогая,
Другие же – вверху кормилом управляют
И видят птиц и звездные пространства.

Одни всегда лежат отяжелело
У спутанных корней земного бытия,
Другим среди пророчиц и цариц
Судьбою уготованы престолы,
И там они сидят, как дома,
Без мрачных дум, без тяжкого труда.

Но отблеск падает от той небесной жизни
Сюда на жизнь других – и смертных, и земных,
И просветленные таинственно с земными
Соединяются, как воздух и земля:

Я не могу из жил моих исторгнуть
Ни бремени давно забытых поколений,
Ни где-то в стороне от трепетного духа
Немного тайного паденья звезд далеких...

И судьбы многие текут с моею рядом,
Одна с другой играя бытием,
Но мой удел превыше слабой лиры
И тусклого огня сей скорбной бренной жизни...

ERLEBNIS

Mit silbergrauem Dufte war das Tal
Der Dämmerung erfüllt, wie wenn der Mond
Durch Wolken sickert. Doch es war nicht Nacht.
Mit silbergrauem Duft des dunklen Tales
Verschwammen meine dämmernden Gedanken,
Und still versank ich in dem webenden,
Durchsichtgen Meere und verließ das Leben.
Wie wunderbare Blumen waren da,
Mit Kelchen dunkelglühend! Pflanzendickicht.
Durch das ein gelbrot Licht wie von Topasen
In warmen Strömen drang und glomm. Das Ganze
War angefüllt mit einem tiefen Schwellen
Schwermütiger Musik. Und dieses wußt ich,
Obgleich ichs nicht begreife, doch ich wußt es:
Das ist der Tod. Der ist Musik geworden,
Gewaltig sehrend, süß und dunkelglühend,
Verwandt der tiefsten Schwermut.

Aber seltsam!

Ein namenloses Heimweh weinte lautlos
In meiner Seele nach dem Leben, weinte,
Wie einer weint, wenn er auf großem Seeschiff
Mit gelben Riesensegeln gegen Abend
Auf dunkelblauem Wasser an der Stadt,
Der Vaterstadt, vorüberfährt. Da sieht er
Die Gassen, hört die Brunnen rauschen, riecht
Den Duft der Fliederbüsche, sieht sich selber,
Ein Kind, am Ufer stehn, mit Kindesaugen,
Die ängstlich sind und weinen wollen, sieht
Durchs offene Fenster Licht in seinem Zimmer –
Das große Seeschiff aber trägt ihn weiter.
Auf dunkelblauem Wasser lautlos gleitend
Mit gelben, fremdgeformten Riesensegeln.

EIN TRAUM VON GROSSER MAGIE

Viel königlicher als ein Perlenband
Und kühn wie junges Meer im Morgenduft,
So war ein großer Traum – wie ich ihn fand.

ВИДЕНИЕ

Серебряный и тусклый запах тьмы
в долину хлынул, будто бы луна
сквозит в высотах. Но еще не ночь.
Серебряный и тусклый запах тьмы
размыл во мне все сумрачные мысли,
и я невозмутимо погрузился
в прозрачность моря и расстался с жизнью.
Какие там невнятные цветы
во мгле мерцали! В затемненной чаще
сочился темный свет, как от топазов,
он растекался, и, смыкаясь, дали
до самой скрытой глубины заплыли
угрюмой музыкой. И знал я это,
хотя не смел понять, но знал я,
что это смерть. В невыразимой грусти
став музыкой, мерцающей и темной,
она роднилась с болью.

Но, что странно:
Тоска по родине, без имени и звука,
в моей душе тянулась к жизни, плача,
как плачут на огромном корабле
под странным желтым парусом, под вечер
по смутным водам проплывая мимо
родного города. И можно даже видеть
дома, и шум фонтанов слышать, запах
вдыхать от зарослей сирени, и себя
ребенком видеть с детскими глазами
на берегу в слезах и в страхе; видеть
в твоём окне открытом яркий свет –
но вас уносит прочь корабль огромный,
по смутным водам двигаясь беззвучно
под желтыми пустыми парусами.

МЕЧТА О БОЛЬШОЙ МАГИИ

Отважнее, чем утренний прибой,
Надменной императорских регалий
Моя мечта вставала предо мной.

Durch offene Glastüren ging die Luft.
Ich schlief im Pavillon zu ebner Erde,
Und durch vier offene Türen ging die Luft –

Und früher liefen schon geschirrte Pferde
Hindurch und Hunde eine ganze Schar
An meinem Bett vorbei. Doch die Gebärde

Des Magiers – des Ersten, Großen – war
Auf einmal zwischen mir und einer Wand:
Sein stolzes Nicken, königliches Haar.

Und hinter ihm nicht Mauer: es entstand
Ein weiter Prunk von Abgrund, dunklem Meer
Und grünen Matten hinter seiner Hand.

Er bückte sich und zog das Tiefe her.
Er bückte sich, und seine Finger gingen
Im Boden so, als ob es Wasser wär.

Vom dünnen Quellenwasser aber fingen
Sich riesige Opale in den Händen
Und fielen tönend wieder ab in Ringen.

Dann warf er sich mit leichtem Schwung der Lenden –
Wie nur aus Stolz – der nächsten Klippe zu;
An ihm sah ich die Macht der Schwere enden.

In seinen Augen aber war die Ruh
Von schlafend- doch lebendigen Edelsteinen.
Er setzte sich und sprach ein solches Du

Zu Tagen, die uns ganz vergangen scheinen,
Daß sie herkamen trauervoll und groß:
Das freute ihn zu lachen und zu weinen.

Er fühlte traumhaft aller Menschen Los,
So wie er seine eignen Glieder fühlte.
Ihm war nichts nah und fern, nichts klein und groß.

Und wie tief unten sich die Erde kühlte,
Das Dunkel aus den Tiefen aufwärts drang,
Die Nacht das Laue aus den Wipfeln wühlte,

Все двери свежий воздух пропускали,
И я в беседке светлой засыпал,
Предчувствуя невиданные дали.

И раньше этот пестрый карнавал,
Случалось, вился у мой кровати—
Кареты, кони, гончих псов оскал...

Но тут во всей красе и гордой стати
Великий Маг передо мной возник,
И жест его был тверже всех заклятий.

Раздвинув стены, он в единый миг
Открыл мне роскошь голубой пучины,
Альпийские луга и горный пик.

Чуть наклонившись, притянул глубины.
И пальцы в землю, как в простой ручей,
Вдруг опустил, не изменяя мины.

Из тонких мелодичнейших ключей
Достал два влажных и больших опала,
Чтобы в кольце играли горячей.

Потом, собою не гордясь нисколько,
Он воспарил над кручей и рекой,
И сила тяготенья отступала.

В его глазах присутствовал покой
Живых и мертвых дорогих камней.
Вот, повелительно взмахнув рукой,

Он вызвал прошлых дней живые тени.
Печали и величия полны,
Они его приветствовали гений.

А он, чьи чувства были смущены,
Владел всем миром, каждою судьбою,
Куда сильней, чем мы в себе вольны.

Мрак постепенно все закрыл собою,
Земной покров, остыв, похолодел,
И встала ночь над кроною любой.

Genoß er allen Lebens großen Gang
So sehr – daß er in großer Trunkenheit
So wie ein Löwe über Klippen sprang.

.....
Cherub und hoher Herr ist unser Geist –
Wohnt nicht in uns, und in die obern Sterne
Setzt er den Stuhl und läßt uns viel verwaist:

Doch Er ist Feuer uns im tiefsten Kerne
– So ahnte mir, da ich den Traum da fand –
Und redet mit den Feuern jener Ferne

Und lebt in mir wie ich in meiner Hand.

TERZINEN

I

ÜBER VERGÄNGLICHKEIT

Noch spür ich ihren Atem auf den Wangen:
Wie kann das sein, daß diese nahen Tage
Fort sind, für immer fort, und ganz vergangen?

Dies ist ein Ding, das keiner voll aussinnt,
Und viel zu grauenvoll, als daß man klage:
Daß alles gleitet und vorüberrinnt.

Und daß mein eignes Ich, durch nichts gehemmt,
Herüberglied aus einem kleinen Kind
Mir wie ein Hund unheimlich stumm und fremd.

Dann: daß ich auch vor hundert Jahren war
Und meine Ahnen, die im Totenhemd,
Mit mir verwandt sind wie mein eignes Haar,

So eins mit mir als wie mein eignes Haar.

II

Die Stunden! wo wir auf das helle Blauen
Des Meeres starren und den Tod verstehn,
So leicht und feierlich und ohne Grauen,

Он наслаждался жизнью и пьянел,
В избытке сил над пропастью взлетая,
Как юный лев решителен и смел.

.....
Живя не в нас, но между звезд витая,
Он ангел наш, наш дух и господин,
И без него мы гибнем, увядая.

Он — наш огонь, достигший всех глубин,
«Ты» говорящий звездному эфиру.
И с ним, как с телом собственным, един,

Такой свою мечту явил я миру.

ТЕРЦИНЫ О БРЕННОСТИ ВСЕГО ЗЕМНОГО

1

От их дыханья щеки не остыли;
Куда же дни недавние пропали —
Растаяли, оставили, простыли?

Не охватить мне этого умом —
И слишком страшен повод для печали, —
Но краток срок всему, что есть кругом.

Не удержать и собственного Я!
Оно исчезло, стало злобным псом —
И этот пес не признает меня.

И прозреваю, словно в забытьи,
Что предки (те, во гробах, вся семья) —
Они со мной как волосы мои,

Одно со мной, как волосы мои.

2

Ход времени! На пышной глади моря
Свои смерть начергает письмена —
Светло и строго, без помарок горя, —

Wie kleine Mädchen, die sehr blaß aussehn,
Mit großen Augen, und die immer frieren,
An einem Abend stumm vor sich hinsehn

Und wissen, daß das Leben jetzt aus ihren
Schlaftrunknen Gliedern still hinüberfließt
In Bäum' und Gras, und sich matt lächelnd zieren

Wie eine Heilige, die ihr Blut vergießt.

III

Wir sind aus solchem Zeug, wie das zu Träumen,
Und Träume schlagen so die Augen auf
Wie kleine Kinder unter Kirschenbäumen,

Aus deren Krone den blaßgoldnen Lauf
Der Vollmond anhebt durch die große Nacht.
...Nicht anders tauchen unsre Träume auf,

Sind da und leben wie ein Kind, das lacht,
Nicht minder groß im Auf- und Niederschweben
Als Vollmond, aus Baumkronen aufgewacht.

Das Innerste ist offen ihrem Weben,
Wie Geisterhände in versperrem Raum
Sind sie in uns und haben immer Leben.

Und drei sind Eins: ein Mensch, ein Ding, ein Traum.

IV

Zuweilen kommen niegeliebte Frauen
Im Traum als kleine Mädchen uns entgegen
Und sind unsäglich rührend anzuschauen,

Als wären sie mit uns auf fernen Wegen
Einmal an einem Abend lang gegangen,
Indes die Wipfel atmend sich bewegen

Und Duft herunterfällt und Nacht und Bangen,
Und längs des Weges, unsres Wegs, des dunkeln,
Im Abendschein die stummen Weiher prangen

Так девочки, воспрянув ото сна,
Обводят даль огромными очами
(А та – безмолвьем заворожена) –

И чувствуют, как жизнь, пустое пламя,
Из них струится в травы, в деревья, –
И убирают бледный лоб цветами.

Как мученицы в пасти Естества.

3

Из той же ткани, что и сновиденья,
Мы сотканы – и наши сны не спят,
Как дети возле вишен, в их цветенье.

Где меж ветвей луна ласкает сад,
В ночи скользит свет бледно-золотой.
...И наши сны о том же говорят,

О чем и явь. – В них тот же разнобой,
И тот же хоровод, и смех, и прятки,
И тот же месяц в небе над землей.

Таинственно запутаны порядки
Их нитей; словно дух – не погребен –
Они нам задают свои загадки.

Вот триединство: человек, вещь, сон.

4

Мне женщина в ночи холодной снится,
Не зная, что значит быть любимой,
И оттого – почти отроковица.

И спутница в дороге нелюдимой
Тоскливыми пустыми вечерами,
Когда туман в предгорьях гуще дыма,

И полночь одурманена цветами,
И робость, и тропа, в конце которой
Пруды в саду мерцают зеркалами –

Und, Spiegel unsrer Sehnsucht, traumhaft funkeln,
Und allen leisen Worten, allem Schweben
Der Abendluft und erstem Sternfunkeln

Die Seelen schwesterlich und tief erbeben
Und traurig sind und voll Triumphgepränge
Vor tiefer Ahnung, die das große Leben

Begreift und seine Herrlichkeit und Strenge.

VOR TAG

Nun liegt und zuckt am fahlen Himmelsrand
In sich zusammengesunken das Gewitter.
Nun denkt der Kranke: „Tag! jetzt werd ich schlafen!“
Und drückt die heißen Lider zu. Nun streckt
Die junge Kuh im Stall die starken Nüstern
Nach kühlem Frühduft. Nun im stummen Wald
Hebt der Landstreicher ungewaschen sich
Aus weichem Bett vorjährigen Laubes auf
Und wirft mit frecher Hand den nächsten Stein
Nach einer Taube, die schlaftrunken fliegt,
Und graust sich selber, wie der Stein so dumpf
Und schwer zur Erde fällt. Nun rennt das Wasser,
Als wollte es der Nacht, der fortgeschlichen, nach
Ins Dunkel stürzen, unteilnehmend, wild
Und kalten Hauches hin, indessen droben
Der Heiland und die Mutter leise, leise
Sich unterreden auf dem Brücklein; leise,
Und doch ist ihre kleine Rede ewig
Und unzerstörbar wie die Sterne droben.
Er trägt sein Kreuz und sagt nur: „Meine Mutter!“
Und sieht sie an, und: „Ach, mein lieber Sohn!“
Sagt sie. – Nun hat der Himmel mit der Erde
Ein stumm beklemmend Zwiesgespräch. Dann geht
Ein Schauer durch den schweren, alten Leib:
Sie rüstet sich, den neuen Tag zu leben.
Nun steigt das geisterhafte Frühlicht. Nun

Не зеркалами нашего позора,
Но зеркалами нашего томленья,
Ночной поры и звездного дозора,—

И души, словно сестры, в упоенье,
Почерпнутом из чистоты печали,
Великой жизни чувствуют биенье—

Тугую дрожь клинка дамасской стали.

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Еще вдали на бледном небосклоне
Дрожит гроза, ушедшая в себя.
Пылающие веки опуская,
Больной рассвета ждет—с ним сон приходит.
Уже в хлеву, вдыхая запах утра,
В волненьи раздувает ноздри телка.
В лесной глуши бродяга неопрятный,
Встав с ложа мягкого из листьев прошлогодних,
Со злостью камнем в голубя бросает,
Парящего над лесом полусонно,
И сам пугается, услышав звук глухой,
С которым камень падает на землю.
Потоки мчатся, словно в темноту
Бросятся за уходящей ночью,
Холодным безучастием дыша...
А в это время Мать и Мессия
Беседуют на мостике небесном.
Пусть коротка их тихая беседа,
Но суждено продлиться бесконечно
Ей, негасимой, как сиянье звезд.
Он крест несет и произносит: «Мати!»,
И смотрит на нее, она в ответ
«Мой сын любимый»,—кротко отвечает.
Томительный безмолвный разговор
Земли и неба. Трепет охватил
Огромное дряхлеющее тело:
Земля встает, чтоб встретить день грядущий.
И призрачный является рассвет.
А в этот час от женщины, как тень,

Schleicht einer ohne Schuh von einem Frauenbett,
Läuft wie ein Schatten, klettert wie ein Dieb
Durchs Fenster in sein eigenes Zimmer, sieht
Sich im Wandspiegel und hat plötzlich Angst
Vor diesem blassen, übernächtigen Fremden,
Als hätte dieser selbe heute nacht
Den guten Knaben, der er war, ermordet
Und käme jetzt, die Hände sich zu waschen
Im Krüglein seines Opfers wie zum Hohn,
Und darum sei der Himmel so bekloffen
Und alles in der Luft so sonderbar.
Nun geht die Stalltür. Und nun ist auch Tag.

REISELIED

Wasser stürzt, uns zu verschlingen,
Rollt der Fels, uns zu erschlagen,
Kommen schon auf starken Schwingen
Vögel her, uns fortzutragen.

Aber unten liegt ein Land,
Früchte spiegelnd ohne Ende
In den alterslosen Seen.

Marmorstirn und Brunnenrand
Steigt aus blumigem Gelände,
Und die leichten Winde wehn.

DIE BEIDEN

Sie trug den Becher in der Hand
– Ihr Kinn und Mund glich seinem Rand –,
So leicht und sicher war ihr Gang,
Kein Tropfen aus dem Becher sprang.

So leicht und fest war seine Hand:
Er ritt auf einem jungen Pferde,
Und mit nachlässiger Gebärde
Erzwang er, daß es zitternd stand.

Какой-то человек босой крадется
Через дорогу и, как будто вор,
В окно влезает собственного дома.
Себя в настенном зеркале увидя,
Он вздрагивает в ужасе холодном
Пред этим бледным хмурым незнакомцем,
Как если б тот в себе сегодня ночью
Навек убил невинное дитя.
И вот пришел теперь, как бы в насмешку,
Умыть в жилище жертвы свои руки,
И оттого в таком оцепененье
Небесный свод и воздух так взволнован.
Открыты двери хлева. День грядет.

ДОРОЖНАЯ ПЕСНЯ

Влага бездны ждет добычи,
С гор грохочут камнепады,
В небе кружат стаи птичьи,
Не сулит ничто пощады.

А внизу — блаженный край.
Ветви, тяжкие плодами,
В озерцах отражены.

Мрамор — словно невзначай
Меж цветущими кустами.
Ветры вешние влажны.

ОНА И ОН

Подъемлет кубок свой она,—
Сама пленительней вина,—
Но так уверенно идет,
Что капли наземь не прольет.

Он заставляет скакуна,
Хоть тот горяч, застыть на месте—
И столько неги в этом жесте,
Что сила словно не видна.

Jedoch, wenn er aus ihrer Hand
Den leichten Becher nehmen sollte,
So war es beiden allzu schwer:
Denn beide bebten sie so sehr,
Daß keine Hand die andre fand
Und dunkler Wein am Boden rollte.

DER JÜNGLING IN DER LANDSCHAFT

Die Gärtner legten ihre Beete frei,
Und viele Bettler waren überall
Mit schwarzverbundenen Augen und mit Krücken –
Doch auch mit Harfen und den neuen Blumen,
Dem starken Duft der schwachen Frühlingsblumen.

Die nackten Bäume ließen alles frei:
Man sah den Fluß hinab und sah den Markt,
Und viele Kinder spielen längs den Teichen.
Durch diese Landschaft ging er langsam hin
Und fühlte ihre Macht und wußte – daß
Auf ihn die Weltgeschicke sich bezogen.

Auf jene fremden Kinder ging er zu
Und war bereit, an unbekannter Schwelle
Ein neues Leben dienend hinzubringen.
Ihm fiel nicht ein, den Reichtum seiner Seele,
Die frühern Wege und Erinnerung
Verschlungner Finger und getauschter Seelen
Für mehr als nichtigen Besitz zu achten.

Der Duft der Blumen redete ihm nur
Von fremder Schönheit – und die neue Luft
Nahm er stillatmend ein, doch ohne Sehnsucht:
Nur das er dienen durfte, freute ihn.

Ее движения легки,
А в нем – решимость и отвага,
И кубок полон и хорош.
Но была их такая дрожь,
Что разминулись две руки
И наземь выплеснулась влага.

ПЕЙЗАЖ С ЮНОШЕЙ

Садовники уже открыли клумбы,
Повсюду толпы нищих: кто с клюкою,
Кто с черною повязкой на глазах,
Кто с арфою, кто с первыми цветами,
Душистыми и хрупкими цветами.

Сквозь голые деревья видно взору
Извив реки и рыночную площадь,
И у прудов играющих детей.
Живого мира ощущая власть,
Он медленно ступал, он понимал,
Как тесно связан с судьбами земными.

К тем детям незнакомым шел он тихо
И был готов неведомому в дар
Жизнь юную свою принести, однако
И в голову ему не приходило
Считать своим бесценным достоянием
Все, что он нес в себе: души богатство
И опыт ранний, и воспоминанья
Сплетенных рук и породненных душ.

Душистый воздух говорил ему
О красоте неведомой, и он
Вдыхал его спокойно, без томленья,
Лишь радостью служения влеком.

Karl Kraus

* * *

Man frage nicht, was all die Zeit ich machte.
Ich bleibe stumm;
und sage nicht, warum.
Und Stille gibt es, da die Erde krachte.
Kein Wort, das traf;
man spricht nur aus dem Schlaf.
Und träumt von einer Sonne, welche lachte.
Es geht vorbei;
nachher war's einerlei.
Das Wort entschlief, als jene Welt erwachte.

TANGO

Nichts trägt das Erinnern
den Kriegsgewinnern.

Alles fiel zu Gefallen
Hyänen, Schakalen.

Die Krone, die Leiche
dem Totentanz weiche.

Parfüm für die Nase
aus giftigem Gase.

Nach Leben sich sehnen
Schakale, Hyänen.

Hinweg, was gewesen.
Es tanzen Prothesen.

Карл Краус

* * *

В свои дела не посвящу другого.
На «почему» –
Я губ не разомкну.
Боль затаив, глядит земля сурово.
И речь от сна
Невнятна и пресна.
Лишилось солнце смеха золотого.
Вокруг темно,
А, впрочем, все равно.
Когда их мир возник, погибло слово.

ТАНГО

Довольствуйся малым:
стань генералом.

Работа в две смены:
шакалы, гиены.

Трещите, престолы,
горы и доли.

Захочется спьяну
зарину, заману.

Содвинем бокалы,
гиены, шакалы.

Народ – из железа.
Танцуют протезы.

ZUSAMMENHÄNGE

Die Butter fehlt, das Obst ist teuer,
Kartoffeln noch schwerer zu kriegen heuer,
mit den Eiern hats seine liebe Not,
Brot braucht man wie einen Bissen Brot,
es ist verboten, das Zimmer zu lichten,
mit der Kohle kann man vielleicht es sich richten,
man setzt sich bei manchem Klachel in Huld,
denn Vorräte hat man nur an Geduld,
das Rauchen verbieten sie zu erlauben,
ein Wahn ist's, an ein Stück Seife zu glauben,
dem Wucher öffnet man weit alle Taschen,
selbst die Hand wird nur noch in Unschuld gewaschen,
ein Schuhband vermiß ich schon lange schier
der Kaffee ist aus Eicheln und der Spagat aus Papier,
Papier ist knapp, möcht unter Siegel es geben,
daß dieses immer schon schöne Leben
mit jedem weiteren Siegestag
wird schöner—es stinkt der Siegellack.
Da möchte man fort, doch weil sie doch siegen,
ist auch kein Wagen zur Bahn zu kriegen.
Das alles tut mir vom Herzen Leid.
Wie immer jedoch sie den Notstand benennen,
was immer uns fehlt, es läßt doch erkennen
unsre artilleristische Überlegenheit.

ТЫЛОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ

За маслом и за картошкой – давка,
Яйца продают из-под прилавка.
Яблоки стоят денег воз,
Хлеба на каждого – с гулькин нос.
Нет электричества для освещения
Неприкосновенных запасов... терпенья.
Можно добыть корзину угля –
У сердобольного жуля.
Курение – считай, отменили.
Кошунственны – даже и мысли о мыле.
Ростовщики народ раздевают,
Власти руки при сем умывают.
Шнурки найти труднее, чем клад,
Бумагу выдадут... напрокат.
Выпьешь по чашке кофе с друзьями –
Будешь отрыгивать желудями.
Жизнь становится все веселей!
Сургучом несет изо всех щелей...
Уехать бы мне... Да на чем уеду?!
Колеса вертятся лишь на победу –
На нее, на родимую, как ни крути.
Да здравствуют славные эти порядки!
(Следует читать: недостатки, нехватки...)
Главное, пушек у нас – пруд пруди.

Richard von Schaukal

BILDNIS EINES SPANISCHEN INFANTEN VON VELASQUEZ

Mit blutgemiedener langer schmaler Hand,
feinen Fingern, die den Duft der weißen Rosen fühlen,
manchmal mager und müd in warmen Damenhaaren wühlen,
halt ich einen zierlich-kalten Degenkorb umspannt.
Meine Blicke gleiten kraftlos von der glatten
silbergrauen Wand.
Von rieselnden leisen Gebeten sind meine Lippen
schlaff und bleich.
Ein scharfer Dolchschnitt ist mein verachtender Mund.
Ich streichle manchmal einen hohen schlanken Hund,
manchmal bin ich mit häßlichen Zwergen weich,
ich beschenke sie reich –
und peitsche sie wieder wund.
Mit dichten Schleiern schütz ich mich
vor dem Morgenrot:
die Sonne sendet Pfeile. Pfeile bringen Tod.

KUCKUCK

Sie hat den Kuckuck gefragt:
Kuckuck, wie lang noch?
Dreimal rief er und schwieg.
Sie harrte bang noch –

Still war der Wald. Ins Tal
sah sie befangen.
Über die Sonne sind
Wolken gegangen...

DER NACHEN

Nun ist die Nacht gekommen
mit sanftem Schritt,

Рихард фон Шаукаль

ПОРТРЕТ ИСПАНСКОГО ИНФАНТА РАБОТЫ ВЕЛАСКЕСА

Узкой, бескровной рукою, привыкшей ласкать
шелковистые пряди теплых женских волос,
пальцами, не забывшими нежности роз,
я сжимаю изящной шпаги холодную рукоять.
Мои взоры легко отражает стены серебристой гладь;
томно, молитвенно-тихо бессилие тонких черт;
мой презрительный рот – алый след от удара клинка;
иногда, погруженный в раздумья, я глажу щенка,
иногда с отвратительным карликом я милосерд:
я швыряю пиастры – радуйся, смерд! –
чтобы снова до крови нещадно избить дурака.
Душный полог хранит меня от рассветной зари –
солнце пускает стрелы; стрелы поют: «Умри!»

КУКУШКА

– Сколько осталось мне жить,
мудрая птица?
Крикнула птица лишь раз.
Вздвогнув, девица

робко и тщетно ждала
вещих созвучий...
Солнце задернули вдруг
серые тучи.

ЧЕЛНОК

В притихший мир украдкой
скользнула мгла

die lautlos rings erglommen,
die Sterne bringt sie mit.

Schon hält ein stiller Nachen
am schwarzen Strand;
steig schwankend ein, erwachen
wirst du im fernen Land.

DIE ALTEN BILDER

Ich weile gerne vor den alten Bildern,
die dunkelnd in den Galerien träumen.
Es kommen Fremde, die beflissen säumen,
stumm in den Büchern blättern, die sie schildern.

Ich kenne Bilder, die sich mählich mildern,
und welche, die sich immer trotzig bäumen.
Viele verfallen in den stillen Räumen
wie trostlos Eingeschloßne, die verwildern.

Manch eines hab ich wie ein Weib besessen,
das eines Tages kühl mir dann entglitten.
Verstohlen folgen andre meinen Schritten,

die wiederkehrend ich doch stets vergessen.
Nur mit Erstaunen mag ich manchmal lesen,
daß alle diese Bilder jung gewesen.

SCHÖNBRUNN

Juli 1914

Schönbrunn, mit deinen flüsternden Bosketten,
wo vor den grünen Wänden der Alleen
mit leerem Blick die weißen Götter stehn,
wer kann dir den verscheuchten Frieden retten!

Was für ein finstrer Gast ist in die Stätten,
die gute Geister segnend sonst begehnt,
gleich eines Wintersturmes wildem Wehn
jählings gedrungen, ganz in Eisenketten!

и ясные лампадки
над озером зажгла.

Взгляни, как беспечален
челнок во сне!
Войди в него – причалишь
в заоблачной стране.

СТАРИННЫЕ ПОЛОТНА

Как сладок мне твой полусумрак строгий,
волшебный мир картинной галереи,
где знатоки и просто ротозеи
в молчании листают каталоги.

Я знаю, есть картины-недотроги
и те, что год от году все теплее;
иные все печальней и бледнее,
как сломленные узники в остроге.

Одни мне, словно женщины, дарили
свою любовь, чтоб ускользнуть однажды,
и я в тоске неутоленной жажды

взывал к другим, покорный чудной силе,
открывшей мне, что молодыми были
холсты поблекшие... пусть все о том забыли.

ШЁНБРУНН

Июль 1914-20

Шёнбрунн, обитель мира и уюта,
где в облаке лесного лепетанья
слепых богов белеют изваянья,
кто мне вернет твой сумрак всполохнутый?!

Что за посланец, что за призрак лютой,
неистовый, как бури беснованье,
ворвался вдруг возвестником страданья
в блаженный край под лязг вселенской смуты?!

Nun hält der Ungefüge dich im Bann,
geliebter Garten, seine rauhe Stimme
hallt durch die rund beschnittenen Laubengänge;

die stillen Fenster glühn von seinem Grimme.
Ein Reich erdröhnt vom Tritte seiner Strenge:
der Traum ist aus, ein harter Tag hebt an!

STILLE

Stille, Stille. Nur das leise Ticken
ungehemmter Zeit.
Bis die Seele mit ergebnem Nicken
einst bereit,

aus dem Dunkel eine Hand zu fassen
und zu gehn,
alle ihre Saaten stehn zu lassen,
wie sie stehn.

O WELT IN DEINEM SCHEINE

O Welt in deinem Scheine,
wann werd ich durch dich gehn
als einer, den alleine
Gott kann mit Macht bestehn;

dem nur die Blumen gelten,
Wolken, Getier und Kind
und dem die Menschen selten
mehr als ein Lärmen sind!

ALTE SCHLÖSSER...

Alte Schlösser lieb ich mit gemeißeltem Wappen überm
Portale,
dunkeln Bildern gewaltiger Ahnen im düstern Saale,
alte Schlösser, die von zackiger Höh in bewaldete Tale

aus zerbröckelnden Bogenfenstern schauen.
Efeu rankt sich darüber, wildzerraupte Brauen...
Still der Burghof, wo auf breiten Quadern die Schritte
hallen.

Im verwachsenen Parke fallen herbstliche Blätter,
mächtige Stiegen
träumen noch vom gleitenden Schmiegen
seidner Gewänder,
deren Duft sie bewahrten,
rauschenden festlichen Fahrten
in Märchen- und Maskenländer...
In den Kronen ergrauer Bäume
nisten große Vögel und fliegen
schwarz und schwer
um steile Türme hin und her...

ZEITLICHKEIT

In allem Wissen Dunkelheit,
in allem Haben Angst und Neid,
in aller Macht Verworfenheit,
in aller Liebe Widerstreit,
in allem Hoffen Bangigkeit,
in aller Lust Vergänglichkeit,
in jeder Neige Bitterkeit:
dies, Mensch, ist deine Zeitlichkeit.

AN DER SCHWELLE

An der Schwelle vor dem Dunkel denk:
War nicht alles, was dir ward, Geschenk?

Sonnenschein und Amselruf und Blau,
Kinder und die Liebe deiner Frau?

Hast du etwas dir verdient? Sag nein
und geh arm und wahr zur Wahrheit ein.

сквозь пряди плюща, из-за полога облачной пены,
как я люблю вас, как дороги мне ваши стены!..
Как хороши ваши плиты, дорожки и арки..
Листья танцуют под ветром в заброшенном парке;
лестницы гулкой ступени
все еще грезят о трене,
пышных нарядах,
шуршании бального платья
(чей аромат – их судьба, забытье и заклятье!),
праздничных шествиях и маскарадах.
В тающих кронах гнездятся огромные птицы;
и по ночам небесам остывающим снится,
что в тишине над зубцами во мраке бессилья
их полосуют тяжелые черные крылья.

ТЩЕТА

Во всяком знанье – темнота;
во всякой страсти – маета;
во всякой вере – слепота;
во всякой власти – чернота;
на всех надеждах – тень креста;
в довольстве – страх и суета;
в любви – корысть и пустота...
Вот, человек, твоя тщета!

НА ПОРОГЕ

Вспомни, – за порогом дрогнет мгла –
Божьим даром жизнь твоя была.

Крик дрозда, луч солнца, плеск волны,
смех ребенка, нежный взгляд жены...

Вспомни все и – нищий – восходи
к Правде, что сверкает впереди.

PIERROT PENDU

Und ich sah dich nachts an der Laterne:
Bleich und traurig hingst du, Pierrot,
Trübe schimmerten die späten Sterne,
Als dein alter Freund, der Mond, entfloh.

Da im Gassendunkel deine Züge
Schmerzlich schienen und gedankenbang,
Sann ich über deines Lebens Lüge,
Armer Narr am selbstgeknüpften Strang.

Und ich hab' dich nicht herabgeschnitten,
Rührte leise nur an deiner Hand.
Husch, ein Schatten war hinweggeglitten,
Der verstohlen mir im Rücken stand.

PIERROT PENDU

На безлюдном, тихом перекрестке,
Белый, ты висел на фонаре.
Дальних звезд едва мерцали блески,
Бледный месяц таял при заре.

Отпечаток затаенной боли
Сберегли еще черты лица.
О твоей, паяц, печальной доле
Плакали два нежных бубенца.

Ах, из петли я тебя не вынул,
Лишь руки коснулся ледяной –
И, должно быть, ветер передвинул
Тень, что жутко выросла за мной.

Rainer Maria Rilke

VOLKSWEISE

Mich rührt so sehr
böhmischen Volkes Weise,
schleicht sie ins Herz sich leise,
macht sie es schwer.

Wenn ein Kind sacht
singt beim Kartoffeljäten,
klingt dir sein Lied im späten
Traum nach der Nacht.

Magst du auch sein
weit über Land gefahren,
fällt es dir doch nach Jahren
stets wieder ein.

* * *

Du meine heilige Einsamkeit,
du bist so reich und rein und weit
wie ein erwachender Garten.
Meine heilige Einsamkeit du-
halte die goldenen Türen zu,
vor denen die Wünsche warten.

* * *

Die hohen Tannen atmen heiser
im Winterschnee, und bauschiger
schmiegt sich sein Glanz um alle Reiser.
Die weißen Wege werden leiser,
die trauten Stuben lauschiger.

Райнер Мария Рильке

НАРОДНЫЙ НАПЕВ

Мне так сродни
чешских напевов звуки—
смутную боль разлуки
будят они.

Слышишь? Поет
робко ребенок в поле,
чувство щемящей боли
в сердце встает.

Минут года,
будешь бродить по свету,—
грустную песню эту
вспомнишь тогда...

* * *

О святое мое одиночество — ты!
И дни просторны, светлы и чисты,
как проснувшийся утренний сад.
Одиночество! Зовам далеким не верь
и крепко держи золотую дверь,
там, за нею, желаний ад.

* * *

Сухие елки дышат хрипло,
как воротник, пушится снег,
на сучьях блесок поналипло
и смотрят вслед дороге скриплой
оконца из-под сонных век.

Da singt die Uhr, die Kinder zittern:
Im grünen Ofen kracht ein Scheit
und stürzt in lichten Lohgewittern,—
und draußen wächst im Flockenflittern
der weiße Tag zur Ewigkeit.

* * *

Das ist dort, wo die letzten Hütten sind
und neue Häuser, die mit engen Brüsten
sich drängen aus den bangen Baugerüsten
und wissen wollen, wo das Feld beginnt.

Dort bleibt der Frühling immer halb und blaß,
der Sommer fiebert hinter diesen Planken;
die Kirschenbäume und die Kinder kranken,
und nur der Herbst hat dorten irgendwas

Versöhnliches und Fernes; manchesmal
sind seine Abende von sanftem Schmelze:
die Schafe schummern, und der Hirt im Pelze
lehnt dunkel an dem letzten Lampenpfahl.

AUS: DAS STUNDEN-BUCH

* * *

Die Könige der Welt sind alt
und werden keine Erben haben.
Die Söhne sterben schon als Knaben,
und ihre bleichen Töchter gaben
die kranken Kronen der Gewalt.

Der Pöbel bricht sie klein zu Geld,
der zeitgemäße Herr der Welt
dehnt sie im Feuer zu Maschinen,
die seinem Wollen grollend dienen;
aber das Glück ist nicht mit ihnen.

Das Erz hat Heimweh. Und verlassen
will es die Münzen und die Räder,

В печи искристым треснет громом
полено так, что дрогнет дом.
Часы идут шажком знакомым,
а день, как вечность, белым комом
растет и пухнет за окном.

* * *

Где тянется последний ряд лачуг
и новые недужные кварталы
в строительных лесах встают устало,
узнать мечтая, что такое луг,—

там никогда весна не молода,
в ознобе лето прячется за доски;
вишневые деревья и подростки
больны,— лишь осень дарит иногда

покоем, далью,— умиротворит,
и мягкий вечер тает на равнине:
темнеет стадо, и пастух в овчине
у фонаря последнего стоит.

ИЗ «ЧАСОСЛОВА»

* * *

Состарилась земная знать:
цари живут в глухой опале,
царевичи поумирали,
царевны бледные едва ли
короны смогут удержать.

И чернь, взошедшая на трон,
чеканит деньги из корон,
станки скрежещущие точит
и золото на службу прочит,—
но счастье с ними быть не хочет.

Металл томится. Жизни мелкой
монеты учат и пружины—

die es ein kleines Leben lehren.
Und aus Fabriken und aus Kassen
wird es zurück in das Geäder
der aufgetanen Berge kehren,
die sich verschließen hinter ihm.

* * *

Jetzt reifen schon die roten Berberitzen,
alternde Astern atmen schwach im Beet.
Wer jetzt nicht reich ist, da der Sommer geht,
wird immer warten und sich nie besitzen.

Wer jetzt nicht seine Augen schließen kann,
gewiß, daß eine Fülle von Gesichtern
in ihm nur wartet bis die Nacht begann,
um sich in seinem Dunkel aufzurichten:—
der ist vergangen wie ein alter Mann.

Dem kommt nichts mehr, dem stößt kein Tag mehr zu,
und alles lügt ihn an, was ihm geschieht;
auch du, mein Gott. Und wie ein Stein bist du,
welcher ihn täglich in die Tiefe zieht.

* * *

Denn, Herr, die großen Städte sind
verlorene und aufgelöste;
wie Flucht vor Flammen ist die größte,—
und ist kein Trost, daß er sie tröste,
und ihre kleine Zeit verrinnt.

Da leben Menschen, leben schlecht und schwer,
in tiefen Zimmern, bange von Gebärde,
geängsteter denn eine Erstlingsherde;
und draußen wacht und atmet deine Erde,
sie aber sind und wissen es nicht mehr.

Da wachsen Kinder auf an Fensterstufen,
die immer in demselben Schatten sind,

но этого металлу мало.
Оставит кассы и поделки,
вернется в темные глубины
горы, раскрывшейся сначала
и затворившейся за ним.

* * *

Уж барбарисы красные созрели,
и старческие астры стали в тень.
Кто не богат теперь, в осенний день,
тот будет вечно мучиться без цели.

Кто и теперь склонил усталый лик—
быть может, в нем таятся привиденья
и только ждут, чтоб вечер к ним приник,
чтоб в темноте восстать из заточенья:—
тот весь уже в прошедшем, как старик.

С ним больше ничего не приключится,
и все ему живущее—солжет;
и ты, Господь. Тяжка твоя десница,
и, точно камень, в глубь она влечет.

* * *

Господь! Большие города
обречены небесным карам.
Куда бежать перед пожаром?
Разрушенный одним ударом,
исчезнет город навсегда.

В подвалах жить все хуже, все трудней.
Там с жертвенным скотом, с пугливым стадом
схож твой народ осанкою и взглядом.
Твоя земля живет и дышит рядом,
но позабыли бедные о ней.

Растут на подоконниках там дети
в одной и той же пасмурной тени;

und wissen nicht, daß draußen Blumen rufen
zu einem Tag voll Weite, Glück und Wind,–
und müssen Kind sein und sind traurig Kind.

Da blühen Jungfrau auf zum Unbekannten
und sehnen sich nach ihrer Kindheit Ruh;
das aber ist nicht da, wofür sie brannten,
und zitternd schließen sie sich wieder zu.
Und haben in verhüllten Hinterzimmern
die Tage der enttäuschten Mutterschaft,
der langen Nächte willenloses Wimmern
und kalte Jahre ohne Kampf und Kraft.
Und ganz im Dunkel stehn die Sterbebetten,
und langsam sehnen sie sich dazu hin;
und sterben lange, sterben wie in Ketten
und gehen aus wie eine Bettlerin.

* * *

Da leben Menschen, weißerblühte, blasse,
und sterben staunend an der schweren Welt.
Und keiner sieht die klaffende Grimasse,
zu der das Lächeln einer zarten Rasse
in namenlosen Nächten sich entstellt.

Sie gehn umher, entwürdigt durch die Müh,
sinnlosen Dingen ohne Mut zu dienen,
und ihre Kleider werden welk an ihnen,
und ihre schönen Hände altern früh.

Die Menge drängt und denkt nicht sie zu schonen,
obwohl sie etwas zögernd sind und schwach,–
nur scheue Hunde, welche nirgends wohnen,
gehn ihnen leise eine Weile nach.

Sie sind gegeben unter hundert Quäler,
und, angeschrien von jeder Stunde Schlag,
kreisen sie einsam um die Hospitäler
und warten angstvoll auf den Einlaßtag.

им невдомек, что все цветы на свете
взывают к ветру в солнечные дни,—
в подвалах детям не до беготни.

Там девушку к неведомому тянет.
О детстве загрустив, она цветет...
Но тело вздрогнет, и мечты не станет,—
должно закрыться тело в свой черед.
И материнство прячется в каморках,
где по ночам не затихает плач;
слабея, жизнь проходит на задворках
холодными годами неудач.
И женщины своей достигнут цели;
живут они, чтоб слечь потом во тьме
и умирать подолгу на постели,
как в богадельне или как в тюрьме.

* * *

Там люди, расцветая бледным цветом,
дивятся при смерти, как мир тяжел.
Порода их нежна по всем приметам,
но каждый в темноте перед рассветом
улыбку там бы судорогой счел.

Вещами закабалены давно,
они забыли все свои надежды,
и на глазах ветшают их одежды,
щекам их рано блекнуть суждено.

Толпа теснит и травит их упорно,
пощады слабым не дожидаться там,—
и только псы бездомные покорно
идут порой за ними по пятам.

Их плоть со всеми пытками знакома,
клянет их то и дело бой часов,
в привычном страхе ждут они приема,
слоняясь у больничных корпусов.

Dort ist der Tod. Nicht jener, dessen GrüÙe
sie in der Kindheit wundersam gestreift,—
der kleine Tod, wie man ihn dort begreift;
ihr eigener hängt grün und ohne SüÙe
wie eine Frucht in ihnen, die nicht reift.

* * *

Du bist der Arme, du der Mittellose,
du bist der Stein, der keine Stätte hat,
du bist der fortgeworfene Leprose,
der mit der Klapper umgeht vor der Stadt.

Denn dein ist nichts, so wenig wie des Windes,
und deine Blöße kaum bedeckt der Ruhm;
das Alltagskleidchen eines Waisenkindes
ist herrlicher und wie ein Eigentum.

Du bist so arm wie eines Keimes Kraft
in einem Mädchen, das es gern verbürge
und sich die Lenden preßt, daß sie erwürge
das erste Atmen ihrer Schwangerschaft.

Und du bist arm; so wie der Frühlingsregen,
der selig auf der Städte Dächer fällt,
und wie ein Wunsch, wenn Sträflinge ihn hegen
in einer Zelle, ewig ohne Welt.
Und wie die Kranken, die sich anders legen
und glücklich sind; wie Blumen in Geleisen
so traurig arm im irren Wind der Reisen;
und wie die Hand, in die man weint, so arm...

Und was sind Vögel gegen dich, die frieren,
was ist ein Hund, der tagelang nicht fraß,
und was ist gegen dich das Sichverlieren,
das stille lange Traurigsein von Tieren,
die man als Eingefangene vergaß?

Und alle Armen in den Nachtasylen,
was sind sie gegen dich und deine Not?
Sie sind nur kleine Steine, keine Mühlen,
aber sie mahlen doch ein wenig Brot.

Там смерть. Не та, что ласкою влюбленной
чарует в детстве всех за годом год,—
чужая, маленькая смерть их ждет.
А собственная—кислой и зеленой
останется, как недозрелый плод.

* * *

От века и навек всего лишенный,
отверженец, ты—камень без гнезда.
Ты—неприкаянный, ты—прокаженный,
с трещоткой обходящий города.

Как ветер, обездоленный и сирый,
своей ты не прикроешь наготы
и потому с роскошною порфирой
готов сравнить обноски сироты.

Ты, как зародыш в чреве, слаб и плох.
(Зародыш еле дышит в то мгновенье,
когда с тоской сжимаются колени,
скрывая новой жизни первый вздох.)

Ты беден, как весенний дождь блаженный,
который с кровель городских течет;
как помысел того, кто без вселенной
в тюрьме годам и дням теряет счет;
как тот больной, что счастлив неизменно,
перевернувшись на бок; как растение,
у самых шпал цветущее в смятенье...
Ты беден, беден, как ладонь в слезах.

Собакадохнет. Замерзает птица.
Ты бесприютнее вдвойне, втройне.
Зверь шевельнуться в западне боится.
Забытый, рад бы в угол он забиться.
Но ты беднее зверя в западне.

Живущие в ночлежках ради бога—
не мельница, а только жернова,
но смелют и они муки немного.
Один лишь ты живешь едва-едва.

Du aber bist der tiefste Mittellose,
der Bettler mit verborgenem Gesicht;
du bist der Armut große Rose,
die ewige Metamorphose
des Goldes in das Sonnenlicht.

Du bist der leise Heimatlose,
der nichtmehr einging in die Welt:
zu groß und schwer zu jeglichem Bedarfe.
Du heulst im Sturm. Du bist wie eine Harfe,
an welcher jeder Spielende zerschellt.

AUS: DAS BUCH DER BILDER

ZUM EINSCHLAFEN ZU SAGEN

Ich möchte jemanden einsingen,
bei jemandem sitzen und sein.
Ich möchte dich wiegen und kleinsingen
und begleiten schlafaus und schlafein.
Ich möchte der Einzige sein im Haus,
der wüßte: die Nacht war kalt.
Und möchte horchen herein und hinaus
in dich, in die Welt, in den Wald.
Die Uhren rufen sich schlagend an,
und man sieht der Zeit auf den Grund.
Und unten geht noch ein fremder Mann
und stört einen fremden Hund.
Dahinter wird Stille. Ich habe groß
die Augen auf dich gelegt;
und sie halten dich sanft und lassen dich los,
wenn ein Ding sich im Dunkel bewegt.

EINSAMKEIT

Die Einsamkeit ist wie ein Regen.
Sie steigt vom Meer den Abenden entgegen;
von Ebenen, die fern sind und entlegen,
geht sie zum Himmel, der sie immer hat.
Und erst vom Himmel fällt sie auf die Stadt.

От века и навек всего лишенный,
лицо свое ты прячешь. Ты – ничей,
как роза нищеты взращенный,
блеск золота, преображенный
в сиянье солнечных лучей.

От всей вселенной отрешенный,
тяжел ты слишком для других.
Ты воешь в бурю. Ты хрипишь от жажды,
звучишь, как арфа. Разобьется каждый,
коснувшись ненароком струн таких.

ИЗ «КНИГИ ОБРАЗОВ»

СЛОВА ПЕРЕД СНОМ

Я хочу баюкать кого-то,
у кого-то и с кем-то быть.
Я хочу тебе спеть негромкое что-то
и с тобой во сне твоём плыть.
Я хочу быть единственным в доме,
кто знал, как мерзнут цветы.
И слушать, как шепчут в дреме
созвездия, листья и ты.
Часы окликают ночной покой,
и время видимо все до дна.
И по улице кто-то идет чужой,
чужую собаку лишая сна.
И вновь тишина. И мой взгляд
держит тебя во сне,
возносит, и опускает назад,
лишь что-то дрогнет в окне.

ОДИНОЧЕСТВО

Одиночество как дождь.
Оно идет от моря вечерами,
оно до черных тянется подошв
и медленно всплывает над горами
до неба, им чреватого всегда,
и с неба падает на города.

Regnet hernieder in den Zwitterstunden,
wenn sich nach Morgen wenden alle Gassen
und wenn die Leiber, welche nichts gefunden,
enttäuscht und traurig von einander lassen;
und wenn die Menschen, die einander hassen,
in *einem* Bett zusammen schlafen müssen:

dann geht die Einsamkeit mit den Flüssen...

HERBSTTAG

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

VORGEFÜHL

Ich bin wie eine Fahne von Fernen umgeben.
Ich ahne die Winde, die kommen, und muß sie leben,
während die Dinge unten sich noch nicht rühren:
die Türen schließen noch sanft, und in den Kaminen
ist Stille;
die Fenster zittern noch nicht, und der Staub ist
noch schwer.

Da weiß ich die Stürme schon und bin erregt wie
das Meer.
Und breite mich aus und falle in mich hinein

Оно приходит затемно, когда
навстречу свету переулки льются,
когда друг другу чуждые тела
устало друг от друга отвернутся
и замолчат – одна постель свела...
и водостоки темные проснутся.

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Господь, пора. Дай лету отцвести.
Отметь в саду деревья тенью длинной,
и над равниной ветры распусти.

Вели, чтоб налились везде полно
твои плоды. Им срок остался краткий:
два жарких дня, – и влей густой и сладкий
последний сок в тяжелое вино.

Кто и теперь один, и без угла,
тот будет знать всегда одни скитанья;
тот будет каждой ночью, досветла,
писать кому-то длинные посланья, –
и проходить в аллеях, средь молчанья,
где буря много листьев намела.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Я словно далями окруженное знамя.
Я предчувствую бури, что будут, и грядущими
грежу ветрами,
когда предметы внизу еще неподвижны:
еще мягко хлопают двери, и звучна тишина
в каминах,
окна еще не дрожат, и пыль тяжела.

Но я уже темен, как море, и знаю, что буря
пришла.
Ветра каждый порыв я повторяю собой,

und werfe mich ab und bin ganz allein
in dem großen Sturm.

ABEND IN SKÅNE

Der Park ist hoch. Und wie aus einem Haus
tret ich aus seiner Dämmerung heraus
in Ebene und Abend. In den Wind,
denselben Wind, den auch die Wolken fühlen,
die hellen Flüsse und die Flügelmühlen,
die langsam mahlend stehn am Himmelsrand.
Jetzt bin auch ich ein Ding in seiner Hand,
das kleinste unter diesen Himmeln.– Schau:

Ist das Ein Himmel?:

Selig lichtet Blau,
in das sich immer reinere Wolken drängen,
und drunter alle Weiß in Übergängen,
und drüber jenes dünne, große Grau,
warmwallend wie auf roter Untermalung,
und über allem diese stille Strahlung
sinkender Sonne.

Wunderlicher Bau,
in sich bewegt und von sich selbst gehalten,
Gestalten bildend, Riesenflügel, Falten
und Hochgebirge vor den ersten Sternen
und plötzlich, da: ein Tor in solche Fernen,
wie sie vielleicht nur Vögel kennen...

DER LESENDE

Ich las schon lang. Seit dieser Nachmittag,
mit Regen rauschend, an den Fenstern lag.
Vom Winde draußen hörte ich nichts mehr:
mein Buch war schwer.
Ich sah ihm in die Blätter wie in Mienen,
die dunkel werden von Nachdenklichkeit,
und um mein Lesen staute sich die Zeit.–
Auf einmal sind die Seiten überschienen,

и трепещу, и с великой грозой
я один на один.

ВЕЧЕР В СКОНЕ

Парк высоко. И словно бы из дома
я выхожу, дорогу узнаю
в просторный вечер, в распростертый ветер.
Вдоль облака иду и водоема,
и мельницы, плывущей на краю
небес, среди которых я сегодня
не более как вещь в руке господней,
быть может, наименьшая.

Взгляни, —
все это разве небеса одни?
В разливах зыбких белизны и черни
блаженная всплывает синева,
а поверху, приметное едва,
почти неразличимое свечение
огня закатного.

Чудесный строй,
что держится и движется собой,
творящий в непонятном распорядке
фигуры странные, крыла и складки,
и, наконец, врата, в такой дали,
какую птицы знать одни могли.

ЗА КНИГОЙ

Я зачитался. Я читал давно.
С тех пор, как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
Не слышал я дождя.

Я вглядывался в строки, как в морщины
Задумчивости, и часы подряд
Стояло время или шло назад.

und statt der bangen Wortverworrenheit
steht: Abend, Abend... überall auf ihnen.
Ich schau noch nicht hinaus, und doch zerreißen
die langen Zeilen, und die Worte rollen
von ihren Fäden fort, wohin sie wollen...
Da weiß ich es: über den übervollen
glänzenden Gärten sind die Himmel weit;
die Sonne hat noch einmal kommen sollen.–
Und jetzt wird Sommernacht, soweit man sieht:
zu wenig Gruppen stellt sich das Verstreute,
dunkel, auf langen Wegen, gehn die Leute,
und seltsam weit, als ob es mehr bedeute,
hört man das Wenige, das noch geschieht.

Und wenn ich jetzt vom Buch die Augen hebe,
wird nichts befremdlich sein und alles groß.
Dort draußen ist, was ich hier drinnen lebe,
und hier und dort ist alles grenzenlos;
nur daß ich mich noch mehr damit verwebe,
wenn meine Blicke an die Dinge passen
und an die ernste Einfachheit der Massen,–
da wächst die Erde über sich hinaus.
Den ganzen Himmel scheint sie zu umfassen:
der erste Stern ist wie das letzte Haus.

DER SCHAUENDE

Ich sehe den Bäumen die Stürme an,
die aus laugewordenen Tagen
an meine ängstlichen Fenster schlagen,
und höre die Fernen Dinge sagen,
die ich nicht ohne Freund ertragen,
nicht ohne Schwester lieben kann.

Da geht der Sturm, ein Umgestalter,
geht durch den Wald und durch die Zeit,
und alles ist wie ohne Alter:
die Landschaft, wie ein Vers im Psalter,
ist Ernst und Wucht und Ewigkeit.

Как вдруг я вижу, краскою карминной
В них набрано: закат, закат, закат.

Как нитки ожерелья, строки рвутся,
И буквы катятся куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,
Должно еще раз было оглянуться
Из-за охваченных зарей оград.

А вот как будто ночь по всем приметам.
Деревья жмутся по краям дорог,
И люди собираются в кружок
И тихо рассуждают, каждый слог
Дороже золота цена при этом.

И если я от книги подыму
Глаза и за окно уставлюсь взглядом,
Как будет близко все, как станет рядом,
Сродни и впору сердцу моему!

Но надо глубже вжиться в полутьму
И глаз приноровить к ночным громадам,
И я увижу, что земле мала
Околица, она переросла
Себя и стала больше небосвода,
А крайняя звезда в конце села,
Как свет в последнем домике прихода.

СОЗЕРЦАНИЕ

Деревья складками коры
Мне говорят об ураганах,
И я их сообщений странных
Не в силах слышать среди неожиданных
Невзгод, в скитаньях постоянных,
Один, без друга и сестры.

Сквозь рощу рвется непогода,
Сквозь изгороди и дома.
И вновь без возраста природа,
И дни, и вещи обихода,
И даль пространств, как стих псалма.

Wie ist das klein, womit wir ringen,
was mit uns ringt, wie ist das groß;
ließen wir, ähnlicher den Dingen,
uns *so* vom großen Sturm bezwingen,—
wir würden weit und namenlos.

Was wir besiegen, ist das Kleine,
und der Erfolg selbst macht uns klein.
Das Ewige und Ungemeine
will nicht von uns gebogen sein.
Das ist der Engel, der den Ringern
des Alten Testaments erschien:
wenn seiner Widersacher Sehnen
im Kampfe sich metallend dehnen,
fühlt er sie unter seinen Fingern
wie Saiten tiefer Melodien.

Wen dieser Engel überwand,
welcher so oft auf Kampf verzichtet,
der geht gerecht und aufgerichtet
und groß aus jener harten Hand,
die sich, wie formend, an ihn schmiegte.
Die Siege laden ihn nicht ein.
Sein Wachstum ist: der Tiefbesiegte
von immer Größerem zu sein.

SCHLUSSSTÜCK

Der Tod ist groß.
Wir sind die Seinen
lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
wagt er zu weinen
mitten in uns.

Как мелки с жизнью наши споры,
Как крупно то, что против нас!
Когда б мы поддались напору
Стихии, ищущей простора,
Мы выросли бы во сто раз.

Все, что мы побеждаем,—малость,
Нас унижает наш успех.
Необычайность, небывалость
Зовет борцов совсем не тех.
Так ангел Ветхого завета
Нашел соперника под стать.
Как арфу, он сжимал атлета,
Которого любая жила
Струною ангелу служила,
Чтоб схваткой гимн на нем сыграть.

Кого тот ангел победил,
Тот правым, не гордясь собою,
Выходит из такого боя
В сознаньи и в расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Безмерна смерть.
Улыбке тлена—
подвластна персть.
Но жизнь закружит нас вдохновенно,
и в нас мгновенно
заплачет смерть.

AUS: NEUE GEDICHTE

DER AUSZUG DES VERLORENEN SOHNES

Nun fortzugehn von alledem Verwornen,
das unser ist und uns doch nicht gehört,
das, wie das Wasser in den alten Bornen,
uns zitternd spiegelt und das Bild zerstört;
von allem diesen, das sich wie mit Dornen
noch einmal an uns anhängt – fortzugehn
und Das und Den,
die man schon nicht mehr sah
(so täglich waren sie und so gewöhnlich),
auf einmal anzuschauen: sanft, versöhnlich
und wie an einem Anfang und von nah;
und ahnend einzusehn, wie unpersönlich,
wie über alle hin das Leid geschah,
von dem die Kindheit voll war bis zum Rand – :
Und dann doch fortzugehen, Hand aus Hand,
als ob man ein Geheiltes neu zerrisse,
und fortzugehn: wohin? Ins Ungewisse,
weit in ein unverwandtes warmes Land,
das hinter allem Handeln wie Kulisse
gleichgültig sein wird: Garten oder Wand;
und fortzugehn: warum? Aus Drang, aus Artung,
aus Ungeduld, aus dunkler Erwartung,
aus Unverständlichkeit und Unverstand:

Dies alles auf sich nehmen und vergebens
vielleicht Gehaltnes fallen lassen, um
allein zu sterben, wissend nicht warum –

Ist das der Eingang eines neuen Lebens?

DER ÖLBAUM-GARTEN

Er ging hinauf unter dem grauen Laub
ganz grau und aufgelöst im Ölgelände
und legte seine Stirne voller Staub
tief in das Staubigsein der heißen Hände.

ИЗ «НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ»

УХОД БЛУДНОГО СЫНА

Уйти из опостылевшего дома,
Где все родное чуждым предстает,
Где, как в неверной глади водоема,
Искажены лицо и небосвод,
Ото всего, что, нищетой влекомо,
Цепляется и виснет, прочь уйти,
Чтоб обрести
Окраску и объем
Всего, что стало слишком повседневным.
Вдруг увидеть простым и задушевым
Впервые и вблизи родимый дом,
И постигать умом, уже не гневным,
Неотвратимую нужду во всем,
Чем наполнялась молодость моя.
И все ж уйти, рыданья затая.
Так исцеленный вновь заболевает.
Скорее прочь. Куда? Но кто же знает.
В неведомые теплые края,
Что над делами нашими витают,
Как облачко беззлобного лганья.
Уйти! Но от чего? От тщетных знаний,
От вожделений, темных упований,
Непостижимости, небытия –

Всего, чем был я наделен в отчизне.
Уйти, чтобы издохнуть одному,
Не зная, где и как и почему.

Но это ли дорога к новой жизни?

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Он шел в пыли, потерян, растворен
меж пепельных олив на серых склонах.
И, как во прах, чело повергнул он
в пожар своих ладоней запыленных.

Nach allem dies. Und dieses war der Schluß.
Jetzt soll ich gehen, während ich erblinde,
und warum willst Du, daß ich sagen muß
Du seist, wenn ich Dich selber nicht mehr finde.

Ich finde Dich nicht mehr. Nicht in mir, nein.
Nicht in den andern. Nicht in diesem Stein.
Ich finde Dich nicht mehr. Ich bin allein.

Ich bin allein mit aller Menschen Gram,
den ich durch Dich zu lindern unternahm,
der Du nicht bist. O namenlose Scham...

Später erzählte man: ein Engel kam –.

Warum ein Engel? Ach es kam die Nacht
und blätterte gleichgültig in den Bäumen.
Die Jünger rührten sich in ihren Träumen.
Warum ein Engel? Ach es kam die Nacht.

Die Nacht, die kam, war keine ungemaine;
so gehen hunderte vorbei.
Da schlafen Hunde und da liegen Steine.
Ach eine traurige, ach irgendeine,
die wartet, bis es wieder Morgen sei.

Denn Engel kommen nicht zu solchen Betern,
und Nächte werden nicht um solche groß.
Die Sich-Verlierenden läßt alles los,
und sie sind preisgegeben von den Vätern
und ausgeschlossen aus der Mütter Schooß.

DIE ERBLINDENDE

Sie saß so wie die anderen beim Tee.
Mir war zuerst, als ob sie ihre Tasse
ein wenig anders als die andern fasse.
Sie lächelte einmal. Es tat fast weh.

Und als man schließlich sich erhob und sprach
und langsam und wie es der Zufall brachte

Еще и это. И таков конец.
А мне идти – идти, слепому, выше.
И почему Ты мне велишь, Отец,
искать Тебя, раз я Тебя не вижу.

А я искал. Искал, где только мог.
В себе. В других. И в камнях у дорог.
Я потерял Тебя. Я одинок.

А я искал. И меж людей бродил.
Хотел утешить горечь их седин.
И с горем, со стыдом своим – один.

Потом расскажут: ангел приходил...

Какой там ангел! Ах, всего лишь ночь
листы перебирала в сонных кронах.
Был душен сон учеников сморенных.
Какой там ангел! Ах, всего лишь ночь...

Обычен лик ее, черты нестроги:
одна из тысяч, ночь как ночь.
Вон пес заснул, лег камень у дороги.
Печальная моя, одна из многих,
что дня дождутся и уходят прочь.

Что ангелу просители такие?
Что им самим величие ночей?
Отринуты от лона матерей,
оставлены отцовскою стихией...
Тот, кто себя теряет, – он ничей.

СЛЕПНУЩАЯ

Она, спокойно сидя меж гостей,
Чуть-чуть не так – казалось мне сначала –
С налитым чаем чашечку держала.
Раз улыбнулась, – словно больно ей.

Когда же встали все из-за стола
И двинулись вразброд, смеясь, болтая,

durch viele Zimmer ging (man sprach und lachte),
da sah ich sie. Sie ging den andern nach,

verhalten, so wie eine, welche gleich
wird singen müssen und vor vielen Leuten;
auf ihren hellen Augen die sich freuten
war Licht von außen wie auf einem Teich.

Sie folgte langsam und sie brauchte lang
als wäre etwas noch nicht überstiegen;
und doch: als ob, nach einem Übergang,
sie nicht mehr gehen würde, sondern fliegen.

IN EINEM FREMDEN PARK

BORGEBY-GÅRD

Zwei Wege sinds. Sie führen keinen hin.
Doch manchmal, in Gedanken, läßt der eine
dich weitergehn. Es ist, als gingst du fehl;
aber auf einmal bist du im Rondel
alleingelassen wieder mit dem Steine
und wieder auf ihm lesend: Freiherrin
Brite Sophie – und wieder mit dem Finger
abführend die zerfallne Jahreszahl –.
Warum wird dieses Finden nicht geringer?

Was zögerst du ganz wie zum ersten Mal
erwartungsvoll auf diesem Ulmenplatz,
der feucht und dunkel ist und niebetreten?

Und was verlockt dich für ein Gegensatz,
etwas zu suchen in den sonnigen Beeten,
als wärs der Name eines Rosenstocks?

Was stehst du oft? Was hören deine Ohren?
Und warum siehst du schließlich, wie verloren,
die Falter flimmern um den hohen Phlox.

В глубь анфилад, смотрел я, наблюдая:
Она вослед другим упрямо шла,

Сосредоточась, как вдоль сцены, где
Ей петь придется в многолюдном зале.
В зрачках блестящих глаз ее дрожали
Круги огней, как блики на воде.

Казалось, обживая трудный путь,
Она преград пока не преступала,
Но вот сейчас еще шагнет чуть-чуть –
И вдруг взлетит над грубым полом зала.

В ЧУЖОМ ПАРКЕ

БОРГЕБЮ-ГОРД

Здесь два пути, ведущих в никуда.
Но вот в мечтах, блуждая как по лесу,
идешь одним из них. И пред тобой
цветник знакомый с каменной плитой
и надписью знакомой: «Баронесса
Брите Софи» – и снова, как всегда,
ощупываешь стершиеся даты
рождения и смерти на плите.
Как непомерна этих встреч оплата!

Что медлишь ты под вязом в темноте,
чего ты ждешь, как будто в первый раз
ступаешь на сырую эту землю?

Чем именно тебя привлек сейчас
цветник соседний – солнечный – не тем ли,
что там не холод плит, а пламя роз?

Сюда наведываясь то и дело,
ты почему стоишь оторопело
и перед флоксом словно в землю врос?

DAS KARUSSELL

JARDIN DU LUXEMBOURG

Mit einem Dach und seinem Schatten dreht
sich eine kleine Weile der Bestand
von bunten Pferden, alle aus dem Land,
das lange zögert, eh es untergeht.
Zwar manche sind an Wagen angespannt,
doch alle haben Mut in ihren Mienen;
ein böser roter Löwe geht mit ihnen
und dann und wann ein weißer Elefant.

Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald,
nur daß er einen Sattel trägt und drüber
ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt.

Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge
und hält sich mit der kleinen heißen Hand,
dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge.

Und dann und wann ein weißer Elefant.

Und auf den Pferden kommen sie vorüber,
auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge
fast schon entwachsen; mitten in dem Schwunge
schauen sie auf, irgendwohin, herüber –

Und dann und wann ein weißer Elefant.

Und das geht hin und eilt sich, daß es endet,
und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel.
Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet,
ein kleines kaum begonnenes Profil –
Und manchmal ein Lächeln, hergewendet,
ein seliges, das blendet und verschwendet
an dieses atemlose blinde Spiel...

КАПУСЕЛЬ

(JARDIN DU LUXEMBOURG)

Навес, и тень его, и разноцветный
лошадок строй по кругу устремлен:
последний отпрыск гибнущих племен,
что ждут с терпеньем смерти неприметной.
Хоть конь иной в коляску запряжен –
все рысаками кажутся лихими;
сердитый красный лев проходит с ними,
и плавно проплывает белый слон.

А вот олень – он как в лесу родном,
но только под седлом, и пролетела
голубенькая девочка на нем.

Малыш на льве, весь в белом, разодетый, –
за гриву уцепился грозно он,
и мчится лев пронзительной кометой.

И плавно проплывает белый слон.

Вперед, верхом, решительно и смело...
И девушки, с печалью недопетой,
почти уж слишком взрослые для этой
забавы, смотрят в небо без предела –

И плавно проплывает белый слон.

Спешат, летят с уклоном и поклоном,
по кругу, вскачь, без цели, без конца...
То в сером, в синем, в красном, то в зеленом
мигании блеснет намек лица.
Порой улыбка, в счастье ослепленном,
рожденном обольстительным полоном,
из замкнутого вырвется кольца.

AUS: DIE SONETTE AN ORPHEUS

ERSTER TEIL

I

Da stieg ein Baum. O reine Übersteigung!
O Orpheus singt! O hoher Baum im Ohr!
Und alles schwieg. Doch selbst in der Verschweigung
ging neuer Anfang, Wink und Wandlung vor.

Tiere aus Stille drangen aus dem klaren
gelösten Wald von Lager und Genist;
und da ergab sich, daß sie nicht aus List
und nicht aus Angst in sich so leise waren,

sondern aus Hören. Brüllen, Schrei, Geröhr
schien klein in ihren Herzen. Und wo eben
kaum eine Hütte war, dies zu empfangen,

ein Unterschlupf aus dunkelstem Verlangen
mit einem Zugang, dessen Pfosten beben,—
da schufst du ihnen Tempel im Gehör.

V

Errichtet keinen Denkstein. Laßt die Rose
nur jedes Jahr zu seinen Gunsten blühh.
Denn Orpheus ists. Seine Metamorphose
in dem und dem. Wir sollen uns nicht mühh

um andre Namen. Ein für alle Male
ists Orpheus, wenn es singt. Er kommt und geht.
Ists nicht schon viel, wenn er die Rosenschale
um ein paar Tage manchmal übersteht?

O wie er schwinden muß, daß ihrs begriff!
Und wenn ihm selbst auch bange, daß er schwände.
Indem sein Wort das Hiersein übertrifft,

ist er schon dort, wohin ihrs nicht begleitet.
Der Leier Gitter zwängt ihm nicht die Hände.
Und er gehorcht, indem er überschreitet.

ИЗ «СОНЕТОВ К ОРФЕЮ»

ЧАСТЬ I

I

О, дерево! Восстань до поднебесья!
Цвети, послушный слух! Орфей поет.
И все умолкло. Но в молчаньи песне
был предназначен праздник и полет.

Прозрачным стал весь лес. К певцу теснились
и зверь из нор, и жители берлог.
Уже не хищный умысел их влек,
и не в молчаньи звери затаились,—

они внимали. Низкий рев и рык
смирился в их сердцах. Там, где недавно,
как гость незванный, оробел бы звук,—

в любой норе, убежище от вьюг,
где тьма и жадность властвовали явно,—
ты песне храм невиданный воздвиг.

V

Не воздвигай надгробья. Только роза
да славит каждый год его опять.
Да, он—Орфей. Его метаморфоза
жива в природе. И не надо знать

иных имен. Восславим постоянство.
Певца зовут Орфеем. В свой черед
и он умрет, но алое убранство
осенней розы он переживет.

О, знали б вы, как безысходна смерть!
Орфею страшно уходить из мира.
Но слово превзошло земную твердь.

Он—в той стране, куда заказан путь.
Ему не бременит ладони лира.
Он поспешил все пути разомкнуть.

VII

Rühmen, das ists! Ein zum Rühmen Besteller,
ging er hervor wie das Erz aus des Steins
Schweigen. Sein Herz, o vergängliche Kelter
eines den Menschen unendlichen Weins.

Nie versagt ihm die Stimme am Staube,
wenn ihn das göttliche Beispiel ergreift.
Alles wird Weinberg, alles wird Traube,
in seinem fühlenden Süden gereift.

Nicht in den Grüften der Könige Moder
straft ihm die Rühmung lügen, oder
daß von den Göttern ein Schatten fällt.

Er ist einer der bleibenden Boten,
der noch weit in die Türen der Toten
Schalen mit rühmlichen Früchten hält.

XI

Sieh den Himmel. Heißt kein Sternbild ‚Reiter‘?
Denn dies ist uns seltsam eingepägt:
dieser Stolz aus Erde. Und ein Zweiter,
der ihn treibt und hält und den er trägt.

Ist nicht so, gejagt und dann gebändigt,
diese sehnige Natur des Seins?
Weg und Wendung. Doch ein Druck verständigt.
Neue Weite. Und die zwei sind eins.

Aber sind sie's? Oder meinen beide
nicht den Weg, den sie zusammen tun?
Namenlos schon trennt sie Tisch und Weide.

Auch die sternische Verbindung trägt.
Doch uns freue eine Weile nun
der Figur zu glauben. Das genügt.

XII

Heil dem Geist, der uns verbinden mag;
denn wir leben wahrhaft in Figuren.

VII

Да, чтоб восславить! Он призван восславить,
Гимном восстать из молчанья камней.
Сердцем своим преходящим заставить
Соки в божественном вспыхнуть вине.

Страшен ли тлен ему, бури ли грозны,
Если вселится в него божество?
Все станет лозой, все станет гроздьё
Под ослепительным солнцем его.

Что ему прах королей, что почтили
В склепах, давно плесневеющих, или
Непостоянство ревнивых богов?

Вот он стоит, неумолкнувший вестник,
Прямо в воротах у мертвых, и песни
Им протянул, как пригоршни плодов.

XI

Всадник... Странно: разве в безднах неба
нет созвездья с именем таким?
Тот ездок, гонец — он был иль не был?
Был ли гордый круп коня под ним?

Ведь не так ли — шпорой и уздою —
бытие само напряжено?
Путь. Распутье. Повод тронь рукою —
снова даль. И оба суть одно.

Да одно ли? Вправду ль им обоим
цель одна — не только путь один?
Стол и луг безмолвною судьбою

их уже разводят. Всё обманней
звезд чертеж. Но хоть на миг один
дай поверить в это сочетанье!

XII

Чертежи... Воистину они
наше бытие определяют.

Und mit kleinen Schritten gehn die Uhren
neben unserm eigentlichen Tag.

Ohne unsern wahren Platz zu kennen,
handeln wir aus wirklichem Bezug.
Die Antennen fühlen die Antennen,
und die leere Ferne trug...

Reine Spannung. O Musik der Kräfte!
Ist nicht durch die läßlichen Geschäfte
jede Störung von dir abgelenkt?

Selbst wenn sich der Bauer sorgt und handelt,
wo die Saat in Sommer sich verwandelt,
reicht er niemals hin. Die Erde *schenkt*.

XIII

Voller Apfel, Birne und Banane,
Stachelbeere... Alles dieses spricht
Tod und Leben in den Mund... Ich ahne...
Lest es einem Kind vom Angesicht,

wenn es sie erschmeckt. Dies kommt von weit.
Wird euch langsam namenlos im Munde?
Wo sonst Worte waren, fließen Funde,
aus dem Fruchtfleisch überrascht befreit.

Wagt zu sagen, was ihr Apfel nennt.
Diese Süße, die sich erst verdichtet,
um, im Schmecken leise aufgerichtet,

klar zu werden, wach und transparent,
doppeldeutig, sonnig, erdig, hiesig -:
O Erfahrung, Fühlung, Freude-, riesig!

XVIII

Hörst du das Neue, Herr,
dröhnen und beben?
Kommen Verkündiger,
die es erheben.

Да святится дух, что нам сливает
в знак единый не часы, а дни.

Пусть, я знаю, слепы мы и бренны, —
истинен в деяньях' наших мир.
И к антенне тянется антенна —
и чреват пустой эфир...

Чистый звук тугой струны небесной!
В дольней жизни, суетной и тесной,
лишь нетленнее твой смысл горит.

Славны землепашца труд и рвенье,
но зерна в зарю преображенье —
не в его руках. Земля *дарит*.

XIII

Яблоки, и груши, и бананы,
и крыжовник... Им дано во рту
смерть и жизнь смешить благоуханно.
Видишь, как ребенок на лету

их вкушает? Сброшен их покров,
их имен исчезли и намеки;
где слова звучали, брызжут соки,
вольные, из мякоти плодов.

То, что звалось яблоком, ушло.
Только эта сладость вкусовая
радует, из гущи восставая

ясно, и прозрачно, и светло,
солнечно и земно, двуедино —
о познание, счастья сердцевина!

XVIII

Господи, слышишь — грядут
новые боги!
Грохот, и скрежет, и гуд
славят пророки.

Zwar ist kein Hören heil
in dem Durobtsein,
doch der Maschinenteil
will jetzt gelobt sein.

Sieh, die Maschine:
wie sie sich wälzt und rächt
und uns entstellt und schwächt.

Hat sie aus uns auch Kraft,
sie, ohne Leidenschaft,
treibe und diene.

XIX

Wandelt sich rasch auch die Welt
wie Wolkengestalten,
alles Vollendete fällt
heim zum Uralten.

Über dem Wandel und Gang,
weiter und freier,
währt noch dein Vor-Gesang,
Gott mit der Leier.

Nicht sind die Leiden erkannt,
nicht ist die Liebe gelernt,
und was im Tod uns entfernt,

ist nicht entschleiert.
Einzig das Lied überm Land
heiligt und feiert.

XXI

Frühling ist wiedergekommen. Die Erde
ist wie ein Kind, das Gedichte weiß;
viele, o viele... Für die Beschwerde
langen Lernens bekommt sie den Preis.

Streng war ihr Lehrer. Wir mochten das Weiße
an dem Barte des alten Manns.
Nun, wie das Grüne, das Blaue heiße,
dürfen wir fragen; sie kanns, sie kanns!

Робок наш слух и раним
в грома лавине.
Все же хвалу воздадим
богу-машине.

Все она сдюжит:
алчущий, мстительный вал
нас поглотил, засосал...

Наши в ней мозг и рука!
Но, от страстей далека,
пусть себе служит.

XIX

Облики мира, как облака,
тихо уплыли.
Все, что вершится, уводит века
в древние были.

Но над теченьем и сменой начал
громче и шире
нам изначальный напев твой звучал,
бог, игравший на лире.

Тайна любви велика,
боль неподвластна нам,
и смерть, как далекий храм,

для всех заповедна.
Но песня – легка и летит сквозь века
светло и победно.

XXI

Снова вернулась весна. И природа –
словно дитя, что творит стихи;
много, о много... Прошлого года
смыты долгим ученьем грехи.

Строг был учитель. Удел сединою
бороде старика блестеть.
Мы же средь зелени, под синевою
вправе воскликнуть: всем петь, всем петь!

Пой же, природа, от счастья свободно,
вместе с детьми. Мы хотим превеселых
игр с тобою. Кто весел, вперед!

Все, что учителю было угодно
дать ей, что в буквах корней и тяжелых,
стройных стволов, все — поет, поет.

XXVI

Ты, о божественный, ты, чье бессмертно звучало,
как истязал тебя рой отринутых, дерзких менад!
Ты, о дивный, их вопль заглушил, и стройным началом
в буйной толпе прозвучал твой созидательный лад.

И ни одна не посмела главы или лиры коснуться,
и смертоносные камни легчайшими стали, как пух.
Яростно мчались к тебе, но вот ручейком они льются,
и обретают они полубожественный слух.

Был ты убит, наконец, этим мстительным роем,
песня звучала по-прежнему в сердце скалы или льва,
птицы, оливы. Мы звук ее всюду откроем.

Боже усопший! О, как бесконечен твой след!
Был ты растерзан враждой, и послушная лира мертва.
С этой поры мы — бессмертной природы уста или свет.

ЧАСТЬ II

XII

О, полюби перемену! О, пусть вдохновит тебя пламя,
где исчезает предмет и, обновляясь, поет...

Сам созидающий дух, богатый земными дарами,
любит в стремлении жизни лишь роковой поворот.

Was sich ins Bleiben verschließt, schon *ists* das Erstarrte;
wähnt es sich sicher im Schutz des unscheinbaren Grau's?
Warte, ein Härtestes warnt aus der Ferne das Harte.
Wehe—: abwesender Hammer holt aus!

Wer sich als Quelle ergießt, den erkennt die Erkennung;
und sie führt ihn entzückt durch das heiter Geschaffne,
das mit Anfang oft schließt und mit Ende beginnt.

Jeder glückliche Raum ist Kind oder Enkel von Trennung,
den sie staunend durchgehn. Und die verwandelte Daphne
will, seit sie lorbeern fühlt, daß du dich wandelst
in Wind.

XIV

Siehe die Blumen, diese dem Irdischen treuen,
denen wir Schicksal vom Rande des Schicksals leihn,—
aber wer weiß es! Wenn sie ihr Welken bereuen,
ist es an uns, ihre Reue zu sein.

Alles will schweben. Da gehn wir umher wie Beschwerer,
legen auf alles uns selbst, vom Gewichte entzückt;
o was sind wir den Dingen für zehrende Lehrer,
weil ihnen ewige Kindheit glückt.

Nähme sie einer ins innige Schlafen und schliefe
tief mit den Dingen—: o wie käme er leicht,
anders zum anderen Tag, aus der gemeinsamen Tiefe.

Oder er bliebe vielleicht; und sie blühten und priesen
ihn, den Bekehrten, der nun den Ihrigen gleicht,
allen den stillen Geschwistern im Winde der Wiesen.

XXV

Schon, horch, hörst du der ersten Harken
Arbeit; wieder den menschlichen Takt
in der verhaltenen Stille der starken
Vorfrühlingserde. Unabgeschmackt

Все, что замедлило бег, навеки становится косным.
Пусть сокровенно оно, бестревожным себя оно мнит.
О, погоди: грозящее сменится вновь смертоносным.
Горе: невидимый молот гремит!

Тех, кто прольется ручьем, с отрадой признает познание,
и оно их ведет, радуясь зримо и явно,
в область творенья, начала которой открылись в конце.

Каждый счастливый удел – дитя или внук расставанья,
так изумившего всех. И превращенная Дафна,
ставшая лавром, хочет узнать тебя в новом лице.

XIV

Как цветы доверяются миру... какая
тишина! Мы их рвем, отмеряем их час,
но кто знает, о ком так грустят, поникая,
лепестки? О себе или, может, о нас?

Хочет все воспарить. Только мы, тяжелея,
давим все, восхищенные властью своей.
О, кого нам учить?! Поучиться б, скорее,
ликованью и вечному детству вещей.

Если б взял ты их все внутрь себя, в сердцевину,
в сон души... и заснул... О, как ясен и нов
к новой жизни восстал бы из глуби единой!

Или в ней оставался б... И все ароматы,
эти тихие ветры цветущих лугов,
прославляли б тебя – по бессмертью собрата.

XXV

Первые грабли вбиваются в нивы.
Слышишь: взмахи со всех сторон.
Это в такт раздаются призывы
к подземной весне. Разве ты пресыщен

scheint dir das Kommende. Jenes so oft
dir schon Gekommene scheint dir zu kommen
wieder wie Neues. Immer erhofft,
nahmst du es niemals. Es hat dich genommen.

Selbst die Blätter durchwinterter Eichen
scheinen im Abend ein künftiges Braun.
Manchmal geben sich Lüfte ein Zeichen.

Schwarz sind die Sträucher. Doch Haufen von Dünger
lagern als satteres Schwarz in den Aun.
Jede Stunde, die hingeht, wird jünger.

XXIX

Stiller Freund der vielen Fernen, fühle,
wie dein Atem noch den Raum vermehrt.
Im Gebälk der finstern Glockenstühle
laß dich läuten. Das, was an dir zehrt,

wird ein Starkes über dieser Nahrung.
Geh in der Verwandlung aus und ein.
Was ist deine leidendste Erfahrung?
Ist dir Trinken bitter, werde Wein.

Sei in dieser Nacht aus Übermaß
Zauberkraft am Kreuzweg deiner Sinne,
ihrer seltsamen Begegnung Sinn.

Und wenn dich das Irdische vergaß,
zu der stillen Erde sag: Ich rinne.
Zu dem raschen Wasser sprich: Ich bin.

* * *

Du im Voraus
verlorne Geliebte, Nimmergekommene,
nicht weiß ich, welche Töne dir lieb sind.
Nicht mehr versuch ich, dich, wenn das Kommende wogt,
zu erkennen. Alle die großen
Bilder in mir, im Fernen erfahrene Landschaft,
Städte und Türme und Brücken und un-

грядущим? Не раз, в предыдущем, оно
казалось идущим пред нами, ведущим,
но ты не умел овладеть им, зовущим –
нет, тобою оно овладело давно.

Даже бурой листвы прошлогодней
чуть иная окраска, и та дорогá, –
и сплетаются ветры свободней.

Чернеют кусты. Но навоза сочное ложе,
чернее еще, уходит в луга.
И земля с каждым часом моложе.

XXIX

Тихий друг пространств, ты ведать волен:
полнит мир твоих дыханий дрожь.
Ты на круче мрачных колоколен
прозвони к вечеру. И поймешь:

мощной силой вдруг зацвел твой ропот.
Обновись в движении сквозном.
В чем, скажи, твой неутешный опыт?
Пить не сладко? Будь же сам вином.

Эта ночь волшебю вдохновит
слух и зренье, и в неожиданной встрече
новым смыслом чувства зацветут.

Был ли ты природою забыт?
Благостной земле шепни: «Я – вечен».
Быстрой влаге вымолви: «Я – тут».

* * *

О, до любви
потерянная любимая, непришедшая,
я не знаю, какие ты любишь песни.
Я уже не пытаюсь, когда наплывает грядущее,
тебя узнать. Все оживающие
во мне картины, надвигающиеся пейзажи,
башни, мосты, города и

vermutete Wendung der Wege
und das Gewaltige jener von Göttern
einst durchwachsenen Länder:
steigt zur Bedeutung in mir
deiner, Entgehende, an.

Ach, die Gärten bist du,
ach, ich sah sie mit solcher
Hoffnung. Ein offenes Fenster
im Landhaus-, und du tratest beinahe
mir nachdenklich heran. Gassen fand ich,-
du warst sie gerade gegangen,
und die Spiegel manchmal der Läden der Händler
waren noch schwindlich von dir und gaben erschrocken
mein zu plötzlichem Bild.-Wer weiß, ob derselbe
Vogel nicht hinklang durch uns
gestern, einzeln, im Abend?

* * *

Wir sind nur Mund. Wer singt das ferne Herz,
das heil inmitten aller Dinge weilt?
Sein großer Schlag ist in uns eingeteilt
in kleine Schläge. Und sein großer Schmerz
ist, wie sein großer Jubel, uns zu groß.
So reißen wir uns immer wieder los
und sind nur Mund. Aber auf einmal bricht
der große Herzschlag heimlich in uns ein,
so daß wir schrein-,
und sind dann Wesen, Wandlung und Gesicht.

GESCHRIEBEN FÜR KARL GRAFEN LANCKOROŃSKI

„Nicht Geist, nicht Inbrunst wollen wir entbehren“:
eins durch das andre lebend zu vermehren,
sind wir bestimmt; und manche sind erwählt,
in diesem Streit ein Reinstes zu erreichen,
wach und geübt, erkennen sie die Zeichen,
die Hand ist leicht, das Werkzeug ist gestählt.

внезапные сгибы пути
и величие тех, богами
взлелеянных некогда стран,—
брезжит значеньем во мне
твоим, уходящая в даль.

Ах, сады—это ты,
и смотрел я на них
с такую надеждой. Окно
распахнулось, и словно ты встала
за ним, думая обо мне. Переулком
я шел и шаги твои слышал,
и витрины были еще смущены
свежим твоим отраженьем, вмещая с испугом
мой нечаянный лик. И кто знает,
не одна ли и та же одинокая птица
в нас вчера возвещала вечер?

* * *

Мы только голос. Кем воспета даль,
где сердца всех вещей непреходящий звон?
Его сплошной удар внутри нас разделен
на ровный пульс. Безмерная печаль
и радость сердца велики для нас,
и мы от них бежим, и каждый час
мы только голос.

Лишь внезапный миг—
его удар неслышно в нас проник,
и мы—весь крик...
И лишь тогда мы—суть, судьба и лик.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ГРАФУ КАРЛУ ЛАНЦКОРОНЬСКОМУ

*«Ни разума, ни чувственного жара
мы не отвергнем»*; оба эти дара
умножим мы, творцы живых легенд.
Кто избран в этом споре плоти с духом,
начертит знак, хранимый чутким слухом:
легка рука, отточен инструмент.

Das Leiseste darf ihnen nicht entgehen,
sie müssen jenen Ausschlagswinkel sehen,
zu dem der Zeiger sich kaum merklich rührt,
und müssen gleichsam mit den Augenlidern
des leichten Falters Flügelschlag erwidern,
und müssen spüren, was die Blume spürt.

Zerstörbar sind sie wie die andern Wesen
und müssen doch (sie wären nicht erlesen!)
Gewaltigstem zugleich gewachsen sein.
Und wo die andern wirr und wimmernd klagen,
da müssen sie der Schläge Rhythmen sagen,
und in sich selbst erfahren sie den Stein.

Sie müssen dastehn wie der Hirt, der dauert;
von ferne kann es scheinen, daß er trauert,
im Näherkommen fühlt man wie er wacht.
Und wie für ihn der Gang der Sterne laut ist,
muß ihnen nah sein, wie es ihm vertraut ist,
was schweigend steigt und wandelt in der Nacht.

Im Schläfe selbst noch bleiben sie die Wächter:
aus Traum und Sein, aus Schluchzen und Gelächter
fügt sich ein Sinn.... Und überwältigt sie's,
und stürzen sie ins Knien vor Tod und Leben,
so ist der Welt ein neues Maß gegeben
mit diesem rechten Winkel ihres Knie's!

Малейшее так зорко подмечая,
избранники следят, как часовая
чуть дрогнет стрелка,—и поймут намек!
Они движеньем век ответить в силах
порханию лимонниц легкокрылых
и чувствовать, что чувствует цветок.

Они ранимы, как и все созданья,
но им дано (в величии избранья!)
безмерной мощи выдержать напор.
Пусть слабые оплакивают кары,
им вняты ритмов грозные удары.
Душа их тверже, чем твердыни гор.

Они стоят: пастух на горном кряже
стоит, как бы дремотствуя на страже,
но подойди—почуешь зоркий взгляд.
Как книга звезд ему всегда пророчит,
так им безмолвный рост открыться хочет,
светила, ночь и тайный звездопад.

В глубоком сне не прекращая бдений,
из бытия, рыданий и видений
они творят... И вот—поэт сражен,
и жизнь, и смерть коленопреклоненно
он славит, и наклон его колена
являет миру царственный закон.

Theodor Däubler

HÄTTE ICH EIN FÜNKCHEN GLÜCK

Hätte ich ein Fünkchen Glück, wäre alles anders!
Wollte blauer Tauwind hold meine Segel schwellen,
Blitzte gleich durch mich der Geist eines kühnen Landers,
Und ich müßte immer mehr mich ums Mehr zerquälen.

Wäre wenig anders nur: hätte ich ein Fünkchen Glück,
Träumt ich nicht voll Brunstgewalt in die nackte,
Denn ich fühlte mich im Weib, bis in meinen Grund
Würde je mein Graun getilgt, hätt ich keinen Sturm
Wäre wenig anders nur: hätte ich ein Fünkchen Glück,
Träumt ich nicht voll Brunstgewalt in die nackte,
Denn ich fühlte mich im Weib, bis in meinen Grund
Würde je mein Graun getilgt, hätt ich keinen Sturm

kalte Nacht,

zurück:

durchwacht!

Wüßte ich, warum ich fromm, daseinsscheu und seltsam
Ahnte ich, weshalb um mich nirgends grünes Glück
Hätte dieses kleine Sein plötzlich schrecklich vielen Sinn!
Nirgends fände ich den Zweck und ich stürbe doch

bin,

gedeiht,

vor Leid.

Dennoch höre, Erde mich: ich bin auch ein Kind
Erde, ach, ich liebe dich. Liebe ist mein Erdensang.
Erde, liebe deinen Sohn, wie die Pflanze, wie das Tier!
Erde, warum bin ich hier liebesarm und totenbang?

von dir!

Hätte ich ein Fünkchen Glück, hielt ich rein das Glück!
So ist oft mein Traumgesicht wild auf Lust erpicht.
Alles bleibt in mir Versuch. Nie gelingt ein Stück.
Sing ich das, so glaube ich, daß mein Herz mir bricht.

Теодор Дойблер

КРУПИЦА СЧАСТЬЯ

Крупицу счастья—все пошло б иначе!
Ветр оттепели раздувал бы мне мой синий парус.
Мгновенной молнией в груди сверкнул бы дух бродячий,
И в непомерных муках я б неизмеримо вырос.

Все было б так же—плюс крупица счастья.
Не я ль вмечтался в темную наугую ночь,
Не я ль промерз дотла под ливнем женской страсти,
Мою ли скорбь дано землетрясениям в ступе растолочь?

Ах, знать бы мне, зачем я странен, набожен и бытием
напуган,

Зачем зеленоцветье счастья увядает близ меня,
Я напросился бы из Быть-в-огне на выгон,
Бестельность цели—лишь с телес бесцельностью сравня!
И все ж, Земля, услышь, как вопию—твое родное чадо;
Земля, люблю тебя. Земля, пою, любя.
Зачем ты не меня, но зверя, птицу, гада
Решила возлюбить? Чем я не мил тебе?

Крупицу счастья—вот и было б счастье!
И пусть всегда мой сон желаньем напоен,
Но все во мне—мираж. Все в ключья, все на части.
И сломленной судьбе пою я в унисон.

FLAMMENDES SCHIFF

Flüchtige Teppiche glühn über Fluten.
Wind wird beginnen. Ich sende ein Schiff.
Knospende Segel enthüllt euer Bluten:
Blättern und Blühen lebendig ein Griff.

Bin ich ein Frühling der tiefen Gefahren?
Freude beschwing uns; wir bleiben dir, Lust!
Furchtbare Blume, ich muß dich gewahren:
Feuriges Fordern versprüht meine Brust.

Seen der Seelen! Zum Fliegen gerüstet,
Spendet der Geist sein Erblühen der Welt.
Wenn unserm Wesen nach Wonne gelüftet,
Wird deiner Sonne Umschalung zerschellt.

Schiffe, mit goldenen Frachten im Bauche,
Blutet um Klippen auf jubelnder Fahrt.
Wenn ihr zerschellt, so gespenstert im Rauche:
Blitzend entkernt eure leuchtende Art.

SANG AN NEAPEL

Purpurschwere, wundervolle Abendruhe
Grüßt die Erde, kommt vom Himmel, liebt das Meer.
Tanzgestalten, rotgewandet, ohne Schuhe,
Kamen rasch, doch sie versinken mehr und mehr.

Furchtbar rot ist jetzt die Stunde. Wutentzündet
Drohen Panther. Grausamfunkelnd. Aufgebracht!
Dieser bleibt: Ein Knabe reitet ihn und kündet
Holder Wunder tollen Jubel in die Nacht.

Nacht! der Abend, aller Scharlach mag verstrahlen.
Auch der Panther schleicht im Augenblick davon.
Aber folgt dem Knaben! Sacht, in schmalen Glutsandalen
Tanzt er nackt im alten Takt von Babylon.

ГОРЯЩИЙ КОРАБЛЬ

Стайки огней по волнам побежали,
Поднялся ветер, всхожу я на борт.
Парус – расцветший бутон твоих далей,
Жизнь в нем трепещет, коль духом ты тверд.

Разве не ведаю в счастье весеннем –
Страшный цветок расцветает в груди!
Страсть, мы верны тебе! Сердцем смятенным
Молнийному не изменим пути.

Море людское! Ведь дух наш крылатый
Ради земли устремляется ввысь.
Пламенем страсти безмерной объятый,
Солнцем сверкающим миру явись.

Племени огненному не пристало
Грузом своим золотым дорожить –
Вам ведь дано, и разбившись о скалы,
Призраком в дымке моря бороздить.

ПЕСНЬ О НЕАПОЛЕ

В тяжком зареве закатного багрянца
Утопает в море тихо алый шар;
Появляются и меркнут в быстром танце
Силуэты в платье красном, как пожар.

Страшно красен этот час. Пылая гневом,
Разъяренная пантера мчит с небес,
И – верхом на ней – ликующим напевом
Возглашает стройный отрок ночь чудес.

Ночь чудес! Сгустился полог затемненный,
И пантера уползла по небесам,
Только отрок искрометный, обнаженный
В древних ритмах вавилонских пляшет там.

Alle Flammen abgeschüttelt? Auf der Füße
Blassen Spitzen winkt und fiebert jetzt das Kind:
Weltentschwunden? Sterne sind die sichern Grüße
Stiller Keuschheit überm Meere, vor dem Wind!

ODE AN FLORENZ

Zypressen stehen da als hohe Pforte.
In silberner Verschwendung tagt Florenz.
Du stehst vor Gottes vorgeträumtem Worte:
In deiner Welt mit einem ernsten Lenz!

Zypressen stehen da als große Pforte:
Sie führen auf den Bergen hoch zum Herrn.
Zypressen stehn vor jedem Felsenorte
Und weisen abends auf den ersten Stern.

Das ist Hesperien. Herrlich. Gottbegnadet.
Das schöne Land mit dem Zypressensaum,
Wo jede Stadt in Goldergüssen badet,
Und jeden Baum beweht sein Silbertraum.

Die Seelenheimat unter milden Schleiern
Mit blauen Augen sieht dich sonnig an.
Das Weingelände frägt nach Hochzeitsfeiern,
Sein stiller Engel hält mich sacht im Bann.

DÄMMERUNG

Am Himmel steht der erste Stern,
Die Wesen wähen Gott den Herrn,
Und Boote laufen sprachlos aus,
Ein Licht erscheint bei mir zu Haus.

Die Wogen steigen weiß empör,
Es kommt mir alles heilig vor.
Was zieht in mich bedeutsam ein?
Du sollst nicht immer traurig sein.

Неужели все огни погасли? Где-то
Вспыхнул взмах его руки в последний раз,—
И невинный свет небесного привета
Изливают звезды кроткие на нас.

ОДА ФЛОРЕНЦИИ

Сквозь кипарисов стройных анфилады
Мерцаешь в серебристой дымке сна;
В предвечном слове уж наречена ты—
Земного мира первая весна.

И кипарисов стройных анфилады
Ввысь по холмам уводят взгляд туда,
Где высятся скалистые громады
И где восходит первая звезда.

Край Вespera, дождями золотыми
Омытый с сотворения времен,
Средь кипарисов, ветками немymi
Вкушающих свой серебристый сон.

Души отчизна с синими очами,
Твоим тишайшим ангелом пленен.
Для брачного союза между нами,
Для неба твоего я был рожден.

ВЕЧЕР

Звезда зажглась на небесах,
И жив творец во всех сердцах;
Безмолвно челн скользит во тьму,
Зажегся свет в моем доме.

Взметнулась стая белых волн—
И я благоговенья полн.
Что родилось во мне сейчас?
Забудь печаль свою хоть раз!

EHE

Es sagt die Nacht:
Durchschwinge mich, ersinge mich,
Du hast mich nie genug genossen.
Ein Auge wacht
Und sagt es nicht.
Doch ist sein Stern in mich geflossen.
O du, dem ich noch nie entwich,
Erstrahle als mein Liebeslicht!
Die Tiefen haben nie geschlafen.
Wie deine Herkunft uns verpflichtet:
Wo stumm sich fremde Bitten trafen,
Ward fernes Suchen weltbewußt.
Ja Herzenslust
Beginnt uns schauernd zu verkünden:
Wir lieben uns aus frommen Gründen,
Und alle Wünsche künden, münden
In eine große Feuernacht,
Die du in mir zu uns gebracht.

DER ATEM DER NATUR

Der Atem der Natur, der Wind, die Phantasie der Erde,
Erträumt die Götterwolken, die nach Norden wehn.
Der Wind, die Phantasie der Erde, denkt sich Nebelpferde,
Und Götter sehe ich auf jedem Berge stehn!

Ich atme auf und Geister drängen sich aus meinem
Herzen.
Hinweg, empor! Wer weiß, wo sich ein Wunsch erkennt!
Ich atme tief: ich sehne mich, und Weltenbilder merzen
Sich in mein Innres ein, das seinen Gott benennt.

Natur! nur das ist Freiheit, Weltalliebe ohne Ende!
Das Dasein aber macht ein Opferleben schön!
Oh Freinatur, die Zeit gestalten unsere Werkzeugshände,
Die Welt, die Größe, selbst die Überwindungshöhn!

СУПРУЖЕСТВО

Ночь шепчет мне:
Люби меня, меня воспой
И восхищайся мной одною.
А в вышине
Звезды немой
Мерцает око надо мною.
Сияй мне, свет любви моей,
Ты, от которого не скрыться,
Глубинный мрак – душа вещей,
Все в твоих недрах коренится:
Там все мольбы погребены,
И смысл мира там таится.
И странной жажды мы полны –
В божественные основанья
Любовь, взаимопониманье
Вписать, и все свои желанья
Возжечь одним святым огнем,
Что в сердце ночь зажгла моем.

ДЫХАНИЕ ПРИРОДЫ

Земля овеяна дыханием природы – ветром,
В ее мечтаньях – караваны облаков,
И мчит она коней по небесам в воображенье щедром,
На каждой горной выси вижу я богов!

И грудью всей я глубоко дышу, и вздох мой каждый
Ввысь устремляется с неясною мечтой,
Дышу, и в сердце мое мир врывается, я стражду,
И бог у каждого в душе родится свой.

Природа! Только ты в своей свободе бесконечной
Любви вселенской вечной можешь отвечать!
Лишь жертвенность – удел личинок жизни быстротечной:
Свой мир творить нам, твой – лишь преодолевать.

Ein Wald, der blüht, das Holz, das brennend, wie mit Händen,
betet,
Wir alle fühlen uns nur durch das Opfer gut.
Oh Gott, oh Gott, ich Mensch habe alleine mich verspätet,
Wie oft verhielt ich meine reinste Innenglut!

Im Tale steigt der Rauch, als wie aus einer Opferschale,
So langsam und fast heilig, überm Dorf empor.
Ich weiß es wohl, die Menschen opfern selbst von
ihrem Mahle,
Da eine Gottheit sich ihr Herdfeuer erkor!

DIE BUCHE

Die Buche sagt: Mein Walten bleibt das Laub.
Ich bin kein Baum mit sprechenden Gedanken,
Mein Ausdruck wird ein Ästeübertanken,
Ich bin das Laub, die Krone überm Staub.

Dem warmen Aufruf mag ich rasch vertraun,
Ich fang im Frühling selig an zu reden,
Ich wende mich in schlichter Art an jeden.
Du staunst, denn ich beginne rostigbraun!

Mein Waldgehaben zeigt sich sommerfroh.
Ich will, daß Nebel sich um Äste legen,
Ich mag das Naß, ich selber bin der Regen.
Die Hitze stirbt: ich grüne lichterloh!

Die Winterspflicht erfüll ich ernst und grau.
Doch schütt ich erst den Herbst aus meinem Wesen.
Er ist noch niemals ohne mich gewesen.
Da werd ich Teppich, sammetrote Au.

Из леса вешнего в огонь попавшие поленья
В молебен обратят полет своих теней.
О мой господь, мне, человеку, тяжело промедленье;
Как часто гасим мы огонь души своей!

В долине струйкой вьется дым над деревенским домом,
Как плавлен, как священ тот жертвенный обряд!
Я чувствую его всем сердцем, в дыме невесомом
Я вижу – жертвы этой небеса хотят.

БУК

Бук говорит: листва – мой герб и знак;
Мне не сродни прямой характер сосен,
Хорал моих ветвей многоголосен,
Я – кроны знак, над пылью – листьев флаг.

Я всей душой люблю весны призыв,
Тогда блажен мой изумрудный лепет,
Но каждый день меня на лад свой лепит...
Ты изумлен? Я стал как кровь красив!

Я летом рад раскрыть ветвей шатер,
Я жду, когда на них туманы лягут,
Я – дождь листвы, я обожаю влагу.
Меня не жжет зеленый мой костер!

Я зимний строго выполняю долг,
Но прежде осени прах отряхну в долину,
Ей без меня не довершить картину,
Я – палых листьев желто-алый шелк.

Anton Wildgans

ICH BIN EIN KIND DER STADT

Ich bin ein Kind der Stadt. Die Leute meinen,
Und spotten leichthin über unsereinen,
Daß solch ein Stadtkind keine Heimat hat.
In meine Spiele rauschten freilich keine
Wälder. Da schütterten die Pflastersteine.
Und bist mir doch ein Lied, du liebe Stadt!

Und immer noch, so oft ich dich für lange
Verlassen habe, ward mir seltsam bange,
Als könnt' es ein besondrer Abschied sein;
Und jedesmal, heimkehrend von der Reise,
Im Zug mich nähernd, überläuft's mich leise,
Seh' ich im Dämmer deine Lichterreihe.

Und oft im Frühling, wenn ich einsam gehe,
Lockt es mich heimlich-raunend in die Nähe
Der Vorstadt, wo noch meine Schule steht.
Da kann es sein, daß eine Straßenkrümmung,
Die noch wie damals ist, geweihte Stimmung
In mir erblühen macht wie ein Gebet.

Da ist der Laden, wo ich Heft und Feder,
Den ersten Zirkel und das erste Leder
Und all die neuen Bücher eingekauft,
Die Kirche da, wo ich zum ersten Male
Zur Beichte ging, zum heiligen Abendmahle,
Und dort der Park, in dem ich viel gerauft.

Dann lenk' ich aus den trauten Dunkelheiten
Der alten Vorstadt wieder in die breiten
Gassen, wo all die lauten Lichter glühn,
Und bin in dem Gedröhne und Geschrille
Nur eine kleine ausgesparte Stille,
In welcher alle deine Gärten blühn.

Антон Вильдганс

ДИТЯ ГОРОДА

О город, я твой сын! Молва людская
Смеется надо мной, не допуская,
Что можно звать родною стороною
Не только леса шум и колыханье.
Ты—камня колыбельное дрожанье,
Ты—песнь моя, любимый город мой!

И каждый раз, когда я покидаю
Тебя, мой друг,—я сам не понимаю,
Зачем в груди моей такая грусть.
Когда же возвращаюсь, то неспешно
На поезд ты накатываешь нежно.
Твои огни я знаю наизусть.

Вот пригород, где я брожу весною.
Деревья тайно шепчутся со мною.
А улицы знакомый поворот
Вдруг школу мою старую откроет,
На лад меня молитвенный настроит,
И вся душа внезапно расцветет.

Вот лавочка—и помню как теперь я:
Я здесь купил букварь, тетрадь и перья,
Футбольный мяч купил в блаженный час.
Играл в футбол за теми вон домами,
Впервые причащался в этом храме,
А в этом парке дрался я не раз.

Из полутьмы старинного предместья
Пойду туда, где чистые созвездья
От уличных огней не отличишь.
Оказываюсь в грохоте и гаме.
И только небольшими островками
Цветут сады, оберегая тишь.

Und bin der flutend-namenlosen Menge,
Die deine Straßen anfüllt mit Gedränge,
Ein Pünktchen nur, um welches du nicht weißt;
Und hab' in deinem heimatlichen Kreise,
Gleich einem fremden Gaste auf der Reise,
Kein Stückchen Erde, das mein Eigen heißt.

DIENSTBOTEN

Sie sind immer nur da, um zu dienen,
Niemand fragt sie nach ihrem Begehr.
Solang sie gehorchen, ist man zu ihnen
Freundlich so wie zu Fremden – nicht mehr.

Sie wohnen mit uns im selben Quartiere,
Aber für sie muß der schlechteste Raum
Gut genug sein. Für unsere Tiere
Sorgen wir zärtlicher als für ihre
Menschlichen Wünsche – die kennen wir kaum.

Sie sind die Hände, die nie bedankt sind,
Wir wechseln sie aus wie den brüchigen Stahl
Einer Radachse. Wenn sie erkrankt sind,
Müssen sie aus dem Haus, ins Spital.

Manchmal könnte ein Wort der Güte,
Ein Tag im Frühling, um auszuruhn,
In ihrem verdrossenen Gemüte
Eine verschämte, schüchterne Blüte
Leise erwecken und Wunder tun.

So aber sind sie gewohnt, die Letzten
Bei allem, was freut und nottut, zu sein,
Und werden wie alle Zurückgesetzten
Entweder gebrochen oder gemein.

Manche freilich, die haben ohne
Haß dem eigenen Leben entsagt,
Waren Mütter an fremdem Sohne,
Tragen eine heimliche Krone
Wie Maria, die Magd.

В толпе гудящей, безымянной, тесной
По улицам твоим как гость безвестный
Блуждаю – а тебе и невдомек,
Что у меня на родине желанной
Нет ни клочка земли, пусты карманы
И некуда зайти на огонек.

ПРИСЛУГА

Они услужливы, безусловно.
Кого волнует, легко ли им?
К послушным слугам относятся ровно,
Но не приветливей, чем к чужим.

Живут они с нами, в квартирах наших –
В каморках поплоше, темных, сырых.
Порою мы о животных домашних
Заботимся больше, чем об уставших
Слугах – что нам до печалей их?

Они – только руки. Их не жалеют.
Меняют их, как спицы колес.
Держать ли их дома, когда заболел?
– Скорей в больницу, что за вопрос!

Пусть доброе слово сверкнет, как диво,
Пусть грянет праздник – майский денек –
В их душах, что застыли тоскливо,
Глядишь, раскроет глаза стыдливо,
Как тихое чудо, робкий цветок.

Но блага все – всё, что сердцу близко, –
Привыкли последними получать.
Становится сломленным или низким
Тот, на ком униженья печать.

Иные роптать не смели – и что же?
О жизни своей забыли вконец.
Чужие дети им были дороже...
И как на Марии, служанке божьей,
На них светился тайный венец.

Stefan Zweig

ÜBERGLÄNZTE NACHT

Der Himmel, dran die blanken Sterne hängen,
Hat seine Fernen machtvoll ausgespannt
Und nachtverhüllte Blüten übersprengen
Mit heißen Düften das verklärte Land.

Die Welt hat sich ihr Brautkleid umgehangen
Und ruht in reifer Erntepracht verschönt,
Ein blondes Kind, das sacht mit Silberspangen
Die Nacht zum Feste der Erfüllung krönt.

Und jedes Herz muß diesen Segen spüren
Und alle Wege, die noch irre gehn,
Die werden nun zu jenen Pforten führen,
Die vor den Landen der Verheißung stehn.

HYMNUS AN DIE REISE

Schienen, die blauen Adern aus Eisen,
Durchrinnen die Welt, ein rauschendes Netz.
Herz, rinn mit ihnen! Raff auf dich, zu reisen,
Im Flug nur entfliehst du Gewalt und Gesetz.

Im Flug nur entfliehst du der eigenen Schwere,
Die dir dein Wesen umschränkt und erdrückt.
Wirf dich ins Weite, wirf dich ins Leere,
Nur Ferne gewinnt dich dir selber zurück!

Sieh! bloß ein Ruck, und schon rauscht es von Flügeln,
Für dich braust eine eherne Brust,
Heimat stürzt rücklings mit Hängen und Hügeln
Ein Neues, es wird dir neuselig bewußt.

Стефан Цвейг

ЛУЧЕЗАРНАЯ НОЧЬ

Небесный купол в искрах звездной пыли
Объял ночную землю, и цветы
Благоуханье вешнее пролили
В простор, не ведающий темноты.

Земля прекрасна в платье подвенечном:
Покоясь в ожидании спелых грозд,
О празднике вздыхает бесконечном,
Об исполненье полудетских грез.

И сердце после тягостных скитаний
Откликнулось на эту благодать:
Оно отыщет путь в страну мечтаний
И перестанет наконец блуждать.

ГИМН ПУТЕШЕСТВИЮ

Рельсы, железные синие вены
По миру как сеть, в них запутался он.
Сердце, в дорогу! Покинь эти стены.
В пути не догонят нас власть и закон.

И, тяжести тела в полете не чуя,
Душу свою предоставим судьбе.
Страннице этой простора хочу я:
Ведь только на воле верны мы себе.

Видишь – рывок! Как от крыльев шумящих
Срывается вихрь с железной груди.
Родина в ропоте роц, уходящих
В даль прошлого. Новое ждет впереди.

Die Grenzen zerklirren, die gläsernen Stäbe,
Sprachen, die fremden, sie eint dir der Geist
Unendlicher Einheit, da er die Schweben
Der vierzehn Völker Europas umkreist.

Und in dem Hinschwung von Ferne zu Fernen
Wächst dir die Seele, verklärt sich der Blick,
So wie die Welt im Tanz zwischen Sternen
Schwingend ausruht in großer Musik.

DIE ZÄRTLICHKEITEN

Ich liebe jene ersten bange Zärtlichkeiten,
Die halb noch Frage sind und halb schon Anvertraun,
Weil hinter ihnen schon die wilden Stunden schreiten,
Die sich wie Pfeiler wuchtend in das Leben baun.

Ein Duft sind sie; des Blutes flüchtigste Berührung,
Ein rascher Blick, ein Lächeln, eine leise Hand –
Sie knistern schon wie rote Funken der Verführung
Und stürzen Feuergarben in der Nächte Brand.

Und sind doch seltsam süß, weil sie im Spiel gegeben
Noch sanft und absichtslos und leise nur verwirrt,
Wie Bäume, die dem Frühlingswind entgegenbeben,
Der sie in seiner harten Faust zerbrechen wird.

BEGEHREN

An manchen Tagen faßt mich ein Begehren
Nach Glanz und Glück und wilder Rhythmen Glut
Nach Purpurrosen, tief und rot wie Blut,
Und heißen Frauen, die mit Liebesschweren
Sturmküssen dämmen meiner Wünsche Flut.–

Doch tief in diesem grellen Lustverlangen
Zittert ein einz'ger leiser Wunsch allein
Nach einem atemstillen Glücklichein,
Nach Frieden, den mir stille Lieder sangen
In meiner Kindheit goldnem Sonnenschein.

Со звоном стеклянным дробятся границы,
В многоязыкий сливаются хор
Народы Европы, дороги, столицы,
Страны – единством объятый простор.

В этом стремленьи душа вырастает,
Взор прояснится, исчезнет печаль.
Мир, будто в танце кружась, пролетает
В царственной музыке в звездную даль.

НЕЖНОСТЬ

Я первой нежности люблю возникновенье,
Когда еще мечты и чувства полускрыты.
Потом нам суждены лишь бурные мгновенья,
На жизненном пути они, как версты, врыты.

В ней дуновенье; двух кровей, текущих разное,
Прикосновение, очей и рук игра.
Но уж поблескивают искорки соблазна
И разлетаются, как ночью у костра.

Тем и мила она, что детская забава,
Но скоро налетит любовный непокой.
Трепещет на ветру весенняя дубрава
И гнется под его безжалостной рукой.

ЖЕЛАНИЕ

Бывают дни – меня томит желанье
Огня и страсти, дикой красоты
Жен, алчных, словно алые цветы
Кровавых роз, чьи бурные лобзанья
Теснят, смутив, поток моей мечты.

Но в глубине пустой мечты мятежной
Живет мечта иная – о простом
Спокойном счастье, тихом и святом.
Мне пел о нем далекий голос нежный
Давно, в сиянье детства золотом.

BRÜGGE

Hier sind die Häuser wie alte Paläste,
Der Abend hüllt sie in traurigen Flor.
Die Straßen sind leer wie nach einem Feste,
Wenn sich die Schar der lärmenden Gäste
Schon fern in die schweigende Nacht verlor.

Die prunkenden Tore mit rostigen Klinken
Sind längst nicht mehr zum Empfang bereit,
Verstaubt und verwittert die Kirchturmzinken,
Die in den trüben Nebel versinken,
Tief in das Meer ihrer Traurigkeit.

Und in den Nischen an dunkelnden Wänden
Da lehnen Gestalten aus bröckelndem Stein,
Und schweigend, in heimlichen Wortespenden,
Sprechen sie leise die alten Legenden
In die tiefe Schwermut der Straßen hinein.

БРЮГГЕ

Чертоги старинных домов одевает
Здесь вечер задумчивым флером своим.
На улицах пусто, как в праздник бывает,
Когда толпа шумных гостей исчезает
Вдали, поглощенная мраком ночным.

Давно уж ворота со ржавым засовом
Закрыты глухим одиночеством дней,
Верхи колоколен под мгlistым покровом
Поникли в своем разрушеньи суровом
В глубокое море печали своей.

А в нишах фигуры из камня седого,
К стенам прислонились, сливаясь с их тьмой,
И в тайной беседе средь мрака немого,
Безмолвные, шепчут сказанья былого
В глубь улиц, проникнутых тяжелой тоской.

Alfons Petzold

DER WACHENDE

Mensch, der du gehst im abendlichen Dämmer
Mit einer tagemüden Seele hin,
Du achtest nicht des Schlages meiner Hämmer,
Der ich noch tief im harten Werke bin.

Du schmiegst dich in das Flaumenspiel der Betten
Wie einer Mutter wohlbehütet Kind,
Indes ich feile an dem Stahl der Ketten,
Die von der starken Zeit geschmiedet sind.

Du schlummerst ein, um deinen Körper faltet
Sich seidenweich das dunkle Tuch der Nacht,
Es kommt der Traum, und was er dir gestaltet,
Dich einem Gott der Fabel ähnlich macht.

Ich aber wache, feile, hämmre, schmiede—
Es klirrt der Hammer und es ächzt der Stein—
Und singe mir mit diesem hellen Liede
Den nahen Morgen meiner Menschheit ein.

Альфонс Петцольд

БОДРСТВУЮЩИЙ

О человек, ты, вечером идущий
Задумчиво, с усталой душой,
Ты плохо слышишь молот мой кующий,
Но труд тяжелый не закончен мой.

Ты прячешься в перину пуховую
И спишь, отбросив груз забот дневных,
А я не сплю, я сталь цепей шлифую,
Что нам достались от времен иных.

Ты дремлешь сладко. Над твоей постелью
Ночь расстелила шелковый покров,
И манит сон тебя своей свирелью
В страну счастливых, сказочных богов.

А я не сплю, стучу, кую, строгаю,
Грохочет молот и металл поет,—
Я этой песней светлой приближаю
Грядущей человечности восход.

Martina Wied

FÖHNLIED

In Erde war ich gebettet,
Zu Schnee mein Atem gefror,
Ich hab' mich ans Licht gerettet –
Jetzt keim' ich als Korn hervor.

Ich zerr' an des Berghangs Fichten,
Ich hauch' und ich fauch' und ich stöhn',
Tauch' auf in tausend Gesichtern –
Weit, weit über Täler und Höh'n.

Ich reit' auf des Dachfirsts Zinnen,
Ein Kater, der klagend miaut,
Ich laß mich zu Regen zerrinnen,
Der rieselnd die Felder betaut.

Hock' still hinter stockdunklen Zäunen,
Spring' wegelagernd hervor,
Ein Funke, flock' ich in Scheunen
Und lock' die Glocken zum Chor.

Ich flamm', ein Phönixgefieder,
In flackernde Farben zerspellt:
Als Sturzbach braus' ich hernieder
Und lösche die brennende Welt!

Мартина Вид

ПЕСНЯ ФЁНА

Я спал под землю прежде,
Дыханье сковало льдом,
Но свет мне принес надежду,
И вот прорастаю зерном.

И дую, свищу и качаюсь
На елях у горных вершин,
И в сотнях обличий являюсь
Везде меж холмов и долин.

Жалким котом на крыше
«Мяу» свое пою,
Дождем разольюсь, чуть слышен,
И вдоволь поля напою.

Скорчусь за темным забором—
Вор с головы до пят;
Искрой в амбар— пусть хором
Колокола голоса.

Фениксовым опереньем,
Россыпью красок блещу
И водопадным теченьем
Мир подоженный тушу.

Max Mell

MÄRZ

Von Weidenkätzchen
geht lichter Staub
in goldne Lüfte:
Jetzt schau und glaub!

Und schimmernd erhebt sich
das Amsellied.
Die Geschöpfe vertrauen,
was ihnen geschieht.

Tausprache spricht
der Bach, horch ihm zu!
Horch auf, wie er fordert!
Welches Ich! Welches Du!

Макс Мелль

МАРТ

На вербах – света
пыльца. Теперь
в золото неба
смотри и верь.

Рассыпется в воздухе
песня дрозда.
Живой нагадает
себе года.

Ручей бормочет.
Прильнешь к воде,
все он расскажет
обо мне, о тебе.

Hans Müller

DER KIRSCHBAUM SINGT

Ich bin ein armseliger Kirschbaumgreis
Und friere, ach friere in Schnee und Eis.

Doch fühl' ich dein Nahen, liebe Frau,
Und fühl' ich dein Atmen, lind und lau,
Gleich schmückt sich mein Leib wie zu Frühlingsfesten,
Und Blüten schimmern in meinen Ästen.

Doch sieht dein Auge mich huldreich an,
Ist mir so tiefes Wunder getan,
Daß ich just am schneeigsten Wintertage
Süßsüße, rote Kirschen trage.

Und jede Kirsche opfert sich:
„Ich bin nur für dich, du Schatz, für dich.
Ich weiß, deinen lieben, holdseligen Blicken
Muß sich alles Gute entgeschicken.“

Du lachst nur und gehst zu den andern Frau'n
Über Felder... Ich aber muß bebend schau'n,
Wie mir Blüten und Früchte vom Leibe fallen.
Und das ist der weheste Schmerz von allen.

Doch ich trag' ihn gerne, ich Kirschbaumgreis,
Wenn ich dich, du Holde, nur nahe weiß.
Und soll ich dein Angesicht wieder sehen,
Soll mir wieder Wunder und Schmerz geschehen.

Ганс Мюллер

ГОВОРIT СТАРАЯ ЧЕРЕШНЯ

Остов от черешни я, назябся ж я зимой,
Инею-то, снегу-то на ветках, боже мой!

А едва слышал я твой шаг сквозь забытье,
В воздухе дыхание почувствовал твое,

Весь я точно к Троице разубрался в листы,
Замерцали белые меж листьями цветы.

Было утро снежного и сиверкого дня,
Но когда ты ласково взглянула на меня,

Чудо совершилося – желания зажглись
И на ветках красные черешни налились.

Каждая черешенка так и горит, любя,
Каждая шепнула бы: «Я только для тебя»,

Все же мы, любимая, на ласковый твой свет
Сердца благодарного ты – ласковый ответ.

Но со смехом в поле ты, к подругам ты ушла,
И, дрожа, увидел я, как набегала мгла,

Как плоды срывались, как цвет мой опадал,
Никогда я, кажется, сильнее не страдал.

Но зато не холоден мне больше зимний день,
Если в сетке снежной я твою завижу тень.

А когда б в глаза твои взглянуть мне хоть во сне,
Пусть опять и чудо мне, пусть и мука мне.

Franz Kafka

MEINE SEHNSUCHT

Meine Sehnsucht waren die alten Zeiten,
meine Sehnsucht war die Gegenwart,
meine Sehnsucht war die Zukunft,
und mit alledem sterbe ich in einem Wächterhäuschen
am Straßenrand,
einem aufrechten Sarg, seit jeher
einem Besitzstück des Staates.
Mein Leben habe ich damit verbracht,
mich zurückzuhalten, es zu zerschlagen.

Франц Кафка

ТОСКА

Моя душа грустила о минувшем,
моя душа грустила о сиюминутном,
моя душа грустила о грядущем,
и это все со мной уснет навек
вдали дорог,
в сторожке, схожей со стоящим гробом—
давнишней собственности государства.
Всю жизнь провел в усердии одном—
ее разрушить,
удержаться в стороне.

Max Brod

PARADIESFISCHCHEN AUF DEM SCHREIBTISCH

Wohin wir auch schwimmen, immer ist Glas
Vor unsern Mäulchen und noch etwas,
Das wir nicht verstehn und das beirrt,
Wie fernes Gewitter herüberschwirrt.

Wir haben auch grüne Blättchen hier,
Und durch Algenwälder rudern wir
Zwischen weichen Fäden, Schleim und Licht.
Dann stehen wir still und fassen es nicht,
Wie die ferne Heimat zu uns spricht.

Ein kleiner Stoß und da ist die Wand,
Wir trippeln, wir zittern, wir sind gebannt,–
Und wieder das Fremde, das nie zu uns dringt,
Da ist es, das uns von fern bezwingt.

O trauriges Kreisen im kleinen Haus,
Wir lugen mit schillerndem Auge aus.
Es türmen sich bleiche Farben an,
Das große Papier und der Wände Gebraus,
Die unser Blick nicht erreichen kann.

Nun beugt sich aus dem trübenden Flor,
Aus Tinte und Nebel ein Weißes vor.
Es blendet, wie es uns näherkriecht,–
Das große traurige Menschengesicht.

Wie weißer Mondschein legt es sich her.
Doch in seiner Helle gehen, schwer
Wankend und vor Gefangenschaft blind
Und ruhelos, wie wir Fische sind,
Die beiden dunklen Augen hin und her.

Макс Брод

РАЙСКИЕ РЫБКИ НА ПИСЬМЕННОМ СТОЛЕ

Куда б ни поплыли мы, всюду стекло,
А там, за стеклом, непонятное что-то;
И дразнит, как некое темное зло,
Угрозой какою-то странного гнета.

А тут у нас зелени листики, тут
Сквозь водоросль сестры тихонько плывут,
И тонки волокна, и мох, и лучи...
Застынешь и слушаешь: ах, различи,
Далекие зовы затонов поют!..

Толчок!—и прозрачное снова стекло.
Дрожишь и глядишь, а чужая страна,
Которая к рыбкам проникнуть не может,
Нас дразнит, и странно, и жутко тревожит.

Печальные крúги в сосуде хрустальном...
Мы глазом недвижим—там, в странном и дальнем...
Какие-то бледные краски и тени,
Предметы и стены, миражи видений...
К ним нету пути, и к ним нет достижений.

Но вот из-за мути туманных миражей,
Чернила и пара все ближе нам кажет
Себя что-то белое: ярко приник
Большой и больной человеческий лик.

Похож на луну белизною своей...
А в светлом плывет тяжело, тяжело
Плененная грустная пара очей,
Как рыбки, как мы, кого это стекло
Средь шири—прозрачной стеной облекло.

Berthold Viertel

BIN ICH ALLEIN

Bin ich allein, so nimmt das Weh
Gleich die noch warme Stelle ein
Lebendiger Welt: Weh kommt herein
Und setzt sich ganz in meine Näh.

Und wir vertauschen die Gestalt:
Weh liegt statt meiner hingestreckt,
Ich bin's, der seine Blöße deckt,
Und ihm wird warm und mir wird kalt.

Ich sitze da und wache treu,
Daß kein Geräusch den Schlaf ihm stört.
Wer es im Traume stöhnen hört,
Schwört, daß es meine Stimme sei.

ICH WERDE NIE DICH WIEDERSEHEN

Unendlich wie der Bogen
Der Sterne, die am Himmel gehen,
Komm ich, um dich betrogen,
Dir ewig nachgezogen.
Ich werde nie dich wiedersehen

Wie ist um dich mir bange.
Wie konnte das vorübergehen?
Sah ich dich denn zu lange?
Ich werde nie dich wiedersehen.

Ich werde nie dich wiedersehen
Und muß zum Tode niedergehen.
Ich fühl dich atmen in der Ferne
Und zieh dir nach wie Stern dem Sterne.

Бертольд Фиртель

ЕДВА Я ОСТАЮСЬ ОДИН

Едва я, сердцем мир живой
Покинув, остаюсь один –
Тотчас, как полный властелин,
Боль входит, точно в дом пустой.

Как господин в моем дому –
Возьмет, да и займет кровать:
Ее мне должно укрывать,
А стынуть нужно самому.

Не допускать в ее покой
Шумка малейшего извне –
Кто слышал стон ее во сне,
Твердит, что это голос мой.

УЖ МНЕ НЕ ВСТРЕТИТЬСЯ С ТОБОЙ

Как звезды друг за другом
В пучине мировой,
Мы бродим вечным кругом
По жизненным излукам –
Уж мне не встретиться с тобой.

Мне страшно бесконечно;
Казалось, связаны одной
Мы здесь судьбой навечно –
Уж мне не встретиться с тобой.

Уж мне не встретиться с тобой.
К закату день клонится мой.
Я вижу лишь звезды сиянье
И чувствую ее дыханье.

Franz Theodor Csokor

DAS SCHWARZE SCHIFF

Jeden Abend kehrt die Heimat wieder,
keine Fremde liegt von ihr so ferne,
keine Zeit so lange, seit man fort ist.

Eine Gassenecke gibt dir Zeichen,
eine Schenke taucht den Blick in Tränen,
ein Gesang stürzt Jahre in dir nieder.

Wiesen wehen, Bäume schaukeln Sterne,
alles so wie dort, wo du entwichen,
wo du dir verboten hast, zu sein.

Selbst durch deinen Schlaf ist es geglitten,
was dort war und wieder zu dir hin will,
und umwunden wirst du vom Entbehrten,

und an deinem Ohre lockt ein Raunen:
Blinden Göttern sollst du Weihrauch streuen.
Daß sein Duft dich melde, sei Genüge,

und ein Schiff zur Rückfahrt schwankt im Hafen,
möwenweißes Schiff, gefüllt mit Helle,
Hände winken, Stimmen rufen dir –

Aber nachbarlich schluchzt eine Barke,
Dunkel triefend und mit Not befrachtet,
Furcht und Trauer stiert aus ihren Fugen.

Und dein Fuß, im Schreiten nach dem Hellen,
stockt dir, und dein Herz holt dich hinüber:
denn auf dieses schwarze Schiff gehörst du!

Франц Теодор Чокор

ЧЕРНЫЙ КОРАБЛЬ

Что ни вечер, родина приходит,—
дальше и чужей любой чужбины,
всех поздней, с кем ты в разлуке давней.

Вот тебя заметил перекресток,
вот—пивнушка; взглянешь и заплачешь,
рушит стены лет мотив знакомый.

Дышит луг, деревья кружат в звездах,
всё—как там, откуда удалился,
наложив запрет на возвращенье.

И во сне подножку ставит память:
все бывшее хочет быть с тобою,
обвивает, словно сеть, утрата,

и влечет, и манит голос тихий:
фимиам зажги слепой богине
и утешься горьким ароматом,—

вон корабль твой—словно чайка, белый,
полный света—там тебя заждались,
окликают и руками машут.

Но стоит на том же рейде барка,
тьмы и скорби полная до края,
истекающая черной болью.

И замрешь на полпути, и сердце
застучит не в такт, осознавая,
что стоишь на этой барке темной.

Niemals bringt es dich, wohin du möchtest.
Warum zwingt es dich zu Furcht und Trauer
in dem schwarzen Schiffe ohne Heimkehr?

Hast du dort die Wiesen, Bäume, Sterne,
Schenken, Gassenecken und Gesänge
und die Freunde aus dem Glanz von drüben?

Oder hast du nichts als dieses Herz dort,
das nicht schlagen könnte
ohne Freiheit –?

Никогда не сбьются упованиям.
Отчего ты здесь, на барке темной,
и домой не чаешь возвратиться?

Разве здесь – луга, деревья, звезды,
перекрестки, песни и пивнушки,
и друзья тебе руками машут?

Или здесь – твое навеки сердце,
иль ему, чтоб жить,
нужна свобода?..

Felix Braun

EIN HERBSTBLATT

Ein Herbstblatt schwebt wie spät nach meinem Tod.—
In schillernde Welle schaut mein abgeschiedner Geist
Von schwankender Wolke her, darauf er schifft,
Bis er und sie sich lösen in das blasse Blau.

Oh—auf den Sternen, wer lebt dort? Wer loht
Vom Feuer fernerer Sonnen? Wem sink ich
Ans goldne Herz, erkennend liebendes
Lächeln im seligen Aug, um singenden Mund?

Hier wandelt dann ein anderer Dichter, der
Ich wieder bin. Ihm sinkt das gelbliche
Blatt einer Weide, das die spielende
Hand jungen Windes treiben heißt als Schiff im Fluß.

ABENDWERDEN

Wie die Mutter von unmündiger Tochter,
Schwer die Sonne scheidet von der Erde.
Trüb nachschaun wir, arm, durch Vorweltdämmer,
Lampe gilbt in Gassen und Laterne.

Müd, von seinen Pulten, seinen Tischen,
Steht der Tag auf, Schatten an den Händen,
Tastet nach dem grauen Wandermantel.
Wer gewahrt ihn noch verhüllt im Torgang.

Ach, die Menschen lieben andre Lichter,
Künstlich grell entfachte. Selten Einer
Lehnt am Fenster, auszuspähn, ob, silbern,
Himmelswacht bezieht ein Abend-Engel.

Tret auch ich hin? Sehnt sich, dem geliebte
Seele nicht mehr frommt, nach oberer Freundschaft?
Liebe gleicht der Sonne: einsam sinkt sie.
Doch wie Trost vielzählig schwärmen Sterne.

Феликс Браун

ОСЕННИЙ ЛИСТ

Кружит осенний лист, мой лист посмертный,
И отлетевший Дух глядится в волны,
Плывя на легком облаке куда-то,
Где растворятся оба в бледной синеве.

О, кто живет на звездах? Кто пылает
Огнями дальних солнц? Кому на сердце
Я упаду и тотчас же узнаю
Улыбку счастья и в глазах, и на губах?

Потом другой поэт по этой же дороге
Пройдет – и это буду я. И лист осенний
К нему слетит в ладонь и поплывет, качаясь, –
Корабликом по светлой медленной реке.

ВЕЧЕРЕЕТ

Словно юной матери с младенцем,
Солнцу тяжело с землей расстаться.
Мы вослед ему глядим печально.
Желтый свет струится с фонарей.

Встал из-за конторки день усталый
С пальцами в чернильных пятнах тени,
Завернулся в серый плащ дорожный
И не оглянулся, уходя.

Люди любят в комнатах сиянье
Резкое. Лишь изредка подходят
К окнам – поглядеть, стоит ли в небе
Ангел ночи, весь из серебра?

Подойду и я. Душа любимой
Больше не сияет мне. А в небе,
Видевшем закат любви, толпятся
В утешенье мириады звезд.

Hermann Broch

FÜR EIN HAUS AM MEERESSTRAND

Woge um Woge kommt angerollt
und flutet wieder zurück,
ein Jahr ums andre kommt angerollt
und keines flutet zurück.
Düne um Düne um mich herum,
verweht und still wie Glück,
mein Haus und ich, wir harren stumm
so zeitenleicht, so jahrbeschwert
des Tropfens Zeit, der uns verzehrt.

DES SCHIFFES BREITER KIEL

Des Schiffes breiter Kiel, des stummen Schiffes,
welches niemals landet,
gräbt schwere Furche in die Nebelwellen,
die flach und küstenlos unendlich fern zerschellen,
oh Meer des Schlafs, das uns im Nichts umbrandet!
Oh Traum voll blinder Fracht, Träume der nackten
Quellen,
oh Traum, der nach dem Du auf jenem Schiffe fahndet,
oh Wünsche! Furchtbare! – furchtbarer noch geahndet
durch das Gesetz, an dem sie küstenlos und stumm
zerschellen:
Kein Traum hat je des andern Traum getroffen,
einsam die Nacht, und ist sie auch gefalten
von deines Atems Tiefe, ausatmend unser Hoffen,
daß wir dereinst verklärt zu höheren Gestalten
uns nähern werden auf der licht-erhöhten
Stufe der Gnade, uns nähern werden, ohne uns zu töten.

Герман Брох

ДОМ НА БЕРЕГУ МОРЯ

Валы морские один за другим –
туда и сюда, туда и сюда.
Годы глухие один за другим –
и все в никуда, и все навсегда.
Дюны и дюны видны кругом.
Счастье – что та же вода.
Дом мой и я, мы молчим вдвоем,
время бежит, как песок в часах,
мы – как часы в песках.

КИЛЬ КОРАБЛЯ...

Киль корабля, тяжелый киль скитальца вечного по водам
В тумане волны бороздою делит,
Которые равнину – нет конца ей – стелют
В небытие плывущим мореходам.
Сон трюмной слепоты, куда нагие целят
Сны струй морских... Немым сон полнится уходом.
Желанья! Ужас их!.. И ужас – знать угодам
Закон, который все безмолвьем вечности размелет.
Твой сон ни с чьим вовек не совместится,
В непостижимом призрачном разнообразье,
Пока надежды выдох – ночь сминает, как тряпицу;
Былые захотим восстановить мы связи
С созданными, на той стоящими ступени,
Где благодать нас не убила бы по мере приближенья.

AUF DER FLUCHT ZU DENKEN

Noch einmal atme, noch einmal wisse,
wisse ein einziges Mal noch
am Rande des Unendlichen dein Wissen;
wisse die Blüte des Frühlingsgezweiges
und den leisen Wind, der sie schneezart herabweht,
wisse noch einmal, eh du vergessen wirst,
die Nähe.

Nur die Nähe ist unendlich, göttlich nur sie;
aber der entgöttlichte Tod der Unvollendeten,
gräßlich vor Unreife, gräßlich unverscheuchbar
in seinem Hiersein,
ist ohne Unendlichkeit, ist ohne Nähe.

Bald wirst du kein Blatt, keine Blüte mehr berühren,
dein Gram wird es dir verbieten und die Scham vor
jenen, deren Hände verwest sind.
Und doch darfst du nicht klagen, denn
Siegesgeschrei und Klagegeschrei kommen gemeinsam
aus dem Schachte der Irrsinnsferne,
aus der Höhle des Tieres.

Undurchschaubar verächtliches Geschehn, aber
wir wissen, es muß sein,
mehr noch: es wird sich einstens enthüllen.
Darum sind wir verpflichtet
zu warten.

Das Göttliche vertan und
vergessen des Ebenbildes
näheles,
bis ein hingewehtes Blatt
es zurückbringen wird,
erinnerungsnahe du selber.

НАСТАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЯ БЕГСТВА

Вздохни еще раз, и вспомни еще раз,
вспомни один-единственный раз,
над обрывом в бесконечность беспамятства,
вспомни, как одеваются пухом ветви
и с какою нежностью обволакивает их ветер,
вспомни – прежде, чем предавать забвению, –
все это, все, что рядом.

Бесконечно лишь то, что рядом, божественно только оно;
смерть же, разбожествленная смерть всего, что
несовершенно,
в своем неотвязном, в своем безобразном
соприсутствии всему земному,
обделена бесконечностью и никогда не рядом.

Скоро ты не посмеешь прикоснуться ни к листу, ни
к цветку;
скорбь воспретит тебе это и стыд перед теми,
руки которых истлели.
И все ж ты не должен жаловаться,
ибо победный клич и жалоба побежденного
суть порождения одного безумия,
одного звериного логова.

Неисповедимо презрительная череда событий
носит на себе печать неизбежности,
более того – она сорвет когда-нибудь покровы с тебя
самого

Поэтому мы обязаны
ждать.

Божественное презрев,
забывая образы и подобия
того, что рядом, –
до тех пор, пока ветром несомый лист
не вернет всего,
необделимость воспоминаньями – наша сущность.

Albert Ehrenstein

SO SCHNEIT AUF MICH DIE TOTE ZEIT

Hofft nichts von mir.
Ich habe niemals Sonne gehabt,
Ich habe den Steinen mein Leid gebracht.
Ich hoffte Glück vom Tier.

An mir vorüber sprang der Wunsch der rasselosen Dirnen,
Und nie klang mir das deutsche Wort: ich liebe dich!
Sie recken dem Kommiss die grundlos eiteln Stirnen,
Boshaft gähnt mich das Weib an: ich betrübe dich.

So schneit auf mich die tote Zeit.
Danklos trinkt sie den Wein, und was sich beut,
Mein Sehnen darf erlahmen;
Sie wahr, um Fleisch besorgt, mit plötzlich keuscher Eile
Des Anstands lange Langeweile.
:Weib wird Zeit.

STIMME ÜBER BARBAROPA

O ihr sonnengoldenen Abende,
Dämmerung—wo ist die Brücke des Stroms?
Nebel dräut Graustraße unter der Übernacht,
verschüttete Gleise, verschwemmt
die Furten im Überswall aller Fluten!
Wir taumeln einher im Blutregenmeer,
säumen im Sumpfwasser des Schlafs
und wissen nicht: Ufer.
Wann endet die Nacht
eurer Schlacht,
die Barbaropa, Eurasien durch-
donnert Mordjahre lang!?

Альберт Эренштейн

МЕНЯ ЗАВЬЮЖИЛ МЕРТВЫЙ ВЕК

Не будь во мне уверен.
Я солнца отродясь не нюхал.
Я плакал лишь для каменного слуха.
Я счастья ждал от зверя.

Манили – не меня – дворняжьей масти девки.
Ни разу я не слышал: я люблю тебя.
Приказчик – вот заветная мечта любой дешевки.
Мне злобно бабий зев сулит: сгублю тебя.

Меня завьюжил мертвый век.
Слизнул мое вино и смылся черным ходом.
Я оскоплен его уходом.
Век, полный тел, – но, в полноте телесной, –
Пошлый и пресный...
: Любая баба – век!

ГОЛОС О ВАРВАРОПЕ

О вы, солнечно-золотые вечера,
Сумерки, где проход чрез потоки?
Туман грозит смешать все дороги,
Разрушены колеи, затоплены
Броды приливом волн.
Мы бредем в потоке кровавых ливней,
Вязнем в дремотной трясине,
И не знаем, где берег.
Когда окончится ночь
Вашей бойни,
Которая уже годы
Грохочет над Варваропой и Евразией?

Ihr ertränkt euch, ersäuft
von den Brunnen eures Versiegens,
matt sinkt Flügelschlag
der Schwarzschwäne auf Blutflussesflut.
Hört ihr die stillen
Lachen versickernden Eiters himmelhinbrüllen?
Hat sein Maul aufgetan der Sand
und kann nicht mehr.
Weh über das Mutterland,
gebiert Kampffelder, wo das Gebein ragt
– Krieg zu erklären dem Kriegserklärer.

Ihm grünt das milde Gefild,
des grünen Vor-Hangs samtnes Fluten.
In den schallenden Hallen
prahlt beim Mahle
Großkönig der Qualen.

Aas, durch die Weiten und Breiten nur Aas!
Anschwebt, Adler, stoßt die Klauen
kriegsgekröntem, friedenkrähenden Dämon ins Gekrös!

HOMER

Ich schwieg die Stille
Des buchtumwaldeten Sees;
Und ich schrie die Gesänge
Der rot aufschlitzenden Rache,
Aber zu mir gesellte sich niemand,
Steil, einsam
Wie die Zikade sich singt,
Sang ich mein Lied vor mich.
Schon vergeht mein Schritt ermattend
Im Sand der Mühe.
Vor Müdigkeit entfallen mir die Augen,
Müde bin ich der trostlosen Furten,
Des Überschreitens der Gewässer,
Mädchen und Straßen.
Am Abgrund gedenk ich nicht
Des Schildes und Speeres.
Von Birken umweht,

Вы захлебнетесь, утонете
В истоках вашего истощения,
Бессильно падают крылья
Черных лебедей на кровавых озерах.
Слышите тихий смех,
Урчание сочащейся сукровицы?
Песок всасывал ее
И больше уже не может.
О, горе земле,
Она родит поля битв, где растут кости,
Объявляя войну тем, кто ее объявил!

Лишь для костей зеленеют
Нежные бархатные склоны.
В гулких залах,
Похваляясь, пирует
Король всех мучений.

Падаль, повсюду одна падаль!
Взлетайте, орлы, вцепитесь когтями
В печень коронованного войной демона!

ГОМЕР

Я молчал тишиной
Окаймленных лесом озер,
Я кричал гласом
Докрасна распахнутой пасти,
Но никто не прибился ко мне,
Одиноко, отвесно,
Как цикада поет,
Я пел свою песню себе.
Уже затухает мой шаг
В песке всех попыток.
От усталости вытекли мои глаза,
Я устал от безутешных бродов,
Прехождения вод,
Женщин и улиц.
На краю пропасти мне
Не до щитов и копий.
Овеян березами,

Vom Winde beschattet.
Entschlaf ich zum Klange der Harfe
Anderer, denen sie freudig trieft.
Ich rege mich nicht,
Denn alle Gedanken und Taten
Trüben die Reinheit der Welt.

VERZWEIFLUNG

Wochen, Wochen sprach ich kein Wort;
Ich lebe einsam, verdorrt.
Am Himmel zwitschert kein Stern.
Ich stürbe so gern.

Meine Augen betrübt die Enge,
Ich verkrieche mich in einen Winkel,
Klein möchte ich sein wie eine Spinne,
Aber niemand zerdrückt mich.

Keinem habe ich Schlimmes getan,
Allen Guten half ich ein wenig.
Glück, dich soll ich nicht haben.
Man will mich nicht lebend begraben.

NACHTGEBET

Lieber Gott, ich tanze vor dir,
Alles blüht, nur ich nicht.
Schwach im Schwachen,
Kann ich nicht dem Traum entwachen.
Einmal nur anstimmen den Glücksgesang,
Sinken ins weiche Grab.
Weltwendisch, Böses kochend, schrillhaarig,
Steißwedelnd die Weiber,
Das schändliche Geschlecht der Erde,
Jede sinnt ihrem Bauch nach
Oder den Lüsten des Spiegels.

Осенен ветрами,
Я засну для звучания арфы
Других, кого она дружески тронет.
Все застыло во мне,
Ибо все поступки и мысли
Чистоту мира мрачат.

ОТЧАЯНЬЕ

Молчать месяцами привыкший,
Живу нелюдимый, сникший.
Звезда не щебечет уже в вышине.
Умереть бы сейчас и мне!

Стены давят, и взор мутнеет.
В угол забившись, жажду
Стать крохотным пауком.
Но меня раздавить не хотят.

Никому я не делал плохого.
Всем добрым помочь старался.
Не дано мне счастья обрести,
Не хотят меня заживо погрести.

НОЧНАЯ МОЛИТВА

Пред тобою танцую, мой боже,
Все цветет, и лишь мне не дано расцвести.
Бессильный в самом простом,
Не могу совладать с неотвязным сном:
Только раз, только раз песню счастья пропеть
И в мягкую землю лечь.

Двоедушное, злокипящее,
Задовиляющее бабье,
Блудом зеркала полоненное,
Чревомыслящее отродье,
Позорное для земли.

Mit meinen Füßen möcht ich, Frau,
Dein Gesicht beschreiten,
Den Dolch gut versenken
In deinen hochmütigen Nacken.

UNENTRINNBAR

Wer weiß, ob nicht
Leben Sterben ist,
Atem Erwürgung,
Sonne die Nacht?
Von den Eichen der Götter
Fallen die Früchte
Durch Schweine zum Kot,
Aus dem sich die Düfte
Der Rosen erheben
In entsetzlichem Kreislauf,
Leiche ist Keim,
Und Keim ist Pest.

LEID

Wie bin ich vorgespannt
Dem Kohlenwagen meiner Trauer!
Widrig wie eine Spinne
Bekriecht mich die Zeit.
Fällt mein Haar,
Ergraut mein Haupt zum Feld,
Darüber der letzte
Schnitter sichelt.
Schlaf umdunkelt mein Gebein.
Im Traum schon starb ich,
Gras schoß aus meinem Schädel,
Aus schwarzer Erde war mein Kopf.

Женщина, растоптать бы
Хотел я твое лицо,
Кинжал вонзить, да поглубже
В твою горделивую шею.

НЕОТВРАТИМО

Кто знает, быть может,
Жизнь это смерть,
Дыханье – петля на шее,
Свет солнца – ночная тьма?
Плоды со священных дубов
Свиньи
В навоз претворяют,
Питают роз ароматы,
И те воспаряют, включаясь
В гадкий круговорот.
Смерть есть семя,
А семя – чума.

СТРАДАНИЕ

Я угольщик, обреченный
Тащить вагонетку собственной скорби!
Мерзкое, как паук,
Время ползет по мне.
Все меньше волос, голова
Становится полем пустынным.
Где последний трудится жнец.
Сон мраком окутал кости мои.
Мне приснилось, что я уже умер.
Травую пророс мой череп.
Из черной земли была моя голова.

Georg Trakl

IM HERBST

Die Sonnenblumen leuchten am Zaun,
Still sitzen Kranke im Sonnenschein.
Im Acker mühn sich singend die Frau'n,
Die Klosterglocken läuten darein.

Die Vögel sagen dir ferne Mär',
Die Klosterglocken läuten darein.
Vom Hof tönt sanft die Geige her.
Heut keltern sie den braunen Wein.

Da zeigt der Mensch sich froh und lind.
Heut keltern sie den braunen Wein.
Weit offen die Totenkammern sind
Und schön bemalt vom Sonnenschein.

MENSCHHEIT

Menschheit vor Feuerschlünden aufgestellt,
Ein Trommelwirbel, dunkler Krieger Stirnen,
Schritte durch Blutnebel; schwarzes Eisen schellt,
Verzweiflung, Nacht in traurigen Gehirnen:
Hier Evas Schatten, Jagd und rotes Geld.
Gewölk, das Licht durchbricht, das Abendmahl.
Es wohnt in Brot und Wein ein sanftes Schweigen
Und jene sind versammelt zwölf an Zahl.
Nachts schrein im Schlaf sie unter Ölbaumzweigen;
Sankt Thomas taucht die Hand ins Wundenmal.

Георг Тракль

ОСЕНЬЮ

Подсолнухи лучатся у забора,
Сидят больные, греясь на припеке.
За песнею идет работа споро,
И раздается благовест далекий.

О южных странах распевают птицы,
И раздается благовест далекий.
Рыдает скрипка во дворе больницы,
В дубовых бочках выбродили соки.

Настал для человека час восторга,
В дубовых бочках выбродили соки.
Открыты нараспашку двери морга
И весело блестят на солнцепеке.

РОД ЛЮДСКОЙ

Пред бездной огненной построен род людской,
Дробь барабана, рати в гари жирной,
Сквозь червлень мглы удар подков глухой;
Ум плачет, обрученный с тьмой всемирной,—
Тень Евы здесь, червонцы, гон лихой.
Лучом пробига облачная скань.
Вино и хлеб — гуть жертвы молчаливой,
Се кротко отдают Двенадцать дань
И вопиют, уснувши под оливой;
Святой Фома влагает в раны длань.

VERFALL

Am Abend, wenn die Glocken Frieden läuten,
Folg ich der Vögel wundervollen Flügen,
Die lang geschart, gleich frommen Pilgerzügen,
Entschwinden in den herbstlich klaren Weiten.

Hinwandelnd durch den dämmervollen Garten
Träum ich nach ihren helleren Geschicken
Und fühl der Stunden Weiser kaum mehr rücken.
So folg ich über Wolken ihren Fahrten.

Da macht ein Hauch mich von Verfall erzittern.
Die Amsel klagt in den entlaubten Zweigen.
Es schwankt der rote Wein an rostigen Gittern,

Indes wie blasser Kinder Todesreigen
Um dunkle Brunnenränder, die verwittern,
Im Wind sich fröstelnd blaue Asten neigen.

VORSTADT IM FÖHN

Am Abend liegt die Stätte öd und braun,
Die Luft von gräulichem Gestank durchzogen.
Das Donnern eines Zugs vom Brückenbogen—
Und Spatzen flattern über Busch und Zaun.

Geduckte Hütten, Pfade wirr verstreut,
In Gärten Durcheinander und Bewegung,
Bisweilen schwillt Geheul aus dumpfer Regung,
In einer Kinderschar fliegt rot ein Kleid.

Am Kehricht pfeift verliebt ein Rattenchor.
In Körben tragen Frauen Eingeweide,
Ein ekelhafter Zug voll Schmutz und Räude,
Kommen sie aus der Dämmerung hervor.

Und ein Kanal speit plötzlich feistes Blut
Vom Schlachthaus in den stillen Fluß hinunter.
Die Föhne färben karge Stauden bunter
Und langsam kriecht die Röte durch die Flut.

РАСПАД

По вечерам, под благовеста звоны
Смотрю на птиц таинственные стаи.
Они, в прозрачных далях исчезая,
Как богомольцы, тянутся колонной.

В мечтах о них брожу тенистым садом,
О светлой участи их вижу сны я.
Остановились стрелки часовые,
Я с птицами за облаками рядом.

Но ветром пробирает дрожь распада,
Дрозд жалобно поет на голой ветке,
Рыж виноград над ржавою оградой,

И сумерками скрыт колодец ветхий.
В нем детских мертвых теней мириады.
И зябнущие астры льнут к беседке...

ПРЕДМЕСТЬЕ

Предместье к вечеру – унылая дыра,
Зловоние, как марево, витает,
Мост в судороге – поезд налетает,
И воробьи снуют, как мошकारа.

Домишки – пьяницы, дорожки – плясуны,
В садах – посмотришь – кто-то копошится,
Душа завывать готова, как волчица,
Ребенок в красном – словно крик вины.

В завалах мусорных вопит крысиный хор,
И тащат женщины корзины с потрохами,
Чем не обоз, нагруженный грехами,
Что из потемок выполз нам в укор?

На бойне шли обычные дела –
Плюется кровью сточная канава,
Но теплый ветерок ласкает травы,
И даль реки зарею расцвела.

Ein Flüstern, das in trübem Schlaf ertrinkt.
Gebilde gaukeln auf aus Wassergräben,
Vielleicht Erinnerung an ein früheres Leben,
Die mit den warmen Winden steigt und sinkt.

Aus Wolken tauchen schimmernde Alleen,
Erfüllt von schönen Wägen, kühnen Reitern.
Dann sieht man auch ein Schiff auf Klippen scheitern
Und manchmal rosenfarbene Moscheen.

RONDEL

Verflossen ist das Gold der Tage,
Des Abends braun und blaue Farben:
Des Hirten sanfte Flöten starben
Des Abends blau und braune Farben
Verflossen ist das Gold der Tage.

DE PROFUNDIS

Es ist ein Stoppelfeld, in das ein schwarzer Regen fällt.
Es ist ein brauner Baum, der einsam dasteht.
Es ist ein Zischelwind, der leere Hütten umkreist.
Wie traurig dieser Abend.

Am Weiler vorbei
Sammelt die sanfte Waise noch spärliche Ähren ein.
Ihre Augen weiden rund und goldig in der Dämmerung
Und ihr Schoß harrt des himmlischen Bräutigams.

Bei der Heimkehr
Fanden die Hirten den süßen Leib
Verwest im Dornenbusch.

Ein Schatten bin ich ferne finsternen Dörfern.
Gottes Schweigen
Trank ich aus dem Brunnen des Hains.

В глубокой спячке сгнули слова,
Видения встают со дна потока,
О лучших днях напоминая оку –
Залетная, но зримая молва.

Аллеи засветились в облаках,
Там всадники, там красные кареты,
У грозных скал крушение корвета,
И яркий минарет возносится в веках.

РОНДЕЛЬ

Пожухло золото дневное
И синью сумеречной стало:
Пастушья флейта отзвучала
И синью сумеречной стала,
Пожухло золото дневное.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВОЗВВАХ

Сжатое поле – вот куда падает дождь.
Бурое дерево – вот что стоит одиноко.
Ветер разбойничий – вот что гуляет вокруг.
Как вечер печален.

Над прудом
Ищет нетронутые колосья сиротка.
Ее взгляд золотится в сумерках,
А лоно стынет в ожидании небесного жениха.

Возвращаясь,
Набрели пастухи в кустарнике
На нежное тело.

Тень я
Вдали от черной деревни. Молчание бога
Поджидало меня и в лесном колодце.

Auf meine Stirne tritt kaltes Metall
Spinnen suchen mein Herz.
Es ist ein Licht, das in meinem Mund erlöscht.

Nachts fand ich mich auf einer Heide,
Starrend von Unrat und Staub der Sterne.
Im Haselgebüsch
Klangen wieder kristallne Engel.

AN DEN KNABEN ELIS

Elis, wenn die Amsel im schwarzen Wald ruft,
Dieses ist dein Untergang.
Deine Lippen trinken die Kühle des blauen Felsenquells.

Laß, wenn deine Stirne leise blutet
Uralte Legenden
Und dunkle Deutung des Vogelflugs.

Du aber gehst mit weichen Schritten in die Nacht,
Die voll purpurner Trauben hängt
Und du regst die Arme schöner im Blau.

Ein Dornenbusch tönt,
Wo deine mondenen Augen sind.
O, wie lange bist, Elis, du verstorben.

Dein Leib ist eine Hyazinthe,
In die ein Mönch die wächsernen Finger taucht.
Eine schwarze Höhle ist unser Schweigen,

Daraus bisweilen ein sanftes Tier tritt
Und langsam die schweren Lider senkt,
Auf deine Schläfen tropft schwarzer Tau,

Das letzte Gold verfallener Sterne.

На мое чело наступил холодный металл.
Пауки подбираются к сердцу.
Свет угас у меня на губах.

Ночью я очутилась на пустоши, ночью,
Среди бурьяна и звездной пыли,
Вновь запели
Хрустальные ангелы.

МАЛЬЧИКУ ЭЛИСУ

Элис, когда черный дрозд кликнет из черного леса,
Твоя гибель близка.
Губы твои пьют голубую прохладу горного родника.

Оставь, пусть чело твое
Кровоточит преданьями старины,
Ворожбою по птичьим полетам.

Но, мягко ступая, тыходишь в ночь
Под своды, полные гроздьев пурпурных,
Еще прекраснее в синеве движения твоих рук.

Куст терновый поет,
Стоит к нему прикоснуться лунным твоим глазам.
Как давно ты умер, Элис, о как давно.

Плоть твоя—гиацинт, в который
Монах погружает свои восковые пальцы.
Наше молчанье зияет пещерою черной.

Порой из нее кроткий выходит зверь
И медленно опускает свои тяжелые веки.
А на твои виски черная каплет роса.

Последним золотом чахнувших звезд.

〈AN NOVALIS〉

2. Fassung (a)

In dunkler Erde ruht der heilige Fremdling.
Es nahm von sanftem Munde ihm die Klage der Gott,
Da er in seiner Blüte hinsank.
Eine blaue Blume
Fortlebt sein Lied im nächtlichen Haus der Schmerzen.

HELIAN

In den einsamen Stunden des Geistes
Ist es schön, in der Sonne zu gehn
An den gelben Mauern des Sommers hin.
Leise klingen die Schritte im Gras; doch immer schläft
Der Sohn des Pan im grauen Marmor.

Abends auf der Terrasse betranken wir uns mit braunem
Wein.

Rötlich glüht der Pfirsich im Laub;
Sanfte Sonate, frohes Lachen.

Schön ist die Stille der Nacht.
Auf dunklem Plan
Begegnen wir uns mit Hirten und weißen Sternen.

Wenn es Herbst geworden ist
Zeigt sich nüchterne Klarheit im Hain.
Besänftigte wandeln wir an roten Mauern hin
Und die runden Augen folgen dem Flug der Vögel.
Am Abend sinkt das weiße Wasser in Graburnen.

In kahlen Gezweigen feiert der Himmel.
In reinen Händen trägt der Landmann Brot und Wein
Und friedlich reifen die Früchte in sonniger Kammer.

O wie ernst ist das Antlitz der teuren Toten.
Doch die Seele erfreut gerechtes Anschauen.

〈К НОВАЛИСУ〉

Вторая редакция (а)

В темной земле покоится странник блаженный
Бог с его нежных уст принял горькие песни
увядания до расцвета.
Цветком голубым
слово его остается в обители боли.

ГЕЛИАН

В часы одиночества духа
Так прекрасно идти под солнцем
Вдоль желтых стен лета.
Еле слышны шаги в траве; но в сером мраморе спит
Сын Пана сном непробудным.

Вечером на террасе мы пьянели от темных
вин.

Персик в листве красным горел огнем.
Мягкость сонаты, смех.

Прекрасен ночной покой.
На сумеречной равнине
С пастухами и белыми звездами назначена встреча у нас.

Когда наступает осень,
Нам рощи являют трезвую ясность.
Умиротворенно бредем мимо красных стен
И взором открытым глядим вослед улетающим птицам.
В погребальные урны текут вечерние белые воды.

Празднество неба в голых ветвях.
Чистые руки крестьян хлеб и вино приносят.
Мирно зреют плоды в солнечной кладовой.

О как серьезен лик дорогих умерших!
И лишь праведное созерцанье способно возрадовать душу.

Gewaltig ist das Schweigen des verwüsteten Gartens,
Da der junge Novize die Stirne mit braunem Laub bekränzt,
Sein Odem eisiges Gold trinkt.

Die Hände rühren das Alter bläulicher Wasser
Oder in kalter Nacht die weißen Wangen der Schwestern.

Leise und harmonisch ist ein Gang an freundlichen
Zimmern hin,
Wo Einsamkeit ist und das Rauschen des Ahorns,
Wo vielleicht noch die Drossel singt.

Schön ist der Mensch und erscheinend im Dunkel,
Wenn er staunend Arme und Beine bewegt,
Und in purpurnen Höhlen stille die Augen rollen.

Zur Vesper verliert sich der Fremdling in schwarzer
Novemberzerstörung,
Unter morschem Geäst, an Mauern voll Aussatz hin,
Wo vordem der heilige Bruder gegangen,
Versunken in das sanfte Saitenspiel seines Wahnsinns,

O wie einsam endet der Abendwind.
Ersterbend neigt sich das Haupt im Dunkel des Ölbaums.

Erschütternd ist der Untergang des Geschlechts.
In dieser Stunde füllen sich die Augen des Schauenden
Mit dem Gold seiner Sterne.

Am Abend versinkt ein Glockenspiel, das nicht mehr tönt,
Verfallen die schwarzen Mauern am Platz,
Ruft der tote Soldat zum Gebet.

Ein bleicher Engel
Tritt der Sohn ins leere Haus seiner Väter.

Die Schwestern sind ferne zu weißen Greisen gegangen.
Nachts fand sie der Schläfer unter den Säulen im Hausflur,
Zurückgekehrt von traurigen Pilgerschaften.

Беспредельно безмолвье опустошенного сада,
Где юный послушник, чело увенчав коричневою листвою,
Холодным золотом дышит.

Руки его прикасаются к древности синих вод,
Гладят в холодной ночи белые щеки сестер.

Гармонии полон шаг его тихий вдоль горниц
радушных,
Где одиночество, шелест кленов,
Где, быть может, еще распевает дрозд.

Прекрасен, величествен человек,
Когда во тьме удивленно движется тело его
И в багровых глазницах очи вращаются тихо.

В черном ноябрьском опустошении Некто блуждает в час
предвечерний,
Затерян средь ветхих ветвей, вдоль стен, пораженных
проказой,
Там, где инок пред тем проходил,
Погруженный в мягкие струнные звуки безумья.

О как одиноко ветер вечерний кончает свой путь!
Склонил, умирая, голову в сумрак оливы.

Потрясает гибель людского рода.
Очи зрящего в этот час
Полнятся золотом его звезд.

Отзвучавший звон колокольный в воздухе вечера тонет.
Камни рушатся черных стен.
Мертвый солдат умоляет нас помолиться.

Бледным ангелом входит сын
В опустевший дом своих предков.

Сестер, что ушли далеко к старцам белоголовым,
Спящий нашел перед домом своим,
Возвратившихся из печальных паломничеств.

O wie starrt von Kot und Würmern ihr Haar,
Da er darein mit silbernen Füßen steht,
Und jene verstorben aus kahlen Zimmern treten.

O ihr Psalmen in feurigen Mitternachtsregen,
Da die Knechte mit Nesseln die sanften Augen schlugen,
Die kindlichen Früchte des Hollunders
Sich staunend neigen über ein leeres Grab.

Leise rollen vergilbte Monde
Über die Fieberlinnen des Jünglings,
Eh dem Schweigen des Winters folgt.

Ein erhabenes Schicksal sinnt den Kidron hinab,
Wo die Zeder, ein weiches Geschöpf,
Sich unter den blauen Brauen des Vaters entfaltet,
Über die Weide nachts ein Schäfer seine Herde führt,
Oder es sind Schreie im Schlaf,
Wenn ein eherner Engel im Hain den Menschen antritt,
Das Fleisch des Heiligen auf glühendem Rost
hinschmilzt

Um die Lehmhütten rankt purpurner Wein,
Tönende Bündel vergilbten Korns,
Das Summen der Bienen, der Flug des Kranichs.
Am Abend begegnen sich Auferstandene auf Felsenpfaden.

In schwarzen Wassern spiegeln sich Aussätzige,
Oder sie öffnen die kotbefleckten Gewänder
Weinend dem balsamischen Wind, der vom rosigen
Hügel weht.

Schlanke Mägde tasten durch die Gassen der Nacht,
Ob sie den liebenden Hirten fänden.
Sonnabends tönt in den Hütten sanfter Gesang.

Lasset das Lied auch des Knaben gedenken,
Seines Wahnsinns, und weißer Brauen und seines Hingangs,
Des Verwesten, der bläulich die Augen aufschlägt.
O wie traurig ist dieses Wiedersehn.

О как волосы их сваялись в кишасщем червями дерьме,
В которое погружены его серебряные ступни!
А из келий пустых умершие тихо выходят.

О эти псалмы в час полуночных огненных ливней,
Когда чернь крапивой стегала по кротким глазам!
Над могилой пустой удивленно склонились
Детски-наивные ягоды бузины.

И покуда юноша не уйдет безмолвью зимы вослед,
Пожелтевшие луны будут катиться тихо
По его горячечным простыням.

Величье судьбы замышляет идущий вослед Кедрону,
Туда, где кедр расцветает созданием кротким
Под голубыми бровями отца.

Пастырь по пастбищу ночью ведет свое стадо.

Но когда к человеку в роще приближается ангел
железный

И на раскаленной решетке плавится плоть святого,—
Быть может, это лишь крики во сне?

Возле глиняных хижин наливаются алые гроздья,
Распевают снопы пожелтевшей ржи,
Пчелы гудят, журавль пролетает,
По вечерам на скалистых тропах случаются встречи
воскресших.

Прокаженные в черные смотрятся воды.

Рыдая, распахивают изгаженные одежды

Навстречу целебному ветру, что с розовых дует
ХОЛМОВ.

Деревенские девушки робко бредут переулками ночи,
Доброго пастыря ищут.

По субботам в хижинах слышится мягкое пенье.

Помяните и отрока в песне,

И безумье его, и кончину, и белые брови,

Его, побежденного тлением, открывшего синие очи!

О, как грустно свидание это!

Die Stufen des Wahnsinns in schwarzen Zimmern,
Die Schatten der Alten unter der offenen Tür,
Da Helians Seele sich im rosigen Spiegel beschaut
Und Schnee und Aussatz von seiner Stirne sinken.

An den Wänden sind die Sterne erloschen
Und die weißen Gestalten des Lichts.

Dem Teppich entsteigt Gebein der Gräber,
Das Schweigen verfallener Kreuze am Hügel,
Des Weihrauchs Süße im purpurnen Nachtwind.

O ihr zerbrochenen Augen in schwarzen Mündern,
Da der Enkel in sanfter Umnachtung
Einsam dem dunkleren Ende nachsinnt,
Der stille Gott die blauen Lider über ihn senkt.

AN DIE SCHWESTER

Wo du gehst wird Herbst und Abend,
Blaues Wild, das unter Bäumen tönt,
Einsamer Weiher am Abend.

Leise der Flug der Vögel tönt,
Die Schwermut über deinen Augenbogen.
Dein schmales Lächeln tönt.

Gott hat deine Lider verbogen.
Sterne suchen nachts, Karfreitagskind,
Deinen Stirnenbogen.

ELIS

3. Fassung

1

Vollkommen ist die Stille dieses goldenen Tags.
Unter alten Eichen
Erscheinst du, Elis, ein Ruhender mit runden Augen.

Ступени безумия в черных покаях,
Тени древних на сквозняке дверей,
В розовом зеркале видит себя душа Гелиана,
И снег и проказа сходят с его чела.

На сводах погасли звезды
И белые образы света.

Из-под земного ковра выходят могильные кости.
На склонах холмов молчат покосившиеся кресты.
В багровом ветре ночном ладана сладость струится.

О глаза, что разбились и в разверстые черные канули
рты!
И в то время как внук в помрачении тихом ума
О страшном грядущем Конце помышляет,
Тихий бог опускает над ним свои голубые веки.

СЕСТРЕ

Где ты проходишь, там осень и вечер,
Синий ветер, поющий в ветвях,
Одинокий в сумерках пруд.

Тихая музыка птичьего лёта.
Грусть над изгибом бровей.
Тонкой улыбки пенье.

Бог вылепил твои веки.
Дитя Страстной пятницы, звезды грезят
О своде чела твоего.

ЭЛИС

[3-я редакция]

1

Ненарушима тишина златого дня,
Под старым дубом
Являешься ты, Элис, строгий с круглыми глазами.

Ihre Bläue spiegelt den Schlummer der Liebenden.
An deinem Mund
Verstummt ihre rosigen Seufzer.

Am Abend zog der Fischer die schweren Netze ein.
Ein guter Hirt
Führt seine Herde am Waldsaum hin.
O! wie gerecht sind, Elis, alle deine Tage.

Leise sinkt
An kahlen Mauern des Ölbaums blaue Stille,
Erstirbt eines Greisen dunkler Gesang.

Ein goldener Kahn
Schaukelt, Elis, dein Herz am einsamen Himmel.

2

Ein sanftes Glockenspiel tönt in Elis' Brust
Am Abend,
Da sein Haupt ins schwarze Kissen sinkt.

Ein blaues Wild
Blutet leise im Dornengestrüpp.

Ein brauner Baum steht abgeschieden da;
Seine blauen Früchte fielen von ihm.

Zeichen und Sterne
Versinken leise im Abendweiher.

Hinter dem Hügel ist es Winter geworden.

Blaue Tauben
Trinken nachts den eisigen Schweiß,
Der von Elis' kristallener Stirne rinnt.

Immer tönt
An schwarzen Mauern Gottes einsamer Wind.

В их синеве находит отраженье сон влюбленных.
На твоих устах
Их радостные вздохи замирают.

Вечером тянет тяжелые сети рыбак;
Добрый пастух
Ведет свое стадо к лесной опушке.
О, праведны, Элис, все твои дни.

Нежно никнет
К обнаженным стенам голубая тишина.
Глухое пенье старца умолкает.

Златой челнок
Качает, Элис, твое сердце в пустынном небе.

2

Тихий колокольчик звенит в груди Элиса
В вечерний час,
Когда клонит он голову к подушкам черным.

Голубая дичь
Неслышно истекает кровью в зарослях шиповника.

Бурый ствол стоит в сторонке,
И голубые падают с него плоды.

Знаки и звезды
Бесшумно погружаются в вечерние болота.

Голубые голуби
Пьют ночью леденящий пот,
Что струится с хрустального лба Элиса.

Все шумит
У черных стен господень одинокий ветер.

ABENDLAND

4. Fassung

Else Lasker-Schüler in Verehrung

1

Mond, als träte ein Totes
Aus blauer Höhle,
Und es fallen der Blüten
Viele über den Felsenpfad.
Silbern weint ein Krankes
Am Abendweiher,
Auf schwarzem Kahn
Hinüberstarben Liebende.

Oder es läuten die Schritte
Elis' durch den Hain
Den hyazinthenen
Wieder verhallend unter Eichen.
O des Knaben Gestalt
Geformt aus kristallinen Tränen,
Nächtigen Schatten.
Zackige Blitze erhellen die Schläfe
Die immerkühle,
Wenn am grünenden Hügel
Frühlingsgewitter ertönt.

2

So leise sind die grünen Wälder
Unsrer Heimat,
Die kristallne Woge
Hinsterbend an verfallner Mauer
Und wir haben im Schlaf geweint;
Wandern mit zögernden Schritten
An der dornigen Hecke hin
Singende im Abendsommer,
In heiliger Ruh
Des fern verstrahlenden Weinbergs;
Schatten nun im kühlen Schoß
Der Nacht, trauernde Adler.
So leise schließt ein mondener Strahl
Die purpurnen Male der Schwermut.

ЗАПАД

4-я редакция

Эльзе Ласкер-Шюлер с почтением

1

Месяц, словно мертвец,
Выходит из синего грота,
На каменистые тропы
Сыпется дождь лепестков.
Серебряным плачем плачет
Боль над вечерним прудом,
Влюбленные утонули,
В черном плывя челноке.

А среди гиацинтов в роще
Слышен Элиса шаг звенящий,
Затихающий под дубами.
Отрока образ, рожденный
Из слез хрустальных,
Из теней ночи.
Вечнопрохладный висок
Высветляют зигзаги молний,
Когда по цветущим холмам
Весенний катится гром.

2

О, безмолвье зеленых лесов
Нашей родины,
Гибель хрустальной волны
У подножия рухнувших стен —
Рыданием был наш сон;
Медлителен шаг поющих,
Что бредут вдоль тернистых оград
Вечереющим летом
Средь святого покоя
Виноградников светоносных;
Вот и тени орлами скорби
Вьют гнезда в холодной утробе ночи.
Лунный луч заживляет беззвучно
Пурпурные раны тоски.

Ihr großen Städte
Steinern aufgebaut
In der Ebene!
So sprachlos folgt
Der Heimatlose
Mit dunkler Stirne dem Wind,
Kahlen Bäumen am Hügel.
Ihr weithin dämmernden Ströme!
Gewaltig ängstet
Schaurige Abendröte
Im Sturmgewölk.
Ihr sterbenden Völker!
Bleiche Woge
Zerschellend am Strande der Nacht,
Fallende Sterne.

DER HERBST DES EINSAMEN

Der dunkle Herbst kehrt ein voll Frucht und Fülle,
Vergilbter Glanz von schönen Sommertagen.
Ein reines Blau tritt aus verfallener Hülle;
Der Flug der Vögel tönt von alten Sagen.
Gekeltert ist der Wein, die milde Stille
Erfüllt von leiser Antwort dunkler Fragen.

Und hier und dort ein Kreuz auf ödem Hügel;
Im roten Wald verliert sich eine Herde.
Die Wolke wandert übern Weiherspiegel;
Es ruht des Landmanns ruhige Geberde.
Sehr leise rührt des Abends blauer Flügel
Ein Dach von dürrer Stroh, die schwarze Erde.

Bald nisten Sterne in des Müden Brauen;
In kühle Stuben kehrt ein still Bescheiden
Und Engel treten leise aus den blauen
Augen der Liebenden, die sanfter leiden.
Es rauscht das Rohr; anfällt ein knöchern Grauen,
Wenn schwarz der Tau tropft von den kahlen Weiden.

О великие города,
Грудами камня
Лежащие на равнине!
Так человек бездомный
С помраченным челом, онемев,
Вслед ветру бредет, вслед голым деревьям на склонах.
О где-то вдали иссякающие потоки!
Огромен страх,
Что вселяет
В тучах дрожащий закат.
О гибнущие народы!
Бессильной волной суждено вам
Разбиться о берег ночи,
О падучие звезды!

ОСЕНЬ ОДИНОКОГО

Она, щедрa и призрачна, настала,
Померкло дней недолгое сиянье.
Густая синева без покрывала,
Отлеты птиц, как древние преданья.
Вино поспело; тихо зашептало
Разгадку тайны темное молчанье.

То здесь, то там – кресты по хмурым горкам,
В лесу багряном стадо заблудилось.
Луна плывет над речкой, над ведерком,
Рука жнеца устало опустилась,
И синекрылый сумрак с тихим вспорхом
Над крышами пронесся; тьма сгустилась.

Созвездья на челе твоём свивают
Свои гнездовья; все полно покоя,
И ангелы неслышные слетают
С губ любящего, слившись с синевой;
Испариной предсмертной проступает
Роса, блестя над скошенной травой.

UNTERWEGS

Am Abend trugen sie den Fremden in die Totenkammer;
Ein Duft von Teer; das leise Rauschen roter Platanen;
Der dunkle Flug der Dohlen; am Platz zog eine Wache auf.
Die Sonne ist in schwarze Linnen gesunken; immer
wieder kehrt dieser vergangene Abend.
Im Nebenzimmer spielt die Schwester eine Sonate von
Schubert.
Sehr leise sinkt ihr Lächeln in den verfallenen Brunnen,
Der bläulich in der Dämmerung rauscht. O, wie alt
ist unser Geschlecht.
Jemand flüstert drunten im Garten; jemand hat diesen
schwarzen Himmel verlassen.
Auf der Kommode duften Äpfel. Großmutter zündet
goldene Kerzen an.

O, wie mild ist der Herbst. Leise klingen unsere
Schritte im alten Park
Unter hohen Bäumen. O, wie ernst ist das hyazinthene
Antlitz der Dämmerung.
Der blaue Quell zu deinen Füßen, geheimnisvoll
die rote Stille deines Munds,
Umdüstert vom Schlummer des Laubs, dem dunklen Gold
verfallener Sonnenblumen.
Deine Lider sind schwer von Mohn und träumen leise
auf meiner Stirne.
Sanfte Glocken durchzittern die Brust. Eine blaue Wolke
Ist dein Antlitz auf mich gesunken in der Dämmerung.

Ein Lied zur Gitarre, das in einer fremden Schenke
erklingt,
Die wilden Hollunderbüsche dort, ein lang vergangener
Novembertag,
Vertraute Schritte auf der dämmernden Stiege,
der Anblick gebräunter Balken,
Ein offenes Fenster, an dem ein süßes Hoffen
zurückblieb—
Unsäglich ist das alles, o Gott, daß man erschüttert
ins Knie bricht.

В ПУТИ

Под вечер они отнесли в мертвецкую незнакомца;
Запах дегтя, шуршание красных платанов; галок
Черный полет; а на площади стража уже в караул
заступила.
Солнце сокрылось под черными простынями; этот вечер
минувший возвращается снова и снова.
В комнате рядом сестра играет сонату Шуберта.
Еле слышно ее улыбка погружается в ветхий колодец,
Чье голубое журчанье в сумерках не затихает. О, как
древен наш род!
Чей-то шепот в саду; кто-то уже покинул эти черные
небеса.
Пахнут яблоки на комод. Золотисто горят зажженные
бабушкой свечи.
О, как осень тепла. Мы так тихо шагаем под высокими
кронами
Старого парка. О как серьезен гиацинтовый лик
полумрака.
У ног твоих голубой родник, тайна сокрыта в красном
безмолвии твоих губ,
Отененных дремой листвы, темным золотом сникших
подсолнухов.
Веки твои тяжелеют от мака, тихо грезят, прильнув
к моему челу.
Нежные звоны трепетом грудь наполняют. Облаком
В душу мою низошел. [синим твой лик

Звуки гитары, песня в безвестном трактире,
По сторонам бузины одичалость, день ноябрьский, такой
далекий,
Звук знакомых шагов в парке на сумеречных ступенях,
Побуревшие ставни открытых окон, под которыми
оставались годы сладких надежд.
Все так несказанно, о боже, что опускаешься на колени...

O, wie dunkel ist diese Nacht. Eine purpurne Flamme
Erlosch an meinem Mund. In der Stille
Erstirbt der banger Seele einsames Saitenspiel.
Laß, wenn trunken von Wein das Haupt in die Gosse
sinkt.

AN EINEN FRÜHVERSTORBENEN

O, der schwarze Engel, der leise aus dem Innern
des Baums trat,
Da wir sanfte Gespielen am Abend waren,
Am Rand des bläulichen Brunnens.
Ruhig war unser Schritt, die runden Augen
in der braunen Kühle des Herbstes,
O, die purpurne Süße der Sterne.

Jener aber ging die steinernen Stufen des Mönchsbergs
hinab,
Ein blaues Lächeln im Antlitz und seltsam verpuppt
In seine stillere Kindheit und starb;
Und im Garten blieb das silberne Antlitz des Freundes
zurück,
Lauschend im Laub oder im alten Gestein.

Seele sang den Tod, die grüne Verwesung des Fleisches
Und es war das Rauschen des Walds,
Die inbrünstige Klage des Wildes
Immer klangen von dämmernden Türmen die blauen
Glocken des Abends.

Stunde kam, da jener die Schatten in purpurner Sonne
sah,
Die Schatten der Fäulnis in kahlem Geäst;
Abend, da an dämmernder Mauer die Amsel sang,
Der Geist des Frühverstorbenen stille im Zimmer erschien.

O, das Blut, das aus der Kehle des Tönenden rinnt,
Blaue Blume; o die feurige Träne
Geweint in die Nacht.

О, как темна эта ночь. Пурпурное пламя погасло,
Прикоснувшись к моим устам. Одинокaя музыка
В робкой душе замирает, объятая тишиной.
Пусть же, пусть голова, от вина тяжелея, склоняется
к сточной канаве.

К УМЕРШЕМУ В ЮНОСТИ

О, черный ангел, что молча из недр древесных ступил,
Когда мирно играли мы в час вечерний
У края вод голубевших.
Тихи были шаги, круглились глаза в бурой осенней
прохладе.
О, пурпурная сладость звезд.

Он же пошел по жестким ступеням горы монашеской вниз,
С голубой улыбкой на лице, завесаясь от нас
Тишиной ушедшего детства, и умер.
Но серебристым милым обличем остался в саду,
В чуткой листве или древних камнях.

Душа воспевала смерть, зеленое тление плоти,
И лес неумолчно шумел,
Взывала жалоба зверя.
Вновь и вновь окликали с прозрачных высот голубые
вечерние звоны.

Пробил час, и каждый тени на пурпуре солнца узрел,
Тени истленья в голых ветвях;
Вечер, и дрозд на дремотной стене запел,
Дух умершего в юности молча ступил меж нас.

О, кровь, что из певчего горла бежит,
Голубой цветок; о, горящие слезы,
Пролитые ночью.

Goldene Wolke und Zeit. In einsamer Kammer
Lädst du öfter den Toten zu Gast,
Wandelst in traurem Gespräch unter Ulmen den grünen
Fluß hinab.

DELIRIUM

Der schwarze Schnee, der von den Dächern rinnt;
Ein roter Finger taucht in deine Stirne
Ins kahle Zimmer sinken blaue Firne,
Die Liebender erstorbene Spiegel sind.
In schwere Stücke bricht das Haupt und sinnt
Den Schatten nach im Spiegel blauer Firne,
Dem kalten Lächeln einer toten Dirne.
In Nelkendüften weint der Abendwind.

Золотая слава лучей, и время. В тиши
Приглашаешь ты мертвого часто к себе,
И в милой беседе сходишь под улымы, к зеленым
струям.

DELIRIUM

По крыше снег шуршащей каплей сник,
Багровый перст пронзает лоб упорно,
Лазурь по спальне льют ледяные зерна,
В их зеркале влюбленных стихший лик.
Под череп треснутый врывается двойник,
Упавший тенью в ледяные зерна,
И шлюха стылая с ухмылкою тлетворной.
И слезы прячет ветер в сон гвоздик.

Albert Paris Gütersloh

AN MICH

Aus den Wintern komme ich her.
Schnee liegt hoch auf den Dächern.
Von Ofen zu Ofen eilen die Menschen,
und ist ein Händereiben und ein Knochengeknacke
in ihnen.
Sie sitzen eng um den gastlichen Tisch.
Die dicken Mäntel hängen im Vorzimmer.
Wenig Licht dringt durch die beschlagenen Fenster.
Wehmütige Lieder steigen zur Decke,
von bescheiden brummenden Bässen begleitet.
Ungescheute Tränen
Fließen auf Busen und Brüste.
Liebe hat auch mich berührt,
aber mit einem einzigen Finger,
und ist fortgegangen als hätte sie sich geirrt.
Der Entflammte brennt
wie ein Einödhof
ungelöscht zu Ende.

EMPFINDUNG

Wenn der Abend mild und sonderbar
an die Gartenzäune plaudern kommt,
wenn der Mond im frühen Silberhaar
was die Paare flüstern überfrommt,
wenn die Alten diesen Tag beschließen
wie ein oft schon ausgelesnes Buch,
das die Jungen nicht einmal vermissen,
denn sie haben noch an sich genug,
wird die Müde blau und sehnsuchtsträchtig
ohne Hand und Stoff zu Schöpferin
und ergriffen nun von solchem Nichtstun mächtig
legt auch der Tod die Sense hin.

Альберт Парис Гютерсло

СЕБЕ

Из долгих зим прихожу я сюда.
На крыше толстый слой снега.
Люди у жарких печек
потирают озябшие руки.
Все усаживаются за стол.
В передней толстые шубы.
Жидкий свет сочится в заиндевевшие окна.
Под потолок поднимаются грустные песни,
задумчиво рокочат басы.
И слезы бегут по щекам,
и их не стыдятся.
Любовь и меня коснулась,
но словно нечаянно, по ошибке,
мимоходом задела мизинцем
и ушла прочь.
Но воспламененный горит,
как дом на отшибе,
никто не гасит огня, и он сгорает дотла.

ВЕЧЕРНИЕ ОЩУЩЕНИЯ

Разговоры тихие заводит
Вечер у оград садовых сонных,
Лик луны серебряный восходит,
Приглушая голоса влюбленных,
Перечитанную многократно
Книгу дня старик листать кончает—
Ту, в которой юным все невнятно:
Им самих себя пока хватает,—
Сизая, тоскливая усталость
Дело свое делает немое
В этот час; и разве что осталось
Смерти испросить себе покоя.

Paula von Preradović

WIENER REIMCHRONIK 1945

DER DOM

Hoher Dom, du starkes Herz der Stadt,
Ach, wer weiß noch, wie bei Frührots Scheinen
In der satten Glut von Edelsteinen
Bunt das Licht in dir gejubelt hat?

Wer noch weiß es, wie von deinem Turm,
Deinem einen, einzigen, die tiefen,
Angestammten Glocken singend riefen,
Erzen brandend als ein heiliger Sturm?

Ach, unsäglich standest du uns da,
Steines Hochzeit, Säulenwald des Heiles,
Maßwerks Wunder, Schwung des Gottespfeiles,
Über mächtigen Daches Gloria.

Eines Abends aber stiegst du,
So, als wolltest du eine Fackel werden,
Funkenübersprüht, von Flammenherden
Eingelüht, den kühlen Sternen zu.

Standest feurig leuchtend in der Nacht,
Deine Stadt noch einmal überkrönend,
Liebevoll ihr Unglück noch verschönend,
Und dann fielst du in der Frühlingsschlacht.

AN EIN MOHNFELD AUS KINDERZEIT

Du Mohnfeld, jeden Juni neu entfacht,
Du Scharlachflut, in grünes Land gesunken,
Du wogend winddurchfurchte Lohe! Trunken
Hast du des Kindes frühes Herz gemacht.

Паула фон Прерадович

ИЗ ВЕНСКОГО ДНЕВНИКА 1945

СОБОР

Гордый, в небо устремленный храм,
Помнит ли хоть кто-нибудь сегодня,
Как сквозь витражи заря господня
Сумрак твой сжигала по утрам?

Помнит ли хоть кто-нибудь, как звал
С башни одинокой и могучей
Голос твой раскатистый, тягучий,
Медный гул, преосвященный шквал?

Ты умолк, холодный и пустой,
В лабиринте колоннад и фризмов,
В кружеве готических карнизов,
Стрел господних частокол святой,

И, казалось, навсегда померк,
Но однажды ночью к звездам бледным
Ты взметнулся факелом победным,
Праздничный искристый фейерверк!—

И многострадальный город свой
После мрака ночи похоронной
Увенчал торжественной короной—
И погиб ты в битве огневой.

МАКОВОЕ ПОЛЕ ДАЛЕКОГО ДЕТСТВА

Пожар волнистых маковых полей,
Зеленым затканная багряница,
Какое сердце здесь не опьянится,
Под ветром разгораясь все смелей!

Gesondert ging es von der großen Schar
Und sah und wußte, daß du es erkanntest,
Und brannte heller, als du, Rotes, branntest,
Weil seine Seele ganz aus Feuer war.

Hin zwischen Erlenufern floß die Traisen
In kiesig breitem Bette, sanft vertraut.
Die Lerche stieg, das hohe Jahr zu preisen.

In ihren grauen Klosterpelerinen
Sangen die Mädchen sommerfroh und laut.
Doch stumm vor Glück schritt Eine unter ihnen.

Отставши от подруг июньским днем,
Ты здесь одна бродила, словно зная,
Что ярче мака вспыхнет озорная
Душа под этим ласковым огнем.

Здесь в тишине ольховых рощ старинных
Над Трайзенем плыла голубизна,
И девушки в монашских пелеринах,

Как жаворонки, славили начало
Погожих летних дней, и лишь Одна
В предчувствии счастливом все молчала.

Alma Johanna Koenig

GEBET

Laß mich Vergängliches verwinden, Herr.
Laß mich den Geist und Deine Güte finden, Herr.
Laß Licht mich tragen zu den Blinden, Herr.

Laß Rosen aufglühn aus den Wunden, Herr,
Verzicht erblühn aus schweren Stunden, Herr,
der Ewigkeit und Dir verbunden, Herr.

Laß Hoffnung finden, die da knieen, Herr,
so wie Du mir die Hoffnung hast geliehen, Herr,
und mich gesegnet hast – und mir verziehen, Herr.

GEBET AN EINEN GLÜCKSGÖTZEN

Kleiner peruanischer
Glücksgötze an der Wand,
gieße noch einmal die Gaben in meine hohle Hand.

Kleiner peruanischer
Glücksgötze, der nach mir glotzt,
gib, daß noch einmal die Tafel von Freuden
des Festes strotzt.

Kleiner peruanischer
Glücksgötze, der nach mir grinst,
wende noch einmal die Würfel im Spiel zum Gewinst,

kleiner peruanischer
Glücksgötze, der die Fäuste ballt,
eh ich wie du sie schließe, grinsend und glotzend und alt.

Альма Иоганна Кёниг

МОЛИТВА

Дай мне забыть земли тщету, о Боже.
Дай мне твою изведать доброту, о Боже.
Дай свет излить слепым в их темноту, о Боже.

Дай розам в ранах процвести, о Боже,
смиренью из тягот взрасти, о Боже,
к святыням вечным на пути, о Боже.

Дай никнушим в надежде сил, о Боже,
как мне надежду ты ссудил, о Боже,
мне милость дал и мне грехи простил, о Боже.

МОЛИТВА БОЖКУ СЧАСТЬЯ

Перуанский божок,
улыбающийся на стене,
ну, хоть раз еще вырони счастье в ладони ко мне.

Перуанский божок,
чей и пристален взор и тяжел,
ну, хоть раз еще сделай обильным и праздничным
стол.

Перуанский божок,
чья ухмылка пронзает насквозь,
ну, хоть раз еще выигрышно кости игральные брось,

перуанский божок,
амулет человеческой тщеты,
прежде чем постарею и стану такою, как ты.

AUS: SONETTE FÜR JAN

* * *

Wie aus ägyptischem Relief gestiegen,
von meinem Wunsch gerundete Figur,
stehst du vor mir.—Es scheint noch eine Spur
früher Vergoldung auf der Haut zu liegen.

Der Iris Braun gebettet in Lazur,
Haare, die kappeneng ans Haupt sich schmiegen,
waagrechter Schultern breites Überwiegen,
des Mundes nubisch-üppige Kontur,

all dies gemahnt an dunklen, alten Kult
und läßt die Stirn mich tief zur Erde neigen,
verstrickt in meines Götzendienstes Schuld.

Die schönsten Attribute sind dir eigen:
göttliche Jugend, göttliche Geduld,
und beide lächeln mir aus deinem Schweigen.

TRAUERESCHE IM REGEN

O Traueresche, schwesterlicher Baum,
der nun erst Frühlingsmacht an sich erfährt!
So lang hast du verzweifelt dich gewehrt,
nun überwältigt dich dein später Traum.

Denn wie Prokrustes mit dem Gast verfährt,
spannt man dich qualvoll über weiten Raum.
Schwarz, schmerzverkrampft, scheint es mir Astwerk
kaum,
was sich nach Licht sehnt und zur Erde kehrt.

Ja: Trauer, Trauer ist dein Element!
Ja: Klage, Klage, die kein Ende nimmt,
und Sehnsucht, die dem Blitz entgegenglimmt,

Verwurzeltheit, das dunkle Tiefen kennt.
Da tropfennaß durchs nasse Laub ich spähe,
ist mir, als ob ich Engel weinen sähe.

ИЗ «СОНЕТОВ ДЛЯ ЯНА»

* * *

Из каменной египетской дремоты
Твой облик воззвала моя мечта,
Стоишь ты предо мной. И неспроста
На коже отсвет прежней позолоты.

В лазурь одета взора чернота,
Усмирены волос водовороты,
Широких плеч не тяготят заботы,
Спокоен абрис царственного рта,

Все это темной жаждой поклоненья
Меня склоняет к той земле, где ты—
Виновник моего благоговенья,

И где твои прекрасные черты:
Божественные юность и терпенье—
Смеются надо мной из немоты.

СКОРБНЫЙ ЯСЕНЬ ПОД ДОЖДЕМ

О скорбный ясень! К жизни пробужден
Весенним ливнем обморок корней.
Так долго ты печалился о ней,
Что все томит тебя последний сон.

Как некогда Прокруст своих гостей,
Растягиваешь ты беззвучный стон.
Равно к земле и к небу обращен
Чуть тлеющий костер нагих ветвей.

Да: скорбь, с которой ты всегда един!
Да: жалоба, конца которой нет,
Тоска, что тлеет молниям в ответ
В подземном царстве, в топкой тьме глубин.
По влажным листьям капли еле зримо
Стекают, словно слезы серафима.

FAUSTA AN EINEN NAZARENER

Aus der Verzweiflung, aus Nacht, aus Katakomben her
kamst du,
mit des Todes eisigem Hauch im Nacken,
mit geblendeten, gejagten Blicken.
Mörtel haftete in deinen Haaren
und im jungen Barte Spinngewebe,
und dein Leib war ein gespannter Bogen,
dessen Pfeil nach süßerm Himmel zielte
als nach deines bleichen Gottes Himmel.
Da ich vor dir lag, die Arme breitend,
liebtest du den salbenhellen Körper,
der noch deiner trotzgen Küsse Spur trug,
viele tausend Male mehr als jenen
fünffach blutenden, des bleichen Gottes,
der dich nie beseligt hat wie Fausta,
der dich nicht wie sie vom Tod gerettet,
der sich selbst vom Kreuz nicht helfen konnte.

ФАУСТА И НАЗАРЕЯНИИ

Из ночи, из отчаяния, из глухих подземелий пришел ты,
с загнанным, ничего не видящим взором,
смерть дышала тебе в затылок,
ядовитый волчек застрял у тебя в волосах,
в паутине твоей бороды.
Ты был весь, как натянутый лук,
нацеленный в возлюбленные свои небеса,
в небеса твоего потускневшего бога.
Я тебя приняла, широко распахнув объятья,
и любил ты мое умашенное, вспыхивающее светом тело
со следами твоих поцелуев
больше гораздо,
чем все раны своего потускневшего бога,
который не мог, как Фауста, дать тебе счастья,
не мог, как она, от смерти тебя спасти,
который себя самого не смог уберечь от креста.

Richard Billinger

DIE GLOCKENBUBEN

Ein Bauer wird begraben.
Die Trauergäste traben
hinter schwarzer Bahr.

Alle Glocken läuten.

Die wir wohl Müh sonst scheuten,
wir Buben, o wie freuten
wir uns auf diesen Tag!

Wir hängen an den Strängen.
Wir lauschen voller Klängen.
Es fliegt das helle Haar.
Wir ziehen und wir keuchen.
Vom hohen Turm wir scheuchen
der Fledermäuse Schar.

Die Sonne, die muß scheinen,
ob Mann und Weib auch weinen!
Die Glocken klingen klar.
Und an dem Strang wir stöhnen,
auf daß sie jubeln, dröhnen
und allem Leide höhnen
so heut wie immerdar.

Рихард Биллингер

МАЛЕНЬКИЕ ЗВОНАРИ

Крестьянина хоронят,
кого печаль не тронет? –
гудят колокола.

Выносят гроб тяжелый.

А мы, народ веселый,
мальчишки-балаболы
звоним, звоним с утра.

Мы на канатах виснем,
вот-вот со смеху прыснем,
высокий гулок звон.
Ликует медь литая,
мышей летучих стая
спешит убраться вон.

Охота плакать людям! –
кряхтя, звонить мы будем,
качаться день-деньской.
Мы охаем, но тянем
и, как мы ни устанем,
шутить не перестанем
над горем и тоской.

Franz Werfel

DER DICKE MANN IM SPIEGEL

Ach Gott, ich bin das nicht, der aus dem Spiegel stiert,
Der Mensch mit wildbewachsener Brust und unrasiert.
 Tag war heut so blau,
 Mit der Kinderfrau
Wurde ja im Stadtpark promeniert.

Noch kein Matrosenanzug flatterte mir fort
Zu jenes strengverschlossenen Kastens Totenort.
 Eben abgelegt,
 Hängt er unbewegt,
Klein und müde an der Türe dort.

Und ward nicht in die Küche nachmittags geblickt,
Kaffee roch winterlich und Uhr hat laut getickt,
 Lieblich stand verwundert,
 Der vorher getschundert
Übers Glatteis mit den Brüderchen geschickt.

Auch hat die Frau mir heut wie immer Angst gemacht,
Vor jenem Wächter Kakitz, der den Park bewacht.
 Oft zu schnöder Zeit,
 Hör im Traum ich weit
Diesen Teufel säbelschleppen in der Nacht.

Die treue Alte, warum kommt sie denn noch nicht?
Von Schlafesnähe allzuschwer ist mein Gesicht.
 Wenn sie doch schon käme
 Und es mit sich nähme,
Das dort oben leise singt, das Licht!

Ach abendlich besänftigt tönt kein stiller Schritt,
Und Babi dreht das Licht nicht aus und nimmt es mit.

Франц Верфель

ТОЛСТЯК В ЗЕРКАЛЕ

Боже мой, ведь я не тот, что из зеркала глядит:
Человек с обросшей грудью и совсем не брит.
 День был так горяч,
 Мы играли в мяч,
В парке мы гуляли до вечерней зари.

Еще костюм матросский меня не гнал.
К кладбищенской коробке не бил сигнал.
 А теперь он снят,
 Брюки там висят—
Усталый, неподвижный кусок сукна.

И разве не исследовал я в кухне плиту?
Кофе пахнет зимой, и часы идут.
 Я стоял так тихо,
 Кто возился лихо
Перед тем с братишками на скользком льду.

Как всегда, сегодня няня испугала меня
Тем сторожем грозным, что парк охранял.
 Часто споря с ней,
 Слышал я во сне,
Как идет этот черт, своей саблей звеня.

Добрая старушка, почему ж ее все нет?
Как глаза отяжелели—спать пора бы мне.
 О, пришла бы скорей,
 Унесла б из фонарей
То, что тихо наверху поет там—свет!

Ах, вечером смягченный тихий шаг не звучит,
Свет бабушка не гасит—поют лучи.

Nur der dicke Mann
Schaut mich hilflos an,
Bis er tieferschrocken aus dem Spiegel tritt.

DER SCHÖNE STRAHLENDE MENSCH

Die Freunde, die mit mir sich unterhalten,
Sonst oft mißmutig, leuchten vor Vergnügen,
Lustwandeln sie in meinen schönen Zügen
Wohl Arm in Arm, veredelte Gestalten.

Ach, mein Gesicht kann niemals Würde halten,
Und Ernst und Gleichmut will ihm nicht genügen,
Weil tausend Lächeln in erneuten Flügen
Sich ewig seinem Himmelsbild entfalten.

Ich bin ein Korso auf besonnten Plätzen,
Ein Sommerfest mit Frauen und Bazaren,
Mein Auge bricht von allzuviel Erhellsein.

Ich will mich auf den Rasen niedersetzen
Und mit der Erde in den Abend fahren.
O Erde, Abend, Glück, o auf der Welt sein!!

DER KRIEG

Auf einem Sturm von falschen Worten,
Umkränzt von leerem Donner das Haupt,
Schlaflos vor Lüge,
Mit Taten, die sich selbst nur tun, gegürtet,
Prahlend von Opfern,
Ungefällig scheußlich für den Himmel—
So fährst du hin,
Zeit,
In den lärmenden Traum,
Den Gott mit schrecklichen Händen,
Aus seinem Schlafe reißt
Und verwirft.

Höhnisch, erbarmungslos,
Gnadenlos starren die Wände der Welt!

Лишь один толстяк
Смотрит тупо так...
И вдруг, испуган, лезет из зеркала пучин.

ПРЕКРАСНЫЙ, СИЯЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК

Друзья, со мной беседа, сияют,
Хоть раньше огорчались немало.
С весельем в их чертах мои блуждают.
Их дружба в благородстве наверстала.

Достоинства черты меня стесняют:
Серьезность, сдержанность мне не пристала,
И тысячи улыбок вылетают
Из вечного, глубокого овала.

Я праздник Корсо в солнечную страду,
Южный базар под женскую беседу.
Набухла солнцем глаз моих сетчатка.

Сегодня я на свежий дерн присяду,
Вместе с землей на запад я поеду.
О вечер, о земля, как рванутся, мне сладко!

ВОЙНА

На вихре обманчивых слов,
Пустыми громами главу увенчав,
Бессонное в коварстве,
Опоясанное творящими себя делами,
Кичась жертвою,
Непереносимо мерзкое небу –
Так ты шествуешь,
Время,
В тревожные бреды,
Что страшной рукою господь
Отрывает от сна своего
И швыряет прочь.

Язвительно, беспощадно
Безжалостно созерцают стены мира!

Und deine Trompeten,
Und trostlosen Trommeln,
Und Wut deiner Märsche,
Und Brut deines Grauens,
Branden kindisch und tonlos
Ans unerbittliche Blau,
Das den Panzer schlägt,
Ehern und leicht sich legt,
Um das ewige Herz.
Mild wurden im furchtbaren Abend
Geborgen schiffbrüchige Männer.
Sein goldenes Kettlein legte das Kind
Dem toten Vogel ins Grab,
Die ewige unwissende,
Die Heldentat der Mutter noch regt sie sich.
Der Heilige, der Mann,
Hingab er sich mit Jauchzen und vergoß sich.
Der Weise brausend, mächtig,
Siehe,
Erkannte sich im Feind und küßte ihn.
Da war der Himmel los,
Und konnte sich vor Wundern nicht halten,
Und stürzte durcheinander.
Und auf die Dächer der Menschen,
Begeistert, goldig, schwebend,
Der Adlerschwarm der Gottheit
Senkte sich herab.

Vor jeder kleinen Güte
Gehn Gottes Augen über,
Und jede kleine Liebe
Rollt durch die ganze Ordnung.

Die aber wehe,
Stampfende Zeit!
Wehe dem scheußlichen Gewitter
Der eitlen Rede!
Ungerührt ist das Wesen von deinem Anreiten,
Und den zerbrechenden Gebirgen,
Den keuchenden Straßen,
Und den Toden, tausendfach, nebenbei, ohne Wert.
Und deine Wahrheit ist

И твои тромбоны,
И безотрадные барабаны,
И бешенство маршей,
И весь выводок ужасов
Полыхают по-детски, беззвучно
В неумолимую синеву,
Что в панцирь облекает,
Медно и легко пеленает
Вечное сердце.
Кротко были в чудовищный вечер
Сокрыты потерпевшие кораблекрушение мужи.
Свою золотую цепочку дитя возложило
Мертвой птице на гроб,
Вечный, несведущий
Матери подвиг еще не находит покоя.
Святой, мужчина
Принес себя в жертву, ликуя, и пролил кровь.
Мудрец, мятежась, могучий,
Гляди –
Себя во враге узнал и целует его.
Тогда разверзлось небо
И не в силах сдержать удивленье
Обрушилось вниз.
И на кровли людские
Златая, паря и волнуясь,
Орлиная стая богов
Опустилась.

От каждой капли добра
Влага на божьих очах,
И каждая капля любви
Проходит насквозь мирозданье.

Но горе тебе,
Дробящее время!
Горе омерзительному грому
Тщеславных речей.
Нетронуту до твоего наскока бытие,
И хрупким вершинам,
И задыхающимся улицам,
И тысячам мертвых рядом не нужно.
И истина твоя

Des Drachen Gebrüll nicht,
Nicht der geschwätzigen Gemeinschaft
Vergiftetes, eitles Recht!
Deine Wahrheit allein,
Der Unsinn und sein Leid,
Der Wundrand und das ausgehende Herz,
Der Durst und die schlammige Tränke,
Gebleckte Zähne,
Und die mutige Wut
Des tückischen Ungetüms.
Der arme Brief von zu Hause,
Das Durch-die-Straße-Laufen
Der Mutter, die weise,
Das alles nicht einsieht.

Nun da wir uns ließen,
Und unser Jenseits verschmissen,
Und uns verschwuren,
Zu Elend, besessen von Flüchen...
Wer weiß von uns,
Wer von dem endlosen Engel,
Der weh über unsern Nächten,
Zwischen den Fingern der Hände,
Gewichtlos, unerträglich, niederfallend,
Die ungeheuren Tränen weint?!

AN DEN LESER

Mein einziger Wunsch ist, dir, o Mensch verwandt
Bist du Neger, Akrobat, oder ruhst du noch in tiefer ^{zu sein!}
Klingt dein Mädchenlied über den Hof, lenkst du dein ^{Mutterhut,}
Bist du Soldat, oder Aviatiker voll Ausdauer und Mut. ^{Floß im Abendschein,}
Trugst du als Kind auch ein Gewehr in grüner ^{Armschlinge?}
Wenn es losging, entflog ein angebundener Stöpsel ^{dem Lauf.}

Не рев дракона,
Не болтливое общества
Ядовитое никчемное право!
Твоя истина только
Безумие и его боль,
Отверстая рана, исходящее сердце,
Жажда и мутный напиток,
Оскаленные зубы,
И наглая злоба
Коварного чудища.
Убогое письмо с родины,
Беготня по улицам
Матери, что, мудрая,
Не все осознала.

Но с тех пор, как мы стали свободны,
Отказались от жизни загробной
И присягнули
На горе, одержимые проклятьем...
Кто знает из нас,
Кто о бессменном ангеле,
Что в скорби о наших ночах
Сквозь пальцы рук
Неошутимые, непереносные, катящиеся
Страшные слезы струит.

ЧИТАТЕЛЮ

Тебе родным быть, человек, моя мечта!
Кто б ни был ты – младенец, негр иль акробат,
Служанки ль песнь, на звезды ли с плота
Глядящий сплавщик, летчик иль солдат.

Играл ли в детстве ты ружьем с зеленой
Тесьмой и пробкой? Портился ль курок?

Mein Mensch, wenn ich Erinnerung singe,
Sei nicht hart, und löse dich mit mir in Tränen auf!

Denn ich habe alle Schicksale durchgemacht. Ich weiß
Das Gefühl von einsamen Harfenistinnen in Kurkapellen,
Das Gefühl von schüchternen Gouvernanten im fremden
Familienkreis,
Das Gefühl von Debutanten, die sich zitternd vor den
Souffleurkasten stellen.

Ich lebte im Walde, hatte ein Bahnhofsamt,
Saß gebeugt über Kassabücher, und bediente ungeduldige
Gäste.
Als Heizer stand ich vor Kesseln, das Antlitz grell
überflammt,
Und als Kuli aß ich Abfall und Küchenreste.

So gehöre ich dir und Allen!
Wolle mir, bitte, nicht widerstehn!
O, könnte es einmal geschehn,
Daß wir uns, Bruder, in die Arme fallen!

ICH HABE EINE GUTE TAT GETAN

Herz, frohlocke!
Eine gute Tat habe ich getan.
Nun bin ich nicht mehr einsam.
Ein Mensch lebt,
Es lebt ein Mensch,
Dem die Augen sich feuchten,
Denkt er an mich.
Herz, frohlocke:
Es lebt ein Mensch!
Nicht mehr, nein, nicht mehr bin ich einsam,
Denn ich habe eine gute Tat getan,
Frohlocke, Herz!

Nun haben die seufzenden Tage ein Ende.
Tausend gute Taten will ich tun!
Ich fühle schon,

Когда, в воспоминанье погруженный,
Пою я, плачь, как я, не будь жесток!

Я судьбы всех познал. Я сознаю,
Что чувствуют арфистки на эстраде,
И бонны, въехав в чуждую семью,
И дебютанты, на суфлера глядя.

Жил я в лесу, в конторщиках служил,
На полустанке продавал билеты,
Топил котлы, чернорабочим был
И горсть отбросов получал за это.

Я – твой, я – всех, воистину мы братья!
Так не сопротивляйся ж мне назло!
О, если б раз случиться так могло,
Что мы друг другу б бросились в объятия!

Я СДЕЛАЛ ДОБРОЕ ДЕЛО

Ликуй, душа!
Я сделал доброе дело,
я больше не одинок.
Есть на свете такой человек,
есть человек на свете,
у которого слезы навертываются на глаза,
когда он думает обо мне.
Ликуй, душа:
есть такой человек!
Сделав доброе дело,
я больше не одинок,
нет, больше – не одинок –
ликуй, душа!

Горьким вздохам конец!
Я готов сделать тысячу добрых дел!
Я уже чувствую,

Wie mich alles liebt,
Weil ich alles liebe!
Hinström ich voll Erkenntniswonne!
Du mein letztes, süßestes,
Klarstes, reinstes, schlichtestes Gefühl:
Wohlwollen!
Tausend gute Taten will ich tun.

Schönste Befriedigung
Wird mir zuteil:
Dankbarkeit!
Dankbarkeit der Welt.
Stille Gegenstände
Werfen sich mir in die Arme.
Stille Gegenstände,
Die ich in einer erfüllten Stunde
Wie brave Tiere streichelte.

Mein Schreibtisch knarrt,
Ich weiß, er will mich umarmen.
Das Klavier versucht mein Lieblingsstück zu tönen,
Geheimnisvoll und ungeschickt
Klingen alle Saiten zusammen.
Das Buch, das ich lese,
Blättert von selbst sich auf.

Ich habe eine gute Tat getan!

Einst will ich durch die grüne Natur wandern,
Da werden mich die Bäume
Und Schlingpflanzen verfolgen.
Die Kräuter und Blumen
Holen mich ein,
Tastende Wurzeln umfassen mich schon,
Zärtliche Zweige
Binden mich fest,
Blätter überrieseln mich,
Sanft wie ein dünner,
Schütterer Wassersturz.

Viele Hände greifen nach mir,
Viele grüne Hände,

как все, что ни есть на свете, любит меня,
потому что я все люблю!
Чувство это несет меня точно бурный поток—
о, мое сладкое, ясное,
чистое, скромное чувство:
желание делать добро!

Высшая награда
ожидает меня:
благодарность!
Благодарность этого мира:
бессловесные вещи
отдают себя в мои руки.
Бессловесные вещи,
которые гладить случалось,
точно отважных зверушек.

Покряхтывает письменный стол—
кажется, хочет меня обнять.
Пианино хочет сыграть мои любимые пьесы—
струны подрагивают и поют.
Книга, которую я читаю,
перелистывается сама собой.

Я сделал доброе дело!

Мне хочется на зеленый простор,
чтоб деревья,
цветы и кусты
следом за мной зашагали;
вот уж корни меня обнимают,
тонкие веточки обвивают меня,
нежным, любящим водопадом
струится по мне листва.

Ко мне тянутся руки,
мириады зеленых рук—

Ganz umnistet
Von Liebe und Lieblichkeit
Steh ich gefangen.

Ich habe eine gute Tat getan,
Voll Freude und Wohlwollens bin ich
Und nicht mehr einsam,
Nein, nicht mehr einsam.
Frohlocke, mein Herz!

FREMDE SIND WIR AUF DER ERDE ALLE

Tötet euch mit Dämpfen und mit Messern,
Schleudert Schrecken, hohe Heimatworte,
Werft dahin um Erde euer Leben!
Die Geliebte ist euch nicht gegeben.
Alle Lande werden zu Gewässern,
Unterm Fuß zerrinnen euch die Orte.

Mögen Städte aufwärts sich gestalten,
Niniveh, ein Gottestrotz von Steinen!
Ach, es ist ein Fluch in unserm Wallen...
Flüchtig muß vor uns das Feste fallen,
Was wir halten, ist nicht mehr zu halten,
Und am Ende bleibt uns nichts als Weinen.

Berge sind, und Flächen sind geduldig...
Staunen, wie wir auf und nieder weichen.
Fluß wird alles, wo wir eingezogen.
Wer zum Sein noch Mein sagt, ist betrogen.
Schuldvoll sind wir, und uns selber schuldig,
Unser Teil ist: Schuld, sie zu begleichen!

Mütter leben, daß sie uns entschwinden.
Und das Haus ist, daß es uns zerfalle.
Selige Blicke, daß sie uns entfliehen.
Selbst der Schlag des Herzens ist geliehen!
Fremde sind wir auf der Erde Alle,
Und es stirbt, womit wir uns verbinden.

я в плену у новой отчизны,
отчизны любви друг к другу.

Я сделал доброе дело,
я счастлив,
я преисполнен добра,
я больше не одинок,
нет, никогда...
Ликуй же, душа!

НА ЗЕМЛЕ ВЕДЬ ЧУЖЕЗЕМЦЫ ВСЕ МЫ

Умерщвляйтесь паром и ножами,
Устрашайтесь словом патриота,
Жертвуйте за эту землю жизнью!
Милая не поспешит за вами.
Страны обращаются в болота,
Ступишь шаг – вода фонтаном брызнет.
Пусть столиц заносятся химеры.
Ниневии каменной угрозы,
В суете не утопить унынья...
Не судьба – всегда стоять твердыне,
Меру знать становится не в меру,
В нашей власти только разве слезы.
Терпеливы горы и долины
И дивятся нашему смятенью.
Всюду топи, чуть пройдем мы мимо.
Слово «мой» ни с чем не совместимо.
Все в долгах мы и во всем повинны.
Наше дело – долга погашенье.
Мать залог того, что будем сиры.
Дом – ветшанья верная эмблема.
Знак любви неравный знак повсюду.
Даже сердца судороги – ссуды!
На земле ведь чужеземцы все мы,
Смертно все, что прикрепляет к миру.

DAS BLEIBENDE

Solang noch der Tatra wind leicht
Slowakische Blumen bestreicht,
Solang wirken Mädchen sie ein
In trauliche Buntstickerein.

Solang noch im Bayrischen Wald
Die Axt im Morgengraun hallt,
Solang auch der Einsame sitzt,
Der Gott und die Heiligen schnitzt.

Solang auf ligurischer Fahrt
Das Meer seine Fischer gewahrt,
Solang wird am Strande es schau
Die spitzenklöppelnden Fraun.

Ihr Völker der Erde, mich rührt
Das Bleibende, das ihr vollführt.
Ich selbst, ohne Volk, ohne Land,
Stütz nun meine Stirn in die Hand.

ВЕЧНОЕ

Пока меж камнями Карпат
Цветы молодые горят,
Узоры их будет хранить
Крестьянки прилежная нить.

Покуда в баварском бору
Топор звонко будит зарю,
Прочтем мы в суровой резьбе
О божьей и нашей судьбе.

Пока с рыбаками дружна
Лигурии южной волна,
Рыбачки сидят на песке
С коклюшками в смуглой руке.

Народы земли, только вам
Я славу и песню отдам.
А где мой народ? Где страна?
В моих волосах – седина.

Hugo Sonnenschein

MACH MICH BLIND

Mach mich blind,
irrsinnig oder zum Kind,
verwisch mir das Antlitz der Welt,
warum hast Du mich
lesen gelehrt in allen Zügen:
Mord im Antlitz des Mannes,
im Antlitz der Erde, der Welt,
Verbrechen im Antlitz des Weibes,
des Raumes, der Zeit;
aber Du: wo bist Du
im Antlitz der Welt,
Wehrloser, Ehrloser!?

Гуго Зонненшейн

ДАЙ МНЕ ОСЛЕПНУТЬ

Дай мне ослепнуть,
сойти с ума иль смириться,
жить в этом мире – пытка;
зачем Ты открыл мне
тайнопись его черт?
Убийство в чертах мужчины,
в чертах природы и мира,
низость в чертах у женщин
всех наций и всех эпох;
и нет в тех чертах жестоких
только Тебя, о Владыка
беспомощный и беспечный!

Hans Leifhelm

DIE STÄDTE

Ich lernte die Städte kennen mit ihrem gewaltigen Licht,
Die Städte mit dem uralten in Fels gehauenen Gesicht,
Die Städte mit ihrem chaotischen Wühlen und Widersinn,
Die Städte wie junge Herden in frühlinghaftem Beginn,

Die Städte gebaut aus Steinen, aus Holz, aus Glas und Stahl,
Die Städte mit heiligen Türmen, die mit
der Verdammnis Mal,
Ich sah auch die Städte, in die sich Seuche und Pest verbiß,
Vielhundert hab ich gesehen, da wurde mir Eines gewiß:

Daß es vermessen, mit Raten und Rechnen Städte zu baun,
Daß es geboten, die ewigen Zeichen anzuschauen,
Daß von geheimen Mächten den Städten Segen quillt,
Daß sie nicht alle Städte zu segnen sind gewillt.

Als die Etrusker bauten die Stadt auf des Berges First,
Da sprachen zu ihr beschworene Stimmen: du wächst,
du wirst!
Die heiligen Bilder schauten vom hohen Mauerring,
Die Städte stehen noch heute, soviel an Zeit verging.

Und Rom, die ewige Stadt, ist gebaut auf der Götter
Geheiß,
Sie liegt an den sieben Hügeln, die segnend sich
schließen zum Kreis,
Von hier auch zogen die Scharen, die städtegründenden,
aus,
Gesegnet von willigen Mächten, sie bauten fest ihr Haus.

Jerusalem, die heilige Stadt, ward vielfach verbrannt,
Die Kinder Jerusalems wurden in fremdes Land verbannt,
Sie kehrten zurück und ließen von ihrer Stadt nicht ab,
Sie legten sich, wenn sie starben, zu ihren Vätern
ins Grab.

Ганс Лейфгельм

ГОРОДА

Я изучил внимательно облики городов,
Их лица из древнего камня, неподвластного бегу годов,
Города, суматохой полные и бессмыслицей,—города,
Оживленные, как по весне резвящиеся стада.

Города из камня, из дерева, из бетона, стали, стекла,
Города, на башни которых печать проклятья

легла,

Города, пораженные мором, косящим рабов и владык,—
Я видел их многие сотни, но только одно постиг:

Созидать города по плану—все равно что сбивать гроба.
Только тот воздвигнется город, осенит который судьба,
И знак пошлет созидателям, их благородным трудам,—
А знак такой подается далеко не всем городам.

Когда новозданным городом венчалась горная высь,
Заклинали этруски древние: воздвигайся, расти, явьсь!
Лицами светлых богов городская сверкала стена,
Над ней оказались не властны ни люди, ни времена.

Не таков ли город великий, вечный средь вечных,
Рим,

Что был на семи холмах веленьем богов
творим,—

Тысячи созидателей шли отсюда в былые
года,

Священнодействуя, строить всё новые города.

Шалим, ни с чем не сравнимый, много раз погибал в огне,
Бездомные дети его прозябали в чужой стране,
Но любой ценой возвращались—чтобы в конце концов
В древнюю лечь могилу дедов своих и отцов.

Und andere Städte wieder, die wuchsen riesengroß,
Sie bargen ganze Völker in ihrem ummauerten Schoß,
Sie mußten sinken und sterben und in das Nichts vergehn,
Babylon, Ninive, Susa und die Herodot gesehn.

Theben, das hunderttorige, liegt heute begraben im Sand,
Palmyra, das golden glänzende, ist aus dem Gedächtnis
verbannt,
Thyrus und Sidon versanken, Karthago hat aufgehört,
Dem Königssitz Ravenna wurden die Tore zerstört.

Wie die Flut des Meeres so brandet die Zeit
an das Fundament,
Verloren die Städte, in denen das heilige Licht nicht brennt,
Verflucht die vermessenen Städte, die sonder Gnade
und Wahl
Aufwachsen im Schatten der Götzen und dienen dem Belial.

O sieh das Antlitz der Städte, das keine Versehrung spürt,
Denn seine Besinnung ist ewig und nicht von Verwesung
berührt –
Ihr Städte an magischen Strömen, an Küste und Golf
und Sund,
Die ihr mit klammernden Wurzeln tief ankert
im heiligen Grund –

Was auch an Irrsal und Wirrnis in euren Schöben quillt,
Ihr waret in eurem Antlitz ein unzerstörbares Bild,
Ihr steht und dauert, bis einmal die Zeit ihr Ende hat,
Aus euch will sich auferbauen die ewige, göttliche Stadt.

Не единожды возникали исполинские города,
Служившие домом народам, но сгинувшие без следа:
Ибо ничто не вечно, распадется все и падет –
Вавилон, Ниневия, Сузы – всё, о чем писал Геродот.

Даже стовратные Фивы истребил равнодушный рок,
Пальмиру златоблиставшую покрыл забвенья песок,
Пали и Тир и Сидон, Карфагена на картах нет,
Державный город Равенна в забвении сотни лет.

Века беспощадным приливом крушат кремень
и гранит,
Живет лишь то, что крупницу благословенья хранит,
Рано ли, поздно – приходят к одному и тому же концу
Те, что служат идолам злобы и золотому тельцу.

Зато посмотри на вечные, нетленные города,
Незыблемо пребывающие от века
и навсегда:
На реках и на проливах, на клочках блаженной
земли,
В которую изначально корнями они
вросли.

Рассеивается над вами за мира́жем мираж,
Но не подвержен тленью священный прообраз ваш,
И вы стоите, покуда века не провозвестят,
Что нет городов отныне, а есть лишь единый Град.

Josef Weinheber

JULI

O du goldnes Meer,
Weg aus heißem Licht,
wie von ungefähr
dämmernd zum Gedicht –

Weg aus weißem Licht
durch die Ähren weit.
Jeder Tag verspricht
tiefe Einsamkeit –

Tiefe Einsamkeit
gibt den Traum zurück,
und das Herz im Leid
ist das Herz im Glück.

Und das Herz im Leid
glüht so wunderbar,
wie ein Goldgeschmeid
über dunklem Haar –

Über dunklem Haar
in der Morgenfrüh,
eh dies Schwere war
von der Lindenblüh...

DEN TOTEN

Nachts fallen die Sterne,
goldene Tränen, in den Zypressenhain.

Dann senkt sich sanfter Mond
brüderlich zu den Hügeln hin
und schläft in einem Busch von wilden Rosen ein.

Йозеф Вайнхебер

ИЮЛЬ

О златой разлив,
о простор морской,
блещешь, просквозив
смутною строкой –

о, простор какой!
По лугам спеша,
ринуться в покой,
сердце отреша –

сердце отреша,
дав мечтам полет, –
и скорбит душа,
и душа поет.

И скорбя, душа
блещет, словно клад,
чувства всполоша,
словно темный взгляд –

словно темный взгляд,
словно ветра всхлип, –
тяжкий аромат
от цветущих лип...

МЕРТВЫМ

На листву кипарисов
золотыми слезами летит звездопад.

С братской лаской луна
подплывает к могилам
и в шиповнике диком отходит ко сну.

Der dunkle Wind nimmt alle Klage mit,
und auf erschauerndes Gras
legt er behutsam den Duft
ferner Narzissen nieder.

Wenn in den Weiden wieder der Morgen klingt,
begleiten die Amseln schluchzend sein Lied.
Aber die Blumen am Hügelweg
singen noch Nacht
und den Frieden jener Erlösten,
aus deren Staub sie entsprossen sind.

ALLERSEELEN

Düster im Friedhof flüstert der Herbst des Menschen
immer dieselbe Weisheit, und wir verstehen sie nicht. Gedicht,

Traurige Männer und Frauen gehen im Laubfall einher.
Auf den Steinen die Sprüche sprechen von Wiederkehr.

Blumen über die Hügel! Kerzen und Lichter darein!
Bis mit dem frühmüden Flügel fällt der Abend ein.

Ach, ihr Männer und Frauen, laßt! Es gibt keinen Trost.
Nichts für den elenden Menschen, den hier der Frost
umkost –

Nichts für den elenden Menschen, der drüben in
Alles dies ist vergeblich, rauscht es ahnend im Blut. Ewigkeit ruht.

Aber nicht daß wir sterben und daß wir Schatten sind,
nicht daß wir schwanken am Abgrund, der vor dem
Fuß beginnt – :

Daß wir nicht lesen wollen in der Heimsuchung Buch,
daß wir nicht gut sein können, ist unser bitterer Fluch

Eh wir nicht leidend schauen unsre gemeinsame Schuld,
dämmert keine Erlösung, gibt es nicht Hoffnung und Huld.

Темный ветер, печали собрав воедино,
по трепещущим травам
расстиляет в ночи аромат
далеких нарциссов.

Приходит рассвет на луга,
плачется черный дрозд,
но цветы у кладбищенских тропок
песню ночи поют
праху тех, кто спасен,
сквозь которых корнями они проросли.

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ

Над кладбищем осень шепчет простые слова стиха,
мудрость, к которой наша душа навеки глуха.

Мужчины и женщины скорбны, листва по ветру летит.
Обещают новую встречу изречения гранитных плит.

Букет у холмика вянет, свеча сгорает дотла,
покуда вечер не прынет на землю, сложив крыла.

Бесплодна скорбь человека – ибо ничто, никогда
людям не станет отплатой за наставшие холода.

Ничто никогда не утешит тех, кто в земле сейчас.
Всегда и всё бесполезно, и это – в крови у нас.

Не потому, что смертен каждый, и одинок,
не потому, что бездна разверста у наших ног,

но затем, что чашу страданья мы не смеем даже почать,
затем, что добра страшимся, что несем проклятья печать,

и за вину совместную не желаем держать ответ –
спасение нам не брезжит, надежды на милость нет.

Immer dieselbe Weisheit, und wir hören sie nicht.
Düster im Friedhof flüstert der Herbst des Menschen
Gedicht.

DIE TRÄNEN

- Oft in der Dämmerung, wenn die Fledermäuse fliegen,
wenn die Gebüsch im gespenstigen Zwielicht wehen,
die Häuser bleich sind in dem abendstumpfen Grün –
- Oft in der Dämmerung muß den Traumesweg ich gehen,
die Schatten Abgestorbner sehn, dem dunklen Tor
entstiegen,
danach ich immerzu auf bitterer Wandrung bin:
- Oft in der Dämmerung muß ich Stimmen klagen hören,
Gestöhn und Zischeln, Seufzer wirr und Schmerzenslallen,
das Weh der Mütter, der Verlaßnen stummen Schrei –
- Oft in der Dämmerung will es mir das Herz zerstören,
Gepreßt ist es von starrer Faust, und Tränen fallen,
Bluttränen, wo der düstre Zug mir zieht vorbei –
- Oft in der Dämmerung werde ich noch müssen wandern,
die Schatten müssen schaun, der Klagen Ruf
empfangen,
mit Sinnen, von der eignen Qual geschärft und hell –
- Oft in der Dämmerung. Traumhaft – bis ich eingegangen
im dunklen Tor, ein Schatten wie die andern,
erwachend in das Ende an der Tränen
Quell.

PERIPHERIE

Die gelben Häuser stauen sich an dem Rand.
Die Stadt mit müden Brauen erlischt im Land.

Мудрость, к которой наша душа навеки глуха.
Над кладбищем осень шепчет простые слова стиха.

СЛЕЗЫ

Так часто в сумерках, когда в кустах сирени
настанет час легко шуршать мышам летучим
и в зелени заснут поблекшие дома –

Так часто в сумерках бываю грезой мучим, –
от темных врат скользят чредою долгой тени,
и в горечь странствия манит немая тьма.

Так часто в сумерках, и горестно, и смутно,
то тяжкий слышу вздох, то материнский лепет,
то вопль, которого душе терпеть невмочь –

Так часто в сумерках рассудку неуютно,
и слезы падают, и множат в сердце трепет,
кровавых капли слез – по тем, спешащим в ночь.

Так часто в сумерках, в укор земному зренью,
я буду видеть их, внимать тоске и боли,
живыми чувствами терзаться на износ –

Так часто в сумерках. Но греза – лишь дотоле,
доколе не очнусь и сам такой же тенью,
у темных врат, прильнув к истоку вечных
слёз.

ОКРАИНА

Домишки здесь, у края, стоят, дремля,
здесь город, отмирая, глядит в поля, –

Der Wiesen Haut zerfressen in Gärten klein
schrumpft schwarz vom Gift der Essen, wie Wundenbrand.

Verdorrt Kinder spielen mit Stank und Staub.
Und Hände hart von Schwielen glühn rot im Laub.
Dürftige Blumen bleichen im Drahtverhau.
Laubhütten stehn wie Scheuchen dem Wind zum Raub.

In schwärzlicher Alleen Nachtwandelgruft
unruhig Mädchen gehen – Ein Vogel ruft –
Ihr Horchen hebt sich süchtig aus Brüsten spitz
und wandert irr und flüchtig durch tote Luft.

Der Abend schluckt Gesichter wie Pillen ein.
Am Hang die ersten Lichter sind krank und klein.
Der Wind vom Friedhof raubt sich den bittern Duft
der Toten und bestaubt sich mit morschem Bein.

Doch oben in den Ländern gestirnerblüht
ist Wandern von Gewändern, das wolkig glüht.
Und königliche Vögel mit Schwingen klar
steht als gestillte Segel im blauen Süd.

GASSE IN NEAPEL

Kürbisgürlanden und Melonenschnüre
verwirren sich an schmutzigen Altanen.
Zu ebner Erd entlaust bei offner Türe

ein Weib sein Jüngstes. Unter Wäschefahnen
reicht eine Mutter ihrem braunen Kinde
die Brust mit aller Freiheit der Romanen.

Dazwischen schrein die Esel, tobt das blinde
Gebrüll der Händler, und in dem Getöse
ist kein Schritt Platz, daß man sich dem entwinde.

Der geile Ruch von scharfem Ziegenkäse
mischt sich dem Dufte brodelnder Tomaten,
und auf dem Pflaster stinkt das Fischgekröse.

газоны палисадов больны вконец,
и от летучих ядов мертва земля.

И дети, подростки больны вокруг,
и застарело жестки мозоли рук,
набросан в каждый угол забытый сор,
молчат толпою пугал ряды лачуг.

Почти что по привычке приходят в парк
девицы-лунатички, – вороний карк, –
и жадно ловят взор твой, и прочь бредут,
сквозь мглу и воздух мертвый, всё шарк да шарк.

Обличья, как облатки, смывает мглой,
фонарные лампадки – во тьме гнилой.
С погоста ветер пыльный, таясь, ползет,
приносит дух могильный и праха слой.

Но лишь остынет воздух, падет роса –
опять в отборных звездах все небеса,
и птицы, что застыли средь вышины –
парят в закатном штиле, как паруса.

ПЕРЕУЛОК В НЕАПОЛЕ

Гирляндам тыквенным, а также дынным,
нет счета на балконах. Очень ловко
мамаша оттирает керосином

с дитяти вшей. Под бельевой веревкой
еще другая – грудь дает ребенку
с романскою свободой и сноровкой.

Ревет осел, притом во всю силенку,
разносчик вторит собственным наречьем.
Ни пяди нет, чтоб отойти в сторонку.

Здесь обонянью защититься нечем:
здесь чистят рыбу, помидоры варят,
воняет сыром, видимо, овечьим.

Ein Schmierfink mit den Augen von Piraten
streicht um die Tische, wo die Fische liegen
und träumt von einem billigen Sonntagsbraten.

Und über all dem brausen tausend Fliegen.

TOSKANISCHE LANDSCHAFT

Durch Hügel, überhaucht vom sanften Grau
vielreihig hingebreiteter Oliven,
verliert der Blick sich in das reinste Blau,
indeß der Ebene erhellte Tiefen,
besäet mit winziger Häuser weißer Saat,
sich in den Bord der fernen Berge dehnen,
und der Zypressen schwarzer Schattengrat
vielzackig aufragt, von den nahen Lehnen
die Ebene hinab bis an den Rand
des Horizonts, wo seine Türme bleichen:
Dort nimmt ein Himmel, milde ohnegleichen,
zu sich das große, heiligmäßige Land.

RÖMISCHE OSTERIA

Ein Gartenviereck, Weindach, Bambusstroh,
die Sessel gehen sämtlich in die Brüche.
Wer aus dem Straßenlärm verstört entfloh,
erstickt hier an dem Qualm der Abgerüche.

Die Fliegen surrn, ein Esel schreit fernwo
und trumpft das Gurgeln italienischer Flüche.
Der edle Rote macht mehr dumm als froh,
genossen zu der Qual der Römischen Küche.

Zwei schmale Kellner mit Papúahaar
stehn Cäsarposen: eine Katzenschar
hat eben meinen Rest vom Huhn verschlungen –.

Und plötzlich durch den Rausch und Stank und Streit,
von naher Kirche, schwer wie Ewigkeit,
ein Glockenton... Dröhnt, tönt – und ist verklungen.

Торговец, как пират, глядит на скаред,
и, кажется, мечтает с голодухи,
как в воскресенье мяса кус поджарит.

И тучами висят и вьются мухи.

ТОСКАНСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Страна холмов и солнечных долин;
простор голубизны очам отраден:
мерцают серебром ряды маслин,
и вся равнина до малейших впадин,
засеянная зернами домов,
приподымаясь, тянется к отрогам,—
и кипарисный гребень вдоль холмов
на склоне обрывается пологом,—
а взор уже уходит в глубину,
на горизонт, туда, где башни дремлют,
где небеса огромные объемлют
просторную и древнюю страну.

РИМСКАЯ ОСТЕРИЯ

Увиты стены виноградом сплошь,
ряды столов и хромоногих кресел.
Здесь отдыха не будет ни на грош,
но чад тебя от Рима занавесил,

от мух жужжащих, от багровых рож,—
довольно: погулял, покуролесил.
Но красное зазря в охотку пьешь—
становишься скорее туп, чем весел.

Два кельнера не движутся с постов,
как цезари: меж тем отряд котов
на свежие обглодки налетает.

Дурман, скандал и вонь: однако вдруг
от ближней церкви колокола звук,
тяжел, как вечность—прогремит и тает.

AUF EINE WIENERIN

Heiter, ohne Schwere,
wo auf Erden wäre
jene stille Größe, die dich ehrt;
diese Leidensreine,
und im Glück dies feine
Lächeln, noch im Makel liebenswert?

Soviel Anmut lassen,
soviel Welt-erfassen
dieser Landschaft Genien nicht im Stich:
Die den Strom bewohnen
und die Hügelkronen,
gute Göttlichkeiten schützen dich.

Wenn ich leise klage
um die alten Tage,
nimm es als ein Teil des Wieners hin!
Hätt ich nicht dem Herzen
diese *Lust* der Schmerzen,
liebt ich denn in dir die Wienerin?

Dir, der ewig Jungen,
tief ins Blut gedrungen
ist der Kunst geheimnisvolles Reich.
Aufgelöst im Tanze
zeigst du unsre ganze
Künstlergabe, warm und rhythmisch,

die am Quell des Lebens
lebt und süßen Schwebens
noch den Alltag adelt mit Musik:
Aller Weisheit Krone,
bitterer Zeit zum Hohne
gibst du sie der bitteren Zeit zurück.

Laß mich ruhig klagen!
Deine Augen sagen
mir den Sieg der Schönheit stolz voraus.
Ewig unverloren,
Stadt, die dich geboren,
und gesegnet bis ans letzte Haus!

УРОЖЕНКЕ ВЕНЫ

Всё твое обличье –
нежность и величье,
страстью озарен прозрачный взор, –
ты чиста, спокойна,
ты любви достойна,
даже и познавшая позор.

Красоту не судят!
Гений места будет
верным покровителем тебе, –
и речным и горным
духом он покорным
да присутствует в твоей судьбе.

Ты простишь мне, знаю,
то, что вспоминаю
прошлое, и в этом так упрям:
слишком сокровенно
то, что дарит Вена
сыновьям своим и дочерям.

Вечно юной венке
ведомы оттенки
чувств, не воплощаемых в слова, –
в грации, в улыбке
длится танец гибкий, –
ты в движенье каждом такова,

что к живым истокам
можешь ненароком
путь забытый обозначить нам;
смысл первоначальный
жизни беспечальной
нашим горьким даришь временам.

Сердцу дай пощаду!
Ты являешь взгляду
символ победившей красоты –
и благословенна
радостная Вена –
город, где на свет явилась ты!

DIE PENSIONISTEN

Die Pensionisten, wie eh und je,
in Schönbrunn, auf dem Ring, in der Hauptallee,
mit dem weißen Bart und dem weißen Haar,
die leben das Leben, das gestern war.
Die Zeit ist fort, und das Blut geht leis
und rauscht eine lang verklungene Weis.

Sie gehen gemessenen Schritts, zwei, drei
in einer Reih und plaudern dabei.
Der Rang, der Dienst, der Ruhegenuß,
das schwache Auge, der steife Fuß–
und sie machen exakt am gleichen Ort kehrt
und grüßen einander hochgeehrt.

Sie sitzen im prachtvollen Sonnenschein
und schauen mitunter ganz kaiserlich drein.
Und auf einmal zeigt so ein alter Rat
einen Ring, eine Nadel, die er noch hat
von Seiner Majestät. Und ein Flüstern geht
herum wie ein Gebet.

Sie stehen oft Stunden an einem Platz
und locken die Vögel zu zärtlicher Atz,
und schwuppt ein Fink nach dem Bröserl und holts,
dann dreht sich der Alte in richtigem Stolz,
als wollt er sagen: „Nun, bitte sehr,
was tät das Viecherl, wenn ich nicht wär.“

Die Zeit ist fort, und das Blut geht leis
und rauscht eine lang verklungene Weis.
Die Pensionisten wie eh und je,
in Schönbrunn, auf dem Ring, in der Hauptallee,
mit dem weißen Bart und dem weißen Haar,
die leben ein Leben, das schöner war...

ПЕНСИОНЕРЫ

Пенсионеры, — они без конца
в Шёнбрунне гуляют вдоль Кольца,
по Главной аллее, — седые, с утра:
жизнью живут, что была вчера.
Время промчалось, кровь укротив,
но длится давно замолкший мотив.

Размеренный шаг: и-раз, и-два,
заучены жесты, привычны слова.
Должность и чин, и общественный вес —
слабое зренье, жесткий протез,
медленный поворот каблуков,
предельный респект взаимных кивков.

Роскошное солнце, зелень, тишь.
Присаживаются, блюдя престиж.
Кто-нибудь — важное в прошлом лицо —
покажет булавку или кольцо,
что император вручил ему.
Шепот подобен псалму.

Бывает, иной часами стоит,
ждет, чтоб у птичек взыграл аппетит,
наконец попотчует воробья,
говорит всем видом: «Кто, как не я,
питал бы этих пичужек-бедняг?
Не выжить бы им без меня никак!»

Время промчалось, кровь укротив,
но длится давно замолкший мотив.
Пенсионеры — они без конца
по Главной аллее и вдоль Кольца,
седые, медленно бродят с утра —
живут своим прекрасным вчера...

Hans Kaltneker

DER MORD

Ein Bahndamm. Telegraphendrähte schwirren.
Lokomotivernpfiff. Gewölk. Grau. Drohend.
Fabriken. Rauchend. Hammerlaut. Zornlohend.
Rostrote Schwaden, die um Schlote irren.

Breit wuchtet vor dem Horizont die Stadt.
Qualgelbe Quadern. Mauern. Türme. Gassen
mit geilen Hunden, Menschen, die sich hassen
und nehmen und verprassen. Einer hat

ein Messer in der Hosentasche. Lauert
am Damm im Dunklen. Sprungbereit. Das Knie
am Boden festgestemmt. Heiß von der Not

des Blutes. Wartet. Fern die Melodie
des Hammers, der auf Eisen niederschauert.
Schritte--Ein Sprung. Ein Stoß! Ein Schrei!!--Ein Tod.

Ганс Кальтнекер

УБИЙСТВО

Свистки и гарь. Локомотива вздохи
и телеграфов перестук тревожный.
Гул фабрик. Скрежет железнодорожный.
И бурые над трубами сполохи.

Врастает город в горизонт. Вокзал.
Тень жмётся к желтым нишам и парадным,
где запах псины, ненависть, да рядом
с транжиром крохобор. Вон тот зажал

в кармане нож; тот стал на кромку ночи,
чтоб шаг во мглу был точен и упруг,
но ватных ног не отпускает твердь.

Лишь кровь стучит. Он медлит. Дальний звук
– двух молоточков музыка – все громче...
Шаги – прыжок – удар – мгновенье – смерть.

Ernst Waldinger

MAJDANEK

Ach, hier versagt das Wort:
Wer redet hier noch frech von Übertreibung?
Kein Dante wagte sich an die Beschreibung
Der Überhölle hier; denn dieser Ort,
Der Name schon, scheucht jeden Zweifel fort:
Nicht Gott hat je die Hölle aufgerichtet,
Der Mensch erschuf sie, wie er sie erdichtet.

Ach, hier versagt das Wort:
Die Technik tötet sprachlos-Kinder? Greise?
Wen schert das schon im letzten Höllenkreise?
Kain triumphiert, und unser Herz verdorrt.
Doch Glaube sucht nach einem Heil und Hort:
Und zag durchraunt ein Echo die Verliese
Und träumt im Schlachthaus noch vom Paradiese.

EIN PFERD IN DER 47. STRASSE

Es regnet, und ein Strom von Schirmen zieht.
Fifth Avenue and Forty-seventh Street.

Um Mittag spein die Tore Schar um Schar:
Nach Gummimänteln riecht das Trottoir;

Nach feuchtem Müll die Straße, nach Benzin;
Verkehrskolonnen hupen drüber hin;

Nun halten sie; im nassen Asphalt schaut
Ein Autochaos spiegelnd sich und staut

Sich starr, als ob es eingefroren sei:
Das grüne Licht gibt mir die Straße frei.

Эрнст Вальдингер

МАЙДАНЕК

Беспомощны слова:
Кто там кричит о преувеличенье?
Какому Данту и в каком виденье
Предстал бы этот супер-ад? Молва
Немеет в этом месте, где мертва
Сама земля. Одно лишь несомненно:
Не бог, но человек возвел геенну.

Беспомощны слова:
Убийце-технике чужда пощада –
И все равны в последнем круге ада
В годовину Каинова торжества.
Однако вера все-таки жива,
Мечту о вечном благе простирая
Из чрева бойни в беспредельность рая.

ЛОШАДЬ НА 47-й УЛИЦЕ

Струится дождь по куполу зонта.
И в полдень разверзаются ворота,

Толпу выплевывая за толпой,
Где угол пятой и сорок седьмой.

Бензиново-резиновый угар
Как бы впитался в мокрый тротуар.

Поток машин, текущий с двух сторон,
Застыл внезапно, в глянце отражен

Асфальтовом, и через этот лед
Прохожего зеленый свет ведет.

Von Menschenwogen werd ich mitgeschwemmt—
Da stock ich jäh, denn irgendwas ist fremd;

Inmitten der Mechanik Segensfluch,
Riech ich vergeßnen, guten Roßgeruch:

Wahrhaftig, zwischen Autos ragt ein Gaul,
Mit plumpen Hufen, ruhelosem Maul.

Hat er mir nicht soeben zugnickt?
Mit müden Augen so mich angeblickt,

Als ständ zu fragen dumpf in seinem Sinn:
Bist du so einsam hier, wie ich es bin?

NACHTS AM HUDSON

Noch eben rollte er im breiten Schwall
Aus glühendem Abendgold, flankiert von Klippen
Und Fensterreihn; umgittert von den Rippen
Der Türme fingen sie den Sonnenball.

Nun ist es Nacht; es kollert Widerhall
Von Zügen, untergrund; und Krane kippen
Mit Golem-Armen; wie von Fieberlippen
Stöhnt einer Schiffssirene dumpfer Schall.

Und doch, wie ich im Grase sinnend lieg,
Fließt nun der dunkle Strom an mir vorbei,
Als ob's noch in der Urwaldlandschaft sei:

Kein Großstadt-Dschungel, kein Maschinenkrieg!
In ewig-unentzifferbaren Sigeln
Seh ich die Sterne sich im Wasser spiegeln.

Но я, подхваченный людской волной,
Вдруг замер посредине мостовой:

Забытый конский запах долетел
Сквозь вонь стальных автомобильных тел.

Откуда взяться этому коню
На перекрестке стрит и авеню?

Кивнул иль только показалось мне?
Взглянул, как будто мы наедине.

И понял я, что он сказать не смог:
Ты здесь, как я,—не так же ль одинок?

НОЧЬЮ У ГУДЗОНА

Еще на глянце медленной волны
Видна заката золотая мета,
И отблесками солнечного света
Прибрежных башен окна зажжены.

Но скоро в сумерках ночной страны
Дневная успокоится планета.
Лишь пароходный стон раздастся где-то
Из угольной, утробной глубины.

И я на этих берегах—один,
Как будто нет и не было на них
Ни закоптелых джунглей городских,
Ни клекота стервятников-машин.

И звезд нерасшифрованные знаки
Незримая вода струит во мраке.

Johannes Urzidil

OB DIE MANDEL NOCH BLÜHT

Ob die Mandel noch blüht
unter den Säulen Girgentis?
Ob die Linde noch schäumt
neben dem böhmischen Dorf?
Ob der Ölbaum noch graut
ober der Bucht von Sorrento?
Ob die Fichte noch grünt
über dem Auge des Sees?

Ja, zum dreißigstenmal
barsten der Mandel die Früchte.
Ja, von Bienen durchschwärmt
schattet die Linde den Grund.
Ja, verschwendend zur Bucht
regnen die schwarzen Oliven.
Ja, im harzigen Duft
schwebt die Vanessa am See.

Eine Sonne beschien
zehntausendmale die Tempel
und ein kühlender Mond
glättete segnend das Öl,
ewig läuten die Bienen
und immer träufeln die Harze.
Du vergehst, doch sie sind.
Sie vergehn, doch du bist.

* * *

Was die Wurzeln unter die Erde tun,
wer weiß es?
Wieviel Tote unter dem Tanzplatz ruhn,
wer weiß es?

Иоханнес Урцидиль

* * *

Ты цветешь ли, миндаль,
возле колонн Агридженто?
Липа, ты ли роняешь
над богемским селом лепестки?
Ты, олива, глядишь ли
с горы в соррентинскую бухту?
Над зрачком озера
ты, сосна, зелена ли сейчас?

Да, миндаль осыпает
плоды по тридцатому разу.
Да, в пчелином рою
блаженная липа стоит.
Да, по склону к воде
черные мчатся маслины.
Да, ванесса парит
и над озером пахнет смолой.

Солнце в десятитысячный раз
озаряет ступени храма,
и олива к устам
маслянистой прохладою льнет,
вечно пчелы жужжат
и по капле стекает живица.
Ты уходишь — они остаются.
Им пройти — остаться тебе.

* * *

Что делают корни в глубинной мгле —
кто знает?
Сколько мертвых под танцплощадкой, в земле —
кто знает?

Wann der Wein reift für deinen letzten Krug,
wer weiß es?
Wie der letzte Blitz den Sommer zerschlug,
wer weiß es?

Von Erz und doch wandelbar ist die Welt
wie Wolken und Schmetterlinge.
Wer Mensch und Ding nicht in Händen hält,
den zerbrechen Menschen und Dinge.

Die Dinge selbst hat noch kein Auge gesehn,
nur die Grenzen konnt es erkennen.
Den Menschen selbst kann keiner verstehn,
nur mit Namen kann er ihn nennen.

Wenn ein Vogellied klingt, eine Wolke verschwebt,
wer weiß es,
wie ein Ton und Form in sich selber nur lebt?
Wem der Atem der Erde sich senkt und hebt,
wer weiß es?

Где последнее зреет твое вино,
кто знает?
Как молнии лето убить дано,
кто знает?

Переменчивей облака и мотылька
мира обличье нагое.
Человека и вещь не удержит рука,
сотворившая то и другое.

Зренья нет у вещей, что навеки в плену
состояния, пребывания.
Человек — из вещей не поймет ни одну:
он всего лишь дает им названья.

То ли облако в небе, то ли птица вдали,
кто знает?
Форма и звук — лишь себя обрели.
Кто сумеет расслышать дыханье земли,
кто знает?

Theodor Kramer

DIE GAUNERZINKE

Die stillste Straße komm ich her,
im Schluchtenfluß die Otter schreit.
Mein Schnappsack ist dem Bund zu leer,
Gehöfte stehen Meilen weit.
Im Kotter saß ich gestern noch
und tret ins Tor im Abendrot
und weiß im Jancker Loch um Loch
und bitte nur ganz still um Brot.

Und dem, der hart mich weist ins Land,
dem mal ich an die Wand ein Haus—
und vor das Haus steil eine Hand;
die Hand wächst übers Haus hinaus.
Hier, seht, hier bat—und bat nur stumm
— nach mir, ihr Brüder,—eine Hand.
Und einer geht ums Haus herum
und einer setzt's einst nachts in Brand.

DIE ORGEL AUS STAUB

Grell flutet das Licht, und die Lehne ist heiß,
sacht fällt von den Kieseln der Sand;
der Wind schuppt den Rasen und stiehlt sich mir leis
durchs Hohle der hängenden Hand.
Das ist so der Sonntag für den, der nichts hat.
Die Wege sind sommerlich leer;
gedämpft dringt der Lärm der verlassenen Stadt
durchs Dornsieb des Parkgitters her.

Weiß segeln die Wolken den Hügeln zu, grün
verdorr't vor den Bänken das Laub;
der Blust der Akazien, die gläsern verblüht,
tropft hin und schleift dürr durch den Staub.

Теодор Крамер

УСЛОВНЫЙ ЗНАК

Проселком, не спеша, бреду.
Гадючий свист на пустыре.
Поди-ка, утаи нужду –
дыра в одежке на дыре.
Так от дверей и до дверей
бреду с утра и до утра,
и только горстку сухарей
прошу у каждого двора.

А кто не даст ни крошки мне –
того нисколько не браню:
рисую домик на стене,
а сверху дома – пятерню:
здесь не хотели мне помочь,
смотрите, вот моя рука.
Заметят этот знак – и в ночь
сюда подпустят огонька.

ШАРМАНКА ИЗ ПЫЛИ

От света и зноя земля горяча,
трещат, рассыхаясь, скамьи,
и ветер, желтеющий дерн щекоча,
проходит сквозь пальцы мои.
Итак, это, стало быть, день выходной
для тех, кто ничтожен и нищ.
Стучатся в ограду волна за волной
шум улиц и гомон жилищ.

Размеренно кружатся тучки вдали,
листва выгорает дотла.
С акаций летят лепестки и в пыли
блестят, словно капли стекла.

Das dreht sich zutaub wie ein Drehorgellied
und läßt meinen Gaumen schier Wein
und Lebkuchen schmecken und schwillt und bezieht
Gewölbe und Gras in sich ein.

Unsichtbare Orgel aus Staub; daß es nicht
mir abdrückt das Herz, laß aufstehn
mich Nichtigen und mit verhängtem Gesicht
dir stockend die Kurbel andrehn.

Ins Seegras des Sofas, daß allen es klingt,
greift schütternd dein schartiger Zahn;
spröd federt die alte Matratze... es singt
gesprungen noch, was ich getan.

Reich sind bis ans Ende die Tage... ein Griff,
ein Werkeln, solange ich noch steh:
da schwebt übers Koksfield der Uferbahnpfiff,
da rauscht hinterm Bau die Allee.
Da fällt aus den Fugen des Fensters der Kitt,
der Firnis springt brüchig vom Schild,
springt mitten ins Lied, und der Span dreht sich mit
und singt, daß die Träne mir quillt.

NEUSIEDLERSEE

Gegen Abend zog über den Neusiedlersee
aus den Rieden ein glutiger Wind;
weiß und hohl war die Nacht vor Getöse und Schaum,
erst im Zwielight des Morgens verebbte der Saum,
und der Spiegel stand still und glomm blind.

Seltsam sandig und fahl, als der Dunst sich verzog,
lag der See bis nach Ungarn hinein;
wo die Rinne die Flut sonst durchschnitt, starrte Sand,
und das Schilf schloß sich draußen zum Wall und
zur Wand,
und seicht glänzte, was See war, und klein.

Und der Schlamm ward lebendig und schlug in die Höh
mit den Flossen und schnappte um sich;

И кажется – голос шарманки возник
в неспешном кружении дня,
вином и коврижкой лаская язык,
кружа и листву, и меня.

Шарманка незримая, ты наяву
из пыли поешь мне, и впредь
позволь позабыть, что на свете живу,
и ручку твою завертеть.
С зубцами незримого вала сцепясь,
комод и корзина с бельем
поют, образуя высокую связь
с набивкой в матрасе моем.

Так будем щедры... Пусть всю жизнь напролет
зазубренный крутится вал!
И вот паровозный свисток запоёт,
трава зашумит возле шпал,
уронит замазку разохшийся паз,
и вся эта пыль вразнобой
посыплется в песню, и слезы из глаз
покатятся сами собой.

ОЗЕРО НОЙЗИДЛЕРЗЕЕ

Поздно ночью, с кочкарника, с плавней сырых,
душный ветер внезапно подул.
Переполнилась пеной пустынная тьма,
и лизала песок водяная кайма,
донося нарастающий гул.

Отступала куда-то озерная зыбь,
чуть поблескивая, как слюда,
и до самой венгерской границы пески
обнажались, намытые руслом реки,
и спадала, спадала вода.

Чешуей забурлил, ошетинился ил,
исчезающей влаге вослед,

ganze Schwärme von Möwen zog plötzlich es her,
und die Luft hing von heiseren Schreien so schwer
überm See, daß die Sonne verblich.

Von den Ufern her watete laut man bald nach
und verjagte die Schnäbel ein Stück;
wo sie aufstiegen, glänzte es schuppig und nackt,
doch sie hatten die Augen dem Glanz ausgehackt,
und stumm wichen die Leute zurück.

Bleiern spiegelte fern sich ihr See in der Luft,
klebrig faßten sich Reben und Strauch
in den Weinrieden an, und man ließ es genug
sein für heut; aus dem tümplingen Seefeld her trug
nachts der Wind einen pestigen Hauch.

*VON GROSSEN FICHTENSTERBEN
VOR VITSCHAU*

In den Junitagen tauchten mit den Schleichen
Falter auf, wie nie die Forste sie gesehn;
schwarz gebändert glühten ihre Flügelzeichen,
einem finstren Schneefall glich ihr schweres Wehn.

In die brauen Borken senkten sie die Eier,
mehlig aus den Stämmen stob das Larvenbrot;
seltsam spannten sich die weißen Nonnenschleier
und sie dämpften rings der Nadeln fahles Rot.

Wo ein guter Wind das Astgespinst verwehte,
zog man einen schwarzen Ring aus Raupentau
um den Stamm; der Specht hieb und der Häher krächte,
rauschend starben rings die Forste von Vitschau.

Aus dem blauen Herbstrauch sanken dürr die Scharen
nieder und der Schnee zog über sie ins Land;
aber in den Stämmen, die zerfressen waren,
rauschte es, das Märzlicht fand sie ausgebrannt.

Was dem Astgespinst entkroch an jungen Nonnen,
strebte schläfrig-schlaff den kahlen Wipfeln zu,

и над озером чайчий вихорь повис,
то взлетая, то хлопьями падая вниз,
застилая пришедший рассвет.

Птицы жадною тучей слетелись сюда,
чтоб сожрать хоть кусок про запас,
и ушли, одурев, огрузнев от возни,
всю озерную ширь исклевали они,
и не место здесь людям сейчас.

И свинцом отражается в небе вода,
и земля прибирается тьмой.
Виноград, что ни день, все зрелей и зрелей,
но не время об этом: с озерных полей
снова тянет гнильем и чумой.

О ВЕЛИКОЙ ГИБЕЛИ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ ВОЗЛЕ ВИТШАУ

Ранним утром объявились в хвойных чащах
ненасытные чужие мотыльки.
Туча полчищ, беспокойно шебуршащих,
черным снегом облепила сосняки.

Крыльца черные топорща, словно рясу,
грызли ветви до подкорья, вполсыта,
от вьедающихся жвал не стало спасу,
и на хвою напознала краснота.

Даже ветер перед ними был бессилен,
цепи гусениц свивались в пояса,
дятлы яростно стучали, ухал филин —
умирали обреченные леса.

В дымке осени от комлей и до сучьев
разносился гул, протяжный и глухой,
дерева, сухие ветви скорбно скрючив,
ждали только, чтоб рассыпаться трухой.

Чернорясники в оцепененье сонном
прекращали класть яички под кору,

ohne Brut zu lassen, und wie ausgeronnen
hingen sie herab und schwarz war ihre Ruh.

Ohne ihrem Fraß, geballt zu großen Klumpen,
nachzugehn, verjauchte baumelnd ihre Haft;
und bis in den Herbst troff von den Wipfelstumpen
auf den Nadelgrund ihr klebrig-schwarzer Saft.

DIE KRÄUTLERIN

Am Bach hinterm Dorf, wo die Wege sich zweigen
und mählich die Leiten zum Wald hinaufsteigen,
tritt schwärzlich in Schroffen das Urgestein aus,
steht windschief und rissig der Kräutlerin Haus.

Der Seller, die Bohnen, die sich an den Stecken
im Gärtchen hier ranken, gehörn noch zum Flecken;
der Farn aber, der im verwitterten Spalt
vorm Häusel sich büschelt, gehört schon zum Wald,

zum Wald, der das Weib in den dürftigen Hüllen
im Frühjahr mit Lorcheln, und Morcheln läßt füllen
den Korb und mit Beeren bis in dem August
die bauchigen Kruken, mit moosiger Krust

und Flechten und Klaubholz am Rücken die Tragen,
wann schwarz in den Eiswind die Föhren dann ragen.
Wie sie den Wald aufsucht, gehört er zu ihr;
verhutzelt und scheu, ist sie weiß wie ein Tier

und kennt alle Wurzeln, die herben und geilen,
die Kräuter, die töten, die Kräuter, die heilen,
das bittere Moos auf dem Fels in der Schlucht,
das höllische Kornlein, das abtreibt die Frucht.

Und wann durch das Schmalz schaut der Boden im Topf,
kein Kukuruzzähnchen der Gans füllt den Kropf,
im eisigsten Februar kann sie bestehn:
der Wald vor der Tür läßt sein Kind nicht vergehn.

отползали по чешуйкам к лысым кронам,
замирали, коченея на ветру.

И, наполняя воздух запахом погостным,
подыхали без жратвы, всю осень тек
на смерзающийся грунт по голым соснам
черной патокой гнилой и липкий сок.

ТРАВНИЦА

Где тропка петляет к ручью за деревней,
где скалы крошатся опокою древней
и держатся в скалах деревья с трудом—
стоит покосившийся травницын дом.

Хвосты сельдерея, фасоль и редиска
еще говорят—человечество близко,
но папорть, хозяйственным планам вразрез,
под окна решительно выдвинул лес,

тот самый, что женщине в рваной одежке
сморчки поставляет весной для кормежки,
до осени—ягоду в горла корчаг
ссыпает не скупю; зимою—сушняк

для печки дает приношением щедрым,
покуда метели гуляют по кедром.
Дремучим чащобам и дочь, и сестра,
как зверь нелюдима и так же мудра,

находит почти что без помощи зренья
заветные зелья и злые коренья,
и то, что лекарство, и то, что еда,
и то, чем врачуется бабья нужда.

Февраль, и доедена пшенка, и смальца
в корчаге осталось едва на полпальца,
но лес, обрядившийся в иней и наст,
согреет, прокормит, в обиду не даст.

DER KRIEGSGEFANGENE

Er war mit dem Trupp der Eskorte gekommen
zur Heumahd ins Bergdorf in brauner Montur;
er hatte das Brachfeld in Arbeit genommen
auf herrnlosem Hof und geglättet den Flur.
Er hatte, belassen als Knecht, vor die Wächten
den Riegel gemauert im herbstlichen Tau
und über den Winter in einsamen Nächten
gegraben im holzigen Acker der Frau.

Und als sich die ersten Verschollenen zeigten,
war bald auf dem Berghof für ihn kein Verbleib;
die Frau schnitt das Flachshemd zurecht dem Geneigten
und buk Met und Dörrbirnen ein in den Laib.
Wohl sammelte rings man die fremden Gemeinen;
für ihn aber war es zur Rückkehr zu spät.
Ihm hatte das Jahr zwischen Krummholz und Steinen
den Sinn für die engere Heimat verweht.

Durchs Kohlblatt erglänzte, unsägliche Milde,
der Butterzopf, den er zum Abschied empfing;
es war, daß das Kreuz, das sie schlug, im Gefilde
ihm schmerzhaft noch lang vor der Herzgrube hing.
Ihm war es, als rührte sein schwächtiger Stecken
weithin übers Vorland an jeglichen Keim;
und jahrelang zog er von Flecken zu Flecken,
am Sensenschaft allorts und nirgends daheim.

AN EINER UNTERGRUNDBAHNSTATION

Wie sie alle schlafen,
wie sie alle schlafen,
auf geflochtenen Matten ausgestreckt,
ihre Siebensachen
neben sich, den flachen
Leib mit Daun' und Mänteln zugedeckt.

Schal streicht oft ein Saugen
durch den Schacht, die Augen
blinzeln bleiern im gedämpften Licht;

ВОЕННОПЛЕННЫЙ

Он в горы с конвоем пришел, к сенокосу,
в мундире еще, чтоб трудиться, как все,
покуда хозяин спасает державу—
расчистил бы непахь к осенней росе,
чтоб истово пни корчевал в непогоду,
справлял бы в хозяйстве любую нужду,
чтоб в зимние ночи, хозяйке в угоду,
по залежи горестной вел борозду.

Однако на фронте поставили точку,
хозяин вернулся: такие дела.
Хозяйка ему подарила сорочку
и с грушами штрудель в дорогу спекла.
Вот тут ему шкуру как раз и спасти бы,
не место в хозяйском доме чужаку,—
но год, проведенный средь горной усадьбы,
развеял по родине дальней тоску.

В капустном листе—настоящее масло,
по-щедрому, так, что не съешь за присест;
однако горело в душе и не гасло
прощанье, хозяйкин напутственный крест.
И странную жизнь он себе предназначил:
в единую нитку сливались года,
он вместе с косцами по весям батрачил,
однако домой не ушел никогда.

НА СТАНЦИИ ЛОНДОНСКОЙ ПОДЗЕМКИ

Как же спят устало,
как же спят устало,
кажется, при всех своих вещах,
сотни исхудалых,
в старых одеялах,
в пыльниках и трепаных плащах.

Шорох монотонный,
вентиляционный,
лампочки, тусклее, чем всегда,

die nach langen Pausen
dumpf vorüberbrausen,
die schon späten Züge störn'n sie nicht.

Ihre kleinen Zimmer,
manches Ding, das Schimmer
lieh dem Leben, alles ist nicht mehr
und die Bessres hätten,
aber hier sich betten,
ach, wie elend sind erst sie und leer.

Wie sie alle schlafen,
wie sie alle schlafen,
Mann, Weib, Kind geheiligt durch ihr Leid;
als die Dächer barsten
und der Stadt Verkarsten
anhob, war ich fern in Sicherheit.

Wo es riecht nach Asche,
wo ich nun mich wasche
früh im Finstern, bin ich ihnen nah,
will ich nicht die Gassen
dieser Stadt verlassen,
mag gescheh'n, was ihnen einst geschah.

DAS BAHNCAFÉ

Wenn deine Einlag im Büchel die Summe erreicht,
heiraten wir, und bevor noch der Monat verstreicht,
wird hier gekündigt – wir haben genug hier getan,
pachten ein kleines Café gegenüber der Bahn;

eins, wo die Schwingtür, Marie, niemals aufhört zu gehn,
wo wir fast nie einen Gast noch ein zweites Mal sehn;
wenn ich dann Chef bin und wenn du dann sitzt
am Buffet,
laß mir die Köchin nicht urassen mit dem Kaffee.

Merk dir das eine: serviert werden muß dort geschwind,
wie das Geschlader auch schmecken mag; denn wie
im Wind

светят еле-еле,
и, спеша в туннели,
не тревожат спящих поезда.

Как же стал им дорог
свет родных каморок,
прежние, безоблачные дни;
вижу их, на матах
тяжким сном объятых,
как печальны, как бедны они!

Как же спят устало,
как же спят устало
люди здесь в военную грозу,—
бомбами распорот
их злосчастный город,
и спокойно только здесь, внизу.

Но уйти рискую
в темень городскую,—
пусть сирены вой еще не стих,—
там, борясь со страхом,
я умоюсь прахом:
будь что будет—я один из них.

ПРИВОКЗАЛЬНОЕ КАФЕ

Ежели ты капиталец собьешь небольшой,
знаешь, поженимся,—и с дорогою душой
вместе оформим расчет, месяцок отдохнем,
снимем кафе у вокзала, устроимся в нем.

Будет открытой все время наружная дверь,
вряд ли кто дважды зайдет между тем, уж поверь.
Я—за хозяина, ты—при буфете, Мари;
кофе, гляди, эконошь да послабже вари.

Сервировать побыстрей—это важный момент;
что ни подай—не распробует в спешке клиент,

sitzen die Gäste und halten den Koffer am Griff,
schaun auf die Uhr, und es leert das Lokal oft ein Pfiff.

Altbacken sein, wenn nur dreizehn aufs Dutzend uns gehn,
dürfen die Semmeln, die Butter darf reiß sein vom Stehn,
spörr darf das Wurstzeug sein, wenn man's nur billig
erhält;
lieblos und karg sein darf alles, mach rasch ich nur Geld.

Schippelweis bleiben am Morgen im Kamm mir die Haar,
hart wird dein Mund, und dein Busen ist nicht, was
er war;
haben vom Leben, bevor mir versagen die Knie,
möcht ich noch gern was. Drum spar nur recht fleißig,
Marie.

ABSCHAFFUNG

Barbara Chlum, ohne Mantel, die Schnürschuhe offen,
Stickerin, arbeitslos, ledig, zuständig nach Frain,
wurde im Hotel in Gesellschaft betroffen,
und sie besaß nebst zwei Groschen hierfür keinen Schein.

Barbara Chlum mußte mit auf das Sittenamt kommen;
und als ihr Körper nicht Spuren von Krankheit aufwies,
wurde vom Herrn Kommissär sie persönlich vernommen,
der sie verwarnte und weiter des Landes verwies.

Auf sein Geheiß fuhr mit ihr ein Beamter nach Mauer,
setzte sie ab und verschwand in das Weichbild der Stadt.
Barbara Chlum fand Quartier auf drei Tage beim Bauer,
aber sie war auch nachher noch zur Ernte zu matt.

Barbara Chlum kam die Straße der Stadt zugeflossen;
aber sie dachte an das, was der Herr Kommissär

если сидит на иголках, торопится он
и по свистку на перрон выметается вон.

Фарш – третьесортный, а с булок – вернейший доход:
черствых тринадцать на дюжину пекарь дает,
ёлкое масло -- дохода другая статья:
твердую прибыль тебе гарантирую я.

В зеркало гляну – сесть начинают виски;
груди дряблеют твои; но пожить по-людски
хоть напоследок мне хочется, – так что смотри,
ты уж копи поприлежней, старайся, Мари.

ВЫСЫЛКА

Барбара Хлум, белошвейка, с пропиской в предместье,
не зарегистрирована, без пальто, без чулок,
в номере ночью с приезжим застигнута, вместе
с тем, что при ней оказался пустой кошелек.

Барбару Хлум осмотрели в участке, где вскоре
с ней комиссар побеседовал начистоту
и, по причине отсутствия признаков хвори,
выслал виновную за городскую черту.

Мелкий чиновник ее проводил до окраин
и возвратился в управу, где ждали дела.
Барбару Хлум приютил деревенский хозяин,
все же для жатвы она слабовата была.

Барбара Хлум, невзирая на страх и усталость,
стала по улицам снова бродить дотемна,

laut Protokoll über sie polizeilich beschlossen,
hielt vor dem Zweibahngleis, und sie hungerte sehr.

Abend strich über die Gräser, die Brandsohlen brannten,
und der erblondete Saum roch nach Weinbrand und Tee;
Barbara Chlum schlich, gedrückt an die Latten und
Kanten,
hin wie ein Tier in den Stall in ihr kleines Café.

Barbara Chlum wurde nachts auf dem Gürtel betroffen,
Stickerin, arbeitslos, ledig, zuständig nach Frain,
landesverwiesen; in Hadern, die Schnürschuhe offen,
brachte man sie laut Rapport der Arrestwache ein.

VOM SICH-EINS-FÜHLEN

Manchmal am hellichten Tag kann es einem geschehn,
daß nicht um einen die Dinge wie Dinge mehr stehn,
daß man sich eins fühlt so jäh, daß der Herzschlag
fast hält,
eins für Sekunden, gefallen aus der Zeit, mit der Welt.

Eins mit dem Feldweg, auf den aus der Haustür man tritt,
eins mit dem Korn, mit den Raden, der Sense,
dem Schnitt,
eins mit der Glut, die die knisternden Grannen verbrennt,
eins mit dem Staub, der im Windstoß das Gleis entlang
rennt.

Eins mit dem Seegras, das morsch aus der Polsterbank
quillt,
eins mit dem Säufer, dem nichts mehr den Durst heute
stillt,
eins mit dem Branntwein, der beizend die Gurgel
durchläuft,
eins mit der Asche, die grau in der Schale sich häuft.

на остановках трамвайных подолгу топталась,
очень боялась и очень была голодна.

Вечер пришел, простираясь над всем околodком,
пахла трава на газонах плохим коньяком,—
Барбара Хлум, словно зверь, прижимаясь к решеткам,
снова в родное кафе проскользнула тайком.

Барбара Хлум, белошвейка, с пропиской в предместье,
выслана с предупреждением, в опорках, в тряпье,
сопротивленья не выказала при аресте,
что и отмечено было в судебном досье.

ОДИН НА ОДИН

С каждым однажды такое случается: вдруг
вещи как вещи внезапно исчезнут вокруг.

Выпав из времени, все позабыв, как во сне,
ты застываешь, с мгновением наедине.

Наедине с перелеском, с тропинкой косою,
с житом и куколем, сеном и старой косою,
с грубой щетиной стерни, пожелтевшей в жару,
с пылью, клубящейся на придорожном ветру.

С волосом конским, что прет из обивки, шурша,
с пьяницей, что до получки засел без гроша,
с водкой в трактире, едва только шкалик почат,
с пепельницей, из которой окурки торчат.

Böse und gut gelten nichts dem Verzückten davor,
ihm, dem der Lärm ist zur nämlichen Zeit und das Ohr;
die euch dies anrührt nach Jahren als Schwinden
des Scheins
eine Sekunde nur, wisset, ich bin mit euch eins.

*WANN IN MEIN GRÜNES HAUS
ICH WIEDERKEHR...*

Wann in mein Grünes Haus ich wiederkehr,
wo kahl die Wände und die Kasten leer,
müßt ihr mir kommen, lad ich ernst euch ein,
zu Brot und Nüssen und zu herbem Wein.

Du, Liebste, die mir vielen Unfug trieb,
verbliebne Freundin, mir kaum minder lieb,
du, Wolfsgesicht, ihr stellt von selbst euch ein
im Grünen Haus daheim zum herben Wein.

Der du mir in der Fremde still verstarbst,
der du mir unter Tritten schwarz verdarbst,
ihr dürft nicht fehlen, nichts ohn euch würd sein
das Fest im Grünen Haus beim herben Wein.

Ihr an den Wegen, die ich nicht mehr geh,
Kastanien, Flieder und Akazienschnee,
taucht eure Kerzen, Büschel, Rispen ein
im Grünen Haus tief in den herben Wein.

Ihr vielen, denen man die Knochen brach,
und wer mir etwa auf der Welt strebt nach,
kommt mit, es wird wie nie ein Singen sein
im Grünen Haus daheim beim herben Wein.

REQUIEM FÜR EINEN FASCHISTEN

Du warst in allem einer ihrer Besten,
erschrocken fühl ich heut mich dir verwandt;
du schwelgest gerne bei den gleichen Festen
und zogst wie ich oft wochenlang durchs Land.

К злу и добру в равной мере становишься глух,
ты – и волнующий шум, и внимающий слух.
Пусть через годы, но это придет из глубин:
знай же тогда – ты со мною один на один.

* * *

Когда вернусь я в мой зеленый дом,
что ждет меня с терпеньем и стыдом,
я там на стол собрать хочу давно
орехи, хлеб и терпкое вино.

Любимая, на трапезу приди,
и ту, другую, тоже приведи,
придите все – всё будет прощено,
пусть нас помирят терпкое вино.

И ты приди, кто в чуждой стороне
так дорог нынче оказался мне, –
придите – мне без вас не суждено
разлить по кружкам терпкое вино.

Цветите же, когда придет весна,
акация, каштан и бузина,
ломитесь ветками ко мне в окно
и осыпайтесь в терпкое вино.

Так соберитесь же в моем дому
все те, кто дорог сердцу моему, –
мы будем петь, о чем – не все ль равно, –
в дому, где ждет нас терпкое вино.

РЕКВИЕМ ПО ФАШИСТУ

Ты был из лучших, знаю, в этом сброде,
и смерть твоя вдвойне печальна мне:
ты радовался солнцу и свободе,
как я, любил шататься по стране, –

Es füllte dich wie mich der gleiche Ekel
vor dem Geklügel ohne innern Drang,
vor jedem Wortgekletzel und Gehäkel;
nichts galt dir als der schöne Überschwang.

So zog es dich zu ihnen, die marschierten;
wer weiß da, wann du auf dem Marsch ins Nichts
gewahr der Zeichen wurdest, die sie zierten?
Du liegst gefällt am Tage des Gerichts.
Ich hätte dich mit eigener Hand erschlagen;
doch unser keiner hatte die Geduld,
in deiner Sprache dir den Weg zu sagen:
dein Tod ist unsre, ist auch meine Schuld.

Ich setz für dich zu Abend diese Zeilen,
da schrill die Grille ihre Beine reibt,
wie du es liebtest, und der Seim im geilen
Faulbaum in Kreis die schwarzen Käfer treibt.
Daß wir des Tods und Ursprungs nicht vergessen,
wann jeder Brot hat und zum Brot auch Wein,
vom Überschwang zu singen wie besessen,
soll um dich, Bruder, meine Klage sein.

мне говорили, ты гнушался лязгом
той зауми, что вызвала войну,—
наперекор велеречивым дрязгам
ты верил только в жизнь, в нее одну.

Зачем ты встал с обманутыми рядом
на безнадежном марше в никуда
и в смерть позорным прошагал парадом?
И вот лежишь, сраженный в день суда.
Убить тебя—едва ли не отрада,
ни у кого из нас терпенья нет
дорогу разъяснить заблудшим стада—
и я за смерть твою держу ответ.

Пишу, исполнен чувств неизрекомых,
и поминаю нынче ввечеру
тебя медовым запахом черемух
и пением цикады на ветру,—
вовек да не забудется позор твой,
о сгинувший в несправедной борьбе,
ты славе жизни да послужишь, мертвый,—
мой бедный брат, я плачу о тебе.

Rudolf Henz

*AUS DEM ZYKLUS
BEI DER ARBEIT
AN DEN KLOSTERNEUBURGER
SCHEIBEN*

Die gestern noch im steilen Maßwerk glühten,
Die unnahbaren Scheiben, die uralten,
Darf ich dem Stein entlösen und behüten
Und wie ein Bleibsel kühl in Händen halten.

Auf meinem Werk Tisch liegen sie wie graue,
Verstaubte Bretter; ein Gewirr von Ruten.
Nur wenn ich eine an das Fenster baue,
Steh' ich verzaubert in den Farbengluten.

Ich schaue erst und staune nur und brenne,
Eh' ich die zarten Gläser sacht anrühre,
Die Bildgestalten, wie die Schrift benenne
Und prüfend meine Hand darüber führe.

Zu Bruch und Sprung und Patina; Konturen
Verrauchter Stürme und uralter Sommer.
So nah vor diesen heiligen Figuren
Stand bald kein kalter Kenner und kein Frommer.

Dem Meister geh' ich nach, dem Unbekannten,
Dem Unbeschwerten, dem das Werk genügte.
Wie er die Gläser malte, die gebrannten
Dann mit dem Blei zu klaren Bildern fügte.

Wie er die Scheibchen schnitt mit glüh'nden Zangen,
Sie zueinander wog, verwarf und tauschte,
Bis Sinn und Zeichnung kühn zusammenklagen
und Farb' um Farbe ineinanderrauschte.

Рудольф Хенц

ИЗ ЦИКЛА ПРИ РАБОТЕ НАД КЛОСТЕРНОЙБУРГСКИМИ ВИТРАЖАМИ

Мне витражи, пылавшие веками
В провалах стен, дано, словно в награду,
Из ниши взять и ощутить руками
Как бы свинца тяжелую прохладу.

Вот, серые на верстаке, безмолвно
Они сулят цветной пожар, зажженный
Лучами за окном, чтобы невольно
Застыл я, снова им замороженный,

И, водворив все на места, томился
Опять красую этих хрупких стекол,
К немым узорам памятью стремился,
Глаза прикрыв, их осторожно трогал,

И там, где глянец с патиной смешался,
Былые лета различал и стужи,—
Так близко к ним монах не приближался
И ротозей не подходил досужий.

Так близок ныне я к тому, кто долгий
Вершил свой труд, не усомнясь в удаче.
Я вижу вновь, как он мельчит осколки
И в стыки стекол льет свинец горячий.

Я вижу, как дрожат живые блики,
И льнут к ножу мастерового руки:
Там в образе сплелись цвета, так в крике
Неразделимы слившиеся звуки.

In seine Kunst, in seine Zeit versunken,
steh' ich entrückt mitten im Tiergebrülle.
Dort brennt die Welt, doch ihre bösen Funken
Vergehn wie Schnee an meiner neuen Fülle.

O Gnade solcher Pflicht, o reines Brot!
Das Deine Hände, Herr, mir neu bereiten.
Den Ausgestoßnen hebst Du aus der Not
Und stellst ihn mitten in die Herrlichkeiten.

И от мычания нынешнего века
Меня уводит старое искусство.
Пылает мир, но словно хлопья снега
Его зола для вспыхнувшего чувства.

О, чистый хлеб, среди большой нужды
Мне, Господи, протянутый Тобою!
Отверженных так поднимаешь Ты
И окружаешь вечной красотой.

Josef Leitgeb

LICHTBILD EINES FRAUENGESICHTS

Wie glücklich muß das Licht gewesen sein
im Augenblicke, da es dich umfing,
so ganz umfing, daß es dich ganz behielt!
Wie zärtlich hat es mit dem Haar gespielt,
bevor's, die Stirne streifend, niederging
und auf der Wange blieb als warmer Schein!

In weichen Schatten halb und halb im Haar
barg sich das Ohr; es küßte seinen Rand
und streichelte die linke Wange zart,
die Nase ließ es lächelnd ausgespart,
lief um das Kinn, bis es die Lippe fand,
und zitternd fühlte es, wie süß sie war.

Die Augen? Ach, was sollte da das Licht?
Sie leuchteten so stark von innen her
mit jenem Blicke, den der Gott entfacht!
O Lebenstag! O Liebesnacht!
Wenn nicht das Licht aus diesen Augen wär',
von welchem Lichte lebte das Gesicht?

NACH ZEHN JAHREN

So still der Tag! Im Bergesschoß
des Windes Geraun', des Wassers Getos',
die Mittagsfliege summt vorbei,
im Kar vergellt der Geierschrei.

In Flechte, Moos und Beerenkraut
vom Berg gewiegt, vom Nichts umblaut –
wie eines Gottes Träume ziehn
die Wolkenschatten darüber hin.

Йозеф Лейтгеб

ФОТОГРАФИЯ ЖЕНСКОГО ЛИЦА

Сиял от счастья свет в тот самый миг,
когда тебя он обнял что есть сил—
всю целиком—и сохранил навек.
Коснулся нежно локонов и век,
и по челу играя заскользил,
и на румянец лег, как теплый блик.

В пушистых тенях, в пышных завитках
он розовое ушко целовал
и гладил щечку слева все нежней.
С улыбкой миновал разрез ноздрей,
и, подбородка обогнув овал,
он мед впивал на трепетных устах.

А очи сами светят—и велик
Свет сокровенный божьих тех свечей.
Сколь щедро, отче, одарил ты дочь!
О жизни день! О страсти ночь!
А если бы не свет ее очей,
то как бы жизнью засветился лик?

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Как дремлет полдень! На склонах гор
лишь ветра шорох, ручья разговор,
жужжанье мухи—да разве на миг
лазурь разрежет коршуна крик.

Лишь заросли ягод, лишайник, мох...
свисают с круч, невесомы, как вздох.
Как грезы Бога, над строем круч
все выше тянутся тени туч.

Wie eines Gottes Gedanken stehn
ringsum die Gipfel still und groß,
doch was sie denken, das bleibt stumm

und unergündlich wie das Wehn
des Windes, wie des Wassers Getos'
und der Mittagsfliege Gesumm.

Die Gletscher schmelzen, die Gipfel vergehn,
einmal ist auch das Meer versiegt.
Für einen, der so in der Sonne liegt,
ist alles gewesen und längst geschehn.

Er sieht die Welt wie Rauch zergehn,
vom Sommerwind ins Nichts gewiegt.
Wird von den Toten auferstehn,
was mit dem letzten Hauch entfliegt?

Zu welchen Bildern webt der Geist,
der ewig webt, den alten Stoff,
wenn einst das Sterngespinst zerreißt?

Der du so fragst im Grab der Zeit—
schon daß du fragst, hat dich befreit:
du webst mit Ihm in Ewigkeit.

Как думы Бога, вершин хоровод
величьем немым поражает взор.
Нет, их откровений не ловит слух.

Они непостижны, как ветра взлет,
как неба простор, ручья разговор,
как в полдень дремотный жужжанье мух.

Разрушатся горы, растает лед,
иссякнет и море когда-нибудь.
Ты лег загорать – но стоит вздремнуть –
времен промчится круговорот,

и целый мир, как дым, разнесет
тот солнечный ветер, что начал дуть.
Воскреснет ли сон вершин и вод –
все то, что умчалось в последний путь?

Какие узоры выткет Тот,
кто вечно материю ветхую ткет?
Когда Он пряжу звезд разорвет?

И тем, что спросил, ты уже спасен.
Ты вышел вон из могилы времен,
и ты среди Вечности ткешь, как Он.

Alexander Lernet-Holenia

LINOS

Sind die Worte nicht zahllos, und was du im Haupte
war es nicht eine Welt, die du gerühmt und beklagt?
Nur was du wirklich gemeint hast, hast du nicht sagen
können! Und nichts ist gesagt.

Tust du nicht zahllose Dinge? Nur was du am meisten,
was du seit jeher gewollt, denn es hätte daran
alles gehangen, den wirklichen Auftrag hast du nicht
können! Und nichts ist getan.

DAS LAND

Tritt vor das Haus! Es ist Nachmittag... Juni
vielleicht. Du rufst den Hunden,
doch ihrer keiner kommt. Die Fenster stehen
offen, und durch die offenen Fenster sehen dir die Zimmer
wie Menschen nach, wie Menschen in den Zimmern...

aber du weißt, es ist nichts und niemand.
Ein Vorhang nur bewegt sich
im Wind. Sonst niemand kommt mehr, hier zu wohnen.
Ach, das Haus ist wie Abschied! Da gehst du, wie zum
und weißt, du wirst noch viele Male gehn... dies

beides, wie weißt du's zugleich! Und der Himmel ist
mit weißen Schleiern
verhängt wie eines Mädchens Grab. O welche
Stille umfängt dich im leeren Lande! Ungeheures ahnen
die Hügelkreise, etwas, das geschehen soll...

Александр Лернет-Холения

ЛИН

Кончается слов многозвучье. И все, что в словах твоих
было,—
это ли не было миром, тем, что ты воспевал?
Лишь то, что ты истинно думал, было тебе не под силу
сказать. И ты ничего не сказал.

Мало ли дел переделал? Многое сделать хотел ли?
Все удавалось, и только главного своего,
самого важного в жизни, необходимого дела
ты не успел. И не сделано ничего.

В ДЕРЕВНЕ

Выйди на крыльцо! За полдень... Июнь, наверно.
Подзываешь
собак, но им не до тебя. Открыты окна,
и смотрят комнаты вослед тебе из окон,
как люди, иль, верней, как люди в комнатах...

Но ты-то знаешь: никого там нет. И только штора
за ветром тянется. И вряд ли кто вернется.
Ах, дом—само прощанье! И ты идешь, как будто бы
в последний
раз и знаешь, что еще не раз идти придется... Это

ты знаешь точно! И небо белым крепом
покрыто, как гроб девушки. Какая
тебя объемлет тишь в пустой деревне! И нечто
ужасное предчувствуют холмы,—то, что должно
случиться...

Но знаешь: ничего не будет. Или было раньше. Или
еще невероятно далеко. И только ветер если
подует, то потянет югом, ароматом гроз
иных миров и холодом снегов. Высокие луга

волнуются в серебряной пыли. Но что же это,
чего ты ждешь, что не придет, что далеко, как
вне земли!

Порхают лепестки и умирают на дорожках
сада. И плачет дождь в листве.

Rudolf Felmayer

BLICK AUF DEN SEE

Hier am Ufer des See's der Blick in die Tiefe:
schaumig, schmutzig und träge das Wasser,
darunter im Schlamm der rostende Alltag:
Konservenbüchsen, zerbrochenes Geschirr;
und tiefer das Algengewirr und Geröll,
und tiefer Traversen, Stangen und Rohre,
ins Unheil entrückt wie ein gesunkenes Schiff,
und tiefer das immer dichtere Dunkel,
wo die freundliche Erde fürchterlich wird
in dieser Höhle des Wassers
und eine Welt von Wesen sich birgt,
gebannt in die Larven der Urzeit.

Dann reißt du dich los vom Saugen der Tiefe,
aufatmend hebst du den Blick, und
blau unterm Glanze des Himmels dehnt sich kristallen
der See

Und bei leisestem Windhauch
ergleibt ein Weltall winziger Sonnen,
Spiegel des schönen warmen Gestirns in der strahlenden
Weite.

Doch was uns dort oben belebt und erfreut,
im Abgrund der kosmischen Nacht
haust es als rasende Schrecknis:
das Haupt der Medusa,
vom Schlangenknaul seiner feurigen Locken umwallt:
ein tödliches, einsames Ungeheuer.

Рудольф Фельмайер

ВЗГЛЯД НА МОРЕ

Здесь, на морском берегу, загляни в глубину:
вода и ленива, и пениста, и мутна
скрывает нагроможденье ржавеющих буден,
пустые консервные банки и черепки посуды,
а дальше – хаос водорослей и камней,
а дальше – очертанья искореженных труб,
то ли призрак беды, то ли затонувший корабль,
а дальше – сгущенье клубящейся тьмы,
где земля исчезает
в разверстом аду воды
и бытие
теряется в бездне времен.

Потом ты выныриваешь из засасывающих глубин
и переводишь дух, и поднимаешь глаза
к синему небу, отраженному в кристальном море.
И при малейшем дыхании ветра
зеркальная рябь оживает
вселенной дробящихся неисчислимых солнц.

Но то, что кажется нам воплощением жизни,
дальше, в космической пропасти мрака,
предстает неизбывным кошмаром –
головою Медузы,
окаймленной змеиным клубком огнедышащих локонов,
одиноким чудовищем смерти.

WIENER NEKROLOG

Das ist bei uns so eine eigne Sach:
da lebst mit einem jahrlang Tür an Tür,
er tut dir nix, er schert sich net um dich—
und jede Stund im Tag ist er dir zwider.

Schon von der Weiten gibt's dir einen Kitzler
und wie ein Hundtl möchst ihm an die Hosenröhrn fahrn;
der ganze Kerl paßt dir nicht: so wie er ausschaut,
wie er da geht, wie er sich anzieht,
ob's still in seiner Kammer ist, ob du was durchhörst,
ob er Besuch kriegt, ob er ganz allein ist—
egal—er ärgert dich, bis d' glaubst, daß du zerspringst.

Dann laß den armen Wachler nur erst sterben;
gleich ändert sich's: der Giez verdorrt, es wachst
die Sympathie:
das war doch wirklich ganz ein netter, stiller Mensch,
und wie er immer höflich grüßt hat...
Vielleicht war er schon lang so krank und wollt's net
zeigen;
man hätt sich doch ein bißl um ihn kümmern sollen.
Na, für ein' schönen Kranz muß da was gsammelt werden,
und auf die Leich, da gehn wir selbstverständlich alle,
daß er net gar so mutterseelnallein dort außihutschn muß.
Da san mir sich doch alle miteinander einig:
der wird uns wirklich fehl'n, den werd'n wir nie vergessen!

Wir sind schon kuriose Leut dahier:
erst bis dann einer tot ist, lassn wir'n richtig leben.

ВЕНСКИЙ НЕКРОЛОГ

У нас бывает это сплошь и рядом:
с иным живешь подолгу дверью в дверь.
День изо дня лишь занятый собою,
он каждый час на дню тебе неблизок.

А вдалеке, замеченный тобой,
чужой, тебя он дразнит, как собаку,
одеждой, видом, странностью манер,—
всем прочим, что бывает не по нраву.
Один ли он в своих стенах, с гостями;
услышишь шум, иль сразу станет тихо,—
все злит тебя. Тебя терзает злоба.

Дай только срок. Твой часовой умрет,—
все переменится: уймется раздраженье, с симпатией
подумаешь:
то был невинный, тихий, милый человек,
так вежливо здоровался при встрече...
Болеет, должно быть, долго. Всё молчал
и виду не показывал. Печально.
И надо б на цветы ему собрать.
Пойти на кладбище и на поминки.
Еще подумать: как он там один!
И, с близкими сойдясь, сойтись во мненье:
как будет нам его недоставать! Все мы его вовеки
не забудем.

Все мы—мы парадоксы чтим и жизнь
вновь ощущаем после чьей-то смерти.

Wilhelm Szabo

DORFSEELE

Ach, meine Seele wird ein Dorf,
feindselig, heuchlerisch,
und kehrt betrunken täglich heim
nach Mitternacht vom Bauertisch.

Verdammt das Amt, das mich hier hält
gefangen sieben Jahre lang!
Vergebens hoff ich, daß der Wald zerfällt.
Vergebens wart ich auf der Dörfer Untergang.

Zerstör das Haus, durchbrich den Gurt
der Haine und entwisch!
Denn deine Seele wird ein Dorf,
heimtückisch, prahlerisch.

Du suchst dein Bett und greifest Torf.
Schon graut der Tag. Schlaf ein, verlich!
Ja, deine Seele wird ein Dorf,
verkommen, lügnerisch.

Mein Traum ist wirres Strauchgestrüpp,
mein Schlaf zerrissen und behext.
Denn meine Seele wird ein Dorf,
das Moor und Dorn verwächst.

AUToFRIEDHOF

Parkplatz der Karosserien,
zerbeulter. Wrack ruht bei Wrack.
Schafgarbe, Wegerich blühen
um Rost, zerblätternden Lack.

Вильгельм Сабо

ДЕРЕВНЯ-ДУША

Ах, станет деревней моя душа,
хитрющей станет и злой.
Хмельная тащится по ночам
с мужицкой пьянки домой.

В проклятую должность – в ярмо я влез!
В неволе седьмой уж год.
Хотя б я извел весь окрестный лес –
деревня не пропадет.

Разрушь свой дом и выруби всю
дубраву – и бежать!
Не то начнет деревня-душа
бахвалиться, предавать.

Брось торф – рассвет ползет не спеша.
Кровать никак не найдешь...
Да, станет деревней твоя душа,
вберет и низость, и ложь.

Мое мечтанье – чертополох,
мой сон колдовством оплетен.
Становится деревней душа,
растает в топь и терн.

КЛАДБИЩЕ АВТОМОБИЛЕЙ

Обломки в обломки положены.
Коррозии автопарк.
Растут полынь, подорожник
сквозь ржавчину, сбитый лак.

Durch Felgen wachsen die Gräser.
Gestänge vergittert der Lauch.
Begräbt die metallenen Äser
Ginster und Vogelbeerstrauch?

Schindangerluft, wie geronnen.
Verrottendes glüht und dorrt
im Mittag, der döst versonnen.
Die Stille verliert kein Wort.

NOCH FEHLT DAS LEHRBUCH

Noch fehlt das Lehrbuch
der Amselsprache
und die Grammatik
der Nußhähermundart.
Das Wörterverzeichnis der Stare,
wer schreibt es?
Fremd bleibt,
was die Schwalben bereden
beim Rat auf den Überlanddrähten,
und was hinterm Weiler
das Meeting der Krähen beschließt,
erfährt kein Reporter.

Колеса травой обвиты.
Рули бурьян разметал.
Раскинулся куст ракиты
над склепом твоим, металл.

Резиной пропахла бойня –
тлетворна, раскалена.
Пылающий воздух полдня,
и мертвая тишина.

КТО СМОЖЕТ?

Язык дрозда
досель не изучен.
И кто напишет
грамматику сойки?
И кто словарь скворца растолкует?
Кто сможет?
Ласточки,
чужды нам ваши речи –
на проводах собрания ваши.
И что решил позади поселка
митинг вороний,
не сможет узнать ни один репортер.

Hugo Huppert

DRITTER STECKBRIEF GEGEN MICH SELBST

Bürger, scharf ins Auge fasset
des Geheimschreibers steile
Geheimschrift kurrent zwischen
Runzelzeilen seiner bedenklichen
Tafelstirn. Mißtraut dem Argwohn
seiner Vorhersagen! Er schweige!
Bürger, laßt euch nicht täuschen
vom ummoosten Gekräusel katerhafter
Mundwinkel. Sie sind eine Gleichung
mit mehreren Unbekannten. Ihr löst
sie nicht auf. Nein, lieber hurtig
entlarvt ihn unter seiner Umhang-
kapuze, ergreift ihn, den Dolmetsch
des Luzifer, den Zenturio der Zöllner,
den Legaten der Legion, den Tribunen
der Kohorte, den Sekretär des Pilatus,
Statthalters von Judäa. Und so weiter.
Legt Hand an ihn, Bürger, nur Mut,
ihr Schüchternen, schert ihm das Haar,
verkorkt ihm den Mund sorgfältig,
um Himmels willen! Er schweige!

DER GLÜCKSFALL

Über die Bergtäler, Weiher und Seen
herabfallend – Haarflechten der Nacht.
Naturbelassen vom Himmelsjahr:
Tiergarten des Sternengewölbs
Widder und Großer Bär, Stier, Hund
und Schwan, Kleiner Löwe, Delphin
und fliegender Fisch, angeheiterte
Leuchtkörperschaft, schwimmend in
kaltem Sekt... Es trägt uns die Welle

Хуго Хупперт

ТРЕТЬЕ ПОДМЕТНОЕ ПИСЬМО ПРОТИВ САМОГО СЕБЯ

Граждане, не спускайте глаз
с этого тайнописца, упорно
выводящего свои злые знаки
меж нахмуренных строк недоверия.
Не доверяйте его гибельным
предсказаниям! Пусть замолчит!
Граждане, не поддавайтесь
замшелым закорючкам его кошачьей
ухмылки! Это – уравнение
со многими неизвестными. Вам его
не решить. Нет, лучше разоблачить
его скрытое под капюшоном лицо,
скрутить этого толмача Люцифера,
этого центуриона мытарей,
легата легиона, трибуна
когорты, этого секретаря Пилата,
наместника Иудеи. И так далее.
Хватайте его, граждане,
не робейте, прямо за волосы,
и покрепче заткните ему рот,
во имя неба! Да замолчит он!

ПОВЕЗЛО

Над черными горами, озерами и лугами
вьются тонкие локоны ночи.
Круговорот небесного года,
Звездного свода зверинец:
Овен и Большая Медведица, Телец и Пес,
Лебедь, Дельфин и Лев Малый,
да Летучие Рыбы – веселая компания
светил, купающаяся
в прохладном шампанском... Волна

durch Schlaf-Polonäsen, durch
geträumte Provinzen, schwankend
aus Slowenien nach Slawonien.
Im Westenausschnitt dieser Nacht
pendelt das Sternbild des Einhorn.
Nicht mehr unterscheidbar schaukeln
die Farben der Uferstaaten
aus lauer Beklemmung in tauben
Schüttelfrost und sausendes Fluggefühl.
Der Meridian streckt den Arm aus;
überm Handknöchel ihm rasseln als
Zierreifen Parallelkreise.
Und drunter wir –
plätschernder D-Zug in der Badewanne
des Donaustroms. Wie gut, daß Ohnmacht
noch Schallplatten kreisen macht:
Glücksfall – Norikums Nokturno,
gemildert durch illyrische
Verlockungen... Bis die Dämmer-Dame
der Frühwacht ihr Katzengesicht
vors Kajütenfenster schiebt.

MUSEUM

Ein Mund reicht dem andern –
und beide dem Schweigen.
Es starrn in der Luft die Gezeiten;
dem Kelch der Vergeblichkeit
entfließt es in andere Kelche.
Hier wirst du sehn die große
Buhlerin, die an vielen Wassern
saß. Vielleicht auch das
scharlachrote Tier voll Lästernamen,
mit sieben Köpfen und zehn Hörnern.
Wappen und Waffen zeig ich dir,
genuesisch, venezianisch: Hellebarden
und türkische Faustpistolen
von dazumal. Goldmünzen dazu und
waschecht lombardische Wechselkurse
des Seicento... Alles verfänglich,
schlüpfrig, ein einziger Fischmarkt.

несет нас сквозь сна полонезы,
сквозь причудившиеся провинции,
из Словении в Славонию.
Из жилетного кармана Ночи
свисает созвездие Единорога.
Краски прибрежных стран,
прорвав привычные очертания,
мчатся теперь наперегонки
в свой звездный ледяной полет.
Вытягивает руку меридиан;
с его запястья соскальзывают
изящные кольца параллелей.
А внизу мы –
скорый поезд, бурлящий в ванне
могучего Дуная. Хорошо, что обморок
не мешает пластинкам крутиться;
мне повезло – звучит Норийский ноктюрн,
полный иллирийских искушений.
А зоркая заря с кошачьей мордочкой
уже заглядывает в окно каюты.

МУЗЕЙ

Друг для друга довольно пары уст,
да и те пусть помолчат.
В воздухе застыли прилив и отлив –
содержимое Чаши Безнадежности
переливается в иные чаши.
Здесь ты увидишь
великую жрицу Любви, сидевшую
подле многих вод. А, может быть,
и Алого зверя, имя которому Грех,
семиглавого и десятирогого.
Кортики и портики покажу я тебе,
венцианские, генуэзские; алебарды
и турецкие пищали незапамятных
времен. А еще – золотые монеты
и подлинные таблицы менял XVI века
из Ломбардии... Все поросло быльем,
плесенью, как на рыбном базаре,

Auf dunkelblauem Samt allerdings.
Kein Hochzeitsgeschenk für uns,–
ich habe die Galeere gerudert,
sie fuhr ohne Licht durchs
Entsetzen---
und ohne deine Liebe
hätt ich verloren die Schlacht
von Lepanto
und nie als Befreier begrüßt
den Peloponnes.

хоть и выложено на синем бархате.
Нет, это не подарок нам на свадьбу –
я греб на галере,
она шла без огней
сквозь досаду...
Но без твоей любви
я бы проиграл битву
при Лепанто
и никогда бы не вступил победителем
на Пелопоннес.

Guido Zernatto

HERBSTGEDICHT

Wie sitzt das Stürmen müde über Dächern,
Die nebeldunstend sich ins gelbe Brachfeld ducken.
Wie kalt die Öfen in den Graugemächern
Und welk die Stubenblumen in den Fensterlucken.

Die Kühe rupfen letzte Gräser auf den Weiden,
Kartoffelfeuer schwelen bodentief und träge.
Die Straßen schamlos braun in ihren Reiden.
Die Schweine grunzen eingefinstert in Verschläge.

Jetzt spielt der Vorknecht sonntags wieder auf der Zither
Wenn alle in der dunklen Küche bleiben.
Der Kalmusschnaps im Glas schmeckt stark und bitter,
Und Nebel braut vor angelaufenen Scheiben.

WEGEN DES UNFRIEDENS IN MIR

Im Türkenstroh hinter dem Stall schläft der Hund,
Ich hör sein Gebell in der Nacht jede Stund,
Wenn einer vom Bach gegen 's Dorf abwärts geht
Oder einer beim Brunnen am Holzersteig steht.

Dann hör ich wahrscheinlich auch noch seinen Schritt,
Den er gleichmäßig über die Straßensteine tritt,
Und ich hör, wie der Wind in den Dachschildeln pfeift
Und rauschend ins Laubwerk der Hoflinde greift.

So geht mir die Nacht nur sehr langsam vorbei.
Ich höre die Kirchuhr um zwölf, eins, zwei, drei.
Dann steh ich bald auf und geh hin und geh her.
Ich find keine Ruh und kein Ausschlafen mehr.

Гвидо Цернатто

ОСЕННИЕ СТИХИ

Как вид наставшей осени печален
На залежных полях, в разбросе стай вороньих;
Вконец остыли печи глиновален,
Наохлены цветы на подоконьях.

Траву коровы доедают в перелоге,
Дым тлеющей ботвы всё ниже, всё угарней.
Срамятся бурой наготой дороги.
Дремотным хрюканьем заполнены свинарни.

В привычку при свече на кухне тесной
Миранде батрака под вечер плакать;
На корне аира настоян шнапс воскресный,
За окнами – туман, ненастье, слякоть.

РАЗДОР В СЕБЕ САМОМ

В соломе не спится дворовому псу:
Все лает и лает о позднем часу,
Чуть кто-то по тропке пойдет от реки,
Чуть только на шаткие ступит мостки.

А позже – так явственно слышатся мне
Шаги по брусчатке в ночной тишине,
Мне слышится ветра отчаянный вскрип,
Во мраке шуршащего кронами лип.

Так медленно ночь проплывает у глаз,
Часы отбивают двенадцать и час,
Я спать не могу, я с постели встаю
И комнату мерю шагами мою.

Ich hab keine Freud mit dem Stall, mit dem Haus.
Ich kenn mich beim einfachsten Ding nicht mehr aus,
Und wenn wer was redet, versteh ich es nicht,
Ich erkenn einen nicht und schau ihm ins Gesicht.

Wenn ich geh, kommt's mir vor, als sei wer hinter mir.
In der Nacht klopft's am Fenster, und es geht durch
die Tür.

Und wenn ich was rede, so lacht irgendwer.
Ich möcht es wem sagen und weiß es nicht mehr.

Denn der Weg von tief innen ist weit bis zum Wort,
Das ich sagen möcht, bis ich es sag, ist es fort.
Bin verschlossen, und doch treibt's gewaltig in mir.
Ich ertrag's nicht, ich habe den Himmel in mir.

Ни дому не радуюсь я, ни двору,
Задачу простейшую не разберу,
Понять ничего не могу до конца,
Узнать ничьего не сумею лица.

Уняться тревоге моей не дано.
Мне кажется—кто-то стучится в окно
Мне чудится—кто-то смеется в дому.
Поведать об этом—да только кому?

Дорога от сердца до слова трудна.
Слова растворяет в себе тишина.
Я замкнут во мраке, пылаю в огне.
Не вынесу этого: небо—во мне.

Ernst Schönwiese

EIN VOGEL, DER AUS DEM NEST FIEL

Ein Vogel, der aus dem Nest fiel;
er träumt vom Fliegen.

Bis ihn der Zweifel erfaßt:
war nicht das Stürzen der Flug?

Aber ehe ihn die Wildkatze frißt,
ist er ganz sicher,
daß es etwas wie Fliegen
gar nicht gibt.

BLICK NACH GEGENÜBER

Zwifach die Fenster hier,
zwifach die Fenster dort.
Aus meinem Dunkel sehe ich drüben im Licht:
zwei Menschen, die miteinander reden.
Ihre Lippen bewegen sich, aber für mich sind sie
stumm.

So sehen wir einander.
So sind wir.

Wieviel Schweigen in einem noch tieferen Schweigen!
Wieviel Stummheit selbst noch im Reden!
Wieviel Schlaf und Traum hinter Traum und Schlaf!

ALLES IST NUR EIN BILD IN EINEM SPIEGEL

Alles ist nur ein Bild in einem Spiegel,
der einen anderen Spiegel widerspiegelt.
Spiegelung hinter Spiegelung
bis ins Unendliche.

Эрнст Шёнвизе

ПТЕНЕЦ, КОТОРЫЙ ВЫПАЛ ИЗ ГНЕЗДА

Птенец, который выпал из гнезда,
мечтая о полете,

вдруг начинает думать, что паденье
и есть полет.

Но прежде, чем его проглотит рысь,
он совершенно убежден,
что никаких полетов
не бывает.

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ УЛИЦУ

Двойная оконная рама здесь.
Двойная оконная рама там.
Из темноты в светящемся окне напротив
я вижу двоих, говорящих друг с другом.
Губы их шевелятся, для меня оставаясь немymi.

Так мы видим друг друга.
Мы таковы.

Как много молчанья в глубинах чужого молчанья!
Как много в речах немоты!
Как много покоя и снов за гранью покоя и сна!

ВСЁ – ТОЛЬКО ОТРАЖЕНЬЕ

Всё – только отраженье
в зеркалах, взаимно отраженных.
Несчетность отражений,
уходящих в бесконечность.

Alles ist nur ein Traum
in einem Traum,
in dem dir träumt,
daß du träumst.

Bis der Tod den Spiegel zerschlägt
und den Träumenden weckt.

WER VON MEINEN VÄTERN

Wer von meinen Vätern
durch die Jahrtausende
hatte dich einst zu wenig geliebt?

Welche von deinen Müttern
durch die Jahrtausende
will heute in dir erlöst werden?

Seit unvordenklichen Zeiten schon
sind wir unterwegs zu einander.
Sehnsucht der Jahrtausende
sucht in uns die Erfüllung.

DU WARST DIESELBE

Du warst dieselbe
damals unter den Apfelblüten.
Und du bist dieselbe
heute, da die Blätter fallen.

Eine Rose damals;
eine Rose heute.
Aber ihr Duft
war noch nie so tief.

Всё – только сновиденье
в том сне,
в котором тебе снится,
что видишь сны.

Покуда смерть не расколотит зеркала
и спящий не проснется.

КТО ИЗ МОИХ ОТЦОВ

Кто из моих отцов
в ночах тысячелетий
тебя когда-то недолюбил?

Кто из твоих матерей
в ночах тысячелетий
жаждет сегодня в тебе избавленья?

С незапамятных времен
мы друг к другу идем.
Томление тысячелетий
взыскует воплощенья в нас.

ТЫ БЫЛА ТАКОЙ

Ты была такой
тогда, под цветущей яблоней.
И такая же ты
сегодня, под листопадом.

Роза тогда,
роза сегодня,
но еще никогда
не дышала она так взволнованно и глубоко.

Erika Mitterer

AN ÖSTERREICH

Juni 1945

O hör die Stimme, welche warnend spricht:
Mit Bösem tilgest du das Böse nicht!

Wer Qual verhängt, wird nicht von Qual befreit.
Gesundet, bist du gegen Haß gefeit.

Es sterbe jeder, der einst Tod verhängte?
Den willst du schlagen, welcher dich bedrängte?

Der soll verhungern, der den Krieg begrüßte,
und keiner sei willkommen, eh er büßte...?

Bevor du richtest, forsche in Geduld:
Wie viele unter uns sind ohne Schuld?

Und fühlst du dich im Recht und weißt dich rein,
zerreiß, Shylock, dennoch deinen Schein!

Erweckte jemals Zorn vergossnes Blut?
Unnütze Härte macht selbst Feigen Mut!

Drum wag's noch einmal, ob man drum dich schmäht,
und ernte Liebe, wo sie Haß gesät...

Nur Liebe tilgt die Greuel endlich aus
und schafft aus Trümmern ein verläßlich Haus!

Hör nicht das alte Wort von Zahn um Zahn
und Aug um Auge—hör das neue an,

Эрика Миттерер

К АВСТРИИ

Июнь 1945

Усвой урок, таящийся в былом:
Он в том, что зло не одолеешь злом!

Чужим страданьем не избыть своих.
И мстительности грех – не для живых.

Кто сеял смерть – не стоит снисхожденья?
Кто притеснял – достоин притеснения?

А голод – справедливая расплата
Тому, кто восхвалял войну когда-то?..

Пойми: судить и осуждать вольны –
Кто за собой не ведают вины.

Но и уверясь в чистоте души,
Ты с приговором все же не спеши.

Кого из павших ярость воскресила?
Жестокость – это слабодушных сила.

Да прорастут светло и животворно
Любви ростками ненависти зерна!

Любовь бесстрашна и стоит на том
И строит из обломков прочный дом!

Не слушай дряхлых слов, мол, кровь за кровь
И зуб за зуб, но слушай, что любовь

zweitausend Jahre alt und ewig neu;
dem nie erfüllten zeige du dich treu:

O hör die Stimme, welche jubelnd spricht:
Die Finsternis erhellt sich nur – vom Licht!

Nicht in der Rachsucht qualmend-gelbem Schein,
im Liebesfeuer glüht die Welt sich rein!

Твердит в бессчетный раз, как в первый раз,
Внемли ее незаглушимый глас:

Пути другого не было и нет,
Рассеять мглу способен только свет!

Пылает мир в руинах и в крови
Огнем всеочистительной любви!

Jura Soyfer

DACHAULIED

Stacheldraht mit Tod geladen
Ist um unsre Welt gespannt.
Drauf ein Himmel ohne Gnaden
Sendet Frost und Sonnenbrand.
Fern von uns sind alle Freuden,
Fern die Heimat, fern die Frau'n
Wenn wir stumm zur Arbeit schreiten,
Tausende im Morgengrau'n.
Doch wir haben die Losung von Dachau gelernt
Und wurden stahlhart dabei:
Sei ein Mann, Kamerad,
Bleib ein Mensch, Kamerad,
Mach ganze Arbeit,
Pack an, Kamerad,
Denn Arbeit, Arbeit macht frei!

Vor der Mündung der Gewehre
Stehen wir bei Tag und Nacht.
Arbeit ward uns hier zur Lehre,
Schwerer als wir je gedacht.
Keiner mehr zählt Tag und Wochen,
Mancher schon die Jahre nicht.
Und so viele sind zerbrochen
Und verloren ihr Gesicht.
Doch wir haben die Losung von Dachau gelernt
Und wurden stahlhart dabei:
Sei ein Mann, Kamerad,
Bleib ein Mensch, Kamerad,
Mach ganze Arbeit,
Pack an, Kamerad,
Denn Arbeit, Arbeit macht frei!

Schlepp' den Stein und zieh' den Wagen,
Keine Last sei dir zu schwer.

Юра Зойфер

ПЕСНЯ УЗНИКОВ ДАХАУ

Ограждением под током
в сто смертей окружены,
мы в мучилище жестоком
умирать обречены.
Не надейся на спасенье,
позабудь семью и дом.
Изможденные, как тени,
на работы мы бредем.
Но мы лозунг Дахау твердим про себя,
мы нервы скрутили в жгут:
будь мужчиной, камрад,
человеком, камрад,
нет дороги назад,
впрягайся, камрад,—
свободным делает труд.

Стой под дулами без звука,
не теряй, камрад, лица.
Труд—великая наука,
если сдюжишь до конца.
Сколько раз уже терялся
дней и лет печальный счет;
не один уже сломался,
скольких эта участь ждет.
Но мы лозунг Дахау твердим про себя,
мы нервы скрутили в жгут:
будь мужчиной, камрад,
человеком, камрад,
нет дороги назад,
впрягайся, камрад,—
свободным делает труд.

От восхода до заката
камни рушь и землю рой,

Der du warst in fernen Tagen,
Bist du hier schon längst nicht mehr.
Stich den Spaten in die Erde,
Grab dein Mitleid tief hinein,
Und im eignen Schweiß werde
Selber du zu Stahl und Stein.
Denn wir haben die Losung von Dachau gelernt
Und wurden stahlhart dabei:
Sei ein Mann, Kamerad,
Bleib ein Mensch, Kamerad,
Mach ganze Arbeit,
Pack an, Kamerad,
Denn Arbeit, Arbeit macht frei!

Einst wird die Sirene künden:
Auf zum letzten Zählappell!
Draußen dann, wo wir uns finden,
Kamerad, bist du zur Stell'.
Hell wird uns die Freiheit lachen,
Vorwärts geht's mit frohem Mut
Und die Arbeit, die wir machen,
Diese Arbeit, sie wird gut.
Denn wir haben die Losung von Dachau gelernt
Und wurden stahlhart dabei:
Sei ein Mann, Kamerad,
Bleib ein Mensch, Kamerad,
Mach ganze Arbeit,
Pack an, Kamerad,
Denn *ARBEIT*, Arbeit, macht frei!

позабудь, кем был когда-то,—
ты уже давно другой.
Глубже боль зарой, вгрызаясь
в землю, лагерная рвань,
черным потом обливаясь,
камнем стань, железом стань.
Ведь не зря же мы лозунг Дахау твердим
и нервы скрутили в жгут:
будь мужчиной, камрад,
человеком, камрад,
нет дороги назад,
впрягайся, камрад,—
свободным делает труд.

Верь,—в последний раз сирена
перекличку возвестит
и друг с другом непременно
нас, как некогда, сплотит.
Улыбнется нам свобода,
увлекая нас вперед,
и привычная работа
в наших жилах запоет.
Потому что мы лозунг Дахау твердим
и нервы скрутили в жгут:
будь мужчиной, камрад,
человеком, камрад,
нет дороги назад,
впрягайся, камрад,—
свободным делает труд!

Christine Lavant

DIE GOLDAMMER

Daß sie niemals schwächer würde,
meines Herzens helle Flamme,
brech ich täglich eine Bürde
Trauerzweige von dem Stamme
meines Sehnsuchtsbaumes ab.

Wenn die Vögel dann erbittert schreien,
die so schön darin genistet haben,
muß ich ihnen kleine Lieder weihen,
und sie nehmen sie als Opfergaben;
mancher fällt verbrannt herab.

Denn sie können sich nur schwer entfernen
von den Ästen mit den roten Früchten.
Ach, sie schwanken lange zwischen Sternen
und dem Flammenstoß, vor dem sie flüchten,
dessen Rauch so riesig steigt.

Nur die kleine goldne Frühlingsammer
läßt sich niemals von der Sehnsucht trennen.
Innig singt sie ihren süßen Jammer,
bis die Töne strahlend mitverbrennen
und das Herz für immer schweigt.

* * *

Abends zähl ich Lamm um Lamm,
lehnend an dem Feigenstamm,
gebe jedem seinen Namen,
streu mein Herz als wilden Samen
in den Wüstenwind.
Ruf die Sichel frühen Mondes,
daß sie mir ein weiches blondes

Кристина Лавант

ОВСЯНКА

Чтоб горело в сердце пламя
светлое, не угасая,
я кормлю его ветвями –
каждый день одну срываю –
с дерева моей тоски.

Ну а если птиц, жилиц древесных,
я лишаю крова и покоя,
много песен им дарю чудесных,
и они, заслушавшись, порою
падают, как угольки.

Потому что им так жаль расстаться
с веткой и багряными плодами,
и они не могут не метаться
между звездами и языками
огненными, там где чад.

Лишь одна овсянка золотая –
от тоски моей куда ей деться! –
все поет, и плача, и стеная,
до тех пор пока и песнь и сердце
вместе с нею не сгорят.

* * *

Я у дерева ягнят
жду, когда горит закат,
всех по именам скликаю,
сердце зернышком бросаю
ветру – унеси!
Лунный серп зову я тонкий –
травки моему ребенку

Gräslein mähe für mein Kind.
Eine schlanke Ringelnatter
bitte ich mir zum Gevatter
und sie hängt ihr zieres Krönlein
freundlich für mein Wundersöhnlein
auf im Feigenbaum.
Aber dann die Morgenröte
weckt mit ihrer Sorgenflöte
jäh mich aus dem Traum.
Hab kein Kindlein, keine Tiere,
und der Stamm, an dem ich friere,
trägt nicht eine Frucht.
Lauernd und verrucht
kühlt die kronenlose Schlange
meine warmgeträumte Wange.

* * *

Das Sonnenrad ging über mich hinweg,
ich liege tief im Tulpenkelch der Nacht
und zähl' der Sterne gelbe Staubgefäße,
von denen eines klar sich niederneigt.

Die andern bleiben und ich schlafe ein,
um erst im Traum die fromme Zahl zu sehn,
vor ihr zu ahnen, welches Wort sie meine,
bevor die Hand des Vaters sie verlöscht.

Vielleicht macht mich ein früher Vogel wach
und die Banane Mond hängt überzart
und immer schwindender im Apfelgrünen?
Dann fällt mir Zahl und Sinn aus dem Verstand.

Dann war die Mühsal dieses Traums umsonst.
Die dunkle Tulpe blättert langsam auf
und läßt den Morgenstern mein Herz befragen,
wie weit es kam, bevor der Vogel schrie.

O alte Antwort—immer noch gleich scheu—:
Ich war im Vorhof—einer sah mich an—
die Zahl war groß, in der ich mich erkannte
als schwarzes Staubgefäß im roten Kelch.

мягкой накоси.
Уж проворный, венценосный,
стань отцом сынишке крестным.
Дружелюбный уж согласно
с ветки свой венец прекрасный
сыну подает.
Но прервал рассвет дремоту
и привел с собой заботу,
сны прогнал и вот:
сына – нет, исчезло стадо,
веет утренней прохладой,
и к щеке моей
тянется с ветвей
змей развенчанный, холодный,
мерзкий змей с ветвей бесплодных.

* * *

Промчалось мимо солнца колесо.
Лежу в ночи, как в чашечке цветка,
и звезд считаю желтые тычинки.
Одна из них склоняется ко мне,

другие неподвижны. Я усну,
увидю их священное число,
таинственное слово угадаю,
а после все погасит Божья длань.

Но птаха ранняя мой нарушает сон,
висит в окошке месяц, как банан,
и тихо меркнет в яблоневоу гуще...
И смысла нет в числе, и нет числа,

и значит – был напрасным этот сон.
Раскроет лепестки ночной тюльпан,
а на заре звезда у сердца спросит:
– Тебя откуда вызвал птичий крик?

Ответ известен, но робею вновь:
– Была у врат, предстала перед Ним
в числе огромном, и казалось мне,
я – лишь тычинка в чашечке цветка.

* * *

Bernsteingelb ist das Geblüt der Erde,
Mohnsud tropft aus allen Freudenarten
in der Zeit, dem immergrünen Garten,
wächst der Apfel, den ich pflücken werde.

Muß zuvor aus überglasten Stunden
Weh- und Wermut in dein Herz verpflanzen,
während Sterne durch den Mittag tanzen,
die der Hunger in uns losgebunden.

Bei den Hornissen- und Wespennestern
stiehlt mein Denken ein paar wilde Waben,
um ein Brot für dich und mich zu haben,
und die Erde blutet gelb wie gestern.

Trink mit mir von allen Freudenarten!
Weh- und Wermut wachsen jetzt von selber,
auch der Apfel wird schon immer gelber,
wenn er reif ist, steht der Tod im Garten.

Oh, wir werden sie verzückt verzehren,
Tod und Apfel und die schwarzen Kerne—
doch das Feuer unsrer Hungersterne
wird das Erdblut röten und vermehren.

* * *

Die Feuerprobe hab ich hinter mir,
da liegt mein Herz, das ich aus Flammen holte,
mit etwas Mühe kannst du das verkohlte
Ding noch erkennen, ich erlaube dir,
es anzufassen oder wegzuschieben.
Nun ist mir noch das Wasser vorgeschrieben,
verschärft durch deiner Feindsal schweren Stein.
Ich kann nicht schwimmen, wirf mich nur hinein
und ruf getrost das Gottesurteil an!
Du bist im Recht—ich aber bin im Kahn
des wilden Willens, der kein Urteil braucht—;

* * *

Запахло снегом, солнце за окном
на яблоко созревшее похоже;
мне жарко, но тепла я не тревожу:
сбежит к соседу маленьким зверьком,
и мне никто уж не согреет руки.
О звездах песен ждут мои подруги
от тех, кто к ним придет сегодня в дом,
и грустно мне, хоть страх мне незнаком,
грущу сегодня больше, чем вчера.
Я знаю, яблоко сорвать пора
и запах кожуры вдохнуть украдкой,
чтоб запах неба наконец узнать.
Зверек мой, ласка, собралась бежать
к соседу, видно, ей со мной не сладко,
и сердце вдруг сжимается в комок.
А небо наклонилось бы само
к тому, кто вверх поднимется едва ли?
Но вот куда-то яблоко убрали...
Так славно в моей комнате зимой,
у дерева в снегу все ж холоднее...
Боль в голове становится слабее,
и вот уже приходит сон цветной,
баюкает меня, меня качает
и песни звездные лишь мне слагает.

* * *

Огонь уж пройден мною, я спасла
из пламени и сохранила сердце,
его узнаешь – стоит приглядеться
к кусочку, не сгоревшему дотла.
Оставь его или возьми с собой.
А мне пора знакомиться с водой:
свою вражду, как камень, мне на шею
повесь, к воде меня толкни скорее
и жди спокойно, как рассудит Бог.
Но челн всплывет, надежен и глубок,
челн моей воли волны понесут,

er ist als Einbaum in mir aufgetaucht
und findet sicherlich den Regenbogen-
bald hab ich auch das Wasser hinter mir!
Die Taube freilich ist nicht mitgeflogen,
denn alles Sanfte bleibt zurück bei dir.

и – спасена! – не страшен Божий суд.
А после, верю, радуга взовьется
в знак окончания пытки водяной...
Но почему-то нежность остается
с тобой, и голубь не летит за мной.

Christine Busta

LEBEN AUF DIESEM STERN

Wo sollen wir hausen? Wir erben siderische Städte:
ungangbar die Treppen, die Zimmer unmenschlich,
bewohnt von der Sonne, der furchtlosen Löwin, und
entfremdeten Fenster belagert von Schwärze und Sternen.
am Tage
nachts die

Nesthocker der Erde. Wir waren lange geduldet.
Nun sind wir Auswurf, flügge wie Regen und Schnee,
winterlang in den schrecklichen Mauern der Winde.
und nisten

WENN DU ZUM WASSER GEHST, GEHE ICH ZU DEN STEINEN

Wenn du zum Wasser gehst, gehe ich zu den Steinen,
wenn du zum Berg kommst, bin ich hinein in die Ebne
gegangen,
wenn du den Durst stillst, verdorr ich,
und wenn du trocknest, ertrink ich.

Aber solange du auf Erden bist, werde ich willig
essen vom Eis und vom Feuer,
denn es schmeckt nach der gleichen Stunde
unter dem ewig-einen Himmel
mit dir.

Кристина Буста

ЖИЗНЬ НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ

Где нам жить? Нам достались в наследство космические
города:
неодолимые лестницы, комнаты нежилые, днем
полоненные солнцем, яростной львицей, а ночью
отчужденные окна, залитые тьмой, осажденные звездами.

Нас долго терпели хранители нашей земли. А теперь
мы изгои, птенцы,
оперенные снегом с дождем пополам,
и гнездимся всю зиму в стенах ледящих ветров.

КОГДА ИДЕШЬ ТЫ К ВОДЕ, Я К СКАЛАМ ИДУ

Когда идешь ты к воде, я к скалам иду,
когда ты поднимаешься в гору, я спускаюсь в долину,
когда жажду приходишь ты утолить, я иссыхаю,
когда ты изнываешь от зноя, я тону.

Но пока ты живешь на земле, я готова
вкушать ото льда и огня,
у которых вкус незабвенного часа
под вечно-единственным небом
с тобой.

DER SCHLAF

Aus schwarzen Wäldern kommt er, der Sternanzünder.
Er deckt die Nester zu und die Blumenaugen,
er geht durchs Dorf und strahlt die verlassenen Brunnen,
er löscht das Feuer im Herd und das Licht in der Stube,
als silbernen Apfel rollt er den Mond
in die Kinderkammer,
zum Kummer sagt er „Vergiß!“ und „Noch nicht!“
zur Liebe,
er glättet das störrische Stroh den Guten und Schlimmen
und lockert die Ketten im Stall. Er kippt in der Schenke
dem Zecher das Glas vom Mund und das Haupt
in die Neige,
und schreibt mit dem Lappen der Magd auf den harten
Wirtstisch „Genug!“

DIE BOTSCHAFT

Manche Vögel sind Späher:
Sie hocken auf Wipfeln und Graten
oder im Dickicht, gesanglos.
Unvertraut sind die Nester
ihrer Herkunft, die Flüge
unerreichbar, und jäh trifft
mitten ins Herz ihr Schrei.

Manche Worte sind lautlos,
aber immer äugt etwas
her nach dir aus der Stille.
Eingesehn sind die Wege,
alle. Geh nur! Schon witterst
du den bergenden Herdrauch.
Doch am Rande der Dörfer
holt es für immer dich ein.

СОН

Из черных лесов приходит он, звездный фонарщик.
Он тепло укрывает гнезда и смыкает глаза цветам,
он идет деревнями, бросая лучи в заброшенные колодцы,
он гасит огонь в очаге и окна в домах,
он луну серебряным яблоком в детскую катит,
он печаль утешает: забудь, а любви говорит: еще
не пора,
он утюжит стерню и для злых, и для добрых,
отпускает цепи в хлеву. Он в трактире пьянчужке
отводит стакан ото рта, и подбородок ложится
на грудь,
и служанкиной тряпкой выводит на грязной стойке:
«Хватит!»

ИЗВЕСТИЕ

Есть птицы-соглядатаи:
они восседают на скалах и кряжах
или в чащобе,—они не поют.
Неведомо где гнездятся
они, полет их
недосягаем, и сердце навывлет
пронзает их крик.

Есть беззвучие слов,
но из их тишины
что-то всегда следит за тобой,
все дороги твои прозревая,
все. Иди! Уже слышен тебе
над кровлей клубящийся дым.
Но у околицы каждой
что-то навеки задержит тебя.

HERBST ÜBER WIEN

Die Abende blasen rote Fanfaren
und schütten Laub in den goldenen Ofen,
der Frost bäckt.
Schauder runzelt die Haut des Stromes,
und wie ein Nest voller Sperlinge
steht meine Stadt
geduckt vorm Feuer.

ОСЕНЬ НАД ВЕНОЙ

Вечер дует в красные фанфары
и листву сыпает в золотую печь,
жжет мороз.
Озноб морщинит блестящую кожу реки,
и словно ветка, усыпанная воробьями,
сутулится мой город
перед костром.

Michael Guttenbrunner

DER AUSGESTOSSENE

Der Bote sprach, und alle Tränen flossen.
Im Waldgebirge schmolz verjährt Schnee.
Im Ausgestoßnen schmolz die Lust zur Rache.
Wen Schweres trifft, der flüchte sich zu ihm,
so voll Erbarmen ist er.

Die Erde bebt, und starke Häuser wanken,
und wer da wohnte, fällt in flache Angst.
Sein Leid steht fest wie nur ein Marterpfahl.
Raubvögeln klagt er seine Not.
In Schmerzen blüht sein Herz
an hoher Schwärze Fuß.

KRISIS

Verschollen sind die törichten Geschöpfe,
die sich mit selbstgemachten Sonnen blenden,
unwissend, daß ein jeder Weg ins Grab führt.
Die Luft ist Qualm, das Meer ein bitterer Absud.
Der schmutzigen Erde grindige Asche düngt nur
das früh verfaulte Obst der grünen Rache.
Um hohe Bergespitzen, die kein Fuß
jemals betrat, kein Wort noch schändete,
bricht das Zerstörungswerk der Tiefe auf.
Es jaulen Störgeräusche durch die Welt.
Das Ungeziefer steigt mit Glanz empor.
Der wilde Mond wirft schwarze Galle aus.

Михаэль Гуттенбруннер

ИЗГОЙ

Гонец умолк, и зарыдал народ.
В горах лесистых таял старый снег.
В душе изгоя таяла обида:
тому, кого беда уже постигла,
терять уж нечего.

Дрожит земля, слабеют стены зданий,
их жителям страх душу леденит.
Его беда верна ему, как смерть.
И слышен стон его души
лишь стае коршунов
над Черною горой.

КРИЗИС

Забыты эти глупые созданья,
они молились вымышленным солнцам,
не ведая, что все ведет к могиле.
Весь воздух – чад, тлетворна горечь моря.
Проказа пепла станет удобреньем
протухшему плоду зеленой мести.
Среди вершин, где не был человек,
не оскверненных человеческой речью,
теперь все глубже пропасти зияют.
Мир полон завыванием помех,
чудовище блистает чешуею,
исходит черной желчью дикий месяц.

Richard Zach

WINTERREGEN

Und wieder Regen, grauer Regen, Regen....
Das nasse, braune Laub verfault im Kot.
Nur Pfützen frösteln ewig an den Wegen.
Der Dunst hängt feucht und schwer in den Gehegen.
Das Leben siecht. Stumm schleicht der Sieger Tod.

Und wieder Trübe, fahle Trübe, Trübe...
Die Erde atmet kaum noch, seufzt nur, stiert
in Düsternis, ob sie den Tag begrübe...
Die Sonne schenkt nicht Freude mehr, nicht Liebe.–
Glaubst du, daß einmal Frühling werden wird?

Рихард Цах

ЗИМНИЙ ДОЖДЬ

И снова дождь, постылый дождь, постылый...
Сырая, бурая листва гниет.
Прозябли лужи на дороге стылой.
Туман тяжел над стороной немилой.
Жизнь замирает. Смерть свое берет.

И снова смутно, пасмурно, уныло...
Земля вздыхает тяжело, она
Мрачна, как будто день похоронила...
Не дружит с нами солнце, разлюбило.—
Ты веришь ли, что вновь придет весна?

Alfred Gong

DIE LIEBENDEN

Die Liebenden haben heut keine Balkone,
kein Mond webt Träume in die Gardinen,
kein Bett ist ihr eigen. Sie liegen umschlungen,
erwartend den Tod auf nächtlichen Schienen.

Sie liegen und frösteln, die Lider geschlossen;
– um seinen Hals ihre magere Rechte–
(Einst schien uns der Mond auf das duftende Kissen...)
Leb wohl, fremde Mutter, Erde zu schlechte!

Sie lauschen den Hymnen der Frösche und Grillen,
enorm ertönend im Sternenregen
und spüren das flackernde Hämmern der Herzen,
sie liegen umschlungen und schweigen verlegen.

Sie hören das Nahen des rollenden Todes,
sie liegen da, geschlossen die Lider,
und fühlen als Letztes die Leere des Hungers,
durchflutet vom Dufte träumender Flieder.

F. GARCIA LORCA

Sie fanden ihn bei einer Kerze lesend.
Sie banden ihn
und stießen ihn in ihren Wagen,
Granada's Mond schwieg rot
über Olivenhainen.

Warum schweigt ihr, Gitarren?
Schärfer als Schwerter
zerreiße euer Wimmern
die Nacht!

Альфред Гонг

ЛЮБЯЩИЕ

Сегодня у них – ни луны, ни балкона,
им страшен в гардинах малейший шорох.
Молча, в обнимку, лежат, ожидая
полночной смерти на мягких рессорах.

Лежат и зябнут, сцепивши руки,
веки смежа, ничего не желая.
(О как прежде сияла луна над постелью!..)
Славься, мать-земля, славься, мачеха злая!

Под ливнем звезд разрастается громом
цикад и лягушек оркестр вековечный.
Лежат, обнявшись, молчат стесненно.
Каждое сердце – молот кузнечный.

Лежат, ожидая приезда смерти,
все прочее слуху чуждо, и зренью.
Последнее чувство живое – голод,
навеванный вянущею сиренью.

Ф. ГАРСИЯ ЛОРКА

Над книгой свеча горела.
Они связали его
и затолкали в кузов.
Алела луна Гранады,
молча сквозя в оливах.

Отчего молчите, гитары?
Острее кинжалов
ранят ваши стенанья
ночную тьму!

Die ersten Hahnenschreie und die letzten
Nachtigallen...
Sie hielten vor der Schlucht und leerten
eine Flasche – er schaufelte
sein eigenes Grab derweilen.

Blitzt einmal auf noch:
zwei Augen wie Malaga
und weicher Mund du, stolz
wie Alkazar!

Der Himmel wurde lichter. Eine Quelle erwachte jäh.
Die Mörder rauchten stumm. Felszinnen
zeigten ihre alten Zähne.
Die Turmuhr von Viznar schlug vier.

O Tränentraube
Fächergeflüster
Rose die nie erlischt
Zigeunersterne.

Sie zielten (wie auf einem Bild von Goya).
Er fiel ins Grab.
Sie schlossen es, und einer spie darauf:
„Wie steht's um deine Ewigkeit,
Kadaver Lorca?“

Auf fremden Horizonten
trägt Rosinante
ihren ewigen Narren.
Granada's Witwenmond wacht
in den roten Teichen.

Первый крик петушиный,
последние соловьи...
Его отвезли к ущелью,
пустили флягу по кругу,
покуда он рыл могилу.

Еще хоть однажды сверкните,
как Малага, два зрачка,
мягкие губы, гордые
словно Алькасар!

Посветлело небо. Внезапно
проснулся родник.
Убийцы молча курили. Скалы
стояли оскалась.
С башни – четыре удара.

О виноградины слез,
о легковейный шепот
неувядающей розы,
о вы, цыганские звезды!

Вскинуты ружья (Гойя!).
Он рухнул в могилу.
Один из убийц прохаркал:
«Как там насчет бессмертья,
покойник Лорка?»

На горизонтах чуждых
вечные Росинанты
вечных несли простаков.
Вдовица, луна Гранады,
стояла в алых прудах.

Paul Celan

CORONA

Aus der Hand frißt der Herbst mir sein Blatt: wir
sind Freunde.
Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehn:
die Zeit kehrt zurück in die Schale.

Im Spiegel ist Sonntag,
im Traum wird geschlafen,
der Mund redet wahr.

Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten:
wir sehen uns an,
wir sagen uns Dunkles,
wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis,
wir schlafen wie Wein in den Muscheln,
wie das Meer im Blutstrahl des Mondes.

Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu
von der Straße:
es ist Zeit, daß man weiß!
Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen bequemt,
daß der Unrast ein Herz schlägt.
Es ist Zeit, daß es Zeit wird.

Es ist Zeit.

SCHWARZE FLOCKEN

Schnee ist gefallen, lichtlos. Ein Mond
ist es schon oder zwei, daß der Herbst unter
mönchischer Kutte
Botschaft brachte auch mir, ein Blatt aus
ukrainischen Halden:

Пауль Целан

CORONA

Осень листья свои ест с руки у меня: мы стали
друзьями.
С времени сняв скорлупу, мы его учим ходить –
в скорлупу возвращается время.

День в зеркалах,
сон в сновиденьях,
губы не лгут.

Мой взгляд опускается к бедрам любимой –
мы молча стоим,
мы что-то бормочем,
мы любим друг друга, как память и маки,
мы спим, как забытые вина,
как моря в кровопаде луны.

Обнявшись, стоим у окна, и на улице плятятся люди:
пора бы им знать!
Пора бы привыкнуть камням расцветать
и сердцам беспокойством терзаться!
Пора, чтобы было пора.

Пора.

ЧЕРНЫЕ ХЛОПЬЯ

Выпал снег, сумрачно. Месяц уже
или два, как осень в монашеской рясе
мне тоже принесла весть, листок с украинских склонов:

„Denk, daß es wintert auch hier, zum tausendstenmal nun
im Land, wo der breiteste Strom fließt:

Jaakobs himmlisches Blut, benedeiet von Äxten...

O Eis von unirdischer Röte—es wadet ihr Hetman

Troß in die finsternden Sonnen... Kind, ach ein Tuch,
mich zu hüllen darein, wenn es blinket von Helmen,
wenn die Scholle, die rosige, birst, wenn schneeig

stäubt das Gebein
deines Vaters, unter den Hufen zerknirscht
das Lied von der Zeder...

Ein Tuch, ein Tüchlein nur schmal, daß ich wahre

nun, da zu weinen du lernst, mir zur Seite

die Enge der Welt, die nie grünt, mein Kind, deinem

Kinde!“

Blutete, Mutter, der Herbst mir hinweg, brannte der

sucht ich mein Herz, daß es weine, fand ich den
Schnee mich:

Hauch, ach des Sommers.

War er wie du.

Kam mir die Träne. Webt ich das Tüchlein.

TODESFUGE

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends

wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts

wir trinken und trinken

wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man

Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der

der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes

schreibt

er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne er

Haar Margarete

pfeift seine Rüden herbei

«Представь себе, что и здесь наступает зима ныне
в тысячный раз,
в краю, где течет широчайший поток:
Иакова небесная кровь, благословленная топорами...
О лед неземной красноты – их гетман бредет
с казаками в меркнувших солнцах... Дитя, ах, платок,
чтоб закутаться мне, когда шлемы сверкают,
когда эта глыба розовая трещит, когда снежною пылью
рассыпается скелет
твоего отца, растоптана копытами
песнь о кедрах...
Платок, платочек, вот только узкий, чтобы сберечь
теперь, когда ты учишься плакать, тесноту мира
рядом со мной, который никогда не зазеленеет,
дитя мое, для твоего ребенка!»

Осень кровью текла с меня, мама, снег жег меня:
Искал я сердце свое, чтобы им плакать, находил я
дыханье, ах, того лета.

Было оно, как ты.
Пришла слеза. Ткал я платочек.

ФУГА СМЕРТИ

Черное млеко рассветной зари пьем мы на ночь
пьем его утром и днем пьем и ночью
пьем его пьем
роем могилу в просторах воздушных там где
не тесно
в доме живет человек он с гадюками ладит он пишет
Германия золото кос Маргариты в сумрак одета
пишет выходит из дома под звезды и псов
он скликает

евреев скликает своих велит им могилу копать
велит нам играть танцевать веселиться

Черное млеко зари мы пьем его на ночь
пьем его утром и днем пьем его ночью
пьем его пьем
в доме живет человек он с гадюками ладит он пишет
Германия пепел волос Суламифи в сумрак одета
копаем могилу в просторах воздушных там где не тесно

велит он копать нам поглубже и петь веселиться
в руке револьвер он кричит и глаза голубые
копайте поглубже а вы там играйте танцуйте

Черное млеко рассветной зари пьем мы ночью
утром и днем его пьем мы и вечером пьем
его пьем мы и пьем
в доме золото кос Маргарита твоих Суламифи
пепел волос человек поселился с гадюками ладит
сладко о смерти играть нам велит смерть маэстро
немецкий
скрипки мрачнее чтоб голос ваш дымом густым
воспарил
тогда в облаках обретешь ты могилу там где не тесно

Черное млеко рассветной зари пьем мы ночью
пьем тебя днем смерть маэстро немецкий
пьем тебя утром и вечером пьем
смерть маэстро немецкий глаза голубые

er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der
Luft
er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister
aus Deutschland

dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith

DIE KRÜGE

An den langen Tischen der Zeit
zechen die Krüge Gottes.
Sie trinken die Augen der Sehenden leer und die
Augen der Blinden,
die Herzen der waltenden Schatten,
die hohle Wange des Abends.
Sie sind die gewaltigsten Zecher:
sie führen das Leere zum Mund wie das Volle
und schäumen nicht über wie du oder ich.

* * *

Zähle die Mandeln,
zähle, was bitter war und dich wachhielt,
zähl mich dazu:

Ich suchte dein Aug, als du's aufschlugst und niemand
dich ansah,
ich spann jenen heimlichen Faden,
an dem der Tau, den du dachtest,
hinunterglitt zu den Krügen,
die ein Spruch, der zu niemandes Herz fand, behütet.

Dort erst tratetest du ganz in den Namen, der dein ist,
schrittetest du sicheren Fußes zu dir,

пуля его попадает без промаха в вас
в доме золото кос Маргарита твоих человек поселился
свору спускает на нас одаряет могилой небесной
с гадюками ладит и грезит о смерти маэстро немецкий

золото кос Маргарита
пепел волос Суламифь

КУВШИНЫ

За длинными столами времени
пируют божьи кувшины.
Они пьют глаза зрячих до дна и глаза слепых,
сердца властительных теней,
впалые щеки вечера.
Они могущественнейшие из пьяниц:
они подносят ко рту пустоту, словно наполненность,
и не пенятся через край, как ты или я.

* * *

Пересчитай миндаль,
перебери всю горечь своих бессонниц,
предъяви мне счет:

едва глаза ты открывала по утрам
в часы, когда никто тебя не видит,
уж я твой взгляд искал,
и тайных дум твоих росу
в кувшин своих не внятных никому словес
я собирал,

и там ты обретала
свое единственное истинное имя,

schwangen die Hämmer frei im Glockenstuhl deines
Schweigens,
stieß das Erlauschte zu dir,
legte das Tote den Arm auch um dich,
und ihr ginget selbdritt durch den Abend.

Mache mich bitter,
Zähle mich zu den Mandeln.

TENEBRAE

Nah sind wir, Herr,
nahe und greifbar.

Gegriffen schon, Herr,
ineinander verkrallt, als wär
der Leib eines jeden von uns
dein Leib, Herr.

Bete, Herr,
bete zu uns,
wir sind nah.

Windschief gingen wir hin,
gingen wir hin, uns zu bücken
nach Mulde und Maar.

Zur Tränke gingen wir, Herr.

Es war Blut, es war,
was du vergossen, Herr.

Es glänzte.

Es warf uns dein Bild in die Augen, Herr.
Augen und Mund stehn so offen und leer, Herr.

Wir haben getrunken, Herr.
Das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr.

самой собою становилась,
мое стучалось молоточком слово
о перекладину молчанья твоего,
рвалось к тебе,
и, умерев в пути, тебя за плечи обнимало,
и вы одни брели сквозь вечер.

Пересчитай миндаль,
верни мне горький.

TENEBRAE

Здесь мы, господь, близко,
рядом – рукой подать.

Легко нас схватить, друг за друга
мы ухватились, будто
тело каждого –
тело твое, господь.

Молись нам, господь,
молись нам,
мы рядом.

Иссеченные ветром, шли мы,
шли сюда – преклониться
пред Бездной и пред Вершиной.

Шли мы напиться, господь.

Кровь то была, господь,
кровь, что ты проливал.

Блестела она.

Она лик твой, господь, отражала.
Открыты в жажде жестокой, пусты глаза и уста.

Мы пили, господь.
Пили кровь ту с ликом твоим отраженным.

Bete, Herr.
Wir sind nah.

PSALM

Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm,
niemand bespricht unsern Staub.
Niemand.

Gelobt seist du, Niemand.
Dir zulieb wollen
wir blühn.
Dir
entgegen.

Ein Nichts
waren wir, sind wir, werden
wir bleiben, blühend:
die Nichts-, die
Niemandrose.

Mit
dem Griffel seelenhell,
dem Staubfaden himmelswüst,
der Krone rot
vom Purpurwort, das wir sangen
über, o über
dem Dorn.

KRISTALL

Nicht an meinen Lippen suche deinen Mund,
nicht vorm Tor den Fremdling,
nicht im Aug die Träne.

Sieben Nächte höher wandert Rot zu Rot,
sieben Herzen tiefer pocht die Hand ans Tor,
sieben Rosen später rauscht der Brunnen.

Молись нам, господь.
Мы близко.

ПСАЛОМ

Никто не вылепит нас вновь из земли и глины.
Никто не станет хранить наш прах.
Никто.

Храни же свято заветы, Никто.
Ради тебя
распускается
алый бутон.
Навстречу тебе.

Ничто
мы есть, были и будем,
мы, сущие и цветущие:
Роза-Никто, Роза-
Ничто.

Это поет
светлое сердце –
пестик, опыленный пустынным небом,
багряный цветок
с лепестками пурпуровых слов,
поет и всегда
над, о над
шипами.

КРИСТАЛЛ

Не у губ моих ищи свои уста,
не у врат – пришельца,
не в зрачке – слезу.

За седьмою гранью – огонь идет к огню,
за седьмою бездной – путь вершит стопа,
за седьмою розой – ропщет влага.

MANDORLA

In der Mandel–was steht in der Mandel?
Das Nichts.
Es steht das Nichts in der Mandel.
Da steht es und steht.

Im Nichts–wer steht da? Der König.
Da steht der König, der König.
Da steht er und steht.

Judenlocke, wirst nicht grau.

Und dein Aug–wohin steht dein Auge?
Dein Aug steht der Mandel entgegen.
Dein Aug, dem Nichts stehts entgegen.
Es steht zum König.
So steht es und steht.

Menschenlocke, wirst nicht grau.
Leere Mandel, königsblau.

* * *

Du darfst mich getrost
mit Schnee bewirten:
sooft ich Schulter an Schulter
mit dem Maulbeerbaum schritt durch den Sommer,
schrie sein jüngstes
Blatt.

* * *

Fadensonnen
über der grauschwarzen Ödnis.
Ein baum-
hoher Gedanke
greift sich den Lichtton: es sind
noch Lieder zu singen jenseits
der Menschen.

МАНДОРЛА

Глубь — что таит глубь?
Ничто.
Ничто таит глубь.
Таит и таит.

Ничто — кто стоит в ничто?
Там царь.
Царь там стоит, царь.
Стоит и стоит.

Где же горечь, иудей?

Взор — что зрит взор?
Он зрит глубь.
Зрит ничто.
Зрит царя.
Зрит и зрит.

Где же горечь, род людей?
Глуби глубь, поголубей.

* * *

Ты можешь спокойно
угощать меня снегом:
всякий раз, когда я плечом к плечу
с шелковицей шагал сквозь лето,
кричал ее самый юный
лист.

* * *

Нити солнца
над темной пустынностью,
мысль,
высокое дерево,
вбирает звук света: есть
еще песни, чтобы петь по ту сторону
людей.

COAGULA

Auch deine
Wunde, Rosa.

Und das Hörnerlicht deiner
rumänischen Büffel
an Sternes Statt überm
Sandbett, im
redenden, rot-
aschengewaltigen
Kolben.

COAGULA

Твоя тоже
рана, Роза.

И свет рогов
твоих румынских буйволов
вместо звезды над
песчаной постелью
в говорливых красно-
пепельных огромных
початках.

Erich Fried

TOTSCHLAGEN

Erst die Zeit
dann eine Fliege
vielleicht eine Maus
dann möglichst viele Menschen
dann wieder die Zeit

SPRACHLOS

Warum schreibst du
noch immer
Gedichte
obwohl du
mit dieser Methode
immer nur
Minderheiten erreichst

fragen mich Freunde
ungeduldig darüber
daß sie mit ihren Methoden
immer nur
Minderheiten erreichen

und ich weiß
keine Antwort
für sie

Эрих Фрид

УБИВАТЬ

Сначала время
потом муху
возможно мышь
потом как можно больше людей
потом опять время

БЕЗОТВЕТНО

Почему ты
все еще пишешь
стихи
ты ведь
подобным методом
достигаешь
только немногих

так вопрошают друзья
теряющие терпенье
ибо они своими методами
достигают
только немногих

и я не знаю
что им
ответить

Hans Carl Artmann

* * *

ich bin die liebe mumie
und aus ägypten kumm ie,
o kindlein treibt es nicht zu arg,
sonst steig ich aus dem sarkopharg,
hol euch ins pyramidenland,
eif meter unterm wüstensand,
da habe ich mein trautes heim,
es ist mir süß wie honigseim,
dort, unter heißen winden,
wird keiner euch mehr finden.
o lauschet nur, mit trip und trap
husch ich die treppen auf und ab,
und hört ihrs einmal pochen,
so ists mein daumenknochen
an eurer zimmertür –
o kindlein, seht euch für!

VORSOMMERLICHES RONDO

in meiner kammer raunt das weicher kupfer der nacht
der mond im fenster ist eine warme knospe aus
bernstein
der efeuschwere wind weidet im oleander meiner gärten
der fremde gast in der herberge erlösch das sanftöl
seiner ampel
wenn du durch die nacht kommst ist windfarn und
steinnelke um deinen fuß
der fremde gast in der herberge erlösch das sanftöl
seiner ampel
der efeuschwere wind weidet im oleander meiner gärten
der mond im fenster ist eine warme knospe aus
bernstein
in meiner kammer raunt das weiche kupfer der nacht.

Ханс Карл Артман

* * *

Я мумия, я лапочка –
с Египту, в белых тапочках,
держи, сынок, себя в руках,
не то раскрою саркофаг
и утащу в край пирамид,
иметь там будешь бледный вид,
шесть метров под тугим песком –
под сим покровом родный дом,
там знойный ветер свищет,
никто тебя не сыщет.
Чу! – это я – внемли, сынок,
скачу по лесенкам – прыг-скок,
а ежели услышишь стук
перстом костлявым – тук-тук-тук
стучатся в двери тихо,
пожалуйте – на выход!

РОНДО НАКАНУНЕ ЛЕТА

В комнату мне дохнуло нежной латунию ночи
теплой янтарной почкой смотрит в окно луна
ветер тяжелый как плющ пасется в олеандрах моих садов
на постоялом дворе незнакомец гасит кроткое масло
своей лампы
когда ты приходишь сквозь ночь папоротник и дремотник
касаются твоих ног
на постоялом дворе незнакомец гасит кроткое масло
своей лампы
ветер тяжелый как плющ пасется в олеандрах моих садов
теплой янтарной почкой смотрит в окно луна
в комнату мне дохнуло нежной латунию ночи

Konrad Bayer, Gerhard Rühm,
Oswald Wiener

kunst kommt vom können

die kunst ist schön
denn die kunst ist schön
weil die kunst schön ist

die wird nicht vergehn
weil wenn die kunst vergehen würde
wär ja keine kunst mehr da

und das geht ja nicht
weil dann alles ohne kunst ist

refrain

ja wir künstler sind schöpfer
und schöpfen tut weh
ja wir schöpfer sind künstler
und schöpfen die kunst

Конрад Байер, Герхард Рюм,
Освальд Винер

исконность искусства искусность

искусство прекрасно
так как искусство прекрасно
ибо прекрасно искусство

оно не кончится
ибо кончись искусство
искусства вовсе бы не осталось

а это всему конец
ибо все тогда станет безыскусным

припев

да мы люди искусства творцы
а творчество стоит крови
да мы творцы люди искусства
и творим искусство

Gerhard Fritsch

AUGUSTMOND

Aus dem Scheunenattem
aus dem Maisfelderdunst
aus den Kastanienkronen
aus den Disteln vergessener Bahndämme
aus den Holunderzäunen
aus den Friedhofsecken
aus dem Staub
aus dem Staub
aus dem Ozean von Staub
rollt lautlos der Mond
der riesige Kürbis
auf die Sternstraßen
der Ebene.

Von Dorf zu Dorf
bahnen ihm Hunde
den Weg.

WIR SIND NICHT IN DEN WALD GEGANGEN

Wir sind nicht in den Wald gegangen,
um vom Häuschen der Hexe Lebkuchen zu brechen.
Wir wissen, das Häuschen ist morsch und zerfällt.
Nichts ist süß hier, wo wachsen die Betten und Särge,
nichts als die Beeren.
Ein bißchen Süße der Kindheit
bewahrten sie uns auf
als Wegzehrung für heut.

Герхард Фрич

АВГУСТОВСКАЯ ЛУНА

Из дышащих хлебом амбаров,
из мглы над маисовым полем,
из каштановых крон,
из репейных кустов вдоль железной дороги,
из бузины у заборов,
из-под сени заброшенных кладбищ,
из праха,
из праха,
из океана праха
огромною тыквой
бесшумно
на звездные тропы равнины
выкатывается луна.

Ей путь
от деревни к деревне
прокладывают
собаки.

НЕ ЗА ПРЯНИКАМИ КОЛДУНЬИ

Не за пряниками колдуньи
мы отправились в лес.
Ветх и стар ее пряничный домик.
Здесь, где из земли вырастают гробы и кровати,
одни лишь ягоды сладки.
В них еще сохранилась частица
сладости нашего детства,
и мы кормимся ею в пути.

Die Furcht von damals,
die hockte unter dem Moos,
sie rinnt jetzt als klares Wasser
zwischen den Schuhen zu Tal.

Komm,
wir wollen die Hexe
trösten.

Страхи бывшего
таились под мхами лесными.
И вот прозрачною влагой
они убегают в долину
под подошвами наших ног.

Пойдем же,
утешим колдунью.

Friederike Mayröcker

* * *

Durch die Gitterstäbe meines Herzens
scheint die Welt mir seltsam fremd

auf und nieder hier und dorthin
doch die Tore sind versperrt

immer kleiner sind die Kreise
immer mutloser der Ausbruch

manchmal bleiben Menschen stehen

werfen ein paar leise Worte
werfen einen Blick herein

seltener kommst du vorbei

du hast meine Tür verriegelt
du hast alles abgesperrt

manchmal wirfst du eine Rose
wie ein Stückchen rohes Fleisch

im Vorübergehn herein.

* * *

Vollgeregnet mit Blättern
hat mir der Wald mein Waldhorn
wenn ich es ansetze
fliegen sie auf
leicht und mit rötlich zerzausten Mähnen.

Фридерика Майрёкер

* * *

Сквозь решетку на сердце моем
мир мне кажется странно чуждым

мир в движении вечном
но на двери замок

все уже и уже круги
желанье побега все реже

люди порою шаги замедляют

то взгляд в мою сторону бросят
то несколько тихих слов

всех реже проходишь ты

ты меня заточивший
ты лишивший меня всего

иногда на ходу
ты бросаешь мне розу

словно кусок мяса

* * *

Листьями лес
наполнил мою валторну
стоит мне заиграть
они взлетают парят
багряными гривами машут

* * *

Eine Fuszreise ohne Ende
eine Pilgerfahrt auf den Knien
alle Wege sind bestreut mit Dornen
die Fluszläufe die ich durchqueren musz
habe ich selbst geweint.

Aber deine flüsternde Stimme trägt mich fort
und die beinah verwehte Fuszspur
deiner Liebe.

* * *

Странница в бесконечность
паломница на коленях
в терниях все пути
вброд перейти должна я
реки собственных слез

но твой шепот уводит меня с собою
по почти уже стертому следу
твоей любви

Ernst Jandl

mops otto

ottos mops trotzt
otto: fort mops fort
ottos mops hopst fort
otto: soso

otto holt koks
otto holt obst
otto horcht
otto: mops mops
otto hofft

ottos mops klopft
otto: komm mops komm
ottos mops kommt
ottos mops kotzt
otto: ogottogott

Эрнст Яндль

мопс отто

МОПС ОТТО ТУП
ОТТО: ПШОЛ МОПС
МОПС ОТТО ШМЫГ ПРОЧЬ
ОТТО: ТО-ТО

ОТТО НЕСЕТ КОКС
ОТТО НЕСЕТ КЕКС
ОТТО ВЕСЬ СЛУХ
ОТТО: МОПС МОПС
ОТТО ЖДЕТ

МОПС ОТТО В ДВЕРЬ
ОТТО: ИДИ МОПС ИДИ
МОПС ОТТО ИДЕТ
МОПС ОТТО БЛЮЕТ
ОТТО: НУВОТНУВОТ

Ingeborg Bachmann

IHR WORTE

Ihr Worte, auf, mir nach!,
und sind wir auch schon weiter,
zu weit gegangen, geht's noch einmal
weiter, zu keinem Ende geht's.

Es hellt nicht auf.

Das Wort
wird doch nur
andre Worte nach sich ziehn,
Satz den Satz.
So möchte Welt,
endgültig,
sich aufdrängen,
schon gesagt sein.
Sagt sie nicht.

Worte, mir nach,
daß nicht endgültig wird
– nicht diese Wortbegier
und Spruch auf Widerspruch!

Laßt eine Weile jetzt
keins der Gefühle sprechen,
den Muskel Herz
sich anders üben.

Laßt, sag ich, laßt,

ins höchste Ohr nicht,
nichts, sag ich, geflüstert,
zum Tod fall dir nichts ein,
laß, und mir nach, nicht mild
noch bitterlich,

Ингеборг Бахман

СЛОВА

Слова, за мной!

И даже если мы с вами слишком далеко зашли,
все же вперед, за мной, об остановке не может быть
речи.

Светлее не стало.

Слово
за словом,
фраза
за фразой –
мир
хочет сказаться,
хочет быть выражен
до конца.
И этому нет конца.

За мной, слова, чтобы вы не иссякли
– но только не жадным взхлеб потоком,
и не формулой краткой,
скрывающей противоречие.

Пусть какое-то время
не выражаются чувства,
пусть душевная мышца
набирается сил.

Только чтобы ни слова,
говорю вам, до горнего слуха ни слова,
шепчу вам, о смерти ни слова
не донеслось, слова – и за мной!

Чтобы не слишком сладко,
чтобы не слишком горько,

nicht trostreich,
ohne Trost
bezeichnend nicht,
so auch nicht zeichenlos –

Und nur nicht dies: das Bild
im Staubgespinst, leeres Geroll
von Silben, Sterbenswörter.

Kein Sterbenswort,
Ihr Worte!

EXIL

Ein Toter bin ich der wandelt
gemeldet nirgends mehr
unbekannt im Reich des Präfekten
überzählig in den goldenen Städten
und im grünenden Land

abgetan lange schon
und mit nichts bedacht

Nur mit Wind mit Zeit und mit Klang
der ich unter Menschen nicht leben kann

Ich mit der deutschen Sprache
dieser Wolke um mich
die ich halte als Haus
treibe durch alle Sprachen

O wie sie sich verfinstert
die dunklen die Regentöne
nur die wenigen fallen

In hellere Zonen trägt dann sie den Toten hinauf.

не утешительно,
но и не без утешения,
чтобы печатью отмечено,
но чтоб не узор из знаков;

и чтоб ни за что на свете:
запаутиненный образ, грохот
пустых словес, смертельные фразы.

Ни одного смертельного слова,
Слова!

ИЗГНАННИЧЕСТВО

В своих скитаниях я ощущала себя умершей
не числящейся уже среди живых
не зарегистрированной ни в одной префектуре
не населяющей золотых городов
и цветущих долин

не имеющей никаких дел на земле
не присутствующей ни в чьих мыслях

только ветер только поступь времени только звуки
слышала я не выдержавшая жизни среди людей

среди разноязыкого говора
обретаюсь я в облаке
немецкой речи
вот и все мое достояние

о как мрачно
клубится тьма
только редкие капли

пят живящей небесной росой и возносят из мертвых.

DAS SPIEL IST AUS

Mein lieber Bruder, wann bauen wir uns ein Floß
und fahren den Himmel hinunter?

Mein lieber Bruder, bald ist die Fracht zu groß
und wir gehen unter.

Mein lieber Bruder, wir zeichnen aufs Papier
viele Länder und Schienen.

Gib acht, vor den schwarzen Linien hier
fliegst du hoch mit den Minen.

Mein lieber Bruder, dann will ich an den Pfahl
gebunden sein und schreien.

Doch du reitest schon aus dem Totental
und wir fliehen zu zweien.

Wach im Zigeunerlager und wach im Wüstenzelt,
es rinnt uns der Sand aus den Haaren,
dein und mein Alter und das Alter der Welt
mißt man nicht mit den Jahren.

Laß dich von listigen Raben, von klebriger Spinnenhand
und der Feder im Strauch nicht betrügen,
iß und trink auch nicht im Schlaraffenland,
es schäumt Schein in den Pfannen und Krügen.

Nur wer an der goldenen Brücke für die Karfunkelfee
das Wort noch weiß, hat gewonnen.
Ich muß dir sagen, es ist mit dem letzten Schnee
im Garten zerronnen.

Von vielen, vielen Steinen sind unsre Füße so wund.
Einer heilt. Mit dem wollen wir springen,
bis der Kinderkönig, mit dem Schlüssel zu seinem
Reich im Mund
uns holt, und wir werden singen:

Es ist eine schöne Zeit, wenn der Dattelkern keimt!
Jeder, der fällt, hat Flügel.
Roter Fingerhut ist's, der den Armen das Leichentuch
säumt,
und dein Herzblatt sinkt auf mein Siegel.

КОНЧЕНА ИГРА

Дорогой мой брат, не построить ли плот,
не пуститься ли по небосводу?
Дорогой мой брат, будет скверным исход:
оба уйдем под воду.

Дорогой мой брат, мы рисуем пути,
выбираем на картах страны.
Осторожней, грифелем не зачерти
параллели, меридианы.

Дорогой мой брат, я хочу у столба
кричать о своем бесчестье.
Но из смертной долины тебя судьба
выводит со мною вместе.

В кущи ли, в табор ли мы забрели,
от песка на зубах – досада.
Возраст мой, и твой, и возраст земли
исчислять годами не надо.

Не бойся ни клейких паучьих цепей,
ни пугал, что делают люди.
В Шлараффии не ешь и не пей –
там одна лишь пена в посуде.

Победит – кто возле золотого моста
скажет фее заветное слово, –
но боюсь, что сокровищница пуста,
оно не отыщется снова.

Наши ноги изранены сотней путей,
оттолкнемся одной – и допрыгнем
до короля в королевстве детей
и его на игру подвигнем!

Финик взойдет, отрастут крыла,
нет на свете прекрасней вести!
...Для савана – красный наперсток, игла.
Крыты бубнами крести.

Wir müssen schlafen gehn, Liebster, das Spiel ist aus.
Auf Zehenspitzen. Die weißen Hemden bauschen.
Vater und Mutter sagen, es geistert im Haus,
wenn wir den Atem tauschen.

DIE GESTUNDETE ZEIT

Es kommen härtere Tage.
Die auf Widerruf gestundete Zeit
wird sichtbar am Horizont.
Bald mußst du den Schuh schnüren
und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe.
Denn die Eingeweide der Fische
sind kalt geworden im Wind.
Ärmlich brennt das Licht der Lupinen.
Dein Blick spurt im Nebel:
die auf Widerruf gestundete Zeit
wird sichtbar am Horizont.

Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand,
er steigt um ihr wehendes Haar,
er fällt ihr ins Wort,
er befiehlt ihr zu schweigen,
er findet sie sterblich
und willig dem Abschied
nach jeder Umarmung.

Sieh dich nicht um.
Schnür deinen Schuh.
Jag die Hunde zurück.
Wirf die Fische ins Meer.
Lösch die Lupinen!

Es kommen härtere Tage.

ALLE TAGE

Der Krieg wird nicht mehr erklärt,
sondern fortgesetzt. Das Unerhörte
ist alltäglich geworden. Der Held

Игра окончена, дело с концом.
Спать пора. Заколочена крышка.
В доме видят призраков мать с отцом,
если у нас передышка.

ОТСРОЧЕННЫЙ ЧАС

Трудные наступают дни.
Уже маячит на горизонте
ожидающий своего часа час.
Скоро придется тебе зашнуровать башмаки,
снова псов своих в свору связать.
У рыбы
оледенели кишки на ветру.
Тусклым огнем горит люпин.
И ты уже различаешь в тумане:
отсроченный час
маячит на горизонте.

Твоя любимая увязает в песке,
им полны развевающиеся ее волосы,
он скрипит в каждом слове
и заставляет ее молчать,
выдавая, что она тоже смертна
и жаждет расстаться с тобой,
когда ты ее обнимаешь.

Не оглядывайся.
Шнуруй башмаки.
Спускай с привязи псов.
Выбрасывай рыбу в море.
Гаши люпиновые огни!

Трудные наступают дни.

В НАШИ ДНИ

Войны уже больше не объявляют,
она длится и длится. Неслыханное
стало повседневностью. Герои

bleibt den Kämpfern fern. Der Schwache
ist in die Feuerzonen gerückt.
Die Uniform des Tages ist die Geduld,
die Auszeichnung der armselige Stern
der Hoffnung über dem Herzen.

Er wird verliehen,
wenn nichts mehr geschieht,
wenn das Trommelfeuer verstummt,
wenn der Feind unsichtbar geworden ist
und der Schatten ewiger Rüstung
den Himmel bedeckt.

Er wird verliehen
für die Flucht von den Fahnen,
für die Tapferkeit vor dem Freund,
für den Verrat unwürdiger Geheimnisse
und die Nichtachtung
jeglichen Befehls.

GEH, GEDANKE

Geh, Gedanke, solange ein zum Flug klares Wort
dein Flügel ist, dich aufhebt und dorthin geht,
wo die leichten Metalle sich wiegen,
wo die Luft schneidend ist
in einem neuen Verstand,
wo Waffen sprechen
von einziger Art.
Verficht uns dort!

Die Woge trug ein Treibholz hoch und sinkt.
Das Fieber riß dich an sich, läßt dich fallen.
Der Glaube hat nur einen Berg versetzt.
Laß stehn, was steht, geh, Gedanke!

Von nichts andrem als unsrem Schmerz durchdrungen.
Entsprich uns ganz!

остаются вдали от сраженья. Бессилие
заняло огневую позицию.
Униформа этих дней – терпение,
награда – тусклая звездочка надежды
в сердце.

Оно вознаграждено,
если ничего не случается,
если смолкает барабанный огонь,
если враг скрывается из виду –
тучи вечного вооружения застыт нам небосвод.

Оно вознаграждено
за неприягу знаменам
за мужество верности другу
за разглашение омерзительных тайн
за презренье
к приказам.

МЫСЛЬ СЕРДЦА, В ПОЛЕТ!

Мысль сердца, в полет! – даны тебе крылья,
чтобы ты в ясном слове могла воспарить
в те далекие выси, куда облегченный металл
проложил себе путь,
взмыв с новейшей дорожки познания,
и где полновластным хозяином
стало оружие.
Туда устремись!

Щепка тоже на гребне волны взмывает, бывает, –
и тонет.

Лихорадка тебя валит с ног.
Только вера сдвигает горы.
Пусть себе остается на месте, что неподвижно!

Ты ж воспарь, мысль, что болью проникнута нашей.
Заяви о себе во весь голос!

Andreas Okopenko

IN ZEHN MONATEN

In zehn Monaten ist wieder Frühlingsbeginn
Da tritt aus dem Tor eine Chemikerin
Sie denkt an die Schwalben, an Salben und
Löslichkeit von Eosin.
Ich sage es jetzt schon und nicht erst dann:
Diese Chemikerin geht mich nichts an.

Ich habe den Mai auf meinem Arbeitsplatz
Wie einen Scherben Ton, mit dem der Kleine spielt
im Hof.
Er ist so brennend, so viel, der Mai,
Daß man ihn nur verdünnt erträgt,
Wenn man allein ist.

Aber das Grün schließt allmählich seinen Schnabel.

Ich sehe dich also
Wieder einmal dastehen
Wie die Zwölfjährige, die offenen Munds
An ihrem Zopf dreht.
Du möchtest nunmehr
Die gerüttelte Blechtür eines alten Wasserwerkes sein,
Im Regenwind, der aus den raschen, den dunkelgrauen
Wolkenfetzen geht.
Oder auch einem brüllenden Schaf nachlaufen, einem
geängstigten, wenn die dunklen
Volt
Vom Himmel krachen.

Die Bände soziologischer Zeitschriften haufen sich
auf deinem Tisch,
Aber sie schmecken wie gedörrtes Bier
Und sprechen nicht zu dir.

Андреас Окопенко

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ

Через десять месяцев снова наступит весна,
И выйдет из подъезда химичка одна.
О ласточках и глицерине и красителе цвета зари —
эозине думает она.
Я это сейчас говорю, а после о ней и не вспомню я:
Химичка совсем не волнует меня.

Месяц май у меня на рабочем месте,
Как глина для горшка, с черепком от которого будет
играть во дворе девчонка.
И так много его, и так обжигает он, май,
Что один человек его может перенести
Только в разбавленном виде.

Но зелень постепенно закрывает свой клюв.

Я вижу тебя, стало быть,
Прежней,
Двенадцатилетней: ты стоишь с открытым ртом
И крутишь косичку.
Ты хотела бы и теперь
Быть хлопающей железной дверью старой водокачки
В ветер и дождь, хлещущий из темно-серых и рваных
туч.
Или — гнаться за блеющей с перепугу овцой, когда
темные вольты
Рушатся с неба.

Горы социологических журналов громоздятся на твоём
столе.

Но они как порошковое пиво, и потому
Не говорят ничего ни душе ни уму.

Oder einmal ausspannen? Deinem Vergnügen nachgehen?
Ja, ins Kino, wohin Irene mit ihrer Mutter gegangen ist
(den Erich haben sie dieses Mal bereits mitgenommen--)
Es ist am besten, du beschaffst dir einen Platz
Und kümmerst dich nicht darum, was gespielt wird
Außerhalb der Leinwand.

Ich führe inzwischen eine Diskussion
Über Themen, die imponderabel sind und indiskutabel--
Um diese Jahreszeit, du hast schon recht,
Schließt das Grün ganz merklich seinen Schnabel.

ALT-WIENER ERINNERUNGEN

Eintausendsiebenhundertsechundachtzig,
dreißig Jahre also nach Einführung der
Speiseschokolade,
wurde—wie ich zum Frühstück in einer Zeitung,
einer guten, las—
ein Mensch gerädert.

Sie flochten ihn auf das Rad,
wie man einen Striezel flicht
oder Zöpfe.
Erst brachen ihm die Knochen
nach der Reihe,
ganz ohne einen anatomischen Fehler,
dann das Gesicht
und der Kopf zuletzt.

Die Leute durften zuschauen:
Sie nahmen 's Schatzerl
oder Kind und Kegel
mit zu diesem Volksfest
und das goldene in Wien beheimatete Herz.

Schon draußen,
wo der Gang zur Hinrichtung seinen Anfang nahm,

drängte sich alt und jung,
das Vorspiel zu sehen,
das die Zeitung spaßig beschrieb wie folgt:

Der Delinquent bekommt in regelmäßigen Abständen
während seines Weges den
Zwick.

Er brüllt auf, die Leuten wiehern, die Sonne lacht
und schon der nächste

Zwick.

Dazwischen, um die Schmerzen zu betäuben,
die sonst leicht die Hinrichtung ersparen könnten,
was einem so unsparbaren Volk nicht gelegen ist,
ein Heftpflaster, ein schmerzstillendes mit Opium,
und dann der nächste

Zwick.

Ein Zwick ist der Biß einer Zange,
einer auf Rot vorgewärmten,
in den unbedeckten Körper,
was, wenn es oft genug geschieht,
Clown-artige Bewegungen des Betroffenen hervorruft,
umso kostbarer in einer Zeit,
die noch keine Theaterschulen kennt.

Ich weiß nicht, warum ich nach dieser Stelle,
die ich zum Frühstück im Unterhaltungsteil einer
Zeitung, einer guten, fand,
die Lektüre nicht fortsetzte;
steht doch die Zeitung nicht auf dem Index der
verbotenen,
sondern hat im Gegenteil vollkommen einwandfrei gegen
jene Einspruch erhoben,
die niederen Trieben das Wort reden;

auch daß wir uns nicht versuchen lassen sollen,
die jahrhundertealte Tradition aufzugeben, die
uns Kultur bedeute,
ist – freilich in einer anderen Spalte –
drin gestanden.

толпились и стар и млад,
дабы увидеть пролог,
который газета игриво описывала так:

Обреченный через равные отрезки пути получает
щипок.

Он вопит, люди гогочут, солнце
смеется и опять –
щипок.

Тем временем для заглушенья мучений,
чтобы они не могли слишком быстро закончиться,
что простительно только для неэкономных народов,
на раны накладывают болеутоляющий пластырь

с опиумом,

и лишь потом следует очередной
щипок.

Щипки, а если быть точным, – укусы
в ничем не прикрытое тело
клещей, раскаленных почти докрасна,
при достаточно частых повторях
вынуждают жертву паясничать,
что особенно ценилось в эпоху,
еще не знавшую театральных училищ.

Я не знаю, почему
за завтраком,
дойдя до этого места
на последней странице одной солидной газеты,
я не стал читать дальше;
ведь газета не числится в списке запрещенных,
а напротив, – совершенно безупречна и клеймит тех,
кто потакает низменным инстинктам.

И речь о том, что мы не должны отказываться
от вековых традиций, именуемых культурой,
там тоже шла, –
правда, в другой колонке.

EIN ERSTER FRÜHLINGSMORGEN DAS

Ein erster Frühlingsmorgen das:
Die Vogelsäge zerzwitschert Glas,
Das Hellgrün, das eben noch schlief,
Das gelbe Grün und das grauere Grün,
Alles hat fast schon Tagesfarbe,

Und die Veilchen irgendwo im Gras
Wehen
Ihren Duft durch den Morgen,
Wie wenn ein Mädchen neben dir
Sagt „Guten Morgen!“
Und dir in Erinnerung zurückruft,
Daß sie nicht mehr ein Mädchen sondern dein Mädchen
Nicht ein sondern dein
Und zwar nun immer es ist
Nicht ein sondern dein –

Draußen fällt die Sonne ein.

ПЕРВОЕ УТРО ВЕСНЫ

Пришло, запело, зацвело,—
Звенит от птичьих пил стекло,
И полусонная светлая зелень,
И желтая зелень, и зелень чуть-чуть посерей,—
все окрашено почти по-дневному.

И по траве где-нибудь разнесло запах фиалки,
Расцветшей утром,
И он как будто бы девушка тебе говорит:
«С добрым утром!»—
И напоминает, что она уже
Не просто девушка, а твоя девушка,
Не какая-то, а твоя,
И что теперь так будет всегда:
Не какая-то, а твоя.

А солнце плещет во все края.

Johann Marte

MELTUNK: SSOLDATT TOT.-.

An der Nahkampfspange
schält der Rost.
Die Kugel sitzt noch in der Brust
der Rasse.

Zwei dumme Bauernkinder
finden einen Karabiner
und zehn Schuß,
die den Mann nicht fanden,
dem sie galten in der Schlacht –
da hat's jekracht!

An der grünen Pelerine
frißt die fise Motte:
„Über alles“
in der dritten Generation.
Sie hat den Regen tausend Jahre tapfer ausgehalten,
toll jehalten.

Der Feldpostbrief
der kleinen Rosmarie,
der busensüßen Augenweide –
„Rührt euch!“ auf der Heide –
ist vergilbt.
Das EK 1
liegt neben ihrem Bild.
Fragt ihr mich, warum ich traurig bin,
schau ich nur auf die Kanone hin.
Stilljstanden!

Gäb' es nicht die Narben,
die Dein Zahn mir schlug,
blieben nicht die harten Herzen,
die blasse Farbe der Erinnerung
in der Dinge argen Änderung,
Änderung...
ich dächte, Du warst Trug.

Иоганн Марте

ИНФОРМАЦИЯ: СОЛДАТ МЕРТВЫЙ.

Медаль «За героизм в рукопашной»
заржавлена и облуплена.
Пуля все еще в сердце
расы.

Двое крестьянских мальцов
нашли карабин
и десяток патронов к нему,
не использованных по назначению –
т. е. для которых покуда пора не настала –
то-то загрохотало!

На зеленой пелерине
выгрызает моль:
«Превыше всего» –
это уже собственность третьего поколения.
Этой надписи – нипочем тысячелетние ливни,
нипочем безумства.

Словно «Вольно!» в степи –
так же выцвело и пожелтело
письмо Розмари,
маленькой, милой,
его единственной крошки.
Железный крест первой степени –
рядом с его фотографией.
Не стоит спрашивать, отчего мне печально –
я всего лишь взглянул на полевое оружие.
Смиррно!

Если бы не было шрамов,
оставленных твоими зубами,
если бы не было жестоких сердец
и блекнувших воспоминаний
в суровом потоке времен,
переменчивых времен –
я считал бы, что ты придуман.

* * *

Eine Taube
sucht

im schmutzigsten Winkel
des schmutzigsten Fensters
im schmutzigen Dom
zu Wien

eine Bleibe.

Sie reibt im Kreise
den Leib an der Scheibe
und dreht sich im Staube
(von zwei Kriegen)---
die schmutzigste Taube
von Wien.

TRAUM

Lautlos weit
hinten im wald
hoch in einer dürren buche
leuchtet das pralle euter einer ziege
mit diebischer sinnlichkeit

Eine stumme Amsel
mit vier lahmen flügeln
und nadeldünnen beinen
flieht in langen sätzen durch's gebüsch
voll roter beeren
gelber blüten
die im feuchten silbergras verfaulen
geruch von moos und kranken pilzen

die amsel
schwarz
und voll entsetzen
gibt allein den Atem
dieser totenwelt.

* * *

Голубь
ищет

в самом грязном углу
самого грязного окна
в грязном соборе
в Вене

пристанище.

В грязи непролазной
он жметя всем телом к стеклу,
окутанный пылью
(двух войн)---
наиболее грязный
голубь Вены.

СОН

В чащобе лесной
тихо вокруг
высохший бук
светятся ветви сосцы козы
чувственно воровато

Четверокрылый
беспомощный дрозд
на спичечных ножках
поспешая бежит сквозь кусты
красные ягоды
желтые цветы
гниют в серебристой траве
запах больных грибов и мха

Дрозд
черный
кошмарный
только он ЖИВОЙ
в этой мертвой стране.

Peter Handke

EINIGE ALTERNATIVEN IN DER INDIREKTEN REDE

TATEN seien die Alternativen zu WORTEN
SO wie ICH die Alternative zu IHM sei
oder wie WIR die Alternative zur UNTERDRÜCKUNG seien
oder wie DU die Alternative zur LEEREN WOHNUNG seist:

WORTE wieder, sagt man, seien die Alternative zum DENKEN
SO wie VERHANDLUNGEN die Alternative zum KRIEG seien
oder wie der WIRKLICHKEITSSINN die Alternative zum
UNVERBINDLICHEN SPIEL sei
oder wie die SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG die Alternative zum
KARTOFFELKÄFER sei:

DAS DENKEN wieder soll, berichtet man, die Alternative
zu den TATEN sein
SO wie DIE STICKIGE LUFT eine Alternative zu denen
sein soll, DIE FÜR REINE LUFT SORGEN
oder wie DIE ANARCHIE die Alternative zum GUTEN
WILLEN ALLER BETEILIGTEN sein soll
oder wie die Alternative zum KLEINEN FINGER GAR
NICHTS sein soll:

Die Alternativen, könnte man also sagen, stellten
zwei Worte zur Wahl

die Alternativen bestünden aus Worten
die Worte behaupteten, schon als Worte, WAS SEIN SOLLE /
die Alternativen stellten zwei Worte zur Wahl, von
denen eines SEIN SOLLE, damit das andre NICHT SEI /
die Alternativen stellten sich als Worte zur Wahl,
die dadurch,
daß Worte, schon als Worte, behaupteten, was SEIN SOLLE,
schon zwischen zwei Worten keine Wahl mehr zuließen/

Петер Хандке

НЕКОТОРЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ В КОСВЕННОЙ РЕЧИ

поступки — это своего рода альтернатива словам
так же как я альтернатива ему
или как мы альтернатива унижению
или как ты альтернатива пустой квартире

Опять-таки слова, как говорят, такая же альтернатива
мышлению
как переговоры альтернатива войне
или как чувство реальности альтернатива безотчетной затее
или как средство для уничтожения вредителей альтернатива
колорадскому жуку

С другой стороны мышление, как уверяют, должно быть
альтернативой поступкам
так же как спертый воздух должен быть альтернативой для
тех, кто призван беречь чистый воздух
или как анархия должна быть альтернативой доброй воле
коллектива
или как альтернативой мизинцу должно быть вообще ничего

Таким образом, резонно полагать, что альтернативы
как бы предлагают два слова на выбор
альтернативы состоят из слов
слова как бы уже сами по себе утверждают, что должно быть
альтернативы предлагают два слова на выбор,
из коих одно должно быть, дабы другого не было

альтернативы являют собой те же слова для выбора,
которые, в силу того, что слова уже сами по себе
утверждают, что
должно быть, не допускают никакого выбора между двумя
словами

wenn WORTE die Alternative zum DENKEN wären, wie die Alternativen, die WORTE seien, behaupteten, weil sie WORTE seien (und Worte *behaupteten*),— so wären die Alternativen, die, schon als WORTE, behaupteten, WAS SEIN SOLLE, die geeignete Schädlingsbekämpfung der GEDANKEN:

PARIER ODER KREPIER!

DROHGEDICHT

Ein ehemaliger Volkssportler geht durch die Sommernacht
Er hat Ballschuhe an
die bespritzt sind von Erbrochenem

An einer Vorstadtkreuzung erblickt er im
Mitternachtsdunst
das Gipfelkreuz
und er lehnt sich daran wie damals
als er am Dachstein mit seiner Schulklasse erfor
und sein bester Freund noch ein Foto von ihm machte

Wie damals patscht er in die Hände und lächelt greisenhaft
obwohl die Sommernacht lau ist
und niemand mehr ihn fotografiert

Es ist die Nacht der in der Seilbahnkanzel dröhnenden
Skischuhe

Der Bach rauscht tief unter dem Eis
und die Kreuzotter fährt aus den Preiselbeerbüschen
dem Überzähligen unter die Smokinghose

Sein letzter Blick erfaßt im Nachtgrauen
einen hellerleuchteten Flughafenbus
wo die Leute sich regen wie Würmer
in einem Magen

если бы слова были альтернативой к мышлению, как это утверждают – будучи словами – альтернативы, ибо они суть слова (и слова утверждают), то альтернативы, утверждающие в качестве слов, что быть должно, были бы подходящим средством для уничтожения вредных мыслей:

ВОЗРАЗИ ИЛИ ГРОМ ТЕБЯ СРАЗУ!

СТИХОТВОРЕНИЕ СО СКРЫТОЙ УГРОЗОЙ

Бывший спортсмен-любитель
бредет сквозь летнюю ночь
в облеваных бальных штиблетах

На одном из пригородных
пересечений
он различает в сумраке крест
торчащий над скалистым уступом
и облакачивается на него
как тогда на заоблачной вершине
Дахштайна
где он с однокашниками дрожал от холода
а лучший друг еще и снимок сделал на память

Как и тогда он хлопает в ладоши
и хмыкает по-стариковски
хоть летняя ночь тепла
и никто его не снимает

Ночь громяющих в подвесной кабине
горнолыжных ботинищ

Глубоко подо льдом бормочет ручей
а выползшая из брусничника гадюка
забирается Лишнему в выходные брюки

Его прощальный взгляд застывает
на светящемся в ночной мгле автобусе
с авиапассажирами
копошащимися словно гельминты

Er war Angestellter bei der Zentralsparkasse–
schon als Kind verwachsen mit den Brettern
die ihn nun nicht mehr ergänzen
– und auch damals tanzten Libellen über den Bergtümpeln
deren Wasser man nicht trinken kann

Служащий центральной сберкассы
он сызмальства сросся с лыжами
которым более не служить его продолженьем –
как и тогда резво снуют стрекозы
над бочажками с горной водой
не пригодной для питья.

Christine Haidegger

UNSERE EINSAMKEIT

ist so
daß wir das zuckende Herz
auf den wehrlosen Handflächen
darbieten könnten
den Vögeln zur Speise

Niemandes Auge
erhöbe sich

Кристина Хайдеггер

НАШЕ ОДИНОЧЕСТВО

таково
: что мы готовы протянуть
вздрагивающее сердце
на беззащитных ладонях
на прокорм птицам

Никто
не повел бы взглядом

Приложение I

Йозеф Кристиан фон Цедлиц

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.

Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем;
Но скалы, и тайные мели,
И бури ему нипочем.

Есть остров на том океане—
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.

Зарыт он без почестей бранных
Врагами в зыбучий песок,
Лежит на нем камень тяжелый,
Чтоб встать он из гроба не мог.

И в час его грустной кончины,
В полночь, как свершается год,
К высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристаёт.

Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг;
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.

Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идет и к рулю он садится
И быстро пускается в путь.

Несется он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника-сына
И старую гвардию он.

И только что землю родную
Завидит во мраке ночном,
Опять его сердце трепещет
И очи пылают огнем.

На берег большими шагами
Он смело и прямо идет,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет.

Но спят усачи-гренадеры—
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.

И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.

И, топнув о землю ногою,
Сердито он взад и вперед
По тихому берегу ходит,
И снова он громко зовет:

Зовет он любезного сына,
Опору в превратной судьбе;
Ему обещает полмира,
А Францию только себе.

Но в цвете надежды и силы
Угас его царственный сын,
И долго, его поджидая,
Стоит император один –

Стоит он и тяжело вздыхает,
Пока озарится восток,
И капают горькие слезы
Из глаз на холодный песок.

Потом на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идет и, махнувши рукою,
В обратный пускается путь.

БАЙРОН

(Отрывок)

13

Певец угас пред жертвенником брани!..
Но песнь его нигде не умолкала,–
Хоть из груди, истерзанной страстями,
Она нередко кровью вытекала,
Волшебный жезл не выпадал из длани,
Но двигал он лишь адскими властями!..

В распре с небесами
Высокая божественность мученья
Была ему загадкою враждебной –
И, упиваясь чашею врачебной,
Отравы жаждал он, не исцеленья,–
Вперенные в подземный ужас очи
Он отвращал от звездной славы ночи!..

14

Таков он был, могучий, величавый,
Восторженный хулителъ мирозданья!..
Но зависти ль удел его достоин?..
Родительским добром существованья

Он приобрел даруемое славой!
Но был ли он сим демоном присвоен,
Иль счастлив, иль спокоен?
Сиянье звезд, денницы луч веселый
Души его, где вихри бушевали,
Лишь изредка угрюмость провевали.
Он стихнул днесь, вулкан перегорелый.
И позднее бессмертия светило
С ночных небес глядит в него уныло...

Франц Грильпарцер

ВДОХНОВЕНИЕ

О, Вдохновение! мечтать –
И проклинать мечты.
Придешь. Уйдешь. Придешь опять.
Придешь – и примешься молчать.
Зачем приходишь ты?

Куда уходишь? Где ты спишь?
За горною грядой?
Какая даль! Какая тишь!
Но пусть, и бодрствуя, молчишь –
Я вдохновлен тобой.

Что? Вдохновеньем – вдохновлен?
И путь, и цель пути?
Кто зелен так и несмышлен,
Что, и найдя, желает он
Искать – и не найти?

Итак, ты есть, ты здесь, со мной!
Откуда ж холодок?
Ты свет, даруемый свечой,
А не свеча... И мрак ночной
Коснулся этих строк.

Ты – «как», но «нечто» нужно мне,
Чтоб «как» и «почему»
Не втуне пропадали, не
Умолкли по моей вине,
А подошли к нему.

В жизнь! в гушу! страсть моя кипит!
Будь, чаша слез моих,
Уже не бочкой Данаид!
Пусть вдохновенье посетит
И озарит мой стих!

ЭПИГРАММЫ

ЛИТЕРАТОРЫ

Книга сама по себе хороша,
Ученый с книгой – подвижник,
Однако не стоит сам ни гроша
Присвоивший книгу книжник.

КРИТИКИ

1

Привыкли невежды искусству вредить,
Но есть и у них добродетели:
Тот, кто не способен искусство судить,
Годится хотя бы в свидетели.

2

Поэзию мы зеркалом зовем,
Но право же, она не виновата
В том, что мартышка в зеркале таком
Себя принять не может за Сократа.

ЦЕНЗОРУ

1

Лаять вольно тебе, пес, но помни: с ясного неба
Не совлечешь ты луны и не достигнешь ее.

2

Пусть не можешь ты писать
Взять пора бы в толк,
Что читать хоть по складам
Твой священный долг.

3

Мой друг, поэзия всегда
Тебя приводит в раздраженье;
Так зеркалу грозит вражда,
Свое увидев отраженье.

Мою поэзию черня,
По-своему ты прав;
Ты мог бы полюбить меня,
Сначала замавав.

СУДЬЯ ИСКУССТВА

Стоит он день-деньской и смотрит с бережка,
Как пенится внизу поэзии река.
И чудится ему от головокруженья,
Что он, а не река находится в движенье.

СЕМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Увы! Приметит наблюдатель зоркий:
С тех пор, как семь исполнилось ему,
Все действия его свелись к тому,
Что он добавил ноль к семерке.

* * *

Зачем во взглядах ваших
Союзник нужен вам?
Должно быть, вместе легче
Сносить и стыд, и срам.

* * *

Системе нашей неспроста
Сомнителен твой труд.
Коль гений ты, не жди креста –
Скорее жди – распнут.

РАДИКАЛЫ И КОНСЕРВАТОРЫ

Две партии разноликие,
По-разному нареченные:
В одной – звери дикие,
В другой – прирученные.

Николаус Ленау

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

2

Чу! Воеет волк в лесной глуши.
Как дети—мать в родном жилище,
Он будит ночь в ее тиши
И требует кровавой пищи.

Отчаянно, чрез лед и снег,
Несутся ветры в вихре диком,
Как будто бы их греет бег...
Проснись, о сердце, с диким криком!

Пушай мучений темный рой,
Пусть призраки твои проснутся,
И с вьюгой северной несутся
Безумной тешиться игрой.

ТРИ ИНДЕЙЦА

Буря в небе мчится черной тучей,
Крутит прах, шатает лес дремучий,
Воеет и свистит над Ниагарой,
Тонкой плетью молнии лиловой
Люто хлещет вал белоголовый,
И бурлит он, полон злобы ярой.

Три индейских воина у берега
Молча внемлют реву водобега,
Озирают гребни скал седые.
Первый—воин, много испытавший,
Много в жизни бурь перевидавший,
Рядом с ним—два сына молодые.

На сынов глядит старик с любовью,
С тайной болью видит мощь сыновью,

В гордом сердце та же мгла и буря.
Словно туча, что чернее ночи,
Дико блещут молниями очи.
Говорит он, гневно брови хмуря:

«Белые! Проклятье вам веки!
Вам проклятье, голубые реки,—
Вы дорогой стали нищей своре!
Сто проклятий звездам путеводным,
Буйным ветрам и камням подводным,
Что воров не потопили в море!

Их суда—отравленные стрелы—
Вторглись в наши древние пределы,
Обрекли свободных рабской доле.
Все, чем мы владели,—им досталось,
Нам лишь боль и ненависть осталась,—
Так умрем, умрем по доброй воле!»

И едва то слово прозвучало,
Отвязали лодку от причала,
Отгребли они на середину,
Обнялись, чтоб умереть не розно,
И запели песню смерти грозно,
Весла кинув далеко в пучину.

Гром гремит, и молния змеится,
Лодка смерти по реке стремится,—
То-то чайкам-хищницам отрада!
И мужчины, гибели навстречу,
С песней, будто в радостную сечу,
Устремились в бездну водопада.

Адальберт Штифтер

ИЗДАЛЕКА

Могущество пространства
Меня не тяготит:
К любимой издалека
Душа моя летит,

Чтоб с нею пошептаться
Дыханием цветка,
Чтоб ей погладить щеки
Прохладой ветерка.

ТВОЙ ОБРАЗ

Гляжу на луну – глядишь с вышины,
На озерные воды – в блистанье волны
Твоя улыбка привечает меня,
В прохладный поток неотвязно маня.

Все цветы соберу я, желаньем влеком
Увенчать твои темные косы венком,
Ветру шепча вечернему: спешу к ней,
Нежным моим приветом ее овей!

РУИНЫ

Там же, в царственной одежде,
Высока, грустна,
Ель стоит, и льет, как прежде,
Свет сырой луна.

Ель! Ты помнишь ли влюбленных,
Чьи сердца не раз
Здесь пьянил ветвей зеленых
Шелестный рассказ?

То бледнело, то темнело
Небо, но всегда
Над могилой пламенела
За полночь звезда.

Исчезает без изъятья
Все с лица земли.
Но гляди... белеет платье
За холмом вдали.

Вниз! К реке! Туда, где гулко
В берег бьет волна,
Где безумью клятв прогулка
Вновь посвящена!

Старься, ель! Но безучастьем
Тех не отпугни,
Кто знакомится со счастьем
Здесь, в твоей тени!

Герман фон Гильм

ЗА ПЯЛЬЦАМИ

Я шелком тайком вышивала букет,
Он подглядел, разгадал мой секрет.

Потом взял иголку, смеясь надо мной,
И вышил шипы на розе одной.

Когда я вновь принялась за шитье,
Шипы эти ранили сердце мое.

Мориц Гартман

ДВА КОРАБЛЯ

Два корабля, как два гроба глухих,
Встретились молча во мраке ночном;
Далее каждый плывет: и на них —
Сын на одном, мать на другом.

Сын, после долгих скитаний и бед,
Едет на родину, где его мать.
Мать стосковалась: вести все нет —
И поплыла она сына искать.

Что с ней такое — не знает она:
Капают слезы одна за другой.
Дума у сына легка и ясна,
Словно он слушает голос родной.

А корабли, как два гроба глухих,
Дальше несутся во мраке ночном;
Нет человека, чтоб знал, что на них —
Сын на одном, мать на другом.

* * *

О, не скорби, душа моя,
Хоть боль тебе и нестерпима:
Пусть не проходит боль твоя,
Но ведь сама пройдешь ты мимо...

* * *

Стало мне в доме и скучно и тесно,
Тянет куда-то, куда неизвестно.
В сад не пойти ль, у цветов допроситься,

Может быть, мне порасскажут они,
Что это нынче со мною творится,
И отчего в эти ясные дни,
Странной, глубокой тоской удручен,
Рвусь я куда-то все из дому вон.

Нет! на вопросы мои разрешенья
Я никогда не дождусь от цветов;
Им не понять ни тоски, ни томленья...
Тупо глядят они, нет у них слов;
Скучно мне в мертвом, безмолвном саду,
В лес я, в зеленую чащу пойду.

Вот я стою под листвою изумрудной,
Тысячи радостных звуков кругом!
Что же и здесь мне так больно и трудно,
Словно опять воротился я в дом,
Словно я в комнате мрачной своей:
Вон бы из этого мира скорей!

Альфред Мейснер

ИЗ ПОЭМЫ «ЯН ЖИЖКА»

6. SIMPLICITAS

Вслед за гуситов массой войсковою
Одна старуха бедная с клюкой
Таскается по всем походам дальным,
Как старый ворон издали порой
За шествием несется погребальным.

Всегда она бредет — за шагом шаг,
Вкруг тощего личишка кое-как
Взбив локоны, седые совершенно,
По худобе похожа на костяк
И с каждым днем все более согбенна.

Когда с врагом окончен жаркий бой,
И вечер лег на землю, и росой
Поля и нивы злачные покрыты,
И полным хором гимн духовный свой
Поют согласно воины-гуситы,—

Когда туман клубится вдоль лугов,
И слышится протяжный гул лесов,
И коршун злой над трупами кружится
И пир свой он начать уже готов,
Да только быть замеченным боится,—

Когда взойдет скругленная луна
И камни все, обломки все она
В краю пустынном грустно обозначит,—
Старуха та сидит себе одна
С своим узлом и горько, горько плачет.

Не раз смотрел на странницу я ту
И думал: что в земном твоём быту,
Несчастная, свершилось над тобою?
История — на лбу твоём; прочту!
Я — грамотный; — прочту — и все открою.

Тогда как Гус вознесся на костер
И вокруг него тот Костницкий собор,
Попы те, кардиналы со свечами
Ходили в красных шляпах,— на позор,
Тем сходствуя лишь пуще с палачами,—

Сквозь их ряды старушка, торопясь,
Протискалась; вязанка дров неслась
На скрюченной спине с усиьем ею;
К костру, в дугу согнувшись и крестясь,
Она спешила с жертвою своею.

То видел Гус—и не с презреньем он
Тогда смотрел, а был лишь озарен,
Казалось, мыслью: «Горе тем, кем ложно
Старушке бедной толк такой внушен,
Что угодить чрез это богу можно!

«И веришь ты, старушка, что грехов
С себя ты сбросишь грузец с ношей дров—
В огонь, где каждый к моему сожженью
Служащий сук служить тебе готов
Святой, небесной лестницы ступенью?»

Продумал только этот он вопрос;
Но ясно говорили—выступ слез,
Стремленье уст к улыбке и живая
Мысль на челе открытом. Произнес
Одно лишь он: «О, простота святая!

Simplicitas!»* Вот и вся речь того,
Кто был достоин лучшего всего
И сам был лучшим на земле! Старуха
Не поняла, конечно, ничего
В том, что ее едва коснулось слуха,—

Но этот добрый, кроткий Гуса взор,
Где выражался грустный лишь укор,

* В подлиннике: sancta simplicitas— и вслед за тем перевод этих слов на немецкий язык: heilige Einfalt (святая простота).— [Прим. переводчика.]

И на устах рождение улыбки
В то время как пылал уже костер,—
Вмиг поняла тупая без ошибки;—

И прояснением внутренним она,
Как молнией, тогда озарена,—
Уж выхватить назад свою готова
Вязанку дров; но вмиг устранена
И втиснута в толпу народа снова.

Меж тем толпа все гуще, все растет;
Поповский хор усиленно поет;
Костер все выше, ярче все пылает,—
И кажется, огонь, что Гуса жжет,
Старухи сердце тут же прожигает.

Она поникла сморщенным челом.
Мелькнув в ее понятии тупом,
Смешалось все: последнее стремленье
Ее к костру, борьба, и страх потом,
И на костре страдальца псалмопенье.

Опомнилась—и видит: уж темно;
Глухая ночь; и все кругом черно;—
Близ Рейна ж кто-то, на коленях стоя,
На месте, где сожженье свершено,
Нагнулся,—и чуть дышит, землю роя,

А про себя все шепчет между тем
Молитвы иль заклятия; в свой шлем
Он набрал пеплу черного и скрылся.
Ян Хлумский это был, известный всем;—
За ним скелет тот женский потащился.

И где б, полночной озарен звездой,
С серебряной своею бородой,
В немом сопровождении печали,
Ни ехал он,—бредущую с клюкой
За ним вдали старуху замечали.

И—вот судьба!—Из края в край плетясь,
Она в страну гуситов забралась,

И камни все целует, припадая
К святой земле, где громко разнеслась
Когда-то Гуса проповедь живая.

Там бедная средь тяжких мук своих
Вползла в ряды гуситов строевых
И грудь свою иссохшую открыла,
И на мечи указывая их
И копья, смерти – кажется – просила.

И память и язык уже давно
Ей изменили, но сохранено
В ее душе единственное слово:
«Simplicitas». – Хоть чуждо ей оно –
Его она все повторять готова.

Не знают эти воины, каких
Несчастий стала жертвой роковых
Убогая, что так усердно рвется
На их мечи, но до конца у них –
«Simplicitas» безумная зовется.

Роберт Гамерлинг

* * *

И вот опять увидел я леса...
Как часто мне они, бывало, снились
Там — на далеких, знойных берегах
Чужих морей, — где странствовал я долго.
Их простота суровая душой
Неотразимо вновь овладевает...
Как море, и сосновый этот лес
Стоит, красой бессмертною блистая,
Когда вокруг уже давно поблек
Цветов пестревших маленький мирок.

Здесь, освежая сердце мне, встречает
Улыбкой все приветливой меня:
К былинке ль я нагнусь, что из-за моха
Невинно так глядит, иль отдохнуть
Прилягу под гигантскою сосною,
Что одиноко высится. Она
От гибели одна лишь уцелела
Из всех подруг, вокруг нее стоявших.
Так чудно, так торжественно шумит
Она своею темною вершиной,
Что, слыша величавый этот шум,
Молить готов я небо, чтоб позорный
Не выпал ей конец под топором,
Но чтоб ее, когда настанет время
Ей умереть, сразил небесный гром!

СЛУЖЕНИЕ КРАСОТЕ

(Сонет)

Кто сделался жрецом добра и красоты,
Тот полный горечи изведает напиток
И встретит на пути возвышенных попыток
Шипенье зависти и ропот клеветы.

Кого венчают лавры и цветы—
Находит в них порой и терния избыток,
И откровения развертывая свиток,
Слезой платит он за светлые мечты.

Ему, парящему в недостижимых грезах,
Как жизнь его порою ни полна—
Не суждено покоиться на розах:
Избранник муз, кем смерть побеждена,
Пред игом жизни, чуждым и наносным,
Склоняется челом победоносным.

ПОД ГНЕТОМ

Бывают дни, когда на всем просторе
Мы чувствуем необъяснимый гнет,—
Как будто бы неведомое горе
И тайный страх природу всю гнетет.

Не дышит лес; текут бесшумно воды;
На всем лежит уныние и мгла;
И кажется, что жизнь самой природы
В предчувствии тяжелом замерла.

И ждешь среди зловещего молчанья:
Когда ж гроза над миром прогремит
И потрясет его до основанья
Иль сердце нам собой испепелит?..

ИЗ СТАРЫХ МЕЛОДИЙ

Пусть тобой внушены песнопенья—
От тебя им внимать я не в силах.
Эти песни в устах твоих милых—
Сокровенного полны значенья.

И мое колебанье понятно:
На призывы я жажду ответа,
Но стрелу моих песен обратно
Направляешь ты в сердце поэта.

Ада Кристен

* * *

Ночь спокойна, благовонна,
Воздух влажен, свеж и тих...
О, дитя!.. меж звезд небесных
Я ищу очей твоих.

Хоть бы раз мне привелось
На тебя еще взглянуть
И потом с тобою рядом
Вечным сном в земле уснуть!..

* * *

Тени серые на небе,
Одинокий путь далек;
Тощий, низенький кустарник,
И болото, и песок...

Но встает в дали уснувшей
Тихий вечера туман;
Под его волнистой дымкой
Утихает горечь ран.

Все кругом прохладой веет,
Листья шепчут, шелестя,
Дышит ночь, как в сонных грезах
Тихо спящее дитя.

И пугливо пролетают
Звуки ночи над землей,
И сребрится месяц полный
Над уснувшею водой.

Гуго фон Гофмансталь

ГАЗЕЛИ

I

В самой неказистой скрипке бездна всех стихий таится,
Каждый звук, что во вселенской глубине звучал, таится;
В кротком камне скрыта искра, что способна стать
пожаром,
Дремлют в нем раскаты грома, молнии накал таится.
В незаметном слове скрыто то, что в мыслях тщетно
ищем:
Истины святой сиянье, как во тьме кристалл, таится...
Камень сдвинь и слову внемли, вечно истины взыскаю!
Истина с поры, как мир первый грех познал, таится.

II

Каждая душа проходит вереницу воплощений,
Все испробовав личины по дороге очищений.
Червь и жаба, и вампир, и последний из рабов,
И потом — танцор, поэт, пьяница и гордый гений...
Видишь: путь души поэта на подобный круг похож,
Вечны поиски свободы, поиски преображений:
Был он за земную жизнь и вампиром, и брахманом,
Так срывает оболочки, расцветая, дух весенний...
Но загадкой остается для грядущих поколений,
Как поэт запечатляет вереницу воплощений:
Он вампир и раб последний, пьяница и гордый гений.

ДЛЯ МЕНЯ...

Газель

Все повседневное, давно пережитое
Мой взор возводит в таинство святое:
Заводит море бурю для меня,
Цвет розы для меня и шум прибора.
Ласкает солнце золотую прядь,

Луна плывет в пленительном покое—
Все для меня, и мне дано понять
Живую душу сквозь лицо немое.
Кричу мечте: «Не надо улетать!»
«Жизнь, улетай!— кричу я.— Будь мечтою!»
Кому слова—разменная монета,
А для меня—виденье огневое.
Я полностью всем познанным владею,
Но в помыслах—непознанное мною.
Дурман мечты прекраснее вина,
Восходит хмель прелестною волною,
Душа к иным мирам унесена,
Меня слепит сиянье неземное,
И светлый хоровод вокруг меня:
Все повседневное, давно пережитое.

МИР И Я

Лети же, песнь моя, лети к Атланту,
На чьих плечах небесный свод лежит!
Скажи, что может он пойти, коль хочет,
Рвать яблоки в саду у Гесперид.

Мой господин, скажи, тебя заменит,
Доверь ему свой груз, он в состоянье,
Легко как лютню, как плодов корзину
Взять на руки огромность мирозданья.
В морях глубоких сонмища чудовищ—
Всё нежити земные; мир корней,
Сосущих влагу в темных недрах, чтобы
Гулялось ветру среди крон вольней;
И свет небес, струящийся сквозь листья,
И сладким сном манящий мягкий луг,
Где люди спящие—как амфоры, в которых
Скрыт целый мир...
Все это, все вокруг
Мой господин, служа тебе, возложит
Себе на плечи твердую рукой—
Серебряный сосуд, в который льется
Жизнь тихой говорливою рекой.

Лети ж к нему, спеши, — а не поверит,
Скажи ему: пусть тяжек небосвод,
Но разве господин мой не удержит
В руках того, что он в себе несет?

ПРОЛОГ К КНИГЕ «АНАТОЛЬ»

Решетки, изгородь из тиса,
Гербы, утратившие блеск,
В траве белеющие сфинксы...
...Скрипя, откроются ворота —
И перед вами рококо
В пыли и прелести застывшей
Каскадов, дремлющих тритонов...
Взгляните: Вена Каналетто,
Семьсот шестидесятый год...
Зелено-бурые пруды
Со всех сторон сжимает мрамор,
А в зеркале, забытом нимфой,
Круженье рыбок золотых...
На гладко стриженных лужайках
Лежат изысканные тени —
Ряд олеандровых дерев,
Чьи ветви, в кроне округляясь,
Слегка склоняются над нишей,
Где несколько любовных пар
Давным-давно окаменели...
Вот три дельфина воду льют
Потоком в мраморную чашу...
Пушистые цветы каштана
Летят, роятся и, светясь,
Неспешно утопают в чаше...
...А там, за тисовой стеной,
Слышны и скрипки, и кларнеты.
Уж не амуры ли, беспечно
Рассевшиеся возле рампы,
На них пытаются играть
В соседстве с пышными цветами,
Которые текут из вазы —
Жасмин, сирень, желтофиоль?..
А рядом с ними, ближе к рампе,

Застыли юные кокетки
И монсиньоры, все в лиловом...
Здесь на подушках, на траве
И кавалеры и аббаты.
Другие бережно снимают
Надушенные палантины
С прекрасных спутниц... Быстрый луч,
В листе деревьев преломляясь,
Играет в светлых волосах,
На пестрых шелковых подушках,
По гравию легко скользит
И по густой траве к подмосткам,
Которые мы так небрежно
Разрушили до основанья.
Вьюнок и дикий виноград
Ползут наверх по голым балкам,
А между ними на ветру –
Обрывки яркие обоев
И пасторали на ковре,
Ватто набросанные нежно
И вытканые мастерски...

Итак, беседка вместо сцены,
А солнце вместо фонаря,
И мы играем на театре
Комедию своей души,
Играем собственные пьесы,
Где горечь ранняя и нежность,
Вчера и завтра наших чувств.
Зла сущность, но прекрасна форма.
Велеречивые слова
Рождают двойственность и тайну.
Агония, куски, фрагменты...
Тот слушает, а этот нет,
Один грустит, другой смеется,
Тот комплименты говорит,
А этот кушает конфеты...
...Большие белые гвоздики
Дрожат, качаются под ветром,
На белых бабочек похожи.
И удивленная болонка
Все лает, лает на павлина.

Карл Краус

ЧТО ЕСТЬ ЧТО

Жизнь – кошмар, хуже всякого ада.
Свобода – что ни шаг, то ограда.
Учреждение – не капает с крыши.
Газета – врут все, от вахтера и выше...
Слухи – с миру по нитке.
Сделка – те и другие – в убытке.
Порядок – значит, привыкли к бедламу.
Банкрот – так толкай его в яму!
Мир – в атаку, ребята!
Война – не мы виноваты.
Храбрость – см. приказ генерала.
Благо – вешают, грабят – все мало...
Республика – стало быть, нет самодержца.
Монархист – свинья по велению сердца.
Их величество – кто «соизволить изволит».
Критика – пусть балаболит.
Комедия – шефа сживают со света.
Весна – прощай, бабье лето!
Дворянство – лишь бы без дела слоняться.
Молитва – на людях кривляться.
Целомудрие – благо на окнах – гардины...
Сомнение – все едино.
Вера – на том свете награда.
Слава – для неимущих отрада.
Ретирада – ощериться Западным валом*.
Катастрофа – решать всем кагалом.
Бездна – там, где ногою ступали.
Чудо – как еще дуба не дали?..
Исцеление – мертвый пошел на поправку.
Суд – слепые уселись на лавку.
Свадьба – «...в ночь на четверг опочили...»

* Западный вал, или линия Зигфрида – система германских долговременных укреплений на западе Германии в приграничной полосе от Клеве до Базеля.

Закон – чтоб почаще его обходили.
Депутат – иммунитет от народа.
Добродетель – «С какого года?»
Ежегодная перепись – глупость при деле.
Государство – плевать все хотели!

ЭПИГРАММЫ

ПРОГРЕСС

Чем занимались мы столько лет?
И чем мы стали?
Мы за прогрессом трусили вослед,
а от себя отстали.

СВОБОДА ПЕЧАТИ В АВСТРИИ

Свобода печати?
С ней благополучно:
имеем свободу печати –
сургучной!

ГАЗЕТНЫЕ ПИСАКИ

Не перья – винтовки!
Со снайперской прытью
нашли заголовки.
К ним ищут – события.

СПОР С ЭНТУЗИАСТОМ⁴

– Так дальше не пойдет!.. – Согласен,
но замечаю в свой черед,
во избежанье всяких басен:
иначе – тоже не пойдет.

СТРАШНО ЖИТЬ

Подняться в выси ли?
Прибавить в весе ли?
Одних повесили.
Других повесили.

ДЕБАТЫ О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

– Вампирам пенсию платить?
– Платить, и без заминки!
Вампирам тоже нужно жить,
а в людях – ни кровинки.

МОИ ВРАГИ

Мои враги – и стар, и млад, –
когда не в силах драться,
вопят: «Коллега и собрат!
Не надо в нас мараться!»

РЕФОРМА

Распустим нашу армию,
чуть в мире распогодится.
И всю – возьмем в жандармию!
Иначе – безработица.

ЕЩЕ РАЗ О ПИСАТЕЛЯХ

У них нелегкий труд:
все друг у дружки прут.
Все друг у дружки тянут,
пока в Ничто не канут.

Рихард фон Шаукаль

МАЙ

Наконец-то ты примчался,
Розоперстый юный май,
И кругом подлунный край
Гимном жизни отозвался!

Листья шепчутся, как гномы
Средь полночной тишины;
Пробуждаются от дремы
Нежно-белые цветы;

С неба падает фатою
Световая синева,
И опять горит трава
Яркой росной красотою.

Под лобзаньем ветра тише
Лепет робкого ручья,
И сильней шумит над крышей
Липа старая моя...

В ЛЕСУ

Прохладой от потока
Пахнуло вдруг. Вспотев,
С полдневного припека
Иду под сень дерев
С своею палкой... Тихо...
Заросшая тропа...
Лесных певич шумиха...
Седых дубов толпа...
Свет солнечный струится,
Дробясь в листве густой,
Над тропкой золотится,

Как крендель золотой.
Вон – папоротник кучей,
Вон – бабочки кругом!
О, как ты, след скрипучей
Телеги, мне знаком!

Ты крылья распростерло,
Лесное, тайн полно, –
Чего ж ты давишь горло?

...То было так давно!

К ЛУНЕ

Вновь, бесстрастная голубка,
Ты глядишь через парпет,
Из серебряного кубка
Льешь на крыши хладный свет.

Ночи счастья ты видала,
Отраженная в реке,
Вновь меня ты отыскала
Одинокого в тоске.

ТИХАЯ ДУША

О, тихая душа, которая в себе высоты отражает,
Великая душа со всеми чудесами глубины!
О, чистая душа, без тайных родников,
Которой никогда не суждено мне обладать!

В душе моей – удушливый туман,
Бушующий прибой и мутные течения,
Цветистость, красочность, все новые ключи,
Горячие ключи и злые глетчеры...

ВЕСНА

Весна, ты все кругом зажгла!
Чужая, с бледными щеками
Ко мне беззвучными шагами
Ты в душу мрачную вошла.

Дыханья теплые летят,
И почки робкие – в тревоге;
Струит пьянящий аромат
В ущельях гор и вдоль дороги.

Весна! В страданиях немых
Готово сердце разорваться:
Томят желанья, жажду их –
И сам не в силах в том сознаться.

БОЛЬШИЕ ЗЛОВЕЩИЕ ПТИЦЫ

Чрез мрак ночной летят большие птицы
С горбатыми стальными клювами, они
Презрительно рассматривают жизнь
Своими злыми, умными, холодными глазами, –
И вновь скрываются в туманных далях,
Махая черными, беззвучными крылами...

Райнер Мария Рильке

* * *

Неосаженные твердыни,
вы не искали войн и бед? –
чтоб враг раскинулся в долине
у ваших стен на много лет,

пока, голодные, на страже,
вы прочно не сживетесь с ним;
он, словно вправленный в пейзаже,
залег пред далями, и даже
не угрожает, недвижим.

С высоких крыш прострите взоры:
все так же тих огромный стан.
Он не уходит на просторы
и не войдет в переговоры,
он жаждой битв не обуян.

Он и упорный, и нескорый,
немой, недремлющий тиран.

* * *

Как в избушке сторож у окошка,
вертоград блюдя, не спит ночей –
так и я, Господь, твоя сторожка,
ночь я, Господи, в ночи твоей, –

виноградник, нива, день на страже,
старых яблонь полные сады,
и смоковница, на камне даже
приносящая плоды, –

ветви духовитые высоки,
и не спросишь, сторожу ли я—
глубь твоя взбегает в них, как соки,
на меня и капли не лия.

* * *

Дом одинокий на краю села—
как во вселенной у ее конца.

Дорога постояла у сельца
и снова в ночь тихонько побрела.

Сельцо всего лишь робкий переход,
меж двух пространств оно чего-то ждет,—
не тропка, а дорога вдоль окон.

И кто из дому странствовать уйдет,
в пути, быть может, смерти обречен.

КАРЛ XII ШВЕДСКИЙ ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ НА УКРАИНЕ

Короли минувших династий—
суть горы над морем пристрастий,
людских надежд и несчастий.
Недоступны для бурь, для ненастий,
грядут, под бременем власти
ни на миг не сгибая плеча.
От одетых во золото пястей
никому не отъять меча.

* * *

Юный король, родную страну
покинув, дошел до Украины.
Глубоко ненавидел он и весну,
и женского сердца тайны.
На скакуне суровом он
был, как булат, суров,
к стопам ни девушек, ни жен

он не швырял даров.
Ни об одной не видел грез –
лишь, если гневен был всерьез
и злобою несёт –
то рвал с девических волос
очелья маргарит.
Ему бывало по нутру
еще иначе гнать хандру:
возьмет девица на миру
кольцо взамен кольца, –
вступает и король в игру:
стравить борзым юнца.

Он грозно шел издалека,
презревши север свой,
чтоб гасли скука и тоска
в пучине боевой,
он твердо меч держал – пока
не высохла его рука:
не в силах удержать клинка,
войны не доиграв,
жестоко уязвлен судьбой,
но всё же, созерцая бой,
он мог потешить нрав:
смотрел с коня по верх голов,
впивая каждый миг –
со всех концов, из всех углов,
звучал металл булатных слов,
и возникал колоколов
серебряный язык.
Знамена с яростью борьбы
рвал ветер в этот час,
как тигр, вставая на дыбы,
когда в атаку вел трубы
победоносный глас.
Но, споря с ветром и трубой,
взрывался барабанный бой:
был четок шаг пажа –
не отвлекаемый стрельбой,
он сердце нес перед собой,
до гибели служа.
Здесь магм земных густел замес,

вставали горы до небес,
эпохе вопреки,—
противнику наперерез,
с оружием наперевес,
колеблясь, как вечерний лес,
ломались в бой полки.
Все было в дым облачено,
и не по времени темно
бывало иногда —
но падало еще одно
огнём объятые бревно,
взростал пожар горой,
вставал чужих мундиров строй —
войска неведомых губерний;
сталь в хохоте рвалась порой,
и правил битвою вечерней
одетый в серебро герой.
Полощут радостные стяги,
и в битву выплеснут сполна
избыток власти и отваги,
и чертят вдалеке зигзаги
над зданиями пламена...

И ночь была. И битва вскоре
утихла. Так, когда пришел
отлива час, выносит море
тела, и каждый труп тяжел.
Сурово серый конь ступал
(не зря в сраженьи он не пал),
тропу средь мертвецов нащупав,
и перешел на черный луг,
и всадник видел, что вокруг
блестит роса в одеждах трупов,
еще недавно — верных слуг.
В кирасах кровь стоит до края,
измяты шлемы и мечи,
и кто-то машет, умирая,
кровавым лоскутом парчи...
И он был слеп.

В самообмане
скакал вперед, навстречу брани,
с лицом, пылающим в тумане,
с глазами, полными любви...

О ФОНТАНАХ

Я вдруг увидел заново фонтаны—
стеклянные леса у самых глаз.
Так были слезы юности туманны.
А я, лелея радужные планы,
все слёзы позабыл—и свет погас.

Но как забыл я небо, что в смятеньи
тянуло руки к лицам и предметам.
Не я ль постиг величье вне сравнений
в дремучих парках, где клубились тени
вечерней мглы,—и в белоснежном пеньи
тех незнакомок, и напев при этом
из музыки ударил, как родник,
и над прудами старыми возник,
и словно ожил в беглом отраженьи?

Фонтаны, я припомнил на мгновенье
всё, что стряслось и с вами, и со мной,—
и весь я полон тяжестью паденья,
и сам подобен влаге ледяной—
и понимаю ниспаданье ивы,
и огненного пенья переливы,
и боль прудов, где берега извивы
искажены кривыми зеркалами,
и сам закат над черными лесами,
горящий так темно и отчуждённо,
как будто он с другого небосклона,
а в нашем мире не был никогда...

Но я забыл, что со звездой звезда
не говорит—уста закаменели.
И лишь сквозь слезы видят иногда
миры друг друга в безднах. Неужели
есть существа, что длани к нам воздели,

а мы для них — на небе. И воспели нас — их поэты? И тщета молений велела многим разогнуть колени, безжалостное небо проклиная. Но им не внемлет суета земная. И высь молчит, когда они, стеная, теряют веру, горечью томимы. И может, божий лик непостижимый, как свет их ламп, что слишком далеки, касается сейчас моей щеки...

РИМСКИЕ ФОНТАНЫ

БОРГЕЗЕ

Две чаши, обогнав одна другую,
над мраморным бассейном вознеслись,
и с верхней разговорчивые струи
к воде безмолвной протянулись вниз,—

к той, что внимает им, в ответ даруя
в горсти для них припрятанный сюрприз:
кусочек неба, сквозь листву густую
и тьму глядящий, как из-за кулис.

Сама спокойно разместившись в чаше,
она легла с краями наравне,
спускаясь каплями, как бы во сне,

по мшистой бахrome седобородой
к зеркальной глади, что на самом дне
улыбкой оживляют переходы.

ПАНТЕРА

В ее глазах проходят прутья клетки.
Они растут, как черный, частый лес.
Они сошлись, как ветки, в острой сетке,
а там, за чашей клетки, мир исчез.

Ее могучий шаг скользит упруго,
и, как струна, она напряжена,
но, кажется, очерчен контур круга,
где час за часом кружится она.

И вдруг – зрачок, как занавес, раздвинут,
какой-то образ входит в глуби глаз,
и напряженно мускулы застынут.
Но где-то в сердце он погас.

ПЕСНЯ АБЕЛОНЫ

Ты, о которой я плачу во сне
на бедной постели.
Ты, чье имя уснуло во мне,
как в колыбели.
Ты, что, припомнив меня в поздний час,
не спишь, быть может, –
не именуй это чудо, что нас
всегда тревожит,
пока мы живы!

Ты на влюбленных взгляни,
но не слушай, что скажут они:
слова их лживы.

Ради тебя я один. Тебя запомнил одну я.
Ты, как прибой, подступаешь, тихо волнуя
шумом и шелестом пен.
Многих я обнимал и многих утратил давно я.
Ты рождаешься вновь, ты навечно со мною.
Я не коснулся тебя, но взял тебя в плен.

Теодор Дойблер

ВСЕ ЧАЩЕ

Зачем мне чудится все чаще:
Вечерний лес, мерцанье света
И внятный глас звезды горящей:
«Ступай за мной, оставь все это»?

И я бегу людей. Кто знает—
Зачем?.. Над тихими лесами
Звонят к вечерне, застилает
Звезду в моих глазах слезами.

ФАРФОР

Плывут мечты камелий изумленных
Под елями, под шелест камыша.
Луна глядит украдкой, не дыша.
Нисходит утро с звездных строф червленых.

Над озером сиянье глаз бессонных—
Седые цапли, свой полет верша,
Скользят в лазурных царствах, где душа
Витает. Взгляд их—нежность отреченных.

Червленая лазурь—кумир камелий;
Восходит день для звезд и для детей;
И ты ночную тьму в душе развей!

И с трона мирного под сенью елей
Лесных вельмож сияет счастьем взгляд:
Для рыб озерных день июньский свят.

ОДИССЕЙ

Та боль, в которой я тону всечасно,
Отхлынет вдруг, и я — на берегу
Томительной отчизны, и могу
Нездешним грезам предаваться страстно.

И собственное «я» мне неподвластно;
Одет стыдом, от девы не бегу,
Я наг, я руку ей даю, я лгу,
И пена тает и блестит неясно.

На том Востоке я видал немало.
Опять к благой надежде и мечте
Тянусь, — чье сердце там меня избрало?

В бестеновой, безвидной простоте —
О как под солнцем все там оживало!
Что сотворю я в этой маете?

ОСЕНЬ

На горных склонах первый снег сияет,
Как искры, стая черных птиц летит,
Мир боль свою от глаз не укрывает,
И поступь смерти бытие сребрит.

Зверью в лесах спастись от пули трудно.
Вновь завещает хмель умерший год,
Надежды оживают безрассудно,
Вино дарит забвенью от невзгод.

Пронизывает гроздь щедрот осенних просинь,
Вьет ветер пряжу из любви и света.
Цветы глядятся в высь: о снящаяся осень,
Блаженная пора невянущего лета!

Терпенье, руку дай, терпенье без изъятья,
Ты замечаешь, с неба лист летит на лист?
Под сению листвы крепи рукопожатье:
Дождется — кто душой смирен и сердцем чист.

Терпенье, добела мы стискиваем руки.
Вокруг шумит каштана бурая листва.
Мы ждем, встает звезда и угасают звуки.
Заглохший сад колышется едва.

У МОРЯ

В мире стою у сребристого моря.
В ясном безмолвье сребрятся дельфины.
Что омрачит здесь благое молчанье?
Всё в восхищенье.

Боги, вы снова насельники высей?
Море Средиземное плещет, смеется
Над собственным саном.
Сын посвященья сего, содрогнувшись,
Мучайся, внемли!

В СЕРОМ

Пою, чуть звезды редкие зажгутся
И месяц к морю серп свой обратит,
Темнея, синь над лугом засквозит
И мирные поляны рос напьются.

Пою, чтоб к лунным танцам прикоснуться,
Покуда серый жемчуг не разлит,
Пою, когда затихший ветер спит
И страх полей спешит во мне проснуться.

И сквозь дневные, смутные мечтанья
Ночные краски слышу я вокруг,
И росный лес живет воспоминанья.

Прибой далекий наполняет луг,
И дрока золотые очертанья
В пьянящем шуме возникают вдруг.

ПОСЛАНЕЦ СВ. АНТОНИЯ

В дни ясные, в часы, когда струи потока
Сияют все желтее и вода златится,
Монах в ладье под парусом средь вод стремится
И кротко рыб серебристых манит издалёка.

И вот они в безмолвии, в мгновенье ока,
Плывут к нему, чтоб света чистого напиться.
Под заповеди там семь хлебов им крошится,
Средь мертвых бабочек, в исход дневного срока.

Ни в ветре, ни в весле он, видно, не нуждался.
И бриз дышал вослед, где судно путь свой длило;
И часто взгляд ему вдогонку устремлялся.

То было, словно дух вздувал его ветрило:
Ни волос на главе его не колебался,
И в пойме на лугу травинки не клонило.

БЕСКРЫЛЫЙ ПОЛЕТ

Луна крадется вымершей столицей,
В моем окошке тускло замерцала.
Куда бежать из этого квартала?
Я не терплю домов, которым спится.
Но что во тьме шевелится, томится?
Моя душа пытается сначала
Взлететь, как птица, а затем, устало,
Уж не к полету—к музыке стремится.

Я знаю птицу, что сродни дракону,
Она стремится вечно к небосклону
И тем сильнее льнет к земному лону.
Она одна не спит, неугомно
Скребется к людям в окна ночью сонной,
Убитая—лежит в траве зеленой.

РАТНОЕ ПОЛЕ

Ленивые огни на ратном поле.
День был кровав, но не принес исхода.
Угрюмые загадки небосвода
Сулят погибель в дрящущей доле.

Миры мрачны и не несут отдохновенья
И страшен сон взыскующих рассвета.
Победы не видать. Сплошные пораженья!
В шатер вождей пора призвать поэта!

Но нет вождей, достойных этой чести.
Ночь кончится, сражение продлится.
Мясницкий нож в земную твердь вонзится.
Не разум правит здесь, а жажда лютой мести!

Антон Вильдганс

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

Войдя в коридор окружного суда,
Мельком увидишь тюремный двор:
Сквозь решетки в него и сейчас, как всегда,
Арестантский каждый уставлен взор,—
Глядят, считают дни и года.

Внизу же, медленно и тяжело,
Чахлой травы огибая квадрат,
Другие бредут, понуря чело,
И скрывает каждый погасший взгляд
Всё, что было прежде, и что ушло.

Солдаты, несущие караул,
Следят, чтоб никто не нарушил круг,
Чтоб никто не замешкался, не свернул,—
В души заглядывать недосуг
Солдатам, что здесь несут караул.

В прошлом у тех, кто бредет—нищета,
Она свободой звалась, увы.
К ней, огромной и дальней, рвется мечта,
Но она, как волосы с головы,
Беспощадно срезана, отнята.

Полагает каждый вину свою
Совсем неважной и небольшой,
Бога не меньше клянет, чем судью,
И к богу тянется всею душой—
Но тот лишь богатых держит в раю.

Каждый стремился к жизни благой,
Каждый знал и любовь, и стыд,—
Был—человек, получился изгой,
Ибо захлестнут, безжалостно смыт
Деньгами—один, кровью—другой.

И все так же, медленно и тяжело,
Чахлой травы огибая квадрат,
Бредут, угрюмо понуря чело,
И скрывает каждый погасший взгляд
Всё, что было прежде, и что ушло.

ОСЕННЕЕ САМОУГЛУБЛЕНИЕ

Еще алеют кисти на рябине,
Но догорел последний летний луч;
Как мертвый лик, всё тягостней, пустынной
Земля; глядит гроза с эскадрой туч
Угрюмых; по утрам ложится иней,
Шероховат, по-зимнему колюч,—
Никто не помнит в этот миг осенний
Цветенья дни и дни плодоношений.

Так значит—нужно уложить пожитки
И возвратиться в город напрямик,
Где двери дома истомились в попытке
Не открываться ни на краткий миг,—
Там лампа светом, льющимся в избытке,
Прельщает углубиться в море книг,—
Прельщает плавным тишины теченьем
И мыслей постигаемых значеньем.

Здесь жить возможно, бытие упрятав
В расставленные по шкафам тома,
Где, словно перед пламенем стигматов,
Пред блеском истины редет тьма,
И постигать по тысячам трактатов
Блаженство отрешенного ума,—
А жизнь в венце вакхическом снаружи
Спешит, кружится, пролетает вчуже.

Решись! Ведь не всегда сулит оскому
Осадок, выпадающий на дно!
Развей же, лампа, тягостную дрему,
Из древних книг—бей, юное вино!
Брожение, начнись,— пройди по дому,
Столетий дух! Лишь тот, кому дано
Жить, бытие в себе приумножая—
Достоин и весны, и урожая.

Стефан Цвейг

ОСЕННЯЯ ФЛЕЙТА

В облачном кубке заката
Таеет солнечный мед.
Пустынными долами чья-то
Флейта грустно поет.

Близко, далеко ль, не знаешь –
Еле внятен мотив –
И все же ее постигаешь
В скорби скошенных нив.

ОСЕННИЕ СТРОФЫ

Летят давно по золотым ступеням
Дни лета. Греет поздний блеск поля.
Ложатся тени, голубея,
С дерев на плечи вечера опять.

Еще блестят с ветвей, напряжены под ветром,
Последние листья. Но грудь земли нага,
И пробегут на запад не приметно,
Утешив небо, облака.

Над облетающими лесами
Дрожит полет встревоженных стрижей,
Здесь все – приметы дней осенних.

А склонишься над книгою полей,
И заблестит из пестрых букв над вами
Любимое у жизни слово – тлен.

БЛАГОДАРНОСТЬ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНЕГО

Сумрак льнет легко и сладко
К стариковской седине.
Выпьешь чашу без остатка –
Видишь золото на дне.

Но не мрак и не опасность
Ночь готовит для тебя,
А спасительную ясность
В постижение бытия.

Все, что жгло, что удручало,
Отступает в мир теней.
Старость – это лишь начало
Новой легкости твоей.

Пред тобою, расступаясь,
Дни проходят и года –
Жизнь, с которой, расставаясь,
Связан ты, как никогда...

СНЕЖНАЯ ЗИМА

Когда лежит на кровлях плат пуховый,
И кружит снежный вихрь в пустых полях,
И стонут деревья в ночи суровой,
О той мечтаю я, что лаской новой
Смирить сумеет мой безумный страх,

О легких пальцах, чьи прикосновенья
Умерят жар чела и в тишине
Сведут на нет все скорби, все сомненья,
Покуда не созреют сновиденья
Весенние из слов любви во мне.

Альфонс Петцольд

ОБЛАКА

В небе стаи облаков –
лебединых крыл;
я б оставил грустный кров
и за ними взмыл.

Ярким звездным серебром
блещет небосвод,
и печаль моя челном
в океан плывет.

В горькой жизни одинок,
к солнечным лучам
я направлю свой челнок,
покорясь морям.

И услышу песнь ветров,
ласковый прибой,
этот вечный тихий зов
бездны голубой.

СТРАННАЯ МУЗЫКА

Над улицей пустынной
мелодия лилась,
во мне тоской старинной
она отзывалась.

Не пела тихо скрипка,
не флейта – нежный друг,
в туман струился зыбко
усталый, скорбный звук.

Кто музыкант печальный,
я так и не спросил,
когда в рассвет прощальный
из дома уходил.

И лился звук хрустальный
в холодном свете дня,
как песней погребальной,
он провожал меня.

МОЛЧАНИЕ ПОСЕЕТ СЕМЕНА...

Молчание посетит семена,
в тиши рожденные слова приходят в мир.
И только терпеливым суждена
победа, и святой венец, и пир.

Но ждет того могила и забвенье,
кто жаждет власти громкой и пустой,
лишь вечности прекрасное цветенье—
награда жизни строгой и простой.

Ганс Мюллер

МАТЬ ГОВОРИТ

Аннушка, тут гость сейчас сидел,
Все на дверь твою, вздыхая, он глядел:
«Пропадаю, мол, без Аннушки с тоски,
Сердца вашего прошу я и руки».

Аннушка, добра желает мать:
Что-то графской и кареты не слышать.
А у гостя—что шелков да что белил,
«А постель я с ними б нашу разделил».

И кого-кого не путал этот май,
Принца, видишь, нам из-за моря подай,
А как осень-то неслышно подошла,
Смотришь: каждая приказчишка нашла.

Аннушка, конфетинка моя!
Побеги-ка ж да скажи: согласна я,
Право, бредни-то пора и позабыть,
Не за графом ведь, за лавочником быть.

АРЕТИНО

Сонет

Таддэо Цуккери, художник слабый, раз
Украдкой с полотном пробрался к Аретину
И говорит ему: «Я вам принес картину,
Вы—мастер, говорят, свивать венки из фраз

Для тех, кто платит вам... Немного тускло... да-с,
И краски вылинять успели вполовину.
Но об искусстве я не утруждаю вас,
Вот вам сто талеров, и с этим вас покину».

Подумал Аретин, потом перо берет
И начинает так: «Могу сказать заранее—
Мадонна Цуккерио в потомстве не умрет:

Как розов колер губ, а этот небосвод,
А пепел... Полотно виню в одном изъяне:
На нем нет золота—оно в моем кармане».

РАСКАЯНИЕ У ЦИРЦЕИ

Красу твою я проклинаяю:
Покоя я больше не знаю,
Нет сердцу отрады тепла.

Чем дети мои виноваты?
Кольцо и червонцы взяла ты,
Что знал я, чем был я, взяла,

Я вынес ужасную пытку,
Но губ к роковому напитку,
Клянусь, не приближу я вновь.

С детьми помолюсь я сегодня:
Слова их до бога доходней,
Целительней сердцу любовь.

Франц Теодор Чокор

БОЯРСКИЙ ПИР

(1710)

Воздвиг на топях грозный град
Великий царь у свейских вод.
Однако же боярский сход
Сей новости весьма не рад.

«Служить — достойно в год войны,
Однако ж мир теперь у нас!
Тирана мы унять должны,
Когда седьмой ударит час!»

И шлют дозорного-гонца
Бояре к дому за Невой.
Он входит, — нет на нем лица, —
Однако с вестью таковой:

«В застолье с Меншиковым царь!»
Все решено само собой:
Ну что ж, теперь в часах ударь
Скорее, семикратный бой!

Во брашнах стол — всего не съесть.
Пьют и храбрятся все вокруг:
Еще покамест время есть.
Однако — в дверь внезапный стук.

О, время есть! Куется месть.
Незванный гость! Но вот — удар:
Часы вызывают *шесть*:
Шесть раз пронзает страх бояр.

Войдя, отвешивает гость
Степенный поясной поклон.
Он знает: всюду страх и злость.
Как беззащитен нынче он!

В руке зажата ендова:
Коль здесь готовят смертный ков,
То пару-тройку черепов
Царь все же раскроит сперва.

Однако чара испита,
Отброшена,—светлеет лик,
Легко улыбка на уста
Восходит в следующий миг:

«Узнав про ваше торжество,
Пришел и я!»—Молчанье, жуть.
«Вы здесь, паршивцы, для того,
Чтоб день Полтавы помянуть!»

Теперь боярам невдомек:
Царь что-то знает? Или нет?
Он лихо пьет: «Да, был денек!
Ужо его попомнит швед!»

Довольно хмурости! Споем!»
И шепчется боярский сход,
Утишась: «Можно брать живьем!»—
«Он пьет за нас!»—«Пускай допьет!»

У них в сердцах гремит судьба,
А царь поет, и пьет ковшом:
Был бой—так бой! Вино, стрельба,
Да столько девок телешом!

Ура!—В боярах нетерпеж:
Часы, скорей! Часы, скорей!
Царь говорит: «Кончай кутеж!
Ужо не смерть ли у дверей?»

«Помилуй, царь всея Руси!»—
С издевкой раздается.—«Чем,
Царь, перепуган ты еси?»—
«Тем, что наследников не вем!»

«А мы?..»—захватывает дух,
В глаза огнем восходит ярь.

«У вас – мозги навозных мух,
Наследнички!..» – роняет царь.

«Хватай его!» – «Ату, айда!» –
Доносится по сторонам, –
«Ему конец!» – «А ну как нам?»
Минуты длятся, как года.

Вот – возглас из рядов: «За мной!..»
Вот – звякнул меч, и вот, слепа,
Всё ближе злобная толпа.
Прижался царь к стеклу спиной.

Топочет вызванная рать.
И вот – часов седьмой удар!
Прыжок в стекло. «Солдаты, взять!»
Затем – разгром, резня, пожар.

Герман Брох

КОГДА МЫ ОБНИМАЛИСЬ...

Когда мы обнимались,
уже мчались кони Апокалипсиса.
Или мы не слышали их? Слышали,
но их топот звучал вдалеке,
и нас тревожил не больше,
чем заголовок в газете, голос по радио...

За мной эти кони гнались и раньше;
но я чудом остался
цел и невредим,
и потому забыл о смерти,
уже державшей за глотку меня.
Я — только один из многих.

Заголовки газет и известия радио
были стенами пещеры, где мы лежали,
и свод ее заалел от пламени
пылающих окрест городов.
И хочешь — не хочешь, когда мы поднимали взгляд,
мы замечали это пламя.

Не из трусости мы закрыли глаза,
не от безучастья к чужому страданию
мы притворились глухими;
не от жажды бегства захотели мы одиночества,
но оттого, что теперь каждый должен
решить, о ком же он вспомнит
в час гибели,
если не хочет умереть бессмысленной смертью.

О, только бы не подохнуть бессмысленно!
Многие одолели тяжкую хворь
или самую смерть, но лишь тот,
кто стоял на пороге,

за которым пытка может низвести человека до
зверя,
и он умрет, потерявши себя,—
только тот знает, что это значит.

Так было со мной, и, верно, ты чуяла это,
когда искала меня.
Потому и могли мы
обниматься, хотя вдали
уже мчались кони Апокалипсиса
и мы знали, что их копыта
крошат черепа, как орехи.

ТЕ, КТО...

Те, кто умывается холодным потом пытки,—
в спазмах истязания,
в огне геенны,—
вправе запеть;
и сделай они это,
возник бы двусмысленный язык, населенный
чудовищами
антонимов.

Но молчат: заткнул
кляп судьбы
разинутые глотки; молчат и теперь.
Ибо слова их—немы
для нас, густая икота уничтожения;
нам, кто вправе слушать,
судьба заткнула разинутые уши.

Тарашимся друг на друга.
Наши глаза, их глаза
обманывают, и обманываются,
и надеются обмануться
внешним человекоподобием.

Прервется молчание—пропадем.

Альберт Эренштейн

ПОЛОНЕННЫЕ НОЧЬЮ

(Написано 29 июня 1914 года)

Когда я уничтожен был вконец
Чумою, ночью, землею, адом,
Был в тьму мятежной бездны опрокинут,
Явились вещи
Дать утешенье скорбному взгляду.
Свет воссиял,
Белые чайки, порхая в лазури,
И солнца холмы: лесом поросший металл,
Зелень, озера и струи,
Дорога в родимый край
И вечером груда руин.

Глаза прикрывая рукой, с отвращением я отшатнулся:
Смерти черный слизьяк мой путь
Перерезал. Некогда мог и я вдохнуть
Аромат душистого клевера
И любил лучом пронзенные тучи.
Я в восторг приходил от скрипа колес
Длинноосных телег,
Я в восторг приходил от сияния солнца,
Неустанно мелькающих шин,
Я в восторг приходил от ручьев белопенных
Родных деревенских улиц.

Но я видел полоненных ночью:
Замысливших злое соглядатаев тьмы,
Но я видел хананейских крестьян—
Пестрые чучела в поле,
Что смотрят на скорый поезд,
Который пепел и копоть бросает на пашни;
Но я видел, как умирают на Гибралтаре последние
обезьяны Европы;
Но я видел, как индийские танцовщицы с газельей
поступью

Пляшут перед юношами,
Упившимися пенным шампанским;
Но я видел, как слоны, что путь пролагали сквозь
джунгли,

Подбирают хлебные крошки;
Но я видел, как тонут дредноуты,
Изловленные смертоносной акулой-миной;
Но я видел--и день слезами истек--
Но я видел, как солдаты в воскресенье свободы
Недвижно маячат на вышках
Мишенью парящим над ними летчикам;
Но я видел, как коршун, привыкший летать под небом,
Зарылся в песок бреславльской клетки,--
И я должен спастись от тягот этих дней ночных!

Но погружен я в сон
Между мечтой обрызганных трупов,
Когда из роковых пространств течет тяжелый зной,
Когда в порывах бури, перекликаясь, деревья в кроны
стонут,

Когда нисходит, извиваясь, с неба
Дракон господний,
Я не хочу горечи влажной погоды,
Кислоты облаков,
Я хочу молнии в себе!

Тяжелый ангел смерти вырос предо мною:
Ты все-таки вспомнил меня,
Ты меня любил когда-то,
Стремясь к остроте утех.
Так будь же тем, что ты есть,
На земле, что тебя ест!

Дробящий ангел руками взял мой прах,
И, схваченный вихрем, исчез
Я в наново зазеленевших ветвах.

Георг Траклъ

ЗИМОЙ

Сверкает пашня льдом и белизной,
Небо одинокое неимоверно.
Над прудами галки кружат мерно,
Из лесу охотники спешат домой.

Живет молчанье в черной вышине.
Свет из лачуг струится несказанный.
Лишь изредка звенит бубенчик санный,
И серый месяц медленно восходит в тишине.

Дичь тихо истекает кровью на межах,
Тростник колышется безмолвно и сурово.
Вороны плещутся в кровавых желобах.
Мороз и дым, и отзвук шага в пустоте над бором.

ЛЕТО

К вечеру молкнет в лесу
Кукушки напев.
Ниже клонится рожь,
Алый мак.

Черные грозы стоят
Над круглым холмом.
Сверчка старинный напев
Гаснет в полях.

Ни единым не дрогнет листом
Ветка каштана.
По витой лестнице вниз
Шуршит твое платье.

Тихо горит свеча
В темном покое;
Мерцающая рука
Гасит свечу;

Беззвездная, тихая ночь.

НАБОЖНЫЕ СУМЕРКИ

На краю рощи тихо встречает нас
Темный зверь;
На холме умирает вечерний ветер.

Молкнет жалоба птицы,
И осени нежные флейты
Спят в тростниках.

На облаке черном
Плывешь ты, пьянея от мака,
По ночным озерам

Звездного неба.
Все еще кличет лунный голос сестры
Сквозь духовную ночь.

В СТАРЫЙ АЛЬБОМ

Снова и снова ты возвращаешься, грусть.
О кротость души одинокой.
Догорает день золотой.

Покорно смиренник во власть отдается страданию.
Благозвучием полон, безумием мягкосердечным.
Погляди, уже вечерет!

Снова ночь возвратилась, и слышно, как где-то
Что-то смертное жалобно плачет
И ему откликается кто-то.

Пред осенними звездами в страхе
Год от года все ниже склоняется голова.

НОЧЬЮ

Этой ночью погасла глаз моих синева.
Красное золото моего сердца. О, как тихо горело пламя.
Погибающего укрыл твой голубой плащ.
Безумия друга коснулась печать твоих красных губ.

ПО ВЕЧЕРАМ МОЕ СЕРДЦЕ

Вечером слышатся крики летучих мышей.
Два коня на зеленом танцуют лугу.
Клен шелестит багряный.
Перед путником вдруг вырастает корчма у дороги.
Чуден вкус молодого вина и орехов.
Чудно входить опьяненным в темнеющий лес.
Сквозь черные ветви доносится колокол скорбный.
Каплет роса на лицо.

ГИБЕЛЬ

Пролетев над белеющим прудом,
Скрылись дикие птицы.
С наших звезд вечерами леденящие дуют ветры.

Ночь над могилами нашими
Склоняет надтреснутое чело.
Плывем под дубами, качаясь в серебряном чёлне.

Не затихая, гудят белые стены града.
Под сводом тернистым, о брат мой,
Мы — стрёлки, ползущие слепо к вершине ночи.

МОЛЧАЛИВЫМ

О сумасшедший город, где вечером
У черной стены замирают увечные липы,
Где из серебряной маски смотрят глаза недоброго духа,
Где за каменной ночью гонится свет, сжимая магнитный
бич.

О подводный гул колоколен.

Шлюха в ледяной судороге рождает мертвую девочку.
Божий гнев бешено хлещет по лбу одержимых,
Чума красногубая; голод выпил зрачков зеленую воду.
И это золото с его жуткой улыбкой.

Но в пещерах, в кровавом поту молчаливое трудится
племя,
Из твердых металлов плавит главу избавителя.

Альма Иоганна Кёниг

СТАТУЭТКА ПАНА

В двух обликах ко мне являлся Пан.
Один был – древний бог лесных полян.

Он зелен был, как лес, и всем знаком, –
с копытцем козьим, с маленьким рожком.

Пришел другой – и улыбнулся мне.
Он, юный, жил не в камне, а в огне.

И робко дрозд запел, исчез туман.
Стал таять лед. – Я знала: это Пан.

ВЕШНИЙ ДОМ

Мне всегда была подругой весна,
как и каждому, кто ее пел.
Но сегодня в цветах приходит она,
и душою восторг овладел.
Она мне дарит и луг, и лес,
и дом, и двор, и зверей,
и во мне твой любимый образ воскрес,
вешний полдень жизни моей.

О, подумай, подумай, любимый мой,
что за счастье нам жизнь сулит!
Летний вечер. Гравий шуршит под ногой,
в нашем доме лампа горит.
Вот зима. Нам холод не страшен, и вот
мы тихо смеемся, шутя.
И в кроватке – заветной любви нашей плод,
уснуло наше дитя.

Да, ты – мой родимый край, мой дом
и свобода от всех тревог.
Я выплачу боль на твоей груди,
чтобы страх вернуться не мог.
Ты время жатвы моей возвеличь.
Мое счастье – как забыть.
Повторяю я Вальтера радостный клич:
«Вот оно – владенье мое!»*

ЛИКА

Ли́ка, ближе ко мне, и обними меня крепче!
Скорбь ледяную мою сразу растопит твой жар.
Волосы цветом, как медь, шелестят, шуршат и сияют
Ярче моих, что живет тайно египетский сок.
О, почему ни один из гостей тебя не приметил, –
Ты отворяешь им дверь в час, когда я еще сплю.
Было пятнадцать весен мне, как тебе, и в лохмотья
Я одета была, тяжкий носила кувшин.
В жарком поту я сновала то вверх, то вниз по ступеням
Цирка; певучий мой зов жаждущим воду сулил.
Если бы Ливия, спор проиграв, не рухнула наземь
Прямо в цирке, без чувств, муж бы не крикнул:
«Воды!».
Я и сегодня с кувшином ходила бы, в тех же лохмотьях,
Дом не имела бы свой, ты бы моей не была.
Как я рыдала тогда... Мелькали белые тоги.
Кто, торопясь ей помочь, сбросил амфору мою?
«Что ты плачешь, малышка? Горюешь об этих осколках?
Юные кудри твои – как золотое руно».
Слышу я вновь этот голос, чувствую нежную ласку.
Это Петроний тогда кудри погладил мои.
Неповторимую ночь я помню: в желанных объятьях
Встретила страсть я тогда, словно любимую дочь
Мать встречает... О, Ли́ка, зачем шелестят твои кудри?
Умер Петроний вчера. Кто же достоин любви?

* Последняя строка – цитата из стихов Вальтера фон дер Фогельвейде (около 1170–1230), великого поэта немецкого средневековья.

Франц Верфель

СТРАСТОТЕРПЦЫ

Ты, господи, придешь, и сядут одесную
Не только праведники, жизнь прожив земную,
Нет, все, кто в декабре смотрел во тьму ночную,
Женщины, серной кислотой вслепую
Мстившие сестрам, на суде седеющие,
Решающие, собою не владеющие,
В каретах плачущие, на суде вопящие,
Вдыхатели пропащие,
Певцы, швыряющие жизнь свою хмельную
Смерти в могилу на гнилое ложе,
Перед тобою все они предстанут, боже,
С тобой останутся и сядут одесную.

Господи, будут в твоём вертограде
Не только страждущие бога ради,
Нет, все, кто пламенел без мыслей о награде,
Певцы, на концертах боль преодолевающие,
Смертельно бледные в своем наряде,
Благоговейно мигающие,
Мгновеньями в твоей отраде
В твой век над нашим веком вознесенные,
Затеплятся, спасенные,
Легким сияньем в твоём вертограде.

Почиют, господи, в твоих глубинах
Не только те, кто звал тебя в немых руинах,
Нет, всякий, чье лицо от бессонниц в морщинах,
Чье сердце, словно пламя, жжет ладони,
Кто, спотыкаясь на равнинах,
Спасался бегством от мнимой погони.

Самоубийц не спрашивают о причинах.
Подростков ставили в тупик морские мили,
Чей судорожный ветер в письмах длинных.

Скрежешет о мальчишеских кончинах
Железный крест, забытый на могиле.
Мы будем там, поскольку здесь мы были.
И, потрясенные в своих глубинах,
Почиют, господа, в твоих глубинах.

БЛИЗ СТАРЫХ СТАНЦИЙ

Близко от уютных, старых станций—
Их мой поезд безвозвратно минул—
Смутно с дальних видел я дистанций
Тех, кто, в путь собравшись, дом покинул.

И сказать могу я без опаски
Перед теми, кто глядит на рельсы,
Что давно уж длятся эти рейсы,
Эта жизнь среди вагонной тряски;

Что им всем неведомое бремя,—
Города, мосты, моря и мысы
Оставляя сзади, как кулисы,
Мчит в дыму и искрах поезд-время;

Что и к ним придет пора вокзалов
И слепые, темные туннели
В молниях трагических сигналов,
Когда я уже сойду у цели.

БАЛЛАДА О ПРОВОЖАТЫХ

Иду, заметенный, по снегу, сквозь снег.
(Заборы? Деревья?) Я вижу лишь бег
Мягущейся ночи, я вижу лишь снег.

Проулок закрыло сплошной пеленой.
Один ли я здесь? Что-то вьется порой
И сзади, и сбоку, и передо мной.

Вот пьяница утлый петляет вдали,
Согнувшись под ношей своей до земли.
А может, там гибнет кто в снежной пыли?

Две тени внезапно скользнули с боков
Двух догов, незримых в пучине снегов,
Задев меня шерстью и тенью прыжков?

Ко мне подступает, сопя и фырча,
Отбившийся конь? Чуть касаясь плеча,
Идет он за мною, уздечкой бренча.

Но чуть я замру под седой пеленой,
Как тут же замрет мой безмолвный конвой,
И сзади, и сбоку, и передо мной.

Несчастный к груди прижимает ладонь,
Два дога в глазах затаили огонь,
И дышит в затылок заснеженный конь.

Я снова устало шагаю вперед.
И жизни, и вещи слились в хоровод,
Он кружит во тьме и бок о бок идет.

Холодная вьюга метет на юру.
Больному домой не вернуться к утру,
Коню в свое стойло и псам в конуру.

На этом пути не забрезжит рассвет.
Лишь ветер и снег до скончания лет,
И от провожатых спасения нет.

ПОСЛЕДНИЙ МИГ

Когда больного смертный час гнетет,
В углу, чуть слева, тонкий ангел ждет —
Помочь душе сквозь этот страх пробиться
И шелухой от тела отделиться.

Его глаза сияют, шепот вьет
Над ухом нить,—больной его поймет.
Он слышит: «Смерть к тому лишь устремится,
Кто выбор сделает, кто сам решится».

К сухим губам притронулся язык,
Чтоб вспомнить жизни вкус,—и он возник,
И жженой коркой отдавал чуть-чуть.

Нет, невозможно заново ее глотнуть.
Да или нет? На ангела взглянул,—
И улыбнулся тот: больной кивнул.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КЛИЧ

Хлынь длинною болью, мысль—лучистый укол.
Разрушь эти колья, запруды и мол!
Горластых раздолье! Грянь, железный глагол!

Тупая свинья, беспробудный уют!
Отжившее «я» люди к черту пошлют.
Восторг бытия—только благодный труд.

Пускай попирают силы тебя,
И злоба вонзает несчетные пилы в тебя,—
Добро полыхает всем пылом в тебя!

Зрелый, познай, эту мерзость кляня,
С воем сжигай под пыткой воды и огня,
Ринь, ринь!—через край—против старого, жалкого дня!

Ганс Лейфгелм

БАЛЛАДА О НЕБЛАГОЧЕСТИВОМ ДЕЯНИИ

Строится дом: угрюмо, с трудом,
Заступ вонзился, колышек вбит,
Десятник углы котлована столбит;
Раскоп вдоль вены земной ведóm,
А в ней – то ракушка, то триллобит.

Пуускают не раз в ход ватерпас,
Чтобы стена отвесной была,
И глыбу, что более всех тяжела,
– Таков подрядчика строгий приказ –
Кладут они во главу угла.

Слух не слышит ничей глубинных речей,
Голос природы им незнаком:
Строят с издевкою, со смешком,
Им шепот не вятен в глубинах ночей,
Грезят они тугим кошельком.

* * *

Предвестья не впрок: звенит мастерок,
Кирпичи ложатся, стена растет, –
Ведет подрядчик строгий учет –
Чтоб зданье выросло точно в срок,
Чтоб в камне замковом сошелся свод.

Растрачен пыл на укладку стропил,
И проверяет внимательный взор
Каждую лестницу, коридор;
Тому, кто первым на кровлю ступил –
Открылся только никчемный простор.

Их очам давно и при солнце темно,
Их сердцам иссохшим биться невмочь,

Эрнст Вальдингер

ВЕНСКИЙ КВАРТАЛ БЕДНОТЫ

Всевластен нищеты закон простой:
в домах у тех, кто ничего в наследство
не получил, всегда разит бедой,
пороком, ветхостью, и нету средства
избавиться от мерзости такой.
Но солнцем старый двор заполонен —
и Венский лес глядит со всех сторон.

Вонючий хлев, сдающийся внаем;
орут пьянчуги; женщины бранятся;
младенец верещит беззубым ртом;
хрипят клозеты; дети колготятся;
однако, оживляя тусклый дом,
зеленый луг в окошках отражен —
и Венский лес глядит со всех сторон.

Так безотрадно нищее жильё:
клочки бумаги, дух дешевой снеди,
залежанное волглое белье,
до тошноты обрыдшие соседи,
наваленное горами рваньё...
Но запах трав окрест и сосен звон —
и Венский лес глядит со всех сторон.

ЗАПАХИ ВОСПОМИНАНИЙ

Едва я появился, этот запах
Уже приветствовал меня: в саду
Нагроможденье хвороста и листьев
Готовилось к сожженью, этой гари
Протяжный запах с давних лет люблю —
И дух ботвы, горящей в огороде.
Синеет утро: тянет из окна

Скворчащим салом; с моря веет влагой,
Дурманом вечных странствий застилает
Лицо мне; и слегка щекочет ноздри
Дыханье свежемолотого кофе.
И сквозь все это в воздухе апрельском
Струится аромат воспоминаний.
Три года миновало... Неужели?..
Близ дома у лиловых облаков
Сирени кружит пьяная оса...
И словно вижу, проходя аллеей,
Опавшие трилистники в тени
Каштана, запорошенные пылью,
Забрызганные капельками солнца...
Однако ничего такого здесь,
Куда меня забросила судьба,
И не увижу я, и не услышу
Отныне и вовеки. Но когда
Весенний день пронизывает душу
Мою тоской по родине и сердце
Сбивается с привычного биенья
На долгой, на скитальческой дороге,
Тогда приходит утешенье: солнце,
Одно и то же всюду и везде,
Целует в лоб горячими устами...

ПЕРЕУЛОК ПРЕКРАСНЫХ ФОНАРЕЙ

Мошеный двор разрыт стыдливой
Травой. И шлюхи из окон
Глазеют праздно и лениво
На стену, где цветной дракон
Меж василисков размещен.

Из лавки – яблок запах резкий.
Побеги фуксий впереплет
Купаются в закатном блеске.
Из церкви прямо в небосвод,
Змеясь, органнй звук плывет.

Над крышами круглятся башни,
Их вид на фоне облаков

Такой гротескный и домашний,
А дальше – звон колоколов
Сбирает времени улов...

На дальнем берегу скитаний
Мне бой часов издалека
Послышался. Воспоминаний
Поток нахлынул. И тоска
Моя по родине сладка...

ЛЕТНЯЯ ПРОХЛАДА ХУТОРОВ

Город, где дома скребутся в небо,
где в июле – пекло, страшный сон,
и несет предметы ширпотреба
по теченью грязному Гудзон...

Как не вспомнить летнюю прохладу
крошечных австрийских хуторов,
чистый плеск ручья и зелень сада...
Как вы? сколько минуло веков?

В детстве... На каникулах... Раздолье.
По утрам над лугом нежный пар.
Колосится ласковое поле.
Полон всякой всячины амбар.

Ты с лукошком бродишь по полянам,
радуешься каждому грибу,
и кукушка смехом деревянным
отмеряет – верно ли? – судьбу.

Девушка упругими шагами
(ты забыл, пригожая иль нет)
весело уходит за цветами
и охапку тащит – не букет.

Весело мычат вдали коровы,
и не страшен бабушкин комод:
запах хлама – ветхого, сырого –
запахом цветов перешибет...

Вот и все. В Нью-Йорке, на чужбине,
вспоминаю душным летним днем
родину, охваченную ныне
ненавистью, мраком и огнем.

*РАЗГОВОР С САМИМ СОБОЙ
В НЬЮ-ЙОРКСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САДУ*

Мать с отцом немногого добились:
вечерами – шли в ближайший сад,
днем – трудились, бились и трудились,
но был в душах мир и в доме лад.

Ах, с окраин нет прямого хода
тихим неудачникам навверх,
было трудновато им в те годы,
в тот блаженный беспечальный век.

В Австрии, где приступы печали
музыкой и страстью смягчены,
ничего такого не искали,
счастья неприметного полны, –

счастья, суть которого – мгновенья
на скамейке, вечером в саду,
без тоски, без страха, без смятенья,
сонный взгляд на дальнюю звезду.

Вспомнив это, усмехнулся сын.
Он вздохнул, зайдя в нью-йоркский сад,
на скамейке, вечером, один,
ужасом изгнания объят.

Мы, скитальцы, переплыли море,
нам в пути гремел военный гром.
Мать с отцом, вы много знали горя,
сыновья, мы горя не сочтем.

В городе чужие, мы чужды
и отцам... Что с нашими отцами?
Или мы – в галактике Беды?
В мире, населенном мертвецами?

Теодор Крамер

* * *

Вот-вот желтизной озарятся отавы,
для солнца последние сроки прошли,
цветы облетели, повыцвели травы
и ждут возвращения в лоно земли;
солома по кромке лесов изветшала,
орляк зачервивел за несколько дней,
топорщится, будто гнилое мочало,
на пахоти ворс пересохших корней.

Покривлены межи, затоптано всполье,
в стерне шебуршит полевое зверье,
угрюмо скрипит на ветру частоколье
и шершень в гнездо заползает свое;
ежи в терновище готовятся к спячке,
у рытвин покрыто испариной дно,
полевки по-тихому тащат в заначки
стручки и забытое в поле зерно.

Еще доцветают вьюнки у калиток,
но скоро и жниво, и жухнувший луг,
лишая прибежища сонных улиток,
распорет на комья безжалостный плуг;
залеплены соты, курятся лощины,
с рассвета одета в ледок борозда,
рыжеют холмы, и на выгон общинный
в недалекое время сойдут холода.

ХУДОЖНИК

Прокорма не стало, обрыдли скандалы,
ни денег, ни хлеба тебе, ни угля:
покашлял художник, сложил причиндалы
— и кисти, и краски,— и двинул в поля.

Он всюду проделывал фокус нехитрый:
пришедши к усадьбе, у всех на виду
вставал у холста с разноцветной палитрой
и сразу картину менял на еду.

Он скоро добрел до гористого края
и пастбище взял за гроши в кортому:
повыскреб замерзший навоз из сарая,
печурку сложил в обветшавшем доме,
потом, обеспечась харчами и кровом,
на полном серьезе хозяйство развел:
корма запасал отощавшим коровам
и загодя все разузнал про отёл.

Порой, уморившись дневной суматохой,
закат разглядев в отворенном окне,
он смешивал известь с коровьей лепехой
и, взяв мастихин, рисовал на стене:
на ней возникали поля, перелески,
песчаная дюна, пригорок, скирда –
и начисто тут же выскабливал фрески,
стараясь, чтоб не было даже следа.

КОНТУЖЕННЫЙ

Тот самый день, в который был контужен,
настал в десятый раз; позвать врача –
но таковой давно уже не нужен,
навек остались дергаться плеча.
Сходил в трактир с кувшином – и довольно,
чтоб на часок угомонить хандру:
хлебнешь немного – и вдыхать не больно
сырой осенний воздух ввечеру.

По окончаньи сумерек, однако,
он выбирался в опустевший сад,
и рыл окопы под защитой мрака
совсем как много лет тому назад:
всё – как в натуре, ну, размеров кроме,
зато без отступлений в остальном,
и забывал лопату в черноземе,
что пахнул черным хлебом и вином.

Когда луна уже светила саду,
за долг священный он считал залечь
с винтовкою за бастион, в засаду,
где судорога не сводила плеч;
там он внимал далеким отголоскам,
потом — надоедала вдруг игра,
он бил винтовкой по загнившим доскам,
бросал ее и плакал до утра.

МАРТОВСКИЕ СМЕРТИ

Когда между затянут сорняки
и вспыхнет зелень озими пшеничной —
в деревне умирают старики,
весенней смертью, тяжкой, но привычной.

Сам воздух, будто некая рука,
орудует в кого постарше целя,
чтоб тот залег в могилу тюфяка,
с которой встал-то без году неделя.

Они лежат, одеты потеплей,
и слушают, — занятя нет приятней,
как треплет ветер кроны тополей,
как шумный гурт прощается с гусятней.

Взвар застывает коркой возле рта,
без пользы стынет жирная похлебка;
при них весь день дежуря, неспроста
домашние покашливают робко.

Еще успеют увидеть они,
как деревья проснутся от дремоты, —
но, чем светлей, чем солнечнее дни —
пономарю все более работы.

СТАРИК У РЕКИ

Где город кончается и переходит в поля,
где илом и гнилью прибрежной пропахла земля,

замшелый рыбак доживает свой век, и вода
течет с незапамятных лет сквозь его невода.

В привычку стряпня и починка сетей старику,
из города носит и нитки, и шпиг, и муку,
он дружбы не водит ни с кем, но со всеми вокруг
знаком, и выходит к порогу на первый же стук.

Бывает, зайдет поселянка, укупит леща,
к нему плотгоны погреться идут сообща,
салятся к столу, коль погода снаружи дурит,
и все умолкают, когда старикан говорит

о мерном теченьи реки, о сетях на ветру,
об илистых поймах, о рыбе, что мечет икру,
и губы похожи его на сочащийся сот,
на гриб-дождевик, от которого споры несет.

Даются слова все трудней и трудней старику,
не так уж и много рыбак повидал на веку,
и за день устал, и давно задремать бы ему,
и сплавщики тихо его покидают в дому.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ АРЕНДЫ

Возьми с собой корзинку и вино,
иди и подожди в саду за домом;
сентябрь настал,—безветренно, темно,
и звезд не перечесть над окомом.
Попозже я приду,—разлей питье,—
и парники, и астровые грядки—
здесь все отныне больше не мое,
и завтра надо уносить манатки.

Вот артишоки—ты имей в виду,
я сам испек их, так что уж попробуй.
Я десять лет трудился здесь, в саду,
мне что ни листик—то предмет особый.
Налей по новой. Десять лет труда!
Зато—мои, зато хоть их не троньте.
Я пережил подобное, когда
лежал, в дерьмо затоптанный, на фронте.

Страданье — не по мне: меня навряд
возможно записать в число покорных, —
но слишком мал доход с капустных гряд
и ничего не накопишь с помидорных.
Не знал я тех, кем брошен был в дерьмо,
не знаю тех, кто гонит прочь от сада.
Хлебнем: понятно по себе само,
что верить хоть во что-нибудь, да надо!

Я верю в горечь красного вина,
что день сентябрьский — летнего короче,
что будет после осени весна,
и что на смену дням приходят ночи;
я верю ветру, спящему сейчас,
я верю, что вкусил немного меда,
что вещи слишком связывают нас,
что из-за них нам хуже год от года.

Куда пойду — ты спросишь у меня,
и заночую на какой чужбине?
Вьюнку — ползти далеко ль от плетня,
легко ли с грядки откатиться дыне?
Шуршит во мраке лиственный навес,
печаль растений видится воочью, —
синее в вышине шатер небес,
и не вином я пьян сегодня ночью.

СТОЧНЫЙ ЛЮК

Измотан морозом и долгой ходьбой,
старик огляделся вокруг,
подвинул решетку над сточной трубой
и медленно втиснулся в люк.

Он выдолбил нишу тупым тесаком,
спокойно улёгся во тьме,
то уголь, то хлеб он кусок за куском
нашаривал в жидком дерьме.

Почти не ворочался в нише старик
и видел одних только крыс,

лишь поздний рассвет, наступая, на миг
в решетку заглядывал вниз.

И зренье, и слух отмирали в тиши,
и холод как будто исчез,
и дохли в одежке голодные вши,
утратив к нему интерес.

И был он безжалостно взят за грудки,
и вынут наружу, дрожа,
и тщетно пытался от грозной руки
отбиться обтеском ножа.

ЖИТЕЛИ ВАГОНА

Вагон, бесплатная квартира,
стоит на рельсах тупика.
Сюда доносится из мира
далекий лязг товарняка,
тут служит лестницей подножка,—
каморка, может, и мала,
а все же места есть немножко
для колыбельки, для стола.

Живущим здесь — не до уюта,
здесь громяхают поезда,—
от трассы — тяжкий дух мазута
и гарь, — а впрочем, не беда:
и здесь судьба дает поблажки,
жизнь хочет жить — и потому
не могут не цвести ромашки,
и все-таки цветут в дыму.

Нам ни к чему людская жалость,
возьмем лишь то, что даст земля:
запрет вагон, побродим малость,
вдоль рельсов наберем угля.
Живем легко, не ждем напасти,
мир, как вагон забытый, тих:
видать, о нас не знают власти,
а мы не жаждем знать о них.

ВЕНА, ПРАЗДНИК ТЕЛА ХРИСТОВА, 1939

Вышло их на улицы так мало,
совершавших ежегодный путь,—
большинство осталось у портала,
не посмев к процессии примкнуть.

К ладану всплывающему липли
ветки, обделенные листвою,
и хористы обреченно хрипли,
медленно бредя по мостовой.

Жались горожане виновато,
обнажали головы они,
удивляясь, что хоть что-то свято
все же остается в эти дни.

Так и шли, сердца до боли тронув,
шли среди всеобщей немоты—
а над ними реяли с балконов
флагов крючковатые кресты.

ГОСТ НАД ВИНОМ ЭТОГО ГОДА

Орех и персик—деревя,
скамей привычный ряд;
я чую лишь едва-едва,
что мне за пятьдесят.
Вот рюмку луч пронзил мою,
метнулся и погас,—
я пью, хотя, быть может, пью
уже в последний раз.

Пушок, летящий вдоль стерни,
листок, упавший в пруд,
зерно и колос,—все они
по-своему поют.
Жучок, ползущий по стеблю,
полей седой окрас—
люблю,—и, может быть, люблю
уже в последний раз.

Свет фонарей и плеск волны;
я знаю,—ночь пришла,
стоит кольцо вокруг луны
и звездам несть числа;
но, силу сохранив свою,
как прежде, в этот час
пою — и, может быть, пою
уже в последний раз.

ПОЗДНЯЯ ПЕСНЬ

Тропки осенние в росах,
клонится год к забвению,—
глажу иззубренный посох,
позднюю песню пою —
знаю, что всеми покинут,
так что в собратья беру
угли, которые стынут,
и дерева на ветру.

Сорваны все оболочки,
горьких утрат не сочту;
там, где кончаются строчки,
вижу одну пустоту.
Ибо истают и сгинут —
лишь доиграю игру —
угли, которые стынут,
и дерева на ветру.

Родиной сброшен со счета,
в чуждом забытый краю,
все же пою для чего-то,
все же кому-то пою:
знаю, меня не отринут,
знаю, послужат добру
угли, которые стынут,
и дерева на ветру.

НА ПОЛУСТАНКЕ

Садись и жди, закрыта касса,
и поезд долго не придет;
молчит безжизненная трасса,
и вмятен бражника полет.
Поставь рюкзак и на колени
клади мне голову свою.
Над рельсами столбы как тени,
и провода жужжат, поют.

И этот отдых, столь знакомый,
мне памятен с тех давних лет,
когда так далеко от дома
бродил я долго по земле.
И для меня как праздник редкий
перрона слабый свет ночной,
падение гулких капель с ветки
и на скамейке ты со мной.

Молчи, я имени не знаю
тому, что наполняет нас,
но только это исчезает
в наш смертный, в наш последний час.
И все неважно с тем в сравненьи...
Дрожит стальное полотно,
и нам по графику движенья
быть скоро дома суждено.

ГЛЯДЯ НА РЯБИНУ

Свода небесного две половины:
у перепутья — пламя рябины.
Мак облетел, и убрана рожь;
ты лишь пылаешь, чего же ты ждешь?

Ранний мороз, пожирающий мякоть
ягод, и ос, и улиток, и слякоть...
Чу, тихий стук по планкам забора —
это скворцы, улетят они скоро.

Нить свою, гусеница, затяни-ка
и успокойся в полях, повилика;
пламенный груз взваливши на спину,
в зябкие дали уходит рябина.

Глухо вздыхает влажное поле,
мак, облетев, разбренчался на воле,
ярко чернеет жилище семян.
В смерти – рождение, забвеньё – обман.

И потому в поля из-под ног
вьется и вьется дикий вьюнок
и пламенеют грозди рябин.
Все это знают, а скажет один.

У перепутья, как семафор,
огненно-красный рябины вихор.
Срок мой измерен... Бесследно я сгину
иль полыхать буду гроздью рябины?

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ

День поминовенья. Захочу –
фитилек в лампадке засвечу:
ты гори с печалью и с тоской
матери моей за упокой,

той, которой я помочь не мог,
ты гори за сына, фитилек,
ибо ставлю крест на жизнь свою,
хоть чужбины горький хлеб жую.

Ты гори, оплавав заодно
все, что было мной сочинено,
что нигде издать надежды нет –
догорай, лампадки тихий свет.

Догорай, мерцающая и скорбя
(через год – зажжет ли кто тебя?),
ты свети стихам, любви, добру –
в них-то я не до конца умру.

РЫБА С КАРТОШКОЙ

Горстка рыбы с картошкой, полный кулек
на три пенса – а чем не обед?

Больше тратить никак на еду я не мог,
уж таков был семейный бюджет.

Я хрумкал со вкусом, с охоткой
и крошки старался поймать,
покуда за перегородкой
так тягостно кашляла мать.

Горстку рыбы с картошкой, полный кулек,
принесла ты в кармашке своем,
помню, тяжкий туман в переулках пролег,
было некуда деться вдвоем.

И, помню, в каком-то подъезде
мы были с тобою в тот раз, –
дрожали рисунки созвездий
и слезы катились из глаз.

Горстка рыбы с картошкой в родимом краю –
все, кто дорог мне, кто незнаком,
съешьте рыбы с картошкой в память мою
и, пожалуй, закрасьте пивком.

Мне, жившему той же кормежкой,
бояться ли судного дня?

У Господа рыбы с картошкой
найдется кулек для меня.

Александр Лернет-Холения

СОЛДАТ

Может быть, я уже в могиле.
Встали травы моих волос.
Может, кости мои уже сгнили,
и ручей просветлел от слез.

В моих волосах зеленых
распустился цветок луговой.
Может, он известит влюбленных,
что шел здесь когда-то бой.

К ЛЕТУ

Прежде чем солнечная упряжка не спустится, искры
взмывая каскадом,
прежде чем черный дрозд не напьется хрустальной
росы,
прежде чем тень не пролетит над трепещущим садом,
прежде чем больше ни часа не отчертят солнечные
часы,

прежде чем красные маки во ржи не сгорят горячо и
лучисто,
прежде чем сжаты не будут колосья в канун непогод,
прежде чем ветер с порога, где мы простились, увядшие
листья
не развеет и прежде чем лето совсем не уйдет,

прежде чем поредевшей толпе свои взгляды, где страсть
и истома,
не подарят влюбленные, задержавшись вдвоем,—
кони копыта свои не опустят на мост из железного грома
над печальной рекой в вихре огненном и золотом.

Рудольф Фельмайер

УТЕШИТЕЛЬНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ НАУТРО ПОСЛЕ ПРИЕЗДА

Старый японский мастер был бы восхищен,
увидев с прохладной, воздушной террасы
горы и воды в подлинном их обличьи:
красок дождевых касаясь легкой кистью,
небесную картину написал бы он плавными взмахами,
где гром-дракон, рыча, змеится между облаков,
в туман закутанные горные вершины в разводах туши
таятся друг за другом,
где Странник Дождь летящими штрихами
наискосок пересекает лист,
где цветочные пятна сжатой скалами взволнованной реки
нас заставляют вслушаться
в магическую музыку воды –
и наконец он тронул бы слегка
зеленоватый занавес дождя, изобразив
и персиковый зонтик, и солнечное кимоно
любимой, уходящей по влажной медленной дороге.

ДЕРЕВЕНСКИЙ АВТОМОБИЛЬ ДЕТСТВА

Летняя загородная прогулка
на нем
всегда была событием
в детстве.
Затемно,
когда ночная паутина
еще висела по углам,
он появлялся, радостно фырча,
он подъезжал:
две лошадиных силы,
белая и каряя,
в старинных облаченьях,
с расплетенными хвостами и гривами.

Ты уже позабыл
кругосветную эту поездку,
но и сегодня
твой шумами пресыщенный слух
отчетливо распознает,
как движется легкою рысью
четырёхтактный, восьмикопытный мотор,
вызывающий чистое эхо
на пыльных проселках,
ты вдыхаешь
дурманящий запах его,
разогретого бегом,
и видишь двоих,
блаженно
хрупающих овес,
щедро засыпанный в ясли
деревенских гостиниц.

Вильгельм Сабо

* * *

Бедным бы стать, как в детстве,
ничтожным, чтобы опять
мерзнуть и скот соседский
под ветром перегонять.

О жизни не сокрушаться,
ибо на всей земле
не к кому ночью прижаться,
кроме как к гулкой мгле.

Только чтоб снегу падать.
Только чтоб над ручьем
в марте прозрачном плакать,
не понимая о чем.

* * *

Ночью, когда элита
сходится на один порог
в местечке, где цифирок миль не видно
на столбе у развилки дорог,

и во мглу торчит указатель,
и до самых слепых небес
только поле молчит, а сзади
черным воздухом дышит лес,

листья шепчутся о забытом
над старым немым прудом.
В местечке, где ночью элита—
с картами за столом.

САРАНЧА В 1338 ГОДУ

Восток мутился к вечеру, и нечисть,
В летучие полки вочеловечась,
Над полем яростно клубилась –
Чума и язва моровая, –
Клубилась, небо закрывая,
Пока на хлеб не опустилась.

В восьмом часу и, может быть, в девятом
Был урожай еще богатым –
Но гадины голодные сновали,
Во ржи и в клевере сидели,
Перелетали дальше и гремели
Крылами, словно крышками роялей.

А в деревнях до неба голосили,
Не в силах избежать насилья,
И жгли костры на ближнем взгорье,
И шли на ощупь, как в густом тумане,
Шепча молитвы, причитанья
И просто – причитая в горе.

А саранча вгрызалась, и казалось,
Она в сердца мужицкие вгрызалась,
Вгрызалась дружно, челюсть в челюсть,
И на колосьях восседала чинно,
И было небо так невинно
Над хрустом, было пусто, просто прелесть.

А саранча снялась с хлебов с зарею,
Нажравшись, но блистая худобою,
Черна, неутомима, ненасытна –
Вперед на запад было поле,
Еще не онемевшее от боли, –
На запад было небо беззащитно.

СКУПЩИК СКОТА

Катил проселком его возок.
Слезая, считал он коров и коз
и в хлев входил; и большой сапог
уверенно в теплый ступал навоз.

В трактире потом заводил он торг,
крестьян окрестных поил вином,
и брови хмурил, хитрил, как мог,
и прятал тяжелый кулак под столом.

Они препирались, бранясь. Но тут,
уставший от споров, под шум и гам,
он вдруг вставал, подбирал свой кнут.
Тогда ударяли с ним по рукам.

И он угощал, и пилося легко.
С трудом поднимались из-за стола,
гурьбой провожали. И вновь его
в полях густая глотала мгла.

НА ДВОРАХ ГОСТИНЫХ...

На дворах гостиных
забывал себя.
В номерах перины
крали часть тебя.

В ста домах, бездомный,
принимал ты ночь.
Сто дверей покорно
отпускали прочь.

Сто небес вдыхали
легкий шепот твой.
Сто теней бросали
вехи за спиной.

Был статистом многих
долгих дел и лет.
И на ста дорогах
твой терялся след.

Тихо растворялся
в слове, что ронял.
И навек остался
всюду, где бывал.

Гвидо Цернатто

* * *

Эта вьюга чуждого заморья
хуже льда и зноя,—такова,
что душа стремится прочь от тела:
сердце отболело, опустело,
словно отрыдавшая вдова.

Эта вьюга чуждого заморья,
видно, рождена в ином миру:
чуждый край все негостеприимней,—
я кричу, как зверь, что ночью зимней
воет в коченеющем бору.

СЛЕПЕЦ-НИЩИЙ

Изможденные пальцы
с восковыми ногтями
перебирают клавиши старой гармоники.

Пальцы левой руки,
тоже—кожа да кости,
тоже движутся в такт.

Глаза давно мертвы,
глубоко в глазницах
лежат бесполезные веки.

Но костистые скулы
сгибаются по направлению к ним,
словно в алтарном поклоне.

Губы раздвинуты
и едва шевелятся
в такт равнодушной мелодии.
И монетки в жестянке бренчат.

Голова все время склоняется,
словно некая грозная тяжесть
пригибает ее.

И внезапно
поднимается снова.

Так в клетке
движется пленный звереныш:
От одной до другой стены,
от решетки к решетке.

Может быть, и душа его—
тоже пленный звереныш,
заточенный в узилище мозга,
быть может, голодный.

Быть может, изголодавшийся
по этому самому, безразличному ко всему
Маршу Радецкого.

ПОСЛЕДНЕЕ

Давно мне хотелось тебе рассказать,
чем вызваны чувства мои
к земле, что годов уже больше двухсот
как числит по книгам церковный приход
владением нашей семьи.

Мне шагать доводилось во время войны
по турецкой, по русской земле,
повсюду мерещились горе и тьма,
жизнь ушла ни за что, ни про что, задарма,
развевалась пылью во мгле.

Казалось, что всюду барьеры стоят,
что каждая дверь заперта,
преградой казался ручей на лугу,
вставали заборы на каждом шагу,
возникали замки и врата.

Ночь за ночью тревога томила меня,
не давала покоя уму,—

не выдержав муки полночных часов,
я вставал, отворял на воротах засов,
уходил по тропинке во тьму.

И однажды к пшеничному полю пришел,
за которым, ты знаешь, погост,—
я слышу поныне тот шорох ночной:
гонимые ветром, волна за волной
по колосьям скользят вперехлест.

Три шага за ограду—а там, под крестом,
похоронен мой собственный дед,
прах которого слился с землею, с травой,
на которой стою я сегодня—живой,
оставленный предками след.

Получив от земли свое тело взаймы,
я уйти от нее не хочу:
я зерно—и не должен забыть, что земля
мне однажды предъявит свои векселя,
и по ним я сполна заплачу.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ СНЕГОМ

Пашня бурая намокла;
как последний взнос природы,
темными буртами дремлет
свекла.

В бочках сброжен и измерен
сок осенний винограда,
и слепнями не покусан
мерин.

На поленья переколот,
бук за домом громоздится,
так что пусть грозитя лютый
холод.

И сады по всей округе
до весны заснули тихо,
и скорей бы наступали
вьюги.

Эрнст Шёнвизе

* * *

Когда незаживающая рана
от боли раскроется снова,
проступившая капля крови
станет стихотвореньем.

ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО

1

Ты повсюду ищешь его,
ты искренне убежден,
что его нигде не найти.

Но искал ли его ты в себе самом?
Если и там не найдешь,
то не по его вине.

2

Видишь гусеницу?
Это бабочка.

Видишь бабочку?
Это гусеница.

Кто видит только явь,
тот ничего не видит.

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

Я проснулся однажды ночью
между двумя снами.
В сердце моем было светло, как никогда,
а в памяти — стихотворенье,

где каждое слово – единственное,
так что незачем и записывать.

Под утро,
между сонным днем и дневным сном,
я его позабыл.
С той поры
между сонной смертью и смертным сном
все стихи мои ищут
его одно.

ВОДОПАД

Летит и рушится без отдыха и сна,
а кажется – стоит на месте.
И облако водной пыли
над ним неизменно.

Надо издали глянуть,
чтоб увидеть его протяженность в веках.
Пока не поймешь,
что движенье и дленье – только видимость.

Кристина Буста

ЭПИТАФИЯ

Ничто не угасит песни моей!
Засыпь мне землей уста:
запою для тебя травую...

ПТИЦЫ

Твои глаза словно птицы в тенистых гнездах.
Когда я касалась древесной коры,
поднимались они и слетались ко мне.

Теперь живут они в сердце моем,
глубоко в раскаленной листве моего полдня.
Греза и слух это жизнь моя,
только самые тайные песни птиц.

ПРИТЧА

Иной раз нам удастся передохнуть
в квадратах солнца
пустынных полдневных дворов.

Врата – словно ангел,
распростертые,
темные крылья,
проем,
сквозь который приходим мы и уходим,
зябкая ясность
прохлады и тени.

Вечером же, когда они вновь затворяются,
мы на родине
или в изгнании.

ЯЗЫК

На языке, которому ты верен в слове,
не говорят:
я его изучаю
в тысячелетнем молчанье морских глубин;
он — вознесшийся в горы,
сорвавшийся со скалы,
переплавленный в пламени,
возникший меж деревом и топором,
несомый дыханьем от уст к устам.

Из него — дома и мосты,
и надменно никчемные колоссы Мемнона,
из него прорастают лучезарные песни,
и дети — его оправданье.

К ДРЕВНЕЙШИМ ОГНЯМ

Прощайся с травинкой и деревом,
с детской кожей пламени.
Мы на пути к древнейшим
огням из камня и меди.

Льдистые смерти ждут нас,
не жертвенной крови, не вдоха.
Только скрытая в сердце крупица
отправляется вместе с нами.

Бескрыло воркует голубка
невнятно и отчужденно.
Покинутая Земля
уже только миф и звезда.

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР В ВЕНЕЦИИ

Тень золота легла на гладь залива,
закат, как пыль, на теплый мрамор пал,
уходят крысы тайно, торопливо,
пока врата разламывает шквал.

Лев утомлен: что времени тяжеле?
Медь, камень – всё под солью забытья.
Плывешь в гондоле, в черной колыбели,
и под тобою – Стиксова струя.

ВО ФЛАНДРИИ

Распахнутая раковина пляжа
выбалтывает тайны глубины,
и где песок всего ровней и глаже,
предел волны – и пульс ее – видны.

Вдвоем с великим рокотом прибой
побудь, пусть он бормочет в уши скал
любовный бред, иль знание любое:
считает то, что ты не сосчитал.

А в Брюгге, там, в обители бегинок,
все застилает пеной кружевной
забвенье, – и года, пред тем, как сгинуть –
как золотые пчелы над водой.

ТАЙНА

Опаленный солнцем янтарь: сколько веков протекло?
Я – комар, заблудившийся в древнем, как миф, лесу.
Все еще каплет смола. Я – в небытии, на весу.
О свет золотистый, как давишь ты тяжело!
В непроницаемой сердцеvine – вечный трепет души.
Только богу слышно еще, как дети ступают в тиши.

Михаэль Гуттенбруннер

Я И ТЫ

Еще не ночь, но и уже не день:
так, неопределенный промежуток.
И как на небе в этот час слились,
сплелись в узоре зыбком свет и тень
так, что не различить меж ними грани,
так в жизни нашей все переплелось:
она слишком светла, чтоб быть моею,
и чересчур печальна для тебя.

РАНЕНЫЙ

Как плеть повисла рваная рука.
Солдат бредет, не ведая пути,
шатаясь, будто в кровь избитый пес.
Впитал песок живую боль и пот.
За каждым лопнувшим снарядом
в прокисшем воздухе
смерть скалится своей зловонной пастью.
По мертвому разорванному мясу
с отчаянным «ура» бежит живое,
утробным ревом заглушая слезы.
Кошмарною горой
над полем разбухает дым,
размалывая в прах
живых и мертвых,
скомканных в его несытом брюхе.
Погребена под трупами земля.
Сквозь драное тряпье зияют раны,
белеют кости, оплывает плоть.
В кровавое болото мертвецов
измученные ноги погружая,
он тащится, как зверь, все дальше прочь
от тех, кто бил его. А мертвецы

ворочаются под его шагами
и плят помутневшие глаза.
Он вырвался из гулкого капкана.
Ступил, шатаясь, на безлюдный луг,
сверкающий под ясным синим небом –
и ад запел, как старая шарманка,
и, будто вдалеке, взметнулся дым.

РУИНЫ

Я знаю глубины презренья
пса к тому, кто дает ему пищу.
Знает пес, где бог обитает:
он его чувствует.
Плач сквозь сон проникает,
пока летит над землей звезда утра
за последней ночью с калекой
на обрубках лодыжек по гололеду,
и никто не знает, что утешит,
когда пастух, как волк, мать душит.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Быльем-травой
позаросли тропинки
к родному дому...
Путник шел, и оживали
пред ним картины прошлого.
Ему бы броситься
бегом к раскрытым окнам,
а он у поворота
вдруг на колени пал
и зарыдал.

Рихард Цах

БЕССМЕРТИЕ

Замрешь ты скоро на дощатом днище.
Стать пылью или пеплом – твой конец...
Зароют ли тебя в могилу нищим
иль погребут в гробнице, ты – мертвец,
червей добыча. И перед кладбищем
не сожалея о прошлом! Крон багрец
был зеленью вчера. Душой мы ищем
бессмертия. Смерть в вере – твой венец.
Ты – искра, что погаснет. Твое имя –
известное ли, нет – пример тщеты.
Лишь как частица света вечен ты,
продлишься ты не свойствами своими –
как семя жизни только! Будь же смел!
Бороться ради правды – твой удел!

ОДИНОЧНАЯ КАМЕРА В ВЕНЕ

Считите меня наследства лишенным,
полным презрения к вашим законам,
к вашим прислужникам, в цепи закованным.
Лучше быть с теми – в беду погруженным,
чем разделять ваш изысканный круг
титулоносцев с надменными лицами!
Вы по осанке, достоинству – рыцари,
только подкладка блеска – испуг:
вам бы побольше купить за бесценок
и укрепить вашей власти застенки.
Жесты великосветские лживы.
Пальцы холеные ради наживы
в жертву вкогтились. Запятнаны вы
больше убийц перед высшим законом.
Считите меня хоть умалишенным,
мерой моей для меня остается
правда – та, что в груди моей бьется.

Альфред Гонг

ПАДЕНИЕ В ОСЕНЬ

Опять листопад.

Каждый лист –
солдата погибшего сердце.
Желтый лист –
павший горнист;
красный лист –
убитый артиллерист;
черный лист –
сгоревший танкист.
В землю уходят и лист, и солдат.
Опять листопад...
Каждый лист:
мертвая птица, мертвый светляк.
Вражья стрела меня догнала,
и мне положено пасть:

На родине поют на винограднях..
Ванилью пахнет дома, в теплой кухне...
Ребенок на плоту плывет, играя...
Вот – первый поцелуй у старого сарая...
Бывает, с башни падаешь во сне...
(Тараны бьют по крепостной стене.)
Отраднo отдыхать в домашней тишине...
(Пылают крылья, плещутся в огне.)

Изжелта-хворый лес под тобой,
желтые листья –
мертвые крылья, мертвые летчики.
Опять листопад.
Скоро умру.
В землю уходят и лист, и солдат.

ТАК УМИРАЕТ ЧЕЛОВЕК

Благо тому, кто легко умрет,
благо тому, кто в постели умрет,
сладко заснет, никогда не проснется.
Благо мухе, погибшей в бокале крющона.

Не дойдя до постели, до седины не дожив,
умирают, бывает, в воздухе, на воде,
бесследно ушедших земля поглощает,
и нет ни надгробия, ни эпитафии.

Умирают на колесе и в печи,
умирая, идут муравьям на прокорм,
умирают в песке, в снегу;
по именам даже ветер умерших не знает.

Благо мухе, погибшей в бокале крющона.
Горе мухе, завязшей на липкой бумаге.
Горе мухе, которой ребенок, играя,
обрывает крылья и лапки,
и потом забывает ее на окне.

БОЭДРОМИОН

Еще хоть однажды
произнести: «Сентябрь» –
вспоминая любой сентябрь
из числа пережитых.

Кувшин на пороге.
От петли к косяку
тянется паутина. Ступай
домой и выстукивай знак:
«Сентябрь».

Уже пушинки парят
над тлеющим терном.
Скоро твоя перчатка сочтет
пустые гнезда.

Потом иди. Не прощаясь, иди
дальше, вперед – и вернись.
Кто в сентябре – сентября
не избегнет, останется здесь
на сто лет за решеткой.

Вырвись. Брось.
Сотри это сонное слово:
«Сентябрь».

Пауль Целан

ХВАЛА ТВОИМ ДАЛЯМ

В роднике твоих глаз
рыбак из морей безумия расставляет сети.
В роднике твоих глаз
обещания сдерживает океан.

Я оставляю здесь:
обретавшееся среди людей сердце,
одеянье свое и блеск своих клятв—

в темноте я темнее и обнаженнее.
Верность моя в вероломстве.
Я становлюсь тобой, лишь когда остаюсь собой.

В роднике твоих глаз
плывет мой разбойный корабль.

Сеть ловит сеть ловит сеть:
мы покидаем друг друга в объятьях друг друга.

В роднике твоих глаз
и виселица, и висельник, и веревка.

ПРИ СВЕТЕ СВЕЧИ

Монах волосатыми пальцами книгу раскроет:
сентябрь...
как пригоршня снега, Язон упадет на проросшее поле.
Тебе ожерелье подарит дремучая чаша, как мертвой,
и темную синь волосам, и тогда о любви расскажу я:

о ракушках и облаках, и как лодка под ливнем промокла,
как маленький конь ускакал из распахнутой книги,—
за дверью темно, и ее не захлопнуло ветром:
как жили мы здесь?

* * *

Париж-кораблик в рюмке стал на якорь.
Я пью с тобой и за тебя так долго,
что почернело сердце, и Париж
плывет на собственной слезе – так долго,
что нас укрыли дальние туманы
от мира, где любое «Ты» – как ветка,
а я на ней качаюсь, словно лист.

* * *

Мятежное сердце,
оставь языческий град,
где свечи пылают и бьют часы.
Лети,
лети с тополями вместе туда, где пруд,
где флейта ночная вонзает звук в того,
кто жаждет безмолвья.
Вот он весь как есть
зеркальным водам показан.
По берегам
раздумье тайное бродит, слушая ночь
и ведая, что никакая вещь
в обличье своем не явится.
Слово само,
сияющее над тобой,
задумалось о жуке, который заснул
на папоротнике первоцветном.

* * *

Я одинок. Несу цветок из пепла
в стакане, полном чистой чернотой.
Слова сестры за окнами живут –
во мне ж мечты вздымаются беззвучно.
В тени времен отцветших я застыл.
Я накопил смолу для поздней птицы:
снежинка не растает на ее кроваво-красных перьях.

А в клюве – лед.
Она его пронесит, как зерно,
сквозь пекло лета.

* * *

Из стаи самый белый голубь взмыл: мы рядом.
Колеблется немая рябь стекла.
Неслышным шагом лес по дому бродит.
Ты так близка, как будто ты ушла.

Из рук моих берешь цветок огромный –
он не лилов, не бел, но ты берешь его.
Где не был он – там будет неизменно.
Нас не было – но верх мечта взяла.

СТРЕТТА

Хоры – ты помнишь, те
времена, ты помнишь, те
псалмы. О, о-о-о-
санна.

Не правда ль,
святыни стоят, и свет
еще не ушел
из звезды.

Ничто,
ничто не ушло.

О-о-о-
санна.

* * *

Дождь полнит кружку, нам дает напиток.
Ночь гонит сердце, сердце гнет траву.
Но время жатвы миновало, жница.
Спи. Я же все увижу наяву.

Как прядь твоя бела, ночная вьюга!
Бело в былом, бело, что впереди.

Мой счет—года, твой счет—часы досуга.
Мы пьем дожди. Дожди мы пьем. Дожди.

НЕ ЗДЕСЬ И НЕ СРАЗУ

Гневом, как речь Цицерона, едва начинаясь,
взрывается ночь.

Запястья себе прокусили...

Волхвы не волхвы, но звезда не свернет в Вифлеем.

Огонь не огонь, но под осенью наших сердец отпылал,

Мозг вытек из древка, а знамя незнаемо где.

Тотальник-Христос, клятва прелюбодействовать
с прахом,

Птиц поять каблуком,

Кинуть душу-другую в болотную топь—

Наша клятва. Клянемся!

Клянемся на крышах бессонниц,

Что у времени вырвем последнюю темную прядь.

Это грех, говорят.

Это грех, говорим.

Ну и что же?

Ваши мельницы взмыленно мелют наш ветхий завет,

Наши ветхие старцы мукою на мир выпадают,

Мы у времени вырвем последнюю темную прядь.

Это грех, говорят.

Этот грех, говорим,

Да свершится!

Да брызнут из крана кометы!

Да вспять повернутся моря

Предсмертной слюны под кольчугой ветров, да

взорвется

Фугасом луна!

Да настанет иная земля!

Да эксгумируют ваши амбары!

ПАМЯТИ ПОЛЯ ЭЛЮАРА

Положи на могилу поэта слова,
те, что созданы им ради жизни.
Положи их ему в изголовье,
пусть он почувствует снова
тиски страсти,
ее тоску.

Положи на глаза поэта слова,
он их больше не скажет
тому, кто был с ним на «ты»,
слова,
рожденные кровью аорты,
в час, когда голые руки
тех, кто был с ним на «ты»,
пригвоздили к деревьям грядущего.

Положи на глаза поэта слова,
и, быть может,
в них, еще синих,
иная блеснет синева,
и тот, кто был с ним на «ты»,
тихо вымолвит: «мы»...

ВОЕДИНО

О венский февраль! В устах сердца
звучит шиболет.— Я с тобой,
Peuple
de Paris. No pasarán!

Библейской поступью шел
старик из Уэски*, с овцою
и псом; он шел через поле,
белела облаком чистым
в изгнании его доброта; он дарил
нам слово живое: пастушьи
испанские строфы,— в стихах

* Имеется в виду испанский поэт Антонио Мачадо.— Прим. перев.

в ледяном мерцаньи «Авроры»
братская встала рука,
открыла сиянье огромных
очей,— и зренье, и речь
обрел незабвенный Петрополь,
Флоренция наших сердец.
Мир хижинам!

ОЧИ

Очи,
в дождевом я вас помню сиянье,
когда бог мне испить приказал.

Очи,
золотые монеты ночные,
я вас подобрал, срывая крапиву
и бродя под ветвями древних пословиц.

Очи,
вечер, мне засиявший, когда распахнул я ворота
и, увенчанный снегом моих древних висков,
проскакал по владениям вечности.

Я ЗДЕСЬ ОДИН

Я здесь один. Я ставлю цинерарию
В стакан, до края полный спелой чернотой,
Мне что-то говорят цветка родные губы,
Мечта, как бабочка, садится на рукав.

Вечер доцвел, но я стою в его цвету.
Я приберег смолы для поздней птицы.
Она на крыльях алых мчит ко мне снежинку.
С крупницей льда летит она сквозь лето.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Что случилось? Камень под горою.
Что приснилось и тебе и мне?
Слово. Откровенное. Родное.
Возле звезд. С землею наравне.

С кем идти? Против всего глухого?
Вместе с камнем. Пропать заложить.
Сердце к сердцу. Направленье слова:
Стать весомей. Легче слыть.

* * *

Прижавшись щекой ни к кому –
к тебе, жизнь.
К тебе, нащупанная
беспалою культей.

Пальцы, пальцы.
Вразброд и вдали,
на перекрестках, на
покое,
простившись с рукою,
на
пыльной подушке того, что было когда-то.

Сердца
одеревенел арсенал,
рыцарь Любви и Луча отпылал.

Пламешко полу-
лжи то из этой,
то ли из той,
не то из третьей
поры, пере-
зимовавшей и эту ночь.

Звуком ключа в купах
губ над нами:
слово. последнее,

последнее подходящее
нам и снисходящее к нам,
должно, замкнувшись само на себе,
остаться.

.....

К тебе прижавшись,
нащупанная беспалою культей
жизнь.

* * *

Стоять до конца в тени
ранящей дымки небесной.

За Никого, за Ничто
стоять
для тебя одной.

С целым миром в груди,
но без единого слова.

Эрих Фрид

БИБЛИОТЕКА

Когда там все книги
прочитали друг друга

решили они
всех людей устранить

но долгое чтение
подорвало их мощь

и они написали об этом
новые книги

ставшие новым канонам
человеческой человечности

не овладеешь им
и тебя устранят

* * *

Я свободу отдал за надежду
надежду за благоразумие
благоразумие отдал за покой
покой за долг

Я долг отдал за любовь
любовь отдал за свободу
короче стало дыхание
длиннее путь

МЕНЬШЕЕ ЗЛО

Если пустыня
поет
о пустыне
это все-таки
лучше
чем если она
стала бы петь о луге
и о речной прохладе
поскольку пустыня
кое-что
понимает
только в пустыне

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ

Важно
не только то
что человек
правильно
мыслит

но
что тот
кто правильно мыслит
действительно
человек

КТО НАС ВСЕГО ЛИШАЕТ

Некто лишает нас мысли
ведь достаточно
читать его предписания
и при этом согласно кивать

Некто лишает нас чувства
ведь его стихи премируют
и цитируют всюду

Некто лишает нас права
выбирать между войной и миром
но мы снова Его выбираем

На нас хватит
десяти-двадцати имен
чтобы на них молиться

И тогда они вообще
лишат нас
жизни

Ханс Карл Артман

ЭСКИЗ ПЛАЧА ПО ОДНОМУ ПАВШЕМУ

его кровь:
цветами она прорастает в просоленное сердце земли
его кровь:
цветами она овеивает мака ржавое колесо
его кровь:
цветы приносит она в дом где его больше нет

вы зовете его
вы скорбите о нем
вы оплакиваете его
скажите
что вам от него еще надо...

что еще он вам может дать
кроме стола за которым он больше не ест
кроме чаши жаждущей его губ

что...
в хирургической тишине своей смерти

что еще он вам может дать
в этих сумерках цвета оливы
кроме своей благородной тени
кроме слов простодушных
повисающих меж голубем и орлом

что еще он вам может дать
после всех этих горьких лекарств бесконечно длящейся
ранней осени
теперь когда он сорвал розу черного льда
с дрожащих от ужаса порослей соленой от слез луны
(минеральные вехи ночи сквозь которые он улыбаясь ушел
навсегда...)

его кровь:
еще она прорастает цветами в просоленное сердце земли
его кровь:
еще она овекает цветами мака ржавое колесо
его кровь:
еще приносит она цветы в дом где его больше нет
его кровь...

ВИЖУ ПРЕТ ЕДИНОРОГ

вижу прет
едино-
рог
грю: пардон
и знамя
наземь
вроде
родину люблю
и других
девах
из окон
в окна и
туда-сюда
так и только
так брачуясь
из постели
в пастиле
шаг в скандал
на босу ногу

сколько коло-
колецов било
ржет кобыла
ржанье в путь
обогнуть
пора полсвета
соловья
и фавна славно
слушать словно
без конца
без побудки
водопада

дух дубовый
луг лиловый
хлеб и масло
меч и лира
на подушках
и в кадушках
семью восемь
семью бросим
стрекотанье
стрекозляток

мера перца
мера соли
мера сердца
на мозоли
еще Польска
не сгинела
возле гроба
возле граба
дай мне грога
дай мне краба

гроб для гунна
грот лагуна
мы горим
а Рим куда там
храм прохлада
вместо ада
жаворонок
подворотня
приворотное
питанье
ибо ждут нас
испытанья

свет румяный
хлеб духмяный
божьей манной
сыт не будешь
не хочу

в приют для сирот
но царь Ирод
вряд ли выход

больно шустрый
стал нечистый
раз и в дамки
в робинзоны
в телеграммке
амстердамки
те же розы
и резоны
те же слезы
и угрозы
оборона
Вавилона
провалилась
беспардонно
бонбоньерки
анемоны
а синьора
полный короб
небылиц
на нас навесит
кайзер месит
грязь полками
дух шанели
вошь в шинели
и едино-
рог с пирожным
невозможно
не отведать
землю зубом
в месяц мести
ветчина
лишилась вотчин
в общем ропщем
рейх в прорехах
нет гармонии
в германских
горюнах и
пантеонах

оних множество
Иуда
наседает
на осины
красно кровью
красно-речье
братья сестры
по Тиролю
потеряли
все на свете
кроме праздника
в апреле

Ханс Карл Артман,
Конрад Байер, Герхард Рюм

МАГИЧЕСКАЯ КАВАЛЕРИЯ

жеребца оскопить
стать солдатом
сесть на коня
вскочить на лошадь
вступить в брак
дома грабить

любой ценой
свой долг исполнять
надевать сапоги
снимать сапоги
менять коням подковы
снашивать платье
кровь течет из раны
еду готовить
праздновать свадьбу
сбрасывать платье

в рождественский вечер
стол на трех ножках
мороз по коже
холод на убыль
открывается рана
все сначала!
кровь из носа
голову с плеч
сломать шею
молоко скисло
как настроение?
зубы режутся (у жеребят)

сказал отрезал
уже поздняя ночь

что толку в том!
я сидеть не люблю спиной к лошадям

зайти далеко
дойти до моря
выйти в мир
разбивать палатки
разводить костры
душа расстается с телом
светает
прийти в смущение
меня знобит
из руки в другую
получать задаток

в лицо
мелкие деньги
полировка

мне не ловко
он просит пива
долго я протяну
это скоро пройдет
быть десяти лет

мода так мода сяк
на все воля его
ему уже не помочь

шапки долой
руки прочь
стража ходит и день и ночь
во тьме с фонарем
с чего мне начать
оставить должность
прекрасно! до удивления
подковать лошадь

сводить копыто
приводить к присяге
число врагов сводить на нет

разжиреть
проясняется
прибывает день убывает
он кичится собой

начинать есть хлеб
дойти до ручки
что здесь происходит
храпит лошадь
я скучаю
дверь распахнулась
хромать на левую ногу
поплатиться жизнью
это ничего не стоит
это стоит

внебрачные дети
связать крест-накрест
зима предстоит

оказать сопротивление
месить тесто
ненавидеть кого-то
раскинуть ноги
присягать кайзеру
он меня любит
я сбросил жир
сломя голову
орать до хрипа
родня по отцовской линии
по материнской
подбадривать

блестящий мундир
выучить чешский язык
стоит в кругу

подмерзают окна
прямо сейчас
ежедневно ежегодно
во время войны
в должное время

в свое время
некоторое время
сразу же после смерти

одним ударом
мельница с двумя скоростями
валторну брать на поруки
быть заложником
послелето

смеркается
терпеть убытки
что пропало то пропало
меня осеняет
носить траур
идти рука об руку

выигрывать битвы
проигрывать битвы
пасть на поле битвы
ложная тревога
выходить за ворота
раструбить о чем-то
требовать своего
носить султан
хромать
иметь время
ничего подобного
идет к дождю

Герхард Фрич

ОФЕЛИЯ

Срывает с веток луну,
желтую голову мертвеца, и смеется:
и этого плода коснулась порча.

Никогда уже больше
ей не захочется есть.

ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ НАС

Из всех победных трофеев
нас переживут:
звон колокольный, отлитый из пушек,
храмы, воздвигнутые из развалин,
легенда, рассказанная художниками,
триумф победителей:
в мраморе, в бронзе, в портретах.

Свидетельства кротости
редки, их потомству
не передашь.

Эрнст Яндль

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ПАМФЛЕТ

Уже десять лет долой,
с тех пор как поставлена точка.
Тогда нам казалось, что точно
мы рассчитались с войной.

Кое-кто с тех пор стал богат,
многие – менее недовольны
и даже порою счастливы,
кое-кто остался ни с чем.

Последние слишком хорошо
разбирались в войне.

И они сказали теперь:
десять лет это длительный срок,
кое-кто стал богат за десять лет
и многие менее недовольны
и даже порою счастливы,
только мы одни остались ни с чем,
так как мы разбираемся в войне
отлично и больше ни в чем.

И еще сказали они:
десять лет это длительный срок,
большинству уже наплевать
на то, что мы можем начать сколачивать новые роты
из желторотых сынков тех самых людей, что десять
лет назад
сжигали мундиры, ломали оружие, проклинали войну
и говорили: нас
не заставят взять в руки оружие,
ведь оно приводит к войне.

Голод развязывал их языки, но за десять лет
они разжирили и теперь бессловесны от счастья,
от богатств, бессловесны уже просто так,
от смягченного недовольства.

Так сказали себе, кто остался ни с чем.
И затем через прессу сказали всем,
но избрав патриотический жаргон.
И взяли сразу такой разгон,
что очень скоро могла убедиться
вся эта страждущая оппозиция,
покоящаяся на рессорах богатства
под колпачками мещанского счастья
в жиру смягченного недовольства:
никто и не думает пошевелиться.

Или десять лет слишком малый срок,
чтоб очистить улицы от калек,
изъять из всех домов последние фотографии людей
в мундирах,
изгладить из памяти всех адресатов лаконичные
похоронки
лицо поцелуй руки походку
тех кто никогда не вернется?

просека

многие думают
рево и плаво
нельзя
пелепутать
ледкое забруждение!

Ингеборг Бахман

НАСТАЛ ПОЛДЕНЬ

В начале лета зеленеет липа,
побледневший матовый месяц мерцает
над полями. Вот и полдень
колодезную воду золотит,
и сказочной птицы крыло,
все в крови, поднялось из развалин.
На ладони лежит не обломок,
а зеленый колос ржаной.

Где германское небо землю мрачит,
обезглавленный ангел хочет ненависть схоронить,
на ладони он держит сердце.
Горстка боли обронена кем-то на холм.

Семь лет – или это снится? –
прошли, но добра не жди.
Глубока у заставы криница.
Не гляди в нее, не гляди.
Отчего глаза твои плачут?

Семь лет миновало, и снова –
сердце мое, молчи –
из кубка пьют золотого
вчерашние палачи.
Отчего ты глаза опускаешь?

Солнце все ярче. В золе –
железный осколок, и ключья
знамен на терновнике. Снова
к утесу, как в древних сказаньях,
прикован орел.

Сегодня надежда ослепла на ярком свету.

Разбей ее цепи, веди
к нам в долину, ладонью прикрой

глаза ей и защити
ее от резкого света!

Где германское небо землю мрачит,
ищет облако слова и полнит кратер молчаньем,
пока не прольется редким июньским дождем.

Несказанное тихим сказаньем идет по немецкой земле
в ясный полдень.

ОСЕННИЕ МАНЕВРЫ

Говорят, это было вчера. В последний месяц
Моих школьных каникул. На грубой соломе насмешек
Просыпаюсь и вижу маневры эпохи моей.
Говорят, что вчера. Мы не птицы, и нам не поможет,
Если мы улетим на юг. Пусть движутся мимо
По закатному морю катера и гондолы. И пусть
Мне глаза беззащитные ранит античный обломок,
Уцелевший осколок какого-то древнего сна.

Читаю в газетах о холоде,
О болезнях от холода. Об убийцах и об убитых.
Об изгнанниках родины. О дрейфующих льдинах
Ледовитого моря, но мало мне радости в этом.
И к чему она, радость? Когда постучится нищий,
Я его прогоню: ведь у нас теперь мирное время,
И мы можем теперь не смотреть на подобные сцены.
Но нельзя не смотреть на гибель листвы под осенним
дождем.

Уедем отсюда! В апельсиновой роще,
Или в синей тени кипариса, или под пальмой
Мы с тобой еще раз увидим прекрасный закат.
По дешевой цене. Наконец-то забудем мы оба,
Что лежат без ответа письма вчерашнего дня.
Наше время творит чудеса (как известно), но если
Постучится судья в нашу дверь, мы ему не откроем.
Я в карцере сердца проснулась на грубой соломе,
И снова я вижу маневры эпохи моей.

Герхард Фрич

АВСТРИЯ

Ее называли тщеславной ей умилялись ее восхваляли
в ней сомневались ей предсказывали крушение
ее предавали ее запрещали империя область обломок идея
прошлое в коронах фамильных склепах земля
с которой история дважды уже попрощалась
в Ноябре попрощалась и в Марте
ах слишком много всего было на этой земле
толстенный учебник истории где место нашлось
гуннам туркам куруцам французам пруссакам русским
конгрессам сраженьям свадьбам вальсам и нищете
так что же это за край что за страна которую
всем так хотелось разрушить которую дважды сумели
разрушить
и все потому что она была в тягость самой себе
измученная нуждавшаяся в поддержке какой
она стала теперь эта страна на перекрестке дорог
Европы
ведущих сюда со всех четырех сторон да четырех
а не трех
ибо там на востоке тоже Европа кто забывает об этом
тот никогда не поймет души этой страны чьи горы озера
города и лубочные деревеньки лежат посредине Европы
как раскрытый рекламный проспект лета зимы
дружелюбия
красочный точно эпоха Марии Терезии страна
похваляющаяся всем этим словно иных не имеет
достоинств
страна расположенная посреди смирения и гордыни
с улыбкой просит она прощенья за то что существует
под звуки «Марша Радецкого» на химер своих нападает
в то время как подлинные призраки разгуливают повсюду
среди бела дня во плоти а ее мертвецы мертвы
абсолютно мертвы –
имена иностранцам известные лучше чем патриотам –

родина устойчивых предрассудков о самой себе
и в то же время
ковчег здоровья где юмор с любого сбивает спесь
а поверженным служит поддержкой
страна ненавязчиво набожных страна почитателей
Франца-Иосифа
страна придирчивых рыцарей долга страна
присуждавшая орден за своеволие страна которую мы
так любим
над которой подшучиваем ведь это и нам присуще –
противоречить себе.

Страна себя невзлюбившая меж Ноябрем и Мартом
страна голода ненависти познавшая бомбы пули
рогатки на улицах городов страна мертвецов в поместьях
предместьях танцзалах страна себя убивавшая час
за часом
страна надежды на лжесвидетелей так вот однажды
под вечер
эта страна действительно умерла была стерта с карты
земли
потонула в триумфе своих могильщиков «навсегда» как
тогда
возвестили все должно было стать по-иному и так оно
и случилось.

Безымянная мертвая погребенная она возродилась
в шахтах
бараках на огромном пространстве от северных льдов
до пустынь
на эшафоте в подвалах под вышками лагерей возродилась
в холоде русских зим у печей Освенцима узнавала себя
в отзвуке собственного имени произнесенного шепотом
воплотилась в Апрель изо льда и огня сотворенный
стала волей единой единым словом.

Австрия
с ее могилами ее калек с ее Домским собором
объятый пламенем

Приложение I

с ее казненными с ее павшими изгнанными ограбленными
погибшими под бомбежкой пропавшими без вести
сожженными в газовых камерах с ее нищетой и ее
надеждой
она то ведь знает что нужно ей и тогда это знала
в Апреле
знает это сегодня и будет знать завтра – больше всего
на свете
нужна ей она сама.

Австрия со всем своим прошлым своими горами
крепостями
замками фабриками домиками крестьян недоступными
уголками
предместьями площадями башнями колоколами
лубочными деревеньками
кофейнями фамильными склепами со своей музыкой
своим наречием
своим молчанием радостями слезами в Лету канувшими
мертвецами
юбилярами орденосцами со своим простодушием
и своею мудростью
народ с собственным прошлым собственным будущим
с вечно длящимся настоящим страна свободная от рогаток
на улицах городов забывшая отчаяние и раздор страна
на скрещеньи
дорог Европы в центре мира над своими могильщиками
торжествующая:

АВСТРИЯ.

Приложение II

Йозеф Кристиан фон Цедлиц

НОЧНОЙ СМОТР

Лишь полночь ударит,—из гроба
К смотру барабанщик встает,
И ходит кругом с барабаном
Заботливо взад и вперед;

И бьет костяными руками,
Ночной исполняя дозор,
Он мелкою дробью проворно
Тревогу, и зорю, и сбор.

И звуки его барабана
Так громко и чудно гремят,—
Они из гробов пробуждают
Всех старых умерших солдат:

И тех, что на севере дальнем
Замерзли во льдах и снегах,
И тех, что в Италии знойной
Легли на роскошных полях,

И тех, что в песках Аравийских
И в Нильских болотах лежат,—
Все бодро встанут из могилы,
Спеша на обычный парад.

И только что полночь ударит,—
Трубоч из могилы встает,
И трубит он громко тревогу,
И скачет он взад и вперед.

И весело всадники мчатся
По звуку на легких конях:
Как тучи, летят эскадроны
С кровавым оружием в руках.

Их желтые лица с улыбкой
Глядят из-под шлемов своих,
Их старые, длинные сабли
Сверкают в руках костяных.

Лишь полночь ударит,— из гроба
Встает полководец, и к ним
Спокойным и медленным шагом
Он едет со штабом своим.

Он в старой и маленькой шляпе,
В походном простом сюртуке;
Качаясь, короткая шпага
Висит у него на руке.

Луна с высоты разливает
Свой свет по обширным полям;
В простом сюртуке полководец
Несется по длинным рядам.

И ружьями весело вскинув,
Полки ему честь отдают,
И с громкою музыкой мимо
Колоннами стройно идут.

Всех маршалов, всех генералов
Собравши потом пред собой,
Ближайшему на ухо тихо
Пароль назначает он свой.

И быстро заветное слово
Несется по войску всему;
И слово то «Франция»,— лозунг—
«Святая Елена» к нему.

Так в полночь парад генеральный,
Среди Елисейских полей,
Дает император усопший
Для армии прежней своей.

Николаус Ленау

КАМЫШОВЫЕ ПЕСНИ

1

Тихо запад гасит розы,
Ночь приходит чередой;
Сонно ивы и березы
Нависают над водой.

Лейтесь вольно, лейтесь, слезы!
Этот миг – прощанья миг.
Плачут ивы и березы,
Ветром зыблется тростник.

Но манят грядущим грезы,
Так далекий луч звезды,
Пронизав листву березы,
Ясно блещет из воды.

2

Ветер злобно тучи гонит,
Плещет дождь среди воды.
«Где же, где же, – ветер стонет, –
Отражение звезды?»

Пруд померкший не ответит,
Глухо шепчут камыши,
И твоя любовь мне светит
В глубине моей души.

3

Вот тропинкой потаенной
К тростниковым берегам
Пробираюсь я, смущенный,
Вновь отдавшийся мечтам.

В час, когда тростник трепещет,
И сливает тени даль,

Кто-то плачет, что-то плещет
Про печаль, мою печаль.

Словно лилий шепот слышен,
Словно ты слова твердишь...
Вечер гаснет, тих и пышен,
Шепчет, шепчется камыш.

4

Солнечный закат;
Душен и пуглив
Ветерка порыв;
Облака летят.

Молнии блеснут
Сквозь разрывы туч;
Тот мгновенный луч
Отражает пруд.

В этот беглый миг
Мнится: в вихре гроз
Вижу прядь волос,
Вижу милый лик.

5

В ясном небе без движенья
Месяц бодрствует в тиши,
И во влаге отраженье
Обступили камыши.

По холмам бредут олени,
Смотрят пристально во мрак,
Вызывая мир видений,
Дико птицы прокричат.

Сердцу сладостно молчанье,
И растут безмолвно в нем
О тебе воспоминанья,
Как молитва перед сном.

ЛОТТА

Песни в камышах

1

Лег последний луч на нивы,
День усталый изнемог.
Над водой склонились ивы,
Пруд безмолвен, пруд глубок.

Дни любви, как сон прошли вы,
Плачь, душа, в немой тоске!
Шелестят печально ивы,
Стонет ветер в тростнике.

Ты одна — мой луч пугливый
В бездне темных, горьких мук.
От звезды любви сквозь ивы
Пал на воду светлый круг.

2

Смерклось. Буря тучи гонит.
Хлынул черный дождь из туч.
Ветер воет, ветер стонет:
Где же, пруд, твой звездный луч?

Ищет: где в бурлящем море
Эта светлая струя?
Ах, в моем глубоком горе
Не блеснет любовь твоя!

3

Вечеру лесной тропею
Пробираюсь в камыши —
Над пустынною водою
О тебе грустить в тиши.

Если ветер листья тронет,
Пронесется по волне, —
Как тростник шумит и стонет,
Как рыдает все во мне!

Ибо, сладостен, чудесен,
Вновь звучит мне голос твой,
Он исходит в звуках песен,
Замирая над водой.

4

Тучи нанесло.
Сумрак на земле.
Ветер тяжело
Бьется в душной мгле.

Стрелы молний, треск,
Гром да ветра вой,
Бродит беглый блеск
В бездне прудовой.

Вижу в блеске гроз
Лишь тебя одну,
Взвихренных волос
Вольную волну.

5

Пруд недвижим. Золотая
Льет луна поток лучей,
Розы бледные вплетая
В зелень темных камышей.

На холме олень пасется,
Смотрит в ночь, на лунный лик.
Сонно птица шевельнется,
Дрогнет дремлющий тростник.

И, как прошлого дыханье,
Как молитва в час ночной,
О тебе воспоминанье
Тихо веет надо мной.

ТРИ ЦЫГАНА

Грузно плелся мой шарабан
Голой песчаной равниной.

Вдруг увидел я троих цыган
Под придорожной осиной.

Первый на скрипке играл,— освещен
Поздней багровой зарею,
Песенкой огненной тешился он,
Все позабыв за игрою.

Рядом сидел другой с чубуком,
Молча курил на покое,
Радуясь, будто следить за дымком—
Высшее счастье земное.

Третий, подле своих цимбал,
Мирно спал, беззаботный.
В струнах ветер степной трепетал,
В сердце—сон мимолетный.

Каждый носил цветное тряпье
Словно венец и порфиру.
Каждый гордо делал свое
С вызовом богу и миру.

Трижды я понял, как счастье брать,
Вырваться сердцем на волю,
Как проспать, прокурить, проиграть
Трижды презренную долю.

Долго—уж тьма на равнину легла—
Мне чудились три цыгана:
Волосы, черные как смола,
И лица их, цвета шафрана.

ОСЕННЕЕ РЕШЕНИЕ

Осень, тучи, ветра свист.
Одному в дороге трудно!
Смолкли птицы, вянет лист,—
Ах, как тихо, как безлюдно!

Словно смерть, идет зима.
Лес мой, где твои напевы?
Где твой шелест, полутьма,
Золотые нивы, где вы?

В поле стал пастись туман.
Бесприютный холод бродит.
В голой роще, вдоль полян
Веет скорбью. Жизнь уходит.

Сердце! Слышишь, как поток
По скалам грохочет грозно?
Был у нас немалый срок
Обсудить дела серьезно.

Сердце! Ты сожгло себя,
Всех терзало понемногу,
Многим верило, любя,
Что ж, пойдём-ка в путь-дорогу!

Я тебя на дальний путь
Спрячу вглубь, стяну потуже,
Чтоб ни ветру не дохнуть,
Не достать коварной стуже.

Молча мы в последний раз
Побредем тропой унылой.
Только дождь помянет нас
Да поплачет над могилой.

СМОТРИ В ПОТОК

Кто знал, как счастья день бежит,
Кто счастья цену знает,
Взгляни в ручей, где все дрожит
И, зыблясь, исчезает.

Смотри, уйдет одна струя,
Придет струя другая,
И станет глуше скорбь твоя,
Утраты боль живая.

Рыдай над тем, что рок унес,
Но взор впери глубоко
Сквозь пелену горячих слез
В изменчивость потока.

Найдешь забвенье в глуби вод,
И сердцу будет зримо:
Сама душа твоя плывет
С ее печалью мимо.

УСПОКОЕНИЕ

Когда, что звали мы своим
Навек от нас ушло
И, как над камнем гробовым,
Нам станет тяжело,—

Пойдем и бросим беглый взгляд
Туда, по склону вод,
Куда стремглав струи спешат,
Куда поток несет.

Одна другой наперерыв
Спешат, бегут струи
На чей-то роковой призыв,
Им слышимый вдали...

За ними тщетно мы следим—
Им не вернуться вспять...
Но чем мы долее глядим,
Тем легче нам дышать...

И слезы брызнули из глаз—
И видим мы сквозь слез,
Как все, волнуясь и клубясь,
Быстрее пронеслось...

Душа впадает в забытье,
И чувствует она,
Что вот уносит и ее
Всесильная волна.

ПРИВЕТ ВЕСНЫ

Подснежник первый, первый дар тепла,
Мне девочка в лохмотьях продала.

Как жаль, весна, что горькой нищетой
Мне принесен был этот вестник твой!

И все ж залог грядущих лучших дней
Из рук несчастья мне вдвойне милей.

Так для потомков прозвучит наш стон
Предвестьем лучших будущих времен.

ТВОЙ ОБРАЗ

Рассыпав сотни роз живых,
Горит заря в долине,
Я узнаю твой образ в них,
Такой далекий ныне!

Восходит Веспер золотой
В лазоревом просторе.
Но не звезда — мне образ твой
Сияет в звездном хоре.

Луна блистает в вышине,
Ручей звенит и плещет.
Твой образ в ласковой волне
Мерцает и трепещет.

Удары грома, ветра вой,
Все в блеске, все в движенье!
Я вижу в туче грозовой
Твое изображение.

Как вьются молнии вокруг
Скользящих очертаний!
Так злая дума вспыхнет вдруг
В ночи моих страданий.

ПРОСЬБА

Черный глаз, ты надо мною
Власть навеки прояви,
Мрачным, нежным упоением
Воцарись в моей крови;

Колдовскою тьмой твоею
Этот мир ты устрани,
Без свидетелей взирая
На мои земные дни!

Анастасиус Грюн

* * *

Вот книжка бабушки моей!
Хранится листик в ней,
Те руки, что его сорвали,
Уже давно завяли.

Когда же бабушка порой
Глядит на лист сухой,
Я не пойму, что это значит—
Она молчит и плачет...

Мориц Гартман

ДОЖДЕВЫЕ КАПЛИ

Сказала капля дождевая
Такой же капле дождевой:
«Зачем, подруга дорогая,
В окошко мы стучим с тобой?»

Другая капля отвечает:
«В избушке здесь бедняк живет...
Стучи сильнее! Пусть он знает,
Что хлеб его растет, растет!»

Гуго фон Гофмансталь

БАЛЛАДА О ВНЕШНЕЙ ЖИЗНИ

И дети с глубоко глядящими глазами,
Не зная ни о чем, растут и умирают,
А люди всё идут своим путем годами.

И сладкие плоды из кислых поспевают,
И падают, как трупы птиц, в ночном молчаньи
И на земле лежат потом и пропадают.

Все так же веет ветра тихого дыханье,
Мы слушаем других, меняемся словами
И чувствуем усталость, радость и страданье.

Дороги же идут все разными местами:
Те — меж огней, дерев, прудов бегут беспечно,
Другие же грозят засохшими полями.

Зачем они все так различны бесконечно?
Зачем устроены они, и нет числа им?
Зачем среди них то смех, то плач, то ужас вечно?

Игра, которую мы вечно продолжаем,
К чему она нам всем, так страшно одиноким?
И есть ли цель в пути, которым мы блуждаем?

К чему нам без конца смотреть в хаос гнетущий,
Когда всего ясней нам все же слово «вечер»,
Одно лишь слово с смыслом грустным и глубоким,

Как мед тяжелый из пустых сотов текущий?

ТВОЙ ЛИК...

Твой лик мадонны, отягченный снами,
Я наблюдал, дитя, с безмолвной дрожью.
Как пела высь! Вот так в иную ночь,
Забыв о сне, я шел по бездорожью

Один, в холмы, возлюбленные мной –
Быть может, слишком! – где на голых склонах
Росли деревья редко, под луною
Блестел туман, струившийся меж ними,

И в тишине я грезил над волною,
Ловя ее серебристый, вечно свежий
И вечно чуждый блеск... Как пела высь!

Как пела высь! В ту ночь весь мир с простыми
Вещами, их бесплодной красотой,
Меня увлек без слова и навек,
Как нынче здесь твой локон золотой
И блеск зрачков из-под прикрытых век!

Райнер Мария Рильке

ИЗ «ЧАСОСЛОВА»

Из барбарисов брызжет кровь густая,
одышкой астр исходит тучный сад.
Кто на излете лета не богат,
тот обречен желать, не обретая.

И кто не в силах, веки притворя,
вдруг ощутить, как тысячи обличий
в нем ожидают ночи ноября,
чтобы восстать и завладеть добычей,—
тот одряхлел и век свой прожил зря.

Дела его и дни его пусты,
все, чем он дышит, источает ложь,
и даже ты, Господь. И даже ты,
как мертвый груз, ко дну его влечешь.

ГОВОРИТЬ КО СНУ

Я хотел бы кого-то баюкать,
над кем-то долго шептать,—
укачать тебя, убаюкать,
уложить тебя ласково спать.
Я хотел бы единственным быть,
кто знал, что ночь холодна,
и думать, и слушать, и мир сторожить,
и знать, что ты не одна.
Так четко и часто считают часы,
я времени тайну постиг,
а где-то чужой ковыляет старик,
и чужие залают псы.
И снова молчанье. И, взор мой склоня,
я вижу: в моем ты плену:
но, если шорох спугнет тишину,
ты вновь ускользнешь от меня.

СЛОВА НА СОН

Найти бы кого бессонного,
присесть на его кровать
и, в детство перенесенного,
баюкать и согреть.
И знать одному, как ночь холодна,
когда впереди ни огня.
И вслушиваться, пока тишина
не вслушается в меня.
Струится время по руслам рек,
часы окликают мрак.
А мимо бредет чужой человек
и будит чужих собак.
И вновь тишина. Я глаза подниму,
и взгляд, уходя вперед,
придержит тебя и отпустит во тьму,
где что-то на миг оживет.

ОДИНОЧЕСТВО

Оно как дождь. Вставая молчаливо
навстречу ночи с темного залива,
оно с земли, глухой и сиротливой,
уходит в небо, свыкшееся с ним.
И, падая, течет по мостовым.

Льет в серые часы, когда округа
к рассвету тянет улицу, как руку,
когда тела, не разгадав друг друга,
кончают путь по замкнутому кругу
и люди, ненавистные друг другу,
в одной постели молят о покое,—
тогда к морям течет оно рекою...

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Расстанься, Боже, с летнею порой,
застынь, как час, на камне длинной тенью,
растенья и простор ветрам открой!

Вели плодам налиться доплна,
пошли им напоследок день погожий
и помоги им завершиться, Боже,
последней тяжелой сладостью вина.

Бездомному уже не строить дом.
Кто одинок, тому не будет спаться,
он будет ждать, над письмами склоняться
и в парке вместе с ветром и листом
один, как неприкаянный, слоняться.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Я с чуткостью флага в даль устремляюсь.
Влага дальнего ветра мне внятна, и я с этой далью
сливаюсь,
пока еще вещи внизу все дремлют, не веря:
двери мягки в движениях, в каминах ровное тленье;
окна не дребезжат, и пыль еще тяжела.

Но я уже ведаю бурю, во мне, как на море, мгла.
И я открываюсь, как бездна, и падаю в свой поток
и на гребне своей волны вижу, что я одинок
в огромной буре.

ЗА ЧТЕНИЕМ

Я все читал. С тех пор как, хмур и строг,
дождливый день на стекла окон лег.
Я дня не видел, ветра не слышал:
я все читал.
Я вглядывался в трудные страницы,
как в потемневшие от дум глаза,
и время собиралось, как гроза.
Вдруг у страниц светлее стали лица,
у слов стыдливой стали голоса:
то вечер, вечер вспыхнул в них зарницей.
Я все еще не поднял глаз, но строки
уже на части, будто нити, рвутся,
и рассыпную прочь слова несутся...

Теперь я знаю: там горят и льются
на сад огнем последним небеса;—
должно же было солнце оглянуться!..
И вот уж ночь кругом, и мир затих,
стал собранным, немногословным, строгим:
темнеют люди, ширятся дороги,
и странно внятен звуков смысл немногих,
что бродят где-то на путях ночных.
Теперь поднять глаза—каким понятным
вдруг станет все в величии своем!
И ум сольется с миром необъятным,
и мир привольно разместится в нем.
Еще прочней приникнуть взглядом жадным
ко всем предметам, темным и неясным,
к их молчаливым первозданным массам,—
земля все небо обоймет тогда.
И как последний дом, земле подвластный,
мне светит в небе первая звезда.

НАД КНИГОЙ

Я все читал. Уже в течение дня
прошли дожди, незримо для меня.
Я только с книгой был наедине,
понятной не вполне.
Слова то прояснялись, словно лица,
то снова меркли, мысли затая,
и время шло, отстав от бытия,
и вдруг застыло: вспыхнула страница,
и вместо слов, в которых жил и я,
горит закат и в каждой строчке длится.
Еще я в книге весь, но порвались
за строчкой строчка, катятся слова
куда хотят; казалось мне сперва—
в саду стволы переросла трава,
казалось, что еще вернется в высь
большое солнце, что зашло едва..
Но это ночь. И лето, и простор:
спешат так поздно люди от порога,
их сводит вместе дальняя дорога,

и ясно так, как будто значит много,
звучит вдали их праздный разговор.

И если я сейчас взгляну в окно,
мой взор не встретит ничего чужого:
Округу всю еще вмещало слово,
и, значит, все пространства лишено.
Но вникну в ночь, и прояснится снова
величие вещей после захода,
и вдумчивая простота народа –
земля себя перерастет тогда,
и встанут в ряд за кромкой небосвода
последний дом и первая звезда.

СОЗЕРЦАТЕЛЬ

Осенний вихрь метет дворы,
и ветки клонятся упруго.
Трепещут стекла от испуга,
но много тайн приносит вьюга:
их пережить нельзя без друга,
ни полюбить их без сестры.

Бушует буря, рвется шире
и все меняет за собой;
все уравнить стремится в мире,
и лес застыл, как стих псалтыри –
тяжелый, вечный, неживой.

Так слабо всё, с чем мы воюем;
кто с нами борется, силен.
И пусть наш плен и неминуем, –
и, покорясь, мы возликуем,
хоть и без славы, без имен.

Мы торжествуем лишь над малым,
и мы мельчаем от побед:
над необычным, возмужалым,
над мировым – победы нет.
Так ангел Ветхого Завета
своим противникам предстал;

когда они сопротивлялись,
их мышцы туго напрягались,
но ангелу казалось – это
лишь струны, чтоб извлечь хорал.

Кого тот ангел побеждал
(хоть он не жаждал состязаний),
тот бодро уходил от брани,
былой борьбы неся закал –
возросшим, светлым, обновленным,
и без победного венца;
и путь его – быть побежденным
всё высшим, высшим, до конца.

СОЗЕРЦАТЕЛЬ

Я вижу деревья перед грозой,
Которые долгими смутными днями
Стучат по дрожащей оконной раме,
Я слышу, как полнится даль голосами –
А все это вынесешь лишь с друзьями –
И скрасишь разве что с сестрой.

Идет гроза, как смена в мире,
Идет сквозь день, идет сквозь лес,
И время выпало из шири:
Родной пейзаж, как стих псалтири,
Обрел величье, вечность, вес.

О как мы боремся упорно
С извечной сущностью вещей!
Когда бы мы себя покорно
Вручили буре плодотворной,
Мы стали б выше и мудрей.

Мы преуспели в слишком малом,
Успехи наши нас гнетут.
В великом, вечном, небывалом
Увы! не наш заложен труд.
То ангел был, что по преданью
Бойцу библейскому предстал

И, побеждая без усилия
Напрягшиеся сухожилья,
Он приводил их в содроганье,
Как струн отзывчивый металл.

Тот ангел зря не вступит в бой,
И каждый, им в борьбе склоненный,
Встает большой и распрямленный
Могучей творческой рукой.
Он обновил и плоть, и разум,
Чтоб отдавать за пядью пядь,
Всю жизнь расти, и с каждым разом
Все большей силе уступать.

УХОД БЛУДНОГО СЫНА

Уйти ото всего, что окружает
и льнет, и ускользает от тебя,
что вещи, как в потоке, искажает,
и нас, и отраженный мир дробя,
что даже в миг прощанья осаждает,
вонзая в нас свои шипы,—уйти,
и что почти
не замечал, и что подчас
мелькало по привычке безыменно,
вдруг разглядеть вблизи и примиренно,
и с поздним состраданьем в первый раз
понять, что надо всеми отчужденно
простерлось горе и пытается нас
с младенчества до гробовой доски.—
И все-таки уйти,—как из руки
рука, уйти—и поминай, как звали,
уйти—куда? В неведомые дали,
что, радужным посулам вопреки,
пребудут как кулисы: сад, стена ли,—
от всех твоих метаний далеки;
и от чего—уйти? От несмиренья,
от сущности своей, от нетерпенья,
от тайных упований и тоски,—

и все, чем полон, в чем твое начало,
все это вдруг отбросить и презреть,
и одинокой смертью умереть.—

Но этого ль твоя душа алкала?

ИЗ «СОНЕТОВ К ОРФЕЮ»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

И к солнцу—ствол. О светлое восстанье!
Орфей поет! О звонких крон хорал!
И смолкло все. Но и в самом молчанье
Зрел целый мир свершений и начал.

Звериный гвалт улегся над низиной,
Звон птичий смолкнул в солнечных ветвях,
И в первый раз не хитрость и не страх
Причиной были робости звериной,

А слух. Привычный рык, и рев, и гам
Вдруг стали в их сердцах ничтожно малы,
И где лишь норы жалкие когда-то

Растерянно ловили звук крылатый,
Где прежде в темном страхе тварь дрожала,—
Там голос твой теперь и столп и храм.

V

Надгробия не надо. Только роза
Раз в год ему во славу пусть цветет.
Ведь то Орфей. Его метаморфоза
Во всем. Ничто его не назовет

Точней. Всегда, когда приходит пенье
И вновь уходит, это всё—Орфей.
Уже и то, что розы он цветенье
Переживет хоть на немного дней,

Не дар ли нам? Ужель он *обречен*
Лишь смертью пробуждать в нас это знание?
Коснувшись словом сфер нездешних, он

И сам уходит от всего земного.
И струн в его руках легко дрожанье,
И легок шаг его, покорный зову.

Стефан Цвейг

БРЮГГЕ

На старые замки дома здесь похожи,—
Накрыта пустынной вечернею тьмой,
Уснувшая улица кажется строже,—
Так тихо, как будто последний прохожий
С веселого бала вернулся домой.

Ржавым затвором столетья скрепили
Резьбу величавых ажурных ворот,
В сером тумане церковные шпили
Засеребрились от ветра и пыли,
В грустный уйдя небосвод.

В траурных нишах — немой соглядатай
Над сединой мостовых —
Вам открывает камень щербатый
Давние думы ветшающих статуй —
Тайну легенд вековых.

Георг Тракль

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Людей глотает огненный дракон,
Бой барабанный, армий обреченность,
Шаги в кровавой мгле; железа черный звон,
Отчаянье, рассудка помраченность:
Здесь деньги, Евы тень и вечный гон.
Лучи сквозь тучи, вечер, благодать.
Хлеб и вино и ужин молчаливый,
И те двенадцать собрались опять.
Заснув, они кричат в тени оливы;
Фоме нейдет веру испытать.

РОНДЕЛЬ

Уж дней истерлась позолота,
И вечеров вся синь пропала:
Свирель пастушья отзвучала,
И вечеров вся синь пропала,
Уж дней истерлась позолота.

ЛЕТО

Вечером смолкает грусть
лесной кукушки.
Ниже никнут злаки.
Красный мак.
Черная гроза висит
над холмом.
Старая песня стрекоз
умирает в поле.

Безмятежна листва
каштана.
На винтовой лестнице
шум твоего платья.
Тихо светит свеча
в темном доме;
серебряная рука
тушит ее;
ночь без звезд и без ветра.

Альма Кёниг

МОЛИТВА

Пошли мне все перенести, господь,
Пошли душой Добро твое найти, господь,
Пошли слепцу свет на пути, господь.

Из ран дай розам расцвести, господь,
Мне отречение в тяжкий час прости, господь,
Навеки в вере утверди, господь.

Надежду дай мне обрести, господь,
Пообещай мне что-то впереди, господь,
Одобрив и вознагради, господь.

Франц Верфель

ВСЕ МЫ НА ЗЕМЛЕ ЧУЖИЕ ЛЮДИ

Газом и ножом губите души,
Сейте страх, глумитесь над врагами,
Жертвуйте собой по всей планете!
Нет любви для вас на этом свете,
Вам потоп дарован вместо суши,
Почвы нет под вашими ногами.

Громоздите вашу Ниневию,
Камни воздвигая против Бога!
Суетная проклята гордыня,
Тает ваша зыбкая твердыня.
Удержать немислимо стихию,
Смерть вернее всякого итога.

Терпеливы горы и равнины,
Только мы торопимся куда-то.
Наши начинанья в воду канут,
Тот, кто говорит «мое», обманут.
Мы платить сами себе повинны.
Участь наша на земле – расплата.

Нищий мир: ни матери, ни крова.
Слишком тяжело мечтать о чуде.
Взгляд любимый только на мгновенье.
Сердцу в долг отпущено биенье.
Все мы на земле чужие люди,
Узы наши смерть порвать готова.

Черная влага истоков мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя смерть это старый немецкий маэстро
мы пьем тебя на ночь и утром мы пьем тебя пьем
смерть это старый немецкий маэстро глаза голубее небес
он пулей тебя настигает без промаха бьет
в доме живет человек волос твоих золото Гретхен
он свору спускает на нас он дарит нам в небе могилу
он змей приручает мечтая а смерть это старый немецкий
маэстро

волос твоих золото Гретхен
волос твоих пепел Рахиль

ПСАЛОМ

Никто нас не лепит вновь из глины.
Никто наш прах не осудит.
Никто.

Так слава тебе, Никто!
Во имя твоей любви
мы расцветаем
тебе навстречу.

Ничто
были мы, есть и будем.
Мы вечно цветем.
Мы Ничто,
дикая роза.

Мы—
с пестиком светлой души,
с тычинками смутного неба,
с пурпурными лепестками
Слова.
Его мы поем
о наших шипах—о!—
О терниях наших.

*Справки об авторах
и примечания*

АВСТРИЙСКИЕ ПОЭТЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Принято считать, что немецкоязычной поэзии в России повезло. Мнению этому способствовала переводческая деятельность русских поэтов XIX века В. А. Жуковского, А. Дельвига, Ф. Тютчева, Каролины Павловой, М. Михайлова, А. К. Толстого, А. Фета, А. Майкова, Л. Мея, А. Григорьева и др. Если учесть, что русское силлаботоническое стихотворение развивалось в опоре на немецкие образцы, не приходится удивляться, что именно в переводе немецких поэтов русским поэтам поначалу сопутствовала удача. Но родственность немецкого и русского стиха, конечно же, не была главной причиной интереса русских поэтов к германской поэзии. Исключительный расцвет немецкой литературы (и в частности, поэзии) последней трети XVIII и первой половины XIX века не прошел незамеченным в России. Немецкая литература давала русским литераторам также пример освоения культур других народов. Никто в Европе в те годы так много не переводил из античных авторов, из литератур Англии, Франции, Испании, Италии, а также из литератур древнего Востока. Слов нет, связи немецкой и русской поэзии в первой половине XIX века были очень тесными. Но обращает на себя внимание тот факт, что из крупных авторов переводились в основном Гёте, Шиллер, Гейне, а также, но в гораздо меньшей степени, австриец Ленау. Почти не переводились стихи других «классиков» – Клопштока, Виланда, Лессинга, и других поэтов XVIII века: Матиаса Клаудиуса, Ленца, Хёлти (Гельти). Не считая отдельных «случайных» переводов, не появилось ни русского Новалиса, ни Brentano, ни Тика, ни Эйхендорфа. Совершенно неизвестным остался Гёльдерлин. Только В. А. Жуковский и Ф. Миллер, переводчик, чье творчество еще недостаточно оценено историками перевода, ставили перед собой задачу познакомить читателя с поэзией немецкого романтизма, перелагая на русский язык Маттисона, Т. Кёрнера, Уланда, Рюккерта. Все это не означает, что в России знали только Гёте, Шил-

лера и Гейне. Очень большое количество немцев, нашедших в России свою вторую родину, проникших во все слои русского общества, основывали в Петербурге, Москве, а также в других русских городах немецкие учебные заведения и издательства, открывали книжные магазины. Все это способствовало распространению немецкого языка и ознакомлению русских с новейшей немецкой литературой. Немецкую литературу знали, таким образом, не только и не столько по переводам. Вспомним хотя бы кружок «любомудров» (1823–1826), изучавших и обсуждавших произведения классической немецкой философии, эстетические труды братьев Шлегелей, прозу Вакенродера, Гофмана, Жан Поля, поэзию немецких романтиков.

К концу XIX века наметился упадок интереса к немецкой поэзии. Он, без сомнения, связан с расцветом поэзии Франции, с появлением таких поэтов, как Бодлер, Рембо, Верлен, Малларме. Русские поэты-символисты, будучи горячими поклонниками французской поэзии, новую немецкоязычную поэзию знали мало. Этому способствовали и политические обстоятельства последнего десятилетия XIX – начала XX веков, смещение симпатий русского общества ко всему французскому. Первая мировая война и дальнейшие события русской жизни также не способствовали спокойной оценке созданного немецкоязычными поэтами в период с 1890 по 1920 год. Попытки познакомить русского читателя с новой немецкоязычной поэзией, правда, предпринимались, но остались практически незамеченными. В 1910 г. в Белой Церкви вышла авторская антология А. Зарницына (Конст. Антипова), поэта-сатириконца, «Новые немецкие поэты», можно сказать впервые представившая русскому читателю стихи Р. Демеля, Детлева фон Лилиенкрона, Гуго фон Гофмансталя, Ф. Ницше, Р. Шаукаля, Г. Фальке, Ф. Ведекинда, А. Гольца, К. Моргенштерна, то есть целое поколение немецких и австрийских поэтов. В 1913 г. в Москве выходит сборник «Современные немецкие поэты» в переводах Владимира Эльснера, включавший наряду с представителями «модерна» и неоромантизма также некоторых экспрессионистов. И этот сборник не вызвал резонанса, хотя и содержал много примечательных, тонко отражающих стиль эпохи переводов. Следующие издания появляются уже после 1917 г. В течение одного года выходят сразу четыре ан-

тологии немецкоязычной поэзии. Одна в СССР: «Чужая лира» (1923), в переводе В. Нейштадта, и три – в берлинских русских издательствах: «Из новой немецкой лирики» Г. Забежинского (1923), «Антология современной немецкой поэзии» (1922), «Певцы человеческого. Хрестоматия немецкого экспрессионизма» (1923) – обе в переводе С. Тартаковера. В этих сборниках не обойден ни один действительно крупный автор. Переводы в них, однако, несмотря на попытку передать формальные особенности оригинала, трудно считать удавшимися. Первой антологией немецкоязычной поэзии XX века, имевшей успех у русского читателя, был сборник 1925 года «Молодая Германия» (Харьков–Одесса), составленный Г. Петниковым. Среди переводчиков этой книги мы находим Ф. Сологуба, А. Луначарского, О. Мандельштама, Д. Выгодского, Р. Ивнева, Вл. Пяста, Б. Пастернака, М. Зенкевича, самого Г. Петникова и других известных советских литераторов. Эти же имена в двадцатые годы мы встречаем под переводами из Э. Штадлера, Р. Хух, Г. Гейма, Я. ван Годдиса, Г. Бенна, Ф. Верфеля в журнале «Современный Запад». Переводческая увлеченность столь замечательных поэтов принесла с собой продуктивную идею использовать формальные принципы русских литературных течений начала века для перевода новой немецкоязычной поэзии. Они свободно вводили в перевод бытовой словарь послеоктябрьской эпохи, для передачи гротескных, фантастических и экзотических образов черпали поэтические средства из арсенала футуристов и акмеистов, из периода русского поэтического эксперимента. Новая образность и ритмические новшества немецкой поэзии были близки этим переводчикам, потому что в своей оригинальной поэзии они также шли по пути развития и обогащения образных средств. В следующем предвоенном десятилетии изданий новаторской поэзии Запада становится всё меньше. Сказалась переориентация в литературной политике, оставлявшая все меньше места эксперименту. Переводчики возвращаются к уже апробированной классике, предпочтение отдается дисциплине стиха, традиционным его формам. Сосредоточенная работа в этом направлении, нацеленность крупных поэтов на перевод классических произведений создает новую советскую школу перевода, использовавшую весь арсенал традиционного русского сти-

ха, а также его современный опыт, — школу, отличающуюся тончайшей словесной культурой. Трудно возражать против нового Шиллера Лозинского, против нового Гейне Тынянова, Зоргенфрея, Левика, против Гёте Пастернака. Но это все те же Шиллер, Гёте, Гейне. Слов нет, «бедный» Гейне пострадал от «произвола» дореволюционных переводчиков, но почему-то борьба нового поколения переводчиков «против искажений, ритмической аморфности, против бесцветного и бедного словаря»* велась опять же на материале уже апробированном. В 30-е годы существовало два полных русских собрания сочинений Гейне, но не было переводов немецких романтиков, поэзии немецкого средневековья, немецкого и австрийского барокко. Что-то мешало подступиться ко многим немецким авторам, овладеть их поэтическим почерком, совершенно не имеющим параллелей в русской поэзии. В этом была какая-то заторможенность, творческая нерешительность. Информировать о том, что происходит в настоящее время в «соседнем творческом цеху», и вовсе вышло из моды.

Восполнение пробелов началось вскоре после Великой Отечественной войны и продолжается до сих пор. Начинается освоение целых пластов и эпох немецкоязычной литературы. Переводческий период последних десятилетий связан с именами В. Левика, Л. Гинзбурга, Г. Ратгауза, К. Богатырева, В. Микушевича, В. Топорова, Е. Витковского, В. Куприянова и др. Л. Гинзбург прослеживает народную демократическую традицию немецкой поэзии на протяжении десяти веков (X–XX вв.), В. Микушевич открывает нам немецких мейстерзингеров и Новалиса, совместными усилиями переводчиков предпринимается одно за другим несколько изданий Рильке, выходят сочинения Гёльдерлина. Появляются издания, где представлена немецкоязычная поэзия конца XIX и XX веков. О большинстве поэтов из этих книг русский читатель узнает впервые.

Когда в середине прошлого века под влиянием идей романтиков начало создаваться историческое литературоведение, была предпринята также попытка написать историю австрийской литературы. Немецкая национальная

* Г. И. Ратгауз. Немецкая поэзия в России. — В кн.: Золотое перо. М., Прогресс, 1974.

литература воспринималась как совокупность литератур всех ее различных этнических областей: Гёте из Франконии, Шиллер из Швабии принадлежали к ней так же, как венец Грильпарцер и пруссак Клейст. Каждая привносила в общий образ немецкой литературы нечто свое. Однако уже к началу XX века все историки немецкой литературы начали подчеркивать своеобразие многих австрийских писателей, заговорили об исключительном характере австрийской литературы. В 1866 г., после того как Габсбурги, считавшие себя на протяжении многих веков главной германской династией, похоронили планы объединения немецкоязычных государств под своей эгидой, была образована Австро-Венгерская монархия. Возникла огромная многоязыкая страна, в которой немецкий язык был главным коммуникативным средством. Островки немецкоязычной культуры уже и ранее существовали в Чехии, Моравии и Словакии, в Венгрии, Буковине, Истрии, Словении, Сербии, Хорватии, в Южном Тироле – с одной стороны, как результат интенсивного переселения на восток немецкого населения в период средневековья, а затем в XVIII–XIX веках, с другой – как результат экспансии германоязычных государств. Да и собственно Австрия (за исключением Тироля и Форарльберга), ее выдвинутость на восток были результатом этой экспансии. С образованием Австро-Венгрии немецкий язык стал еще больше проникать в Восточную Европу. Увеличивалось городское немецкоязычное население во всех городах империи. Всюду открывались немецкие школы и гимназии, новые немецкие театры, создавались литературные журналы. Однако, несмотря на антидемократическую политику правящих кругов Австро-Венгерской монархии, подавляющей национальные проявления в славянских провинциях, сам жизненный уклад разными путями формировал сознание художника. Знание славянских языков открывало многим австрийским литераторам путь к знакомству с литературой славянского мира. Обращение П. Целана к русской поэзии (его переводы Блока, Есенина, Мандельштама, Хлебникова, Случевского, Цветаевой, без сомнения, одни из лучших на немецком языке) берет свое начало в его детстве в Буковине, где его окружала живая русская и украинская речь. «Славянская интонация» чувствуется в стихах многих австрийских поэтов, вплоть до наших дней.

Уже в первой русской антологии немецкой поэзии «Немецкие поэты в биографиях и образцах» Н. Гербеля (1877) имелся особый раздел «Австрийцы». Самым популярным из австрийских поэтов в России XIX века был Н. Ленау. Его стихотворения до Октябрьской революции выходили дважды отдельными изданиями – в 1862 г. («Стихотворения») и в 1913 г. («Избранные стихотворения»). Привлекал в этом авторе глубоко меланхолический колорит его произведений, вызванный оторванностью его «я» от окружающего мира, несовместимостью целей этого мира с его идеалами, что было созвучно мироощущению русского интеллигентного читателя того времени. Однако среди переводчиков Ленау (если не считать перевод «Песен в камышах») почти не было крупных русских поэтов. Ленау получался тусклым меланхоликом, странником среди осенних вечерних пейзажей, грустящим над бренностью земного существования; исчез его конфликт с окружающим миром, с вечностью, с самим собой. Совершенно иного Ленау – поэта с ярко выраженным демократическим мировоззрением, представил русскому читателю А. В. Луначарский. Поэма «Фауст» в его переводе вышла в 1904 г. в Петербурге с приложением очерка «Н. Ленау и его философские поэмы». В этом очерке он дает в своем переводе стихотворение Ленау „Eitel nichts!“, продиктованное поэтом незадолго до кончины в минуту просветления, 18 сентября 1844 года. Новую попытку освоения поэтики Н. Ленау предпринял В. Левик, выпустивший в 1956 г. книгу переводов из Ленау: Николаус Ленау. Стихотворения. Ян Жижка (Поэма). В книге много удач, но в ней только отдаленно слышна бескомпромиссная интонация Ленау. В ней много «накатанного», господствует благодушный переводческий стиль. И тут не спасает так называемая близость к тексту. Тем не менее переводы В. Левика – лучшие из имеющихся на русском языке. Подборка в настоящей книге подытоживает сделанное переводчиками за сто лет, но кажется, Ленау все еще ждет своего открытия. Он безусловно принадлежит к труднейшим для перевода авторам, недаром Б. Пастернак, необычайно любивший Ленау, так к нему и не «прикоснулся». Весьма популярен среди русских переводчиков XIX века был и Роберт Гамерлинг. В своей поэзии Гамерлинг представлял общую тенденцию австрийской и немецкой поэзии послед-

них десятилетий XIX века: затухающий романтизм, застывшие формы, стереотипные поэтические образы. Поэма «Агасфер в Риме» была опубликована в России в трех различных переводах. Гамерлинга переводили А. Плещеев, П. Якубович-Мельшин, П. Лучанский, Л. Пальмин, М. Российский, Я. Старостин, А. Н. Федоров, Вс. Чешин, П. Вейнберг, Ф. Миллер, В. С. Лихачев. Последний особенно увлекся Гамерлингом, из его переводов можно было бы составить не одну книгу. В сборнике оригинальных стихотворений О. Чюминой («Стихотворения», 1897) мы находим сразу 20 переводов, органично соседствующих с собственными стихами Чюминой.

Третьим излюбленным австрийским поэтом в России был М. Гартман. Пропагандистом его был М. Л. Михайлов. «Белое покрывало» Гартмана стало одним из самых известных произведений среди русских революционеров. И все же о Гартмане в России знали меньше как об участнике баррикадных боев революции 1848 года, как о друге Беранже или пропагандисте революционно-демократических идеалов. Русских переводчиков он увлекал своими позднеромантическими стихами. Особенно А. Плещеева, чей перевод из Гартмана «Молчание» стал известным русским романсом (П. И. Чайковского). Вообще в искренней, простодушной поэзии Плещеева многое перекликалось с поэзией позднего романтизма в Австрии и в Германии, в которой многие критики видят признаки упадка как у нас, так в Германии и в Австрии. В тот период не было крупных поэтов, но истинные были. Они не давали иссякнуть реке поэзии, которая хотя и несколько обмелела, но не переставала жить, накапливая силы для будущего мощного разлива. Плещеев не брался ни за Шиллера, ни за Гёте. За исключением нескольких переводов из Ленау, Гейне и Эйхендорфа, в его багаже нет крупных поэтов. Он переводил по преимуществу современников: Гартмана, Бека, Гейбеля, Прутца, Боденштедта, Гамерлинга и других, сейчас совсем забытых австрийцев и немцев. Из других австрийских поэтов конца XIX века известностью в России пользовались И. Лорм и в особенности Ада Кристен.

Следует сказать о незаслуженно забытом поколении поэтов-переводчиков, которое литературоведы постоянно «перескакивают» в своих обзорах, считая, что большин-

ство из них не переводило, а приспособляло иностранных авторов к литературным вкусам своего времени. Такие переводчики, как В. Мазуркевич, Н. Коробицына, А. Зарницын (Конст. Антипов), В. Эльснер, А. Биск, а также более поздние – Г. Забежинский, В. Нейштадт, А. Эфрос, В. Парнах, Г. Петников, Д. Выгодский, переводили своих современников, отразив одну многоликую поэтическую эпоху, первые – символизм и неоромантизм, вторые – немецкий экспрессионизм и смежные с ним русские течения – акмеизм, футуризм, имажинизм.

Центральной подборкой в нашей книге является подборка Рильке. На русском языке имеются десятки тысяч строк переводов Рильке. Часть из них уже издана, часть – в архивах умерших и живущих поэтов. (Например, известны десять полных переводов «Сонетов к Орфею».) Изданы «Часослов», «Новые стихотворения», «Новых стихотворений вторая часть», «Жизнь Марии», «Сонеты к Орфею», девять из десяти Дуинских элегий. Издано множество ранних стихотворений поэта, две трети «Книги образов» и большое количество стихотворений, не вошедших в сборники. В настоящем издании в подборку Рильке включено лишь несколько новых переводов. Интерес в этой связи представляет сличение разных переводов одного и того же стихотворения. Они позволяют полнее воссоздать облик оригинала. Первые переводы стихов Рильке отдельными книгами издали Ю. Анисимов («Книга часов», М., 1913) и В. Маккавейский («Жизнь Марии», Киев, 1914), Б. Пастернак невысоко оценил эти переводы. В своих воспоминаниях «Люди и положения» он написал, что «переводчики не виноваты. Они привыкли воспроизводить смысл, а не тон сказанного. А тут все дело в тоне». Следующей публикацией была книга: Райнер Мария Р и л ь к е. Собрание стихов в переводе Александра Биска, Одесса, 1919. Подборки Рильке мы обнаруживаем также в уже упоминавшихся антологиях В. Эльснера (1913) и Г. Забежинского (1923). Советские переводчики продолжали переводить Рильке в двадцатые (Пастернак, Нейштадт), тридцатые (Петников, Садовский) и пятидесятые годы, но их работы до шестидесятых годов оставались практически неизвестными. В шестидесятых-семидесятых годах одна за другой выходят книги Рильке: «Лирика» (1965), «Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи» (1971), «Избранная ли-

рика» (1974), «Лирика» (1976), «Новые стихотворения» (1977). Видимо, «русский Рильке» будет открываться и открываться, как это было с «русским Гейне», и «рильковской болезни» не предвидится конца.

Дальнейшим шагом в освоении литературы Австрии как XIX, так и XX века были публикации в томах серии БВЛ «Европейская поэзия XIX века» (1977) и «Западно-европейская поэзия XX века» (1977), а также сборник «Из современной поэзии Австрии» (1975). В течение двух-трех лет читателю было представлено большое количество поэтов, никогда раньше не переводившихся.

Настоящая антология во многом расширит представления советского читателя об австрийской поэзии. Впервые в таком объеме публикуются стихи поэтов Первой Австрийской республики и послевоенного периода. Гибель Австро-Венгерской империи, сопровождавшаяся распадом старых общественных форм, обострила многие противоречия духовной жизни австрийского общества. Сфера немецкого языка сузилась. На маленьком островке, оказавшемся наследником былого величия, выросло целое поколение. Ему предстояло вынести на себе не только груз прошлого, но и противостоять небывалым в истории трагическим событиям. И когда литературоведы говорят о кризисном состоянии духовной жизни западного общества XX века и называют имена писателей и философов, мы всегда находим среди них много австрийских имен. Как ни одна страна в Европе, Австрия выразила наиболее болезненные проблемы Старого света. Поэтому столь велик интерес к ее культуре, к произведениям таких писателей, как Мейринк, Брех, Музиль, Кафка, Верфель, Й. Рот, Х. фон Додерер, П. Целан, И. Бахман.

Стихи поэтов Первой Австрийской республики (1918–1938), таких, как А. Кёниг, Э. Вальдингер, Т. Крамер, Р. Фельмайер, Г. Цернацко, Э. Шёнвизе, составляют очень важную часть данного сборника. Для перевода этих авторов переводившие их могли черпать из опыта русских поэтов и переводчиков начала века, 20–30-х годов, а также 50-х и 60-х. Так, переводы Е. Витковского из Т. Крамера сделаны с ориентацией на переводческий и поэтический опыт различных авторов, среди них И. А. Бунин, Б. Лившиц, А. А. Штейнберг.

И все же наибольшей трудностью для переводчиков

было освоение австрийской поэзии второй половины XX века. Русская поэзия этого периода в формальном отношении пошла совершенно иным путем, нежели поэзия большинства западноевропейских стран. Перевод П. Целана, И. Бахман, Х. К. Артмана, П. Хандке требовал создания на русском языке новых поэтических форм, метафорики, разрывающей грамматические, смысловые, синтаксические связи, поэтики ассоциативной образности – художественных средств, крайне редко используемых в русской поэзии. Элементы этого явления мы находим у Хлебникова, у позднего Мандельштама, у Цветаевой, у некоторых молодых авторов новейшего поколения – но в русской поэзии нет и не было поэта, у которого принцип ассоциативной образности был бы основополагающим. Переводчикам необходимо было давать свое образное прочтение оригинала, находить свои, соответствующие оригиналу, ритмические модели. Об удачах этой работы судить читателю настоящей книги.

* * *

ИГНАЦ ФРАНЦ КАСТЕЛЛИ (IGNAZ FRANZ CASTELLI, 1781–1862)

Драматург, поэт; родился в Вене. Получил гуманитарное и юридическое образование, служил чиновником, одновременно сотрудничая в театрах. После успеха оперы Вайгеля „Die Schweizer Familie“ на его либретто Кастелли становится придворным театральным поэтом. Им создано более 200 пьес юмористического характера. Составил словарь нижнеавстрийского диалекта, написал книгу интересных театральных мемуаров. Собирал материалы по истории австрийского театра. Поэзию Кастелли считал второстепенным своим занятием. Стихи на диалекте, однако, сделали его известным во всей Австрии. Их высоко оценил Гёте.

Стихи печатаются по сборникам: *Poetische Kleinigkeiten. Erstes Bändchen*, Wien, 1816. *Poetische Kleinigkeiten. Fünftes Bändchen*, Wien, 1826.

44. „*SCHLUMMERLIED*“. **jenen Gott** – имеется в виду Морфей, бог сновидений в древнегреческой мифологии.

МАРИАННА фон Виллемер (*MARIANNE von WILLEMER, 1784–1860*)

Родилась в Линце. В юном возрасте переехала во Франкфурт-на-Майне вместе с родителями-актерами. Став актрисой, в течение многих лет играла на франкфуртской сцене. В 1814 г. вышла замуж за банкира фон Виллемера. В том же году познакомилась с Гёте, воспевшим ее в своем «Западно-восточном диване» под именем Зулейки. Несколько стихотворений в «Диване» написаны самой Виллемер. Гёте включил их в свое произведение как песни Зулейки. Переписка Виллемер с Гёте, не прекращавшаяся до самой смерти поэта, была издана в 1877 г. (*Goethes Briefwechsel mit M. v. Willemer, hrsg. v. Th. Greizenach.*)

Стихи печатаются по изданию: E. Zellweger. *Marianne von Willemer*, Wien, 1949.

46. „*AN DEN OSTWIND*“, „*AN DEN WESTWIND*“ – Стихи написаны в 1815 г. после последней встречи с Гёте и посланы вослед неожиданно уехавшему поэту. Надежде на встречу, высказанной в этих стихах, не было суждено осуществиться. Незадолго до своей смерти Марианна Виллемер поведала Герману Гримму, известному историку искусства и литературы, свою тайну: несколько стихотворений в «Западно-восточном диване» написаны ею. Опубликованная позднее переписка Виллемер с Гёте подтвердила это.

47. Переводы С. В. Шервинского «К восточному ветру», «К западному ветру» опубликованы в собрании сочинений Гёте в 1932 г.

ИОГАНН МАЙРГОФЕР (*JOHANN MAYRHOFER, 1787–1836*)

Окончил гимназию в Линце. Затем изучал философию и теологию, древние языки, право. Зарабатывал на жизнь частными уроками, служил гувернером в богатых домах Вены. Впоследствии стал чиновником цензурного ведомства. В 1819 г. познакомился с Францем Шубертом. Майргофер остался в литературе главным образом как поэт песен Шуберта, которым положено на музыку 47 его

стихотворений, а также два либретто. Перу Майргофера принадлежит и текст к зингшпилю из незаконченной оперы Шуберта «Адраст» („Adrast“, 1819). Композитора подкупала музыкальность и простота языка поэта. Подверженный приступам меланхолии, Майргофер остро ощущал несовместимость своей деятельности цензора и своего либерального мировоззрения. После известия о поражении польского восстания 1830 года он совершил первую попытку самоубийства. В 1836 г. Майргофер выбросился из окна цензорского ведомства и разбился насмерть.

Стихи Майргофера выходили отдельными сборниками в 1824 г. (Gedichte, Wien) и посмертно в 1843 г. (Gedichte. Neue Sammlung, Wien). В 1829 г. он издал воспоминания о Шуберте.

50. „MEMNON“ – **Memnon** – Мемнон, в античной мифологии сын богини утренней зари Эос (Авроры), убитый под Троей. Именем Мемнона греки также называли статую египетского фараона Аменхотепа III, которая при восходе солнца издавала дрожащий звук, похожий на жалобное пенье. Считалось, что Мемнон приветствует свою мать Эос.

Dioskuren, Zwillingsterne – Диоскуры, дети Зевса и Леды, близнецы Полидевк и Кастор. Зевс превратил их в созвездие Близнецов. Диоскуров чтили как покровителей воинов и мореходов.

52. „ACCORDE“ – Ритмы стихов Майргофера исключительно разнообразны. Даже когда очень энергичны, они не теряют музыкальности. Так, в данном стихотворении хореические строки представляют собой как бы аккорды, следующие друг за другом в быстром темпе.

ЙОЗЕФ КРИСТИАН барон фон ЦЕДЛИЦ (JOSEPH CHRISTIAN Freiherr von ZEDLITZ, 1790–1862)

Поэт, драматург, переводчик. Происходил из древнего силезско-саксонского рода. В 1806 г. вступил в австрийскую армию, в 1809-м отличился в сражении против Наполеона. В 1811 г. вышел в отставку и жил в Венгрии в имении жены. С 1836 г. служил в министерстве иностранных дел при князе Меттернихе. Был посланником нескольких германских государств при австрийском дворе. Писал поэмы,

романсы, баллады в романтическом стиле. Большую известность приобрел его цикл „Totenkranze“ (1828), где он пытался перенести на немецкую почву форму итальянской канцоны. Один из первых в немецкой поэзии выступил за синтез поэтических форм. Романтическая сказка „Das Waldfräulein“ принесла ему успех во всей Германии. Всемирной известностью пользовалась его баллада „Die nächtliche Heerschau“ (1832), переведенная на многие языки. Она была положена на музыку многими композиторами, в том числе Мендельсоном. Имя Цедлица было широко известно в России, и не только из-за переводов Лермонтова и Жуковского. Цедлиц был одним из самых читаемых в России поэтов среди публики, знавшей многие его произведения в оригинале.

Стихи печатаются по изданию: J. Chr. Z e d l i t z. Gedichte, Stuttgart, 1859.

56. „DIE NÄCHTLICHE HEERSCHAU“, „DAS GEISTERSCHIFF“ («Воздушный корабль» – с. 548) – обе баллады написаны в связи с решением французского правительства перенести останки Наполеона с острова Св. Елены в Париж.

57. «НОЧНОЙ СМОТР» – Перевод Жуковского сделан в 1836 г. и впервые напечатан в пушкинском «Современнике» (Пушкин очень высоко оценил этот перевод). Современники (в том числе и сам Жуковский) ставили творчество Цедлица очень высоко. Перевод Ф. Миллера впервые напечатан в собрании сочинений Ф. Миллера в 1849 г.

548. «ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ» – Перевод выполнен Лермонтовым в 1840 г. Белинский, навестивший Лермонтова, когда тот находился под арестом за дуэль с де Барантом, писал Боткину, что Лермонтов «переводит Зейдлица». В 1893 г. Георг Фидлер опубликовал свой перевод «Воздушного корабля» на немецкий язык, считая его вполне оригинальным произведением Лермонтова; с тех пор перевод Фидлера неизменно присутствует в немецких изданиях Лермонтова. 12-я строфа взята Лермонтовым из другой баллады («Ночной смотр»).

550. «БАЙРОН» – перевод сделан Тютчевым в Германии в 1828–1829 гг. Мы печатаем две заключительные строфы поэмы „Totenkranze“. Впервые перевод поэмы был опубликован в журнале «Русский современник» в 1924 г.

ФЕРДИНАНД РАЙМУНД (FERDINAND RAIMUND, 1790–1836)

Драматург, поэт. Создатель жанра „Zauberposse“, немецкого театрального фарса, надолго определившего развитие немецкой комедии. Он ввел аллегорию в народную комедию и таким путем создал художественную комедию для народа. Пьесы Раймунда имеют социальную окраску, но социальность эта выражена опосредованно, не так, как у других австрийских писателей, как, например, у Нестроя, драматурга следующего поколения.

Стихи Раймунда носят характер случайных впечатлений, передающих различные душевные состояния. Лирические вставки в пьесах Раймунда вполне самостоятельны как стихи, часто это песни, исполняемые героями. В них в не меньшей степени, чем в самих пьесах, отразилась эстетика бидермейера.

Стихи печатаются по изданию: F. Raimund. Dramatische Dichtungen. Teil 1, Teil 2, Wien, 1932.

62. „*LIED DES VALENTIN*“ – **Valentin** – герой пьесы „Der Verschwender“.

ФРАНЦ ГРИЛЬПАРЦЕР (FRANZ GRILLPARZER, 1791–1872)

Драматург, поэт, прозаик. Сын адвоката. Рано потеряв отца, он с трудом смог завершить юридическое образование. В 1812 г. стал воспитателем в доме графа Зайлерна, затем чиновником министерства финансов, с 1832 по 1856 г. директором его архива. Выросший в либеральную эпоху правления Франца-Иосифа, Грильпарцер страдал от полицейской цензуры Меттерниха. Реакционная цензура не пропускала многих его произведений, и в то же время к нему враждебно относилось общество «Молодая Германия», недовольное умеренной позицией писателя. После революции 1848 года популярность Грильпарцера заметно растет; крупными тиражами выходят его сочинения, почти все театры Германии и Австрии ставят его пьесы. В литературе Грильпарцер более известен как драматург. К его лучшим драмам принадлежат: „Die Ahnfrau“ (1817), „Sappho“ (1818), „Das Goldene Vlies“ (1821). Перу Грильпарцера принадлежат многочисленные работы по истории театра и литературы. Стихи Грильпарцер писал в

течение всей жизни. Это главным образом медитативная лирика, отличающаяся внешней строгостью и сдержанностью. Грильпарцер-поэт полемизирует с миром и самим собой. Особую часть творчества Грильпарцера составляют меткие ироничные эпиграммы, имевшие в свое время успех в литературных и театральных кругах.

Стихи печатаются по изданию: F. Grillparzer. *Sämtliche Werke*, Bd. 1, München, 1960.

Грильпарцер как поэт практически впервые представляется русскому читателю. Несколько его стихотворений напечатано в серии БВЛ, «Европейская поэзия XIX века», 1977. Лирические отрывки из пьесы «Саффо» вышли в антологии Н. В. Гербеля «Немецкие поэты», СПб., 1877.

74. „*ABSCHIED VON GASTEIN*“. *Gastein* – Гастейн, высокогорная долина реки Зальцах, где находятся известные курорты.

ФРАНЦ ШУБЕРТ (FRANZ SCHUBERT, 1797–1828)

Как ни один композитор до него, Шуберт использовал для своих песен современные ему поэтические тексты. Им написано более 600 песен. В этой области он продолжатель Бетховена. Благодаря Шуберту песня как концертный жанр получила законченную художественную форму. В отличие от многих своих предшественников, Шуберт не старался подражать «народному немецкому характеру», он сам создавал песни истинно национальные, немецкая песня «выливалась» из него как бы стихийно и потому столь естественно завоевала впоследствии весь немецкоязычный мир, все слои населения. В шубертовских песнях музыка – не иллюстрация текста, не его интерпретация. Она пронизывает текст, сливается с ним, сама становится стихотворением. Среди текстов, положенных на музыку композитором, стихи М. Клаудиуса, И. Майргофера, Гёте, Шиллера, Гельти (Хёлти), Шубарта, Клопштока, Рюккерта, В. Мюллера, Платена, Уланда. Известно, что и сам Шуберт писал стихи. Сохранилось лишь несколько текстов, свидетельствующих о его незаурядном литературном даровании.

Стихи печатаются по изданию: Joachim Schöndorf. *Zeit und Ewigkeit*, Düsseldorf, 1980.

ЭДУАРД фон БАУЭРНФЕЛЬД (EDUARD von BAUERNFELD, 1802–1890)

Драматург, поэт. Родился в Вене, изучал право, в 1826 г. поступил на государственную службу. Был близким другом Франца Шуберта и художника Морица Швинда. В течение десятилетий имя Бауэрнфельда не сходило с афиш Бургтеатра. Его пьесы, почти всегда связанные с современностью, посвященные нравственным и общественным проблемам австрийского и немецкого общества, отличаются живостью и естественностью диалога, непринужденный юмор, простота языка. Быт и нравы отражены в них метко и сатирично. Наиболее известны комедии „Bürgerlich und romantisch“ (1839), „Großjährig“ (1846), последняя – шарж на меттерниховскую систему. Стихи Бауэрнфельда также посвящены актуальным проблемам. Бауэрнфельд писал и прозу, оставил мемуары и дневники.

Стихи печатаются по изданию: E. von Bauernfeld. Reime und Rhythmen, Wien, 1873.

ИОГАНН НЕПОМУК ФОГЛЬ (JOHANN NEPOMUK VOGL, 1802–1866)

Поэт, прозаик, драматург, собиратель фольклора. Родился в Вене в семье коммерсанта. С 1819 по 1859 г. служил чиновником в земских учреждениях Нижней Австрии. Был издателем многих венских альманахов. Писал романсы, баллады, лирические стихотворения. Развитие литературы после 1848 года прошло мимо него. Он остался в рамках романтического направления начала XIX века.

Стихи печатаются по изданию: J. N. Vogl. Lyrische Gedichte, Wien, 1846.

92. „AUF DER BRÜCKE“ – Образ поэта, стоящего на мосту, – одна из излюбленных тем романтической поэзии (ср. «Взгляд в поток» Ленау).

НИКОЛАУС ЛЕНАУ (NIKOLAUS LENAУ, 1802–1850)

Поэт; настоящее имя Николаус Франц Нибс эдлер фон Штреленау. Родился в семье офицера, выходца из Пруссии, служившего в Венгрии. После смерти отца воспитывался матерью в Буде, Пеште и Токае. В детстве на поэта большое впечатление произвела венгерская природа, кото-

рую он воспел впоследствии первым из немецкоязычных поэтов. Изучал в Вене философию, право, медицину. В 1829 г. уезжает в Штутгарт, где устанавливает тесные контакты с местным кругом поэтов, затем продолжает изучение медицины в Гейдельберге. Враждебное отношение к режиму Меттерниха побудило молодого поэта отправиться в США. Разочарованный, он вскоре возвращается в Европу. В 1844 г. у поэта обнаруживаются первые признаки душевного заболевания. В 1847 г. состояние его настолько ухудшилось, что друзья помещают его в приют для душевнобольных. Еще целых шесть лет Ленау проводит в состоянии полного помутнения рассудка. Он скончался в 1850 г. под Веной.

Первый поэтический сборник Ленау „Gedichte“, Stuttgart – Tübingen был издан в 1832 г. Богатство ритмов, метафоричность, романтическая символика сочетается в этой лирике с удивительной пластичностью образов, тонкостью пейзажа. В природе поэт ищет человечности. Его одинокий герой, стремящийся к внутренней свободе, подавленный окружающей действительностью, отвергает обыденность. В стихах поэта преобладает сумеречный свет; каждое свое субъективное ощущение он переносит на явления природы и на пейзаж, потому у него такая тяга к пустынным степям Венгрии, осенним картинам, заросшим, темным прудам, интерес к обездоленным народам, которые у Ленау являются носителями его собственных lamentаций о потере молодости, любви, веры, символом бренности всего земного. Стихи Ленау – дневник его внутренней трагедии, дневник души, у которой нет выхода из собственной разочарованности и противоречий эпохи.

Стихи печатаются по изданию: N. L e n a u. Sämtliche Werke in sechs Bänden, Band 1, Leipzig, 1910.

Стихотворения Ленау выходили в России отдельными сборниками в 1862 г. в переводе И. Чижова («Стихотворения»), в 1913 г. («Избранные стихотворения в переводах русских поэтов», СПб.), в антологии Н. В. Гербеля в 1877 г.; позднее в переводе В. Левика в 1956 г. (Н. Ленау. Стихотворения. Ян Жижка).

94. „SCHILFLIEDER“ – Стихи этого цикла принадлежат к наиболее известным в творчестве поэта. Цикл связан с не-

счастливой любовью поэта к Лотте Гмелин. В некоторых изданиях этот цикл носит название «Лотта».

102. „*IN DER SCHENKE*“ – Написано в декабре 1831 г. Посвящено годовщине восстания польских патриотов против царизма. В 1830 г. после многомесячного успешного сопротивления царским войскам польские повстанцы были дважды разбиты. Тысячи патриотов эмигрировали в различные германские государства, в том числе и Австрию, а также во Францию. Ленау часто встречался с польскими беженцами.

Стихотворение „*Die drei Zigeuner*“ было положено на музыку Ф. Листом, „*Auf dem Teich, dem regungslosen*“ (с. 96) – Ф. Мендельсоном, „*Auf geheimem Waldespfade*“ (с. 94) – Альбаном Бергом.

106. „*FRÜHLINGSGRÜSSE*“. *es ist betrübt = es ist betrüblich*.

690. «УСПОКОЕНИЕ» – Впервые напечатано в журнале «Русский вестник» в 1858 г. (август, книга I). Это вольный перевод Тютчевым стихотворения Ленау. Есть другой вариант перевода, где количество строк соответствует оригиналу, однако сам Тютчев предпочитал приводимый нами вариант.

АДАЛЬБЕРТ ШТИФТЕР (ADALBERT STIFTER, 1805–1868)

Прозаик, поэт, живописец. Родился в Чехии в семье ткача, впоследствии торговца льном. Учился в латинской гимназии бенедиктинского аббатства, где еще сохранялась атмосфера эпохи правления Франца-Иосифа и ученикам внушались либеральные идеи. Там же Штифтер начал заниматься живописью. Затем изучал право, историю, математику, естественные науки. В Вене в «Серебряном кафе» встречался с Грильпарцером, Грюном, Ленау. Поддерживал либеральную оппозицию, но был против революционного радикализма. Не приняв революции 1848 года, уехал в Линц. С 1850 г. он был инспектором народных училищ Австрии. В 1865 г. вышел в отставку из-за конфликта с властями, не оценившими его прогрессивных начинаний. В 1868 г. покончил с собой в момент сильного приступа болезни печени.

Штифтер — один из крупнейших немецкоязычных прозаиков XIX века. Реализм Штифтера романтичен. Он верил в эволюцию природы человека; его книги говорили о правах человека, о способности человека к нравственному самосовершенствованию. Его современник Геббель назвал Штифтера «певцом жуков и одувачиков». Но как раз в описании природы и очень точной передаче состояний человека от соприкосновения с нею и состоит сила Штифтера. Таким же он предстает перед нами в своих стихах.

Стихи печатаются по изданию: A. Stifter. Früheste Dichtungen. Hrsg. H. Misko, Prag, 1937; „Sämtliche Werke“, Bde 1–24, Prag, 1901–1939.

АНАСТАЗИУС ГРЮН (ANASTASIUS GRÜN, 1806–1876)

Поэт, политический деятель, один из вождей буржуазного либерализма предмартовской Австрии. Настоящее имя — Антон Александр граф фон Ауэршперг. Изучал философию в Вене и Граце, жил в своих родовых поместьях в различных частях Австрии.

В начале своей литературной деятельности Грюн издал два чисто лирических сборника поэзии. Но вскоре Июльская революция дала новое направление его творчеству. Огромное впечатление произвел его сборник „Spaziergänge eines Wiener Poeten“ (1831), вышедший анонимно. Наряду с гражданской смелостью эта книга поражает блеском формы, юмором. Грюн был нежелателен монархическому правительству. Меттерних в личной беседе с ним выразил пожелание, чтобы он эмигрировал или изменил фамилию (поэт происходил из одного из самых старинных немецко-австрийских родов). Так возник его псевдоним. Своим либеральным взглядам писатель оставался верен до конца жизни. В 1860 г. в зените славы, будучи уже почетным гражданином Вены, почетным доктором Венского университета, он публично заявил о своем отказе вступить в венское правительство в знак несогласия с его политикой. Наряду с Фрейлигратом, Гервегом, Гартманом и Прутцем Грюн стал создателем революционной немецкой поэзии. Кроме политических стихотворений перу Грюна принадлежит лирика разных жанров. Особенно интересны баллады, в которых изображаются человеческие пороки. Неоценима роль Грюна и как издателя наследия его друга Н. Ленау.

Стихи печатаются по изданию: A. Grün. Werke in 6 Teilen, Berlin–Leipzig–Wien–Stuttgart, 1909.

122. „*VOTENART*“ – Стилизация под народную балладу в данном случае усиливает комический эффект.

ЭРНСТ фон ФОЙХТЕРСЛЕБЕН (ERNST von FEUCHTERSLEBEN, 1806–1849)

Родился в Вене в семье высокопоставленного чиновника. По образованию врач-психиатр. С 1848 г. служил в министерстве просвещения. По его инициативе был проведен ряд реформ, сохраняющих свое значение поныне. Характерным синтезом научных знаний Фойхтерслебена и его писательского таланта явилась книга „*Zur Diätetik der Seele*“ (1838), содержащая афоризмы о житейской мудрости, об основополагающем влиянии духа на тело. Первая книга его стихов вышла в 1836 г. (*Gedichte, Stuttgart–Tübingen*). Основной мотив поэзии Фойхтерслебена – отношения человека и природы. Велика заслуга Фойхтерслебена как издателя произведений Майргофера.

Стихи печатаются по изданию: E. v. Feuchtersleben. *Gedichte (Sämtliche Werke, mit Ausschluß der rein medizinischen, hrsg. von F. Hebbel, Bde 1–2), Wien, 1851.*

ГЕРМАН фон ГИЛЬМ (HERMANN von GILM, 1812–1864)

Вырос в Инсбруке, изучал право. Длительное время был чиновником в различных районах Тироля, затем служил в придворной канцелярии в Вене. В религиозных сонетах, в песнях стрелков и военных балладах Гильм отстаивал свои либеральные, демократические взгляды. Писал также стихи о природе и любовную лирику, в которых ощущается влияние Гейне. После смерти поэта многие его стихи о любви были положены на музыку известными композиторами. Наиболее популярны песни Рихарда Штрауса: „*Nacht*“, „*Allerseelen*“.

Стихи печатаются по изданию: H. v. Gilm. *Gedichte. Gesamtausgabe, Leipzig, 1894.*

130. „*ALLERSELEN*“ – *Allerseelen* – день поминовения усопших у католиков (2 ноября). По христианским представлениям, смерть и погребение не прекращают отношений хри-

стианской любви, которые связывают живых с умершими. (См. также стихотворения Вайнхебера и Крамера.)

КАРЛ ИСИДОР БЕК (*KARL ISIDOR BECK, 1817–1879*)

Родился в Венгрии в семье коммерсанта. В 1829 г. семья переехала в Пешт, и лишь с этого времени Бек начал изучать немецкий язык. Учился в Вене и Лейпциге, вел бродячую жизнь. В студенческие годы Бек выпустил сборник стихотворений „Nächte. Gepanzerte Lieder“ (Leipzig, 1838), сделавший ему имя в литературе. Писал романы, рассказы.

Лирике Бека свойственна эпичность. Его сборники составлялись из циклов, имеющих общее содержание, где каждое стихотворение является как бы отдельной главкой. Стихи Бека чаще всего имеют социально-критическое содержание. Порой они очень сентиментальны, что вызывало раздражение критиков и поэтов демократического направления. На Бека писались пародии. Это не мешало ему быть очень популярным среди читателей среднего сословия. Бек – автор слов знаменитого вальса Иоганна Штрауса „Auf der schönen blauen Donau“.

Стихи печатаются по изданию: *Lieder vom armen Mann*, Leipzig, 1846.

МОРИЦ ГАРТМАН (*MORITZ HARTMANN, 1821–1872*)

Поэт и публицист. Родился в Чехии, изучал в Праге философию и литературу. Переехал в Вену, был частным учителем. С 1844 г. Гартман ведет жизнь «вечного странника». Он едет в Берлин, затем в Лейпциг, где в 1845 г. издает сборник стихов „Kelch und Schwert“, в результате чего над ним был установлен полицейский надзор во всех немецких государствах. Гартман направляется в Брюссель, Лондон, Париж; он встречается с Гейне, Беранже, Мюссе. В 1847 г. он возвращается в Прагу. Его избирают депутатом Франкфуртского парламента от Чехии. В октябре 1848 г. Гартман принимает участие в революции в Вене, позднее в Баденском восстании. В 1849 г. вынужден бежать из Австрии в Швейцарию. С 1850 г. вновь скитания по Европе: Франция, Англия, Ирландия, Нидерланды. В 1854 г. он в качестве корреспондента европейских газет освещает события Крымской войны. В 1860 г. становится профессором не-

мецкой литературы в Женеве, затем в Штутгарте. В 1868 г. после амнистии участникам революции 1848 года переезжает в Вену, где работает в газете „Neue Freie Presse“.

Известность Гартману принесли его политические стихи из сборника „Kelch und Schwert“. В 60–70-е годы политические и гражданские темы почти исчезли из произведений Гартмана. Наибольшего успеха Гартман достиг в любовной и пейзажной лирике. Она отличается необыкновенной ясностью мысли и чувства, песенностью, простотой образов. Гартман много переводил, в том числе и И. С. Тургенева. В России стихи и поэмы Гартмана были необычайно популярны. Их много переводили, особенно Плещеев и М. Михайлов.

Стихи печатаются по изданию: M. H a r t m a n n. Gesammelte Werke, Stuttgart, 1874.

АЛЬФРЕД МЕЙСНЕР (ALFRED MEISSNER, 1822–1885)

Родился в Теплице (Чехия), в семье врача. Изучал медицину в Карлсбаде и Праге. Занимался частной практикой, затем работал в одной из парижских больниц. К этому времени относятся его первые литературные опыты. В 1846 г. Мейснер публикует эпический цикл романсов „Žižka“, посвященный движению гуситов. Книга, написанная под сильным влиянием Ленау, была запрещена австрийской цензурой для распространения в Австрии. Мейснер уезжает в Париж, где сближается с Гейне. В 1848 г. он возвращается в Прагу, но вынужден вновь покинуть ее после поражения революции. Долгие годы затем живет в Лондоне. Последние два десятилетия жизни он проводит в Брегенце, работая над романами и воспоминаниями.

Как литературную, так и историческую ценность представляют стихи Мейснера, посвященные событиям революции 1848 года. В своей лирической поэзии он продолжатель Гейне, но влияние Гейне оказалось малопродуктивным для Мейснера, и эта часть его творчества была со временем почти полностью предана забвению. Мейснером оставлены лучшие воспоминания о Г. Гейне: H. Heine. Erinnerungen von A. M. (1856); Geschichte meines Lebens (1884).

Стихи печатаются по изданию: A. M e i ß n e r. Gedichte, Leipzig, 1856 (1. Aufl. 1845).

562. Из поэмы «Ян Жижка» — В. Г. Бенедиктов работал над поэмой Мейснера в 1865–1867 гг. Частично перевод был напечатан в журнале «Литературная библиотека» в 1867 г. (СПб., тт. 4–6: февраль–май). Куски поэмы, не пропущенные цензурой, впервые были опубликованы в серии «Библиотека поэта»: В. Г. Бенедиктов. Стихотворения. М., 1983. Поэма рисует движение таборитов как прообраз будущей революции. В цельном виде перевод Бенедиктова не издан по сей день, хотя представляет собой одну из вершин русской «австристики» XIX века.

**РОБЕРТ ГАМЕРЛИНГ (ROBERT HAMERLING,
1830–1889)**

Родился в деревне в Нижней Австрии, происходил из крестьянской семьи, настоящее имя — Руперт Гаммерлинг. Окончив гимназию в Вене, поступил на философский факультет Венского университета. Преподавал в гимназиях Вены, Граца, Триеста. В 1866 г. оставил службу и до конца своих дней жил в деревушке под Грацем. Гамерлинг писал стихи, поэмы, романы, драмы, сатиры, переводил с европейских языков, преимущественно с итальянского (в частности Леопарди). В 60-х гг., в период бурного развития австрийской промышленности, опубликовал получившую широкую известность книгу стихотворений „Ein Schwanenlied der Romantik“ (1862), в которой выступил против века «пара и электричества», противопоставляя ему идеализированное отвлеченное прошлое, как царство красоты. Против «механизации» жизни направлена и его известная сатирическая поэма „Homunkulus“ (1888). Гамерлингу принадлежит также автобиография „Stationen meiner Lebenspilgerschaft“ (1889) и посмертно изданный философский трактат „Die Atomistik des Willens“ (1890).

В лирике Гамерлинга слышатся нотки личной неудовлетворенности, бесплодных мечтаний о счастье. Поэзия Гамерлинга очень характерна для позднеромантического направления второй половины XIX в. Оценка его творчества неоднозначна. В австрийской критике поэзию Гамерлинга принято считать эпигонской, лишенной глубокого содержания, в русской же подчеркивается его протест против буржуазного уклада жизни, рассудочности и практицизма — всего того, что нес с собой капитализм; с этим связывается и его успех у русской читающей публики. На рус-

ский язык переведены многие лирические произведения Гамерлинга, а из крупных – поэмы «Король Сиона» (М., 1880) и «Агасфер в Риме», роман «Аспазия» (СПб., 1884, пер. Ф. Миллера), комедия «Гевт» (пер. П. Вейнберга), „Nomunkulus“ (в «Пантеоне литературы» за октябрь 1892 г.).

Стихи печатаются по изданию: R. Hammerling. Sämtliche Werke, hrsg. von M. M. Rabenlechner, Leipzig, 1911.

566. Перевод Плещеева «И вот опять увидел я леса...» печатается по изданию «Немецкие поэты» под редакцией Н. В. Гербеля, 1877.

566–567. Переводы О. Чюминой «Служение красоте», «Под гнетом»; «Из старых мелодий» печатаются по книге: О. Н. Чюмина. Стихотворения. СПб., 1897.

МАРИЯ фон ЭБНЕР-ЭШЕНБАХ (MARIE von EBNER-ESCHENBACH, 1830–1916)

Прозаик, поэтесса, драматург. Родилась и выросла в Моравии в аристократической семье. В 1848 г. вышла замуж за инженера Эбнер-Эшенбаха, ставшего впоследствии фельдмаршалом. Всю жизнь прожила в своем моравском имении, лишь зимой наезжая в Вену, где ее дом был одним из центров литературной жизни. Ее пьесы шли в Бургтеатре, но успеха не имели. Пережив большое количество провалов в различных немецких театрах, Эбнер-Эшенбах начала писать романы и новеллы, в которых с глубоким социальным чувством, острой наблюдательностью и добродушным юмором описывала жизнь своих моравских земляков.

Поэтическое наследие Эбнер-Эшенбах невелико, но исключительно цельно. Как крупные, так и небольшие поэтические вещи написаны очень плотным, необычно точным для немецкой поэзии того времени языком. После А. Дросте-Хюльсхоф Эбнер-Эшенбах – наиболее значительная немецкоязычная писательница XIX века. Прожив долгую жизнь, Эбнер-Эшенбах удостоилась различных почестей, была награждена высшим гражданским орденом Австрии того времени «Знаком за заслуги перед искусством и наукой» и избрана почетным доктором Венского университета.

Стихи печатаются по изданию: M. von E b n e r - E s c h e n b a c h. Sämtliche Werke, Leipzig, 1928.

ФЕРДИНАНД фон СААР (*FERDINAND von SAAR, 1833–1906*)

Поэт, прозаик, драматург. После окончания гимназии служил в армии, участвовал в итальянском походе 1859 г. Последующие десятилетия своей жизни провел в Моравии в поместьях своих меценатов-дворян. Покончил с собой, не выдержав физических болей, связанных с неизлечимой болезнью. В поэзии Саара чувствуется влияние Ленау, Грюна, Грильпарцера. Она проникнута глубокой тоской по гуманистическим идеалам, состраданием к судьбе обездоленных. Психологический реализм, импрессионистическая тонкость поэзии Саара оказали влияние на Гофмансталя. Поэзия Саара неразрывно связана с его новеллистикой. В прозе поэта с еще большей силой проявилась его психологическая наблюдательность. Саар писал также пьесы, из которых наибольшую известность получила трагедия „Kaiser Heinrich IV.“ (1865).

Стихи печатаются по изданию: F. v. S a a r. Sämtliche Gedichte. Erster Teil (Sämtliche Werke in 12 Bänden, Bd. 2), Leipzig, 1909.

ЛЮДВИГ АНЦЕНГРУБЕР (*LUDWIG ANZENGRUBER, 1839–1889*)

Родился в Вене в семье мелкого чиновника. Рано оставил школу, служил в книжной лавке, был артистом бродячего театра, работал писарем в полицейском управлении. В 80-е гг. редактировал популярные журналы „Heimat“ и „Figaro“.

Л. Анценгрубер известен в основном своими драмами и прозой из жизни альпийских крестьян. Огромным успехом пользовалась в конце века его драма „Der Pfarrer von Kirchfeld“ (1872), а также романы „Der Sternsteinhof“ (1883) и „Der Schandfleck“ (1884).

Поэзия Анценгрубера по содержанию и форме – типичный продукт позднего романтизма; поэтому писателю редко удавалось выразить в ее унаследованных от прошлого формах свой жизненный опыт, как это ему удалось в других жанрах. Тем не менее и здесь Анценгрубер верен себе:

его основная тема – душа простого человека как источник силы и морали народа.

Стихи печатаются по изданию: L. Anzengruber. Gedichte (Gesamtausgabe nach den Handschriften in zwanzig Teilen, Teil 19), Leipzig, o. J.

ПЕТЕР РОЗЕГГЕР (PETER ROSEGGER, 1843–1918)

Прозаик, поэт. Сын бедного крестьянина, родом из Штирии. В ранней юности был пастухом, учеником портного. Затем посещал торговую школу в Граце. С 1876 г. издавал журнал „Der Heimgarten“. Впервые выступил в печати с песнями на верхнештирийском диалекте „Zither und Hackbrett“ (1869). Розеггер был прекрасным рассказчиком, бытописателем крестьянской жизни. Социальный протест не стал ведущей темой его творчества. Морализирование и все примиряющий юмор призваны в произведениях Розеггера помочь читателю найти выход из жизненных проблем и коллизий. В 1913 г. Розеггер был одним из кандидатов на Нобелевскую премию. В своей поэзии он также прежде всего рассказчик, событийность почти всегда стоит в ней на первом плане.

Стихи печатаются по изданию: Mein Lied, Leipzig, 1911.

АДА КРИСТЕН (ADA CHRISTEN, 1844–1901)

Кристиана Фредерик родилась в Вене в семье коммерсанта, принимавшего участие в революции 1848 года и безвременно умершего от последствий тюремного заключения. В 15 лет Ада Кристен стала актрисой и пережила все тяготы существования в труппе бродячего театра. В 1864 г. в Венгрии вышла замуж за аристократа фон Бредена, который вскоре умер; средств его хватило ненадолго. Поэзия, которой Ада Кристен до этого занималась как любитель, стала источником средств к существованию. Уже первый сборник ее стихов „Lieder einer Verlorenen“ (1868) поразил читателей свежестью языка и нетривиальным подходом к многим «извечным» темам поэзии. Многие в поэзии Ады Кристен явились для читателей неожиданностью, захватывало чувственностью и откровенностью. Социально-критическими настроениями пронизаны сборники „Aus der Asche“ (1870), „Aus der Tiefe“ (1878). Проза Ады Кристен также имела успех, главным образом из-за своего сенти-

ментального содержания. Это рассказы о рабочих, швеях, прачках, ремесленниках.

Стихи печатаются по изданиям: *Ada Christen. Lieder einer Verlorenen*, Hamburg, ³1873; *Aus der Asche*, Hamburg, 1870; *Aus der Tiefe*, Leipzig–Berlin, 1878.

ЯКОБ ЮЛИУС ДАВИД (*JAKOB JULIUS DAVID*, 1859–1906)

Новеллист, романист, поэт, журналист. Сын мелкого торговца, родился в Моравии, изучал филологию и философию в Вене, занимался репетиторством, работал журналистом, театральным критиком, издавал популярный венский журнал „*Das Neue Wiener Journal*“ (1894–1903). В его романах присутствуют в основном три темы: история Австрии и Германии, жизнь венского общества и моравская деревня. Социально-критический роман „*Am Wege sterben*“ (1900) называют австрийскими «Будденброками». Исповедальная социально окрашенная лирика Давида выдержана в традиционной форме. Мотивы заката западной цивилизации, предчувствия гибели империи определяют тон стихотворений Давида.

Стихи печатаются по изданию: *J. J. David. Gedichte*, Dresden–Leipzig, 1892.

АРТУР ШНИЦЛЕР (*ARTHUR SCHNITZLER*, 1862–1931)

Драматург, прозаик. Сын венского врача и сам врач по профессии. Один из самых известных немецкоязычных писателей конца XIX–начала XX века. Писал психологические пьесы, повести и новеллы, во многих из которых важную роль играют социально-критические мотивы.

В самом начале своей литературной деятельности Шницлер выступил с лирическими стихами, которые печатал под псевдонимом «Анатоль» в венском журнале „*An der schönen blauen Donau*“. Обратившись к драматургии и прозе, он редко возвращался к поэзии. Наиболее интересны стихи Шницлера о Вене, передающие неповторимый колорит этого города, его особую атмосферу, настоящую на лукавом юморе и легкой меланхолии.

Стихи печатаются по изданию: *A. Schnitzler. Frühe Gedichte*, Berlin/West, 1969.

КАРЛ ДАЛЛАГО (CARL DALLAGO, 1869–1949)

Поэт, религиозный философ. Родился в южнотирольском Боцене в семье богатого коммерсанта. Отказавшись от наследства, долгие годы жил на озере Гардазее. В 1910 г. стал в Инсбруке одним из основателей журнала „Brenner“, сыгравшего большую роль в литературной судьбе многих немецких писателей первой половины XX века, например Г. Тракля. После захвата власти в Италии фашистами он переселился в Северный Тироль. Живя почти без контакта с внешним миром, Даллаго полностью посвящает себя философскому и религиозному самоуглублению. Его философские произведения, вышедшие в 30-е годы, оказали влияние на многих австрийских писателей послевоенного поколения.

Стихи печатаются по изданию: C. Dallago. Gedichte, Dresden–Leipzig, 1900.

ФЕЛИКС ДЁРМАН (FELIX DÖRMANN, 1870–1928)

Поэт, критик. Настоящая фамилия – Бидерман (Biedermann). Родился в Вене. Был актером, режиссером, театральным критиком. И стихи его связаны с театром. Считал себя представителем театрального импрессионизма. Как никто из австрийских поэтов начала века отразил в своем творчестве эстетику декаданса. Пример Дёрмана – лишнее доказательство тому, что некрупные поэты порой отражают типичное в определенной художественной эпохе ярче, чем великие, не укладывающиеся в рамки одного литературного течения.

Стихи печатаются по изданию: F. Dörmann. Sensationen, Wien, 1892.

ФРАНЦ БЛЕЙ (FRANZ BLEI, 1871–1942)

Прозаик, критик, поэт, переводчик. Родился в Вене в семье сапожника, ставшего впоследствии крупным предпринимателем. Изучал философию в разных университетах Европы. Уже в начале века Блей становится одним из самых известных немецкоязычных литераторов, его статьи и эссе печатаются в крупнейших немецких и австрийских журналах. Живя с 1900 г. в Мюнхене, Блей издает антологии поэзии и прозы, редактирует несколько литературных журналов, много переводит (до настоящего времени не по-

теряли значимости его переводы из Уитмена, Бодлера, Уайльда, Жида). Пишет также прозу. В 1933 г. Блей покидает Мюнхен, живет в Испании, Италии, Франции и, наконец, эмигрирует в США, где в июле 1942 г. в буквальном смысле слова умер от голода, покинутый и забытый всеми. Поэзия Ф. Блея представляет для нас интерес как один из штрихов к сложному портрету этого писателя, в ней явно видны черты раннего экспрессионизма. Отдельными книгами его стихи вышли лишь в 60-е годы, под редакцией друзей писателя Гютерсло и Шёнвизе: *Schriften in Auswahl*, hrsg. von A. P. Gütersloh, 1960; *Zwischen Orpheus und Don Juan*, hrsg. von E. Schönwiese, 1965.

Стихи печатаются по журнальному изданию: „Die Aktion“, hrsg. von F. Pfemfert, 4 (1914), № 1.

АЛЕКСАНДР РОДА-РОДА (ALEXANDER RODA RODA, 1872–1945)

Настоящее имя Шандор Фридрих Розенфельд. Родился в Словении в семье арендатора. Изучал право в Вене. В 1892–1902 гг. был на военной службе. Во время первой мировой войны приобрел популярность своими военными репортажами. Сотрудничал в мюнхенском «Симплициссимусе» – широко известном тогда сатирическом иллюстрированном еженедельнике. С 1920 г. жил периодически в Мюнхене, в Берлине. В 1938 г. эмигрировал в США. Яркий сатирик, Рода-Рода писал о последних годах дунайской монархии как о комической фазе ее истории. В его книгах дана чрезвычайно пестрая социальная картина империи. Сатира Рода-Рода метка, но не воинственна, ее острота смягчена подкупающим народным юмором. К. Тухольский написал о нем однажды: «Этот человек умеет говорить на всех языках континента: по-немецки, по-бюрократски, по-баварски, по-венски, по-еврейски, по-пруссски, в нос, на языке кокоток... и всякий раз чертовски непринужденно». Любимыми жанрами писателя были сатирическая зарисовка, шванк, анекдот. Огромную известность имела книга „*Von Bienen, Drohungen und Baronen*“ (1908) – сатира на военные круги и буржуазную верхушку «дунайской монархии». Стихи Рода-Рода писал редко, но почти все его вещи сразу становились известными, заучивались наизусть, исполнялись кабареистами.

Стихи печатаются по изданию: *Das große Roda Roda Buch*, Wien–Hamburg, 1949.

170. „*AUF DEM FRIEDHOF ZU GRAZ*“ – Одно из самых популярных австрийских сатирических произведений начала 20-х гг. Здесь несомненно параллель к «Ночному смотру» Цедлица, переключка с ним усиливает сатирическое, а также комическое воздействие вещи.

Radetzky – граф Йозеф Радецкий (1766–1858), легендарный австрийский фельдмаршал. Прославился во время войны против Наполеона в 1813–1814 гг.

171. **Мария Терезия** – Marie Theresie (1717–1780), австрийская эрцгерцогиня с 1740 г.

Франц-Иосиф – Franz Josef I. (1830–1916), австрийский император и король Венгрии с 1848 г. Преобразовал в 1867 г. австрийскую империю в двуединую монархию Австро-Венгрию.

ГЕНРИХ СУЗО ВАЛЬДЕК (HEINRICH SUSO WALDECK, 1873–1943)

Родился в Западной Чехии в семье сельского учителя, выходца из крестьян. В 1900 г. принял сан священника. Служил капелланом в Нижней Австрии и Штирии. Позднее преподавал в Вене, работал редактором на радио. После 1938 г. удалился в монастырь. В 20-е и 30-е гг. Вальдек был центральной фигурой литературного объединения католических писателей „Die Leostube“, свой первый сборник стихов он выпустил лишь в 1927 г. („Die Antlitzgedichte“). Стихи Вальдека несут черты символизма и экспрессионизма. Они полны сострадания к людям, выброшенным за борт жизни, потерпевшим крушение на жизненном пути. Многие из них посвящены религиозным проблемам, главным образом идеям теодицеи, пытающейся преодолеть противоречие между верой в бога и существованием в мире зла.

Стихи печатаются по изданию: H. S. Waldeck. *Dichtungen, Gesammelte Werke*, Bd. 1, Innsbruck–Wien, 1948.

ГУГО фон ГОФМАНСТАЛЬ (HUGO von HOFMANNSTHAL, 1874–1929)

Поэт, драматург. Сын банкира. Среди его предков – пред-

ставители разных народов Австро-Венгерской империи. Изучал в Вене право и романские языки. В 1892 г. опубликовал стихи в журнале „Blätter für die Kunst“, издававшемся Стефаном Георге. В 1906 г. начинается сотрудничество поэта с Рихардом Штраусом. Либретто, написанные им для композитора, – выдающиеся литературные произведения, в которых Гофмансталь стремился к «неразрывной связи поэтических и музыкальных элементов»: „Elektra“ (1908), „Rosenkavalier“ (1910). Последние десятилетия поэт полностью отдает себя театру. В 1917 г. вместе с немецким режиссером М. Рейнхардтом основывает Зальцбургский фестиваль, крупнейший музыкальный праздник в мире. В эти годы он много занимается также эссеистикой, выступает с публичными лекциями.

Небольшое по объему поэтическое творчество Гофмансталя имело для дальнейших путей немецкоязычной поэзии огромное значение. И хотя поэта и называют вождем немецкого неоромантизма, тон и содержание его лирики не позволяют отнести ее ни к одному литературному направлению. Уже в самых ранних стихотворениях Гофмансталь предстает перед нами как тончайший созерцатель природы, как толкователь снов, таинственных процессов творчества, как знаток и целых эпох, и человеческой души. Он полон изумления перед жизнью, возвышенной тоски по непреходящему, благоговения перед загадочностью бесконечно превращающейся материи. В поэзии Гофмансталя выражено чувство вселенской принадлежности, которое коренится не в опыте личных переживаний, а в ощущении непостижимости правящих миром сил.

Стихи печатаются по изданию: Н. v. Hofmannsthal. Die Gesammelten Gedichte, Leipzig, 1907.

Публикуемые стихотворения написаны в 1890–1907 гг. 571. «ПРОЛОГ К КНИГЕ „АНАТОЛЬ“» – пролог к пьесе А. Шницлера „Anatol“ (1893), написанный по просьбе драматурга.

Стихотворения Гофмансталя переводились на русский язык очень мало. Переводы В. Эльснера, С. Тартаковера, Г. Забежинского и А. Зарницына (К. Антипова) прошли практически незамеченными. В России были широко известны лишь лирические драмы Гофмансталя в переводах О. Чюминой и И. Б. Мандельштама.

179, 181. Переводы С. Ошерова «Вселенская тайна» и «Твое лицо» впервые опубликованы в антологии «Западноевропейская поэзия XX века», М., 1977.

181, 183. Переводы А. Зарницына (К. Антипова): «Баллада внешней жизни», «Одни, конечно...» впервые появились в книге «Новые немецкие поэты», Белая Церковь, 1910.

695. Перевод Н. Коробицыной «Баллада о внешней жизни» – в сборнике оригинальных стихотворений Н. Коробицыной.

КАРЛ КРАУС (KARL KRAUS, 1874–1936)

Сын бумажного фабриканта. Родился в Чехии, всю жизнь прожил в Вене. Изучал право, но курс не окончил. Литературную деятельность начал как критик и издатель. В его журнале „Die Fackel“ (1899–1933) впервые опубликовали свои стихи Тракль, Верфель, Ласкер-Шюлер. В первые годы в журнале сотрудничали Ведекинд, Лилиенкрон, Вильгельм Либкнехт, позднее – Краус писал его в одиночку. Краус – один из самых крупных австрийских сатириков. Свой сарказм писатель направлял против коррупции и духовного оппортунизма. Поэзией Краус начал заниматься в студенческие годы. Первые стихи были стихами о природе, о любви. Затем их направленность резко меняется. Писатель обратился к сатирической и иронико-философской поэзии. В этой медитативной лирике значительную роль играет эксперимент со словом. Последнее обстоятельство придает стихам Крауса черты умозрительности, но она компенсируется неумолимой логикой и остроумием.

Стихи печатаются по изданию: „Worte in Versen“ (Werke, hrsg. von H. Fischer, Bd. 7), München, 1959.

198. „MAN FRAGE NICHT...“ – 1933 год Краус, подобно С. Цвейгу и К. Тухольскому, воспринял как закат германской культуры.

199. «ТАНГО» – перевод В. Топорова впервые опубликован в серии БВЛ «Западноевропейская поэзия XX века», М., 1977.

РИХАРД фон ШАУКАЛЬ (*RICHARD von SCHAUKAL*, 1874–1942)

Родился в Моравии. Изучал право в Вене. Состоял на государственной службе в Брно (Брюнн), затем в Вене, занимал высокие посты в правительстве. За несколько недель до падения монархии в 1918 г. получил дворянский титул. В общественной жизни Шаукаль стоял на консервативных позициях. В своем романе „*Leben und Meinungen des Herrn Andreas von Balthesser, eines Dandy und Dilettanten*“ (1907) он осуждает «эпоху массовой культуры» и проповедует образ жизни современного аристократа.

Поэзии Шаукаля свойственны черты сверхутонченной культуры нового времени. Страстная приверженность поэта уходящей красоте носит черты болезненности, обреченности. Произведения Шаукаля принадлежат венскому импрессионизму, в них есть элементы символизма, они несут на себе печать эстетики стиля модерн. Их отличает разнообразие форм и стилей европейского стиха (вплоть до народной песни), изящество исполнения, ювелирная отделка всех стиховых элементов.

Стихи печатаются по изданиям: R. v. Schaukal. *Ausgewählte Gedichte*, Wien, 1924; *Herbsthöhe. Neue Gedichte* (1921–1933), Paderborn, 1933; *Gedichte aus dem Nachlaß*, Wien, 1954.

202. „*BILDNIS EINES SPANISCHEN INFANTEN VON VELASQUEZ*“. – Имеется в виду портрет инфанта Балтасара Карлоса. В настоящее время картина, написанная около 1635 г., находится в коллекции Уолеса в Англии.

204. „*SCHÖNBRUNN*“ – Шёнбрунн, императорский дворец в предместье Вены, где раньше был охотничий замок. Построен архитектором Фишером фон Эрлахом в 1744–1750 гг. Дворец окружен огромным парком во французском стиле XVIII века.

210. „*PIERROT PENDU*“ (*франц.*) – «Повешенный Пьеро». Перевод В. Эльснера „*Pierrot pendu*“ (с. 211) впервые опубликован в книге «Современные немецкие поэты», М., 1913.

576–578. Переводы А. Зарницына (К. Антипова) «Май», «В лесу», «К луне», «Тихая душа», «Весна», «Большие зло-

вещие птицы» впервые опубликованы в книге «Новые немецкие поэты», Белая Церковь, 1910.

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ (RAINER MARIA RILKE, 1875–1926)

Поэт. Сын пражского чиновника. По настоянию родителей был помещен в военное училище, откуда его отчислили по неуспеваемости и слабому здоровью. Затем учился в торговой академии. Позднее изучал историю искусств, литературу и право в Праге, но курса не окончил. С 1896 г. жил в Мюнхене и Берлине. Совершил путешествия в Италию (1899) и Россию (1899 и 1900). В 1900 г. поселяется в колонии художников Ворпсведе под Бременом. С 1902 г. жил в Париже. Вновь много путешествовал. Годы войны провел в Мюнхене и Берлине. Последние семь лет прожил в Швейцарии в подаренном ему друзьями маленьком замке Мюзю.

Жизнь Рильке, одного из крупнейших поэтов XX века, небогата внешними событиями. Живя тихо, без позы, он жаждал лишь одного: сосредоточенности творчества. Начиная с книги „Das Stundenbuch“ (1899–1905) вплоть до последней строчки стихов, собранных в посмертно изданной книге „Spätgedichte“ (1934), Рильке следует своему внутреннему метафизическому опыту. Он стремится к новому познанию предметного мира, который для него является поводом для толкования явлений: он пытается проникнуть в суть вещей и запечатлеть ее в слове. Как никто из европейских поэтов, он достиг универсального охвата духовной жизни человека нашего века. Творчество Рильке выразило и увлеченность нового времени мимолетными впечатлениями, и стремление к самопознанию, и потребность в философских обобщениях. Прорыв в трансцендентность, с одной стороны, и приверженность жизни, открывающая поэту счастье земного существования, — с другой, составляют единое целое рильковской жизни.

Стихи Рильке печатаются по изданию: R. M. Rilke. Sämtliche Werke in 12 Bänden, Frankfurt a. M., 1955–1966.

Переводы из Рильке, помеченные в содержании звездочкой *, печатаются по следующим изданиям: Р. М. Рильке. Лирика, М.—Л., 1965; Р. М. Рильке. Избранная ли-

рика, М., «Молодая гвардия», 1974; Р. М. Рильке. Лирика, М., «Художественная литература», 1976; Р. М. Рильке. Новые стихотворения, М., «Наука», 1977; Р. М. Рильке. Собрание стихов в переводе А. Биска, Одесса, «Омфалос», 1919; А. Биск. Избранное из Р. М. Рильке. Издание второе, Париж, 1959. Перевод Е. Садовского XXI сонета из цикла «Сонеты к Орфею», часть I печатается по фондам ЦГАЛИ: фонд 619, журнал «Октябрь», опись I, е. х. № 3210.

216. „DENN, HERR, DIE GROSSEN STÄDTE SIND...“ – Тема большого города была одной из центральных в искусстве конца XIX – начала XX вв. Тема эта находит яркое отражение в творчестве других крупных австрийских поэтов (см. стихи Вайнхебера и Крамера).

217. «УЖ БАРБАРИСЫ КРАСНЫЕ СОЗРЕЛИ...» – Свое отношение к переводам А. Биска Б. Пастернак выразил в письме (открытке) А. Биску от 24 февраля 1958 года. Приводим текст полностью: «Дорогой Биск, я лежу с приступом страшнейшего неврита правой ноги в больнице. Знакомые носят мне сюда разные книги. Среди них принесли мне сюда Вашего парижского Рильке. Я прежде никогда не видел Ваших переводов. Если бы я знал их раньше, я бы расстался с убеждением, что Рильке еще не знают по-русски и не имеют о нем представления. Самое существенное и неуловимое Вами передано с редкой удачей. Поздравляю Вас со всем тем большим и недостижимым, что включает такая победа». (Публикуется в СССР впервые. Печатается по собственноручной копии А. Биска. Хранится у Е. Витковского.)

222. „EINSAMKEIT“ – Рильке, живший в Париже, воспринимал его не только как город искусства, но и как город одиночества и нищеты.

226. „ABEND IN SKÅNE“ – Skåne – Сконе, область на юге Швеции, где Рильке гостил зимой 1904 г.

232. „DER ÖLBAUM-GARTEN“ – согласно Евангелию, в Гефсиманском саду на Масличной горе Иисус незадолго до казни провел ночь в молитве к Отцу, прося, чтобы минула его «чаша сия»; ему явился ангел, «укрепляя его».

238. „DAS KARUSSELL“ – Jardin du Luxembourg – парк в Париже с детскими площадками.

250. „*SIEHE DIE BLUMEN, DIESE DEM IRDISCHEN TREUEN...*“ – в этом сонете Рильке берет под защиту природу, он против вмешательства в ее судьбу, против попытки «цивилизовать» ее душу.

254. „*GESCHRIEBEN FÜR KARL GRAFEN LANCKORONSKI*“ – Карл граф Ланцкороньский (1848–1933) – австрийский меценат и коллекционер, поэт. Первая строчка взята из его стихотворения.

ТЕОДОР ДОЙБЛЕР (THEODOR DÄUBLER, 1876–1934)

Поэт, прозаик, критик. Родился в Триесте, входившем тогда в состав Австро-Венгерской империи. Поэт воспитывался в доме родителей-немцев с исключительно итальянской прислугой. Среди его домашних учителей были как немцы, так и итальянцы, да и сам многоязыкий Триест воздействовал на поэта. Дойблер долго колебался, какой язык избрать для творчества. В 1898 г. он начал свое основное произведение „*Das Nordlicht*“, которое закончил лишь в 1910 г. Эта фантазмагорическая поэма содержит 3300 стихов. В ней представлены все жанры и формы западноевропейской поэзии: лирическое стихотворение, ода, баллада, стихотворный рассказ и др. В центре повествования стоит обожествление солнца: вся жизнь на земле, а также расцветающее сознание человека есть стремление к солнцу, желание соединиться с ним. После «Северного света» Дойблер писал по преимуществу прозу. Он много путешествовал по городам Европы. Был в Греции, Египте, Малой Азии. Жил в Берлине, Флоренции, Вене – в самых оживленных центрах искусства начала века. Он был вождем и толкователем нового искусства, глашатаем и пропагандистом великих мастеров XX века: Пикассо, Шагала, Клее, Барлаха, Лембрука, Стравинского, Бузони.

Стихи Дойблера представляют собой особое, пока еще не вполне исследованное явление литературы. Любовь к ассонансам, к сквозным цепочкам гласных, слияние чувственного и интеллектуального, вещного и человеческого дало основание критикам назвать его представителем барокко в экспрессионизме.

Стихи печатаются по изданиям: Th. D ä u b l e r. Der sternhelle Weg, Leipzig, 1919; Hymne an Italien, Leipzig, 1919;

Dichtungen und Schriften, München, 1956; Gedichte, Stuttgart, 1965.

589. **Святой Антоний** – Антоний Великий (ок. 250–356), основатель христианского монашества, отшельник.

АНТОН ВИЛЬДГАНС (*ANTON WILDGANS, 1881–1932*)

Поэт, драматург, прозаик. Родился близ Вены в Мёдлинге в семье чиновника. Изучал право. В 1905 г. совершил морское путешествие в Индию и Австралию. Был репетитором, журналистом, адвокатом, судьей. В 20–30-е гг. был директором венского Бургтеатра, преподавал в Венском университете. Писать начал под влиянием Гофманстала и Рильке. В его лирике чувственная предметность соединяется с высокой метафорикой. Книги „Herbstfrühling“ (1909), „Die Sonette an Ead“ (1913) полны сострадания к обездоленным, они создают многообразную картину европейского города с его сложной неустроенной жизнью и социальным неравенством.

Большое место в стихах Вильдганса занимает эротика, вводимая поэтом в его городскую тематику тонко, с чувством меры, но смело, без оглядки на буржуазную мораль. Современные нетрадиционные темы сочетаются у Вильдганса со строгостью формы. Поэт считал, что сильным чувствам необходимы крепкие опоры. Мало кто из австрийских писателей передавал колорит Вены и австрийской провинции столь ярко, как Вильдганс. В этом отношении характерна не только его поэзия, но и драматургия с ее социально-критической окраской.

Стихи печатаются по изданию: A. Wildgans. Sämtliche Werke in 8 Bänden, Bd. 1, Wien–Salzburg, 1948.

591. «ЗАКЛЮЧЕННЫЕ» – стихотворение написано под впечатлением картины Ван Гога «Прогулка заключенных» (1890), навеянной сходной по композиции гравюрой Гюстава Доре. В свою очередь оно дало импульс к созданию Вайнхебером стихотворения «Пенсионеры» (ср. с. 388 и 764).

СТЕФАН ЦВЕЙГ (*STEFAN ZWEIG, 1881–1942*)

Романист, новеллист, автор литературных биографий, драматург, поэт и переводчик, один из самых популярных

немецкоязычных авторов XX века. Выходец из кругов крупной буржуазии. Изучал германистику, романистику и философию в Вене и Берлине. Много путешествовал. Побывал в Африке, Индии, Америке. В 1936 г. эмигрировал в Англию, а в 1940 г. – в Америку, Бразилию, где покончил с собой: Цвейг воспринял фашизм как крах гуманистических идеалов, ради которых он жил и творил.

Русскому читателю, любящему и знающему С. Цвейга, вряд ли известно, что писатель начал со стихов в духе неоромантизма. Писать стихи он продолжал всю жизнь. Как его ранняя, так и поздняя поэзия содержат мало личных мотивов. Ее импрессионистские образы свидетельствуют о даре живописать увиденное, об умении наслаждаться созерцанием окружающего мира.

Стихи печатаются по изданию: „Silberne Saiten“, Berlin, 1901.

277. Перевод Н. Коробицыной «Брюгге» впервые опубликован в сборнике стихотворений поэтессы в Петербурге в 1912 г.

593. Перевод В. Эльснера «Осенняя флейта» впервые опубликован в книге «Современные немецкие поэты», М., 1913.

593. Перевод Г. Петникова «Осенние строфы» впервые опубликован в книге «Запад и Восток», Киев–Харьков, 1935. Переводчик использует здесь неточные, приблизительные рифмы, в то время как у Цвейга форма предельно строга, рифмы богаты, точны, звучны. Переводчик допустил также изменения в ритме. В 20–30-е годы подобные вольности считались «допустимыми»: поэты свободно переносили свою собственную стихотворную технику на поэзию переводимых ими современников. Следует, однако, отметить, что подобная подмена поэтики оригинала шла не от неумения, а от принципов, которые советская переводческая школа послевоенных лет признала ошибочными.

*АЛЬФОНС ПЕТЦОЛЬД (ALFONS PETZOLD,
1882–1923)*

Прозаик, поэт. Родился в Вене, в семье мелкого предпринимателя, переселенца из Средней Германии, вскоре ра-

зорившегося. А. Петцольд вынужден был работать уже в детстве. Сменил много рабочих профессий, рано сблизился с социал-демократическими кругами. Умер от туберкулеза. В романе „Das rauhe Leben“ (1920), имевшем большой успех у широкого круга читателей, с большой художественной силой рассказано о тяжелой доле пролетариев.

Первый поэтический сборник Петцольда „Trotz alledem“ (1910) проникнут революционным пафосом. В своей политической поэзии Петцольд продолжает традиции демократической немецкой поэзии XIX века (Фрейлиграт, Гервег, Веерт). Его по праву считают одним из зачинателей немецкой социалистической литературы. Перу Петцольда принадлежат также многочисленные лирические стихи, посвященные природе, любви, судьбам простых людей. Их отличает естественность интонации, повествовательность, правдивость реалистических образов.

Стихи печатаются по изданиям: „Der heilige Ring. Neue Verse 1912–1913“, Wien–Leipzig, 1914; „Der tausendjährige Rosenstrauch“, Wien, 1950.

МАРТИНА ВИД (MARTINA WIED, 1882–1957)

Родилась в Вене в семье юриста. Изучала историю искусств и философию. В семнадцатилетнем возрасте опубликовала первые стихи. Позднее печаталась в известном инсбрукском журнале „Brenner“, а также в других журналах и антологиях. После аншлюса эмигрировала в Англию. После войны по возвращении в Австрию собрала свои стихи в сборник „Brücken ins Sichtbare“ (1952). Писала также прозу: романы, рассказы, эссе. Начав с импрессионистических неоромантических стихов, М. Вид отдала дань и экспрессионизму, и поэзии в духе *Naturlyrik*. В лучших вещах поэтессы отразилась тревога за судьбы современников, чувство ответственности перед ближними.

Стихи печатаются по изданию: M. Wied. *Brücken ins Sichtbare. Ausgewählte Gedichte 1912–1952*, Innsbruck, 1952.

280. *FÖHNLIED* – **Föhn** – фён, сухой и теплый, часто сильный, ветер, дующий с гор в долины.

МАКС МЕЛЛЬ (MAX MELL, 1882–1971)

Родился в Марбурге (австрийском). Изучал историю искусств и германистику в Вене. В первую мировую войну был офицером. Творчество Мелля связано с христианской культурной традицией. Уже в начале своего пути Мелль обратился к народным истокам, проповедовал наивное практическое христианство, в котором всепонимающая любовь и вера в бога побеждают любое зло. Наряду с рассказами и сказками писал пьесы в духе средневековых религиозных мистерий, разрабатывая в них современные темы. Первые стихи Мелля были посвящены искусству Ренессанса, позднее тематика его стихов становится все проще, он пишет о крестьянской жизни, о целительных силах природы, помогающих современному человеку преодолевать кризисные состояния духа.

Стихи печатаются по изданию: M. Mell. Gedichte (Gesammelte Werke, Bd. 1), Wien, 1962.

ГАНС МЮЛЛЕР (HANS MÜLLER, 1882–1950)

Поэт, драматург. Примыкал к кругу поэтов неоромантического направления. Первая книга стихов – „Die lockende Geige“ (1904). В 30-е годы успехом пользовалась его драма „Der reichste Mann der Welt“. Позднее Мюллер эмигрировал в США, где был сценаристом в Голливуде.

Стихи печатаются по изданию: H. Müller. Die lockende Geige, Wien, 1904.

Переводы И. Анненского из Г. Мюллера, забытого в Австрии поэта, приводятся по причине несомненного высочайшего качества русских текстов. В данном случае оригинал действительно был лишь поводом для создания замечательных, удивляющих своей пластичностью русских стихов. Впервые переводы И. Анненского были напечатаны в книге «Посмертные стихи И. Анненского», Петроград, 1923.

597. **Аретино** – Пьетро Аретино (1492–1556), итальянский писатель эпохи Возрождения.

ФРАНЦ КАФКА (FRANZ KAFKA, 1883–1924)

Родился в Праге. Сын купца. Изучал право, работал в суде, затем в страховой фирме. Проза Кафки – одна из вер-

шин экспрессионизма. По-настоящему оцененная лишь после второй мировой войны, она оказала огромное влияние на современную западную литературу. Автор романов, новелл, Кафка был также мастером малой формы. Некоторые его тексты построены по законам современного свободного стиха. Количество таких текстов невелико, но они представляют интерес, так как в концентрированном виде иллюстрируют черты Кафки-прозаика.

Стихи печатаются по изданию: F. K a f k a. Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa, New York, 1953.

МАКС БРОД (MAX BROD, 1884–1968)

Драматург, прозаик, поэт. Родился в Праге. Изучал право. В течение многих лет состоял на государственной службе. В 20-е гг. входил в правительство Чехословацкой республики. Выступал как театральный и музыкальный критик в „Prager Tageblatt“, пражской газете, широко известной в немецкоязычном мире. В 1939 г. эмигрировал.

Как в прозе, так и в поэзии Брод был приверженцем экспрессионизма. Макс Брод принадлежал к небольшому кругу ближайших друзей Ф. Кафки, чьи произведения он издал после его смерти вопреки воле последнего.

Стихи печатаются по изданию: M. B r o d. Gedichte, Leipzig, 1927.

289. «РАЙСКИЕ РЫБКИ НА ПИСЬМЕННОМ СТОЛЕ» – Перевод А. Луначарского печатается по книге: «Молодая Германия», Харьков, 1925.

БЕРТОЛЬД ФИРТЕЛЬ (BERTHOLD VIERTEL, 1885–1953)

Поэт, драматург, театральный режиссер и критик. Родился в Вене. Изучал историю и философию. В 1911–1914 гг. был одним из ведущих режиссеров венской „Volksbühne“, в 1917 г. редактировал пражскую газету „Prager Tageblatt“, в 1918–1926 гг. был режиссером в Дрездене, Берлине, Дюссельдорфе. В 1928 г. уезжает в Америку, работает в Голливуде. В 1931 г. возвращается в Германию, но в 1934-м эмигрирует: во Францию, затем в Англию и США, где вновь работает в Голливуде. В 1947 г. возвращается в

Вену. Ставит пьесы в театрах Вены, Зальцбурга, Цюриха и Западного Берлина. Как режиссер и театральный критик и эссеист Фиртель много сделал, чтобы экспрессионизм утвердился на театральной сцене. Он был одним из самых выдающихся режиссеров своего времени.

Как поэт Фиртель начал сборником „Die Spur“ (1913). Для этой книги, как и для многих последующих поэтических книг Фиртеля, характерно своеобразное соединение религиозности, чувственности и социальности содержания. Поэт постоянно полемизирует с буржуазными представлениями о ценностях жизни, с традиционными понятиями морали. Стихи, написанные в эмиграции („Fürchte dich nicht“, 1941), представляют собой бескомпромиссный спор с идеологами фашизма. Фиртель придерживался строгих, почти классических форм. Его экспрессионистская эстетика нашла выражение во внутреннем наполнении стиха, в силе его «заряда».

Стихи печатаются по изданиям: *B. Viertel. Sturz der Verdammten. Gedichte, Leipzig, 1919; Die Memnonsäule, Wien, 1957; Geschenke des Lebens, Graz-Wien, 1962.*

ФРАНЦ ТЕОДОР ЧОКОР (FRANZ THEODOR CSOKOR, 1885–1969)

Родился в Вене в семье врача. Изучал историю искусств в Венском университете. Короткий период был заведующим репертуарной частью в одном из театров Петербурга. В первую мировую войну офицер австрийской армии. В 20-е гг. работает в театре им. Раймунда и в Немецком народном театре в Вене. С 1933 г. находился в оппозиции к правому правительству в Австрии. В 1938 г. эмигрировал в Польшу, Румынию и Югославию, где был интернирован итальянскими фашистами на острове Корчула. Был освобожден партизанами. В 1946 г. вернулся в Вену. С 1947 г. Президент австрийского отделения Пен-клуба. Для истории литературы Чокор прежде всего драматург. Его имя стоит в одном ряду с именами крупнейших немецкоязычных драматургов XX века: Брукнера, Цукмайера, Брехта и др. Поэзия Чокора менее известна. Впервые он выступил со стихами как экспрессионист: сборники „Die Gewalten“ (1912), „Der Dolch und die Wunde“ (1918). Заметным явлением в литературной жизни Австрии стал сборник, вклю-

чивший стихи последних двух десятилетий: „Das schwarze Schiff“ (1947). В лирике Чокора в большей степени, чем в драматургии, отразилась его личная одиссея. Стихи, пронесенные сквозь нечеловеческие страдания, стали исповедью писателя. Вместе с созданием баллад на темы древних мифов и на темы истории, вместе с напряженной работой над полными апокалиптических видений стихотворениями 20-х и 30-х гг. в поэте зрело мужественное противостояние ударам жестокой судьбы („Männergedichte“, 1947). К концу творческого пути оно нашло выражение в мудрой тишине и созерцании вечного в цикле стихов „Zueignung an Ewiges“.

Стихи печатаются по изданию: „Immer ist Anfang“, Innsbruck, 1952.

292. „DAS SCHWARZE SCHIFF“ – Стихотворение написано в Варшаве в 1938 г. Поэт уподобляет эмиграцию черному кораблю, уносящему его сквозь годы в неведомую даль, к чужим берегам.

ФЕЛИКС БРАУН (FELIX BRAUN, 1885–1973)

Родился в Вене, изучал философию, литературу и историю искусств. Много лет (до 1923 г.) жил в Берлине. С 1928 по 1938 год жил и преподавал немецкую литературу в университетах Падуи и Палермо. В 1939 г. эмигрировал в Англию, где также преподавал немецкую литературу. В 1951 г. возвратился в Вену.

На Брауна большое влияние оказал Гофмансталь, с которым он был дружен. Один из характернейших представителей старой культуры Австрии, ее неоромантизма и неоклассицизма. Писал драмы на религиозные и исторические темы, а также романы, среди которых наиболее интересен „Agnes Altkirchner“ (1927) о последнем периоде дунайской монархии.

В своей поэзии Браун – последователь Рильке и Гофмансталя. Мир в его лирике, однако, предстает перед нами обозначенный лишь контурно, в текуче-нежных образах. Мечта, сновидение были для Брауна реальной реальной жизни. В сновиденьях и красота, и ясность. Они уводят от хаоса, суеты, указывают путь в другую, высшую жизнь: „Wir wollen in den Träumen heimisch werden“, – писал поэт.

Стихи печатаются по изданию: „Viola d'amore“, Salzburg, 1953.

ГЕРМАН БРОХ (HERMANN BROCH, 1886–1951)

Родился в Вене в семье текстильного фабриканта. Получил образование инженера. Занимался модернизацией ткацких станков. С 1908 по 1927 год руководил фирмой отца, был одним из ведущих членов Совета австрийских предпринимателей, где ведал вопросами рабочей занятости; в 1928 г., оставив предпринимательскую деятельность, стал изучать математику, социологию, философию, психологию. В 1938 г. эмигрировал в США. В 1950 г. стал профессором Йейльского университета. Известен прозой, написанной под влиянием Джойса и Кафки, а также теоретическими работами по вопросам культуры. В 1951 г. после выхода в свет романа „Die Schuldlosen“ кандидатура Броча была выдвинута на соискание Нобелевской премии. Неожиданная смерть помешала присуждению премии.

Стихи Броч писал с юных лет. Его поэзию отличает исключительная герметичность, особенно в начальный период творчества. В более поздние годы эта чисто интеллектуальная лирика становится доступней для восприятия, образы выпуклей. Тема человеческого пробуждения от духовной спячки – основная тема Броча-поэта: даже смерть, сопровождающая человека в жизни, призвана напоминать ему о высокой цели земного существования. Мотив этот присутствует в очень многих чрезвычайно многообразных в жанровом отношении стихах писателя – от эпиграммы до элегии.

Стихи печатаются по изданию: H. Broch. Gedichte (Gesammelte Werke, Bd. 1), Zürich, 1953.

АЛЬБЕРТ ЭРЕНШТЕЙН (ALBERT EHRENSTEIN, 1886–1950)

Родился в Вене. Происходил из мелкобуржуазной среды. Изучал историю и философию. Поэтический талант открыл в Эренштейне-студенте Карл Краус, опубликовавший в 1910 г. его первые стихи в своем журнале «Факел». Эренштейн принадлежал к кругу авторов берлинского журнала „Sturm“, объединявшего экспрессионистов. Живя с 1911 г. в Берлине, участвовал в многочисленных авангар-

дистских изданиях. В годы первой мировой войны выступил с антивоенными стихами. В 20-е гг. путешествовал по Европе, Африке, Ближнему Востоку, Китаю. Эмигрировал вначале в Швейцарию, затем в Нью-Йорк, где и умер после тяжелой болезни в приюте для бедных.

Лучшее из написанного А. Эренштейном – сборник стихотворений „Der Mensch schreit“ (1916). Горечь и печаль разлиты на страницах этой книги. Экспрессивным, свободным стихом поэт выразил отчаяние человека перед лицом мирового хаоса. Апокалиптические образы, исторгнутые оскорбленной, раненой душой, составляют главное содержание всех поэтических книг Эренштейна.

Стихи печатаются по изданию: А. Ehrenstein. Gedichte und Prosa, Neuwied am Rhein–Berlin-Spandau, 1961.

303. Перевод М. Зенкевича «Голос о Варваропах» впервые опубликован в книге «Молодая Германия», Харьков, 1925.

604. Перевод Д. Выгодского «Полоненные ночью» напечатан в том же издании.

ГЕОРГ ТРАКЛЬ (GEORG TRAKL, 1887–1914)

Родился в Зальцбурге в семье торговца скобяными товарами. Учился в гимназии, но был отчислен после 7-го класса по неуспеваемости. Изучал фармакологию в Вене. С 1912 г. работал аптекарем в Инсбруке. В 1912–1914 гг. Тракль знакомится с К. Краусом, О. Кокошкой, Э. Ласкер-Шюлер. Это годы наибольшей поэтической активности поэта. В августе 1914 г. был призван в армию в чине лейтенанта медицинской службы. Военные впечатления привели его на грань безумия. Он умер в лазарете, приняв слишком большую дозу наркотика. Большинство биографов Тракля считает, что он покончил с собой.

При жизни выпустил единственный сборник „Gedichte“ (1913). Второй сборник, „Sebastian im Traum“ (1915), успел прочесть лишь в корректуре. Был практически неизвестен даже в поэтических кругах. Слава Тракля началась сразу после его смерти. По мере распространения экспрессионизма становилось ясно, что Тракль наряду с Г. Геймом стоит у его истоков. Он как бы отделяет эпоху импрессионизма от последующего всеобъемлющего движения новой немецкой поэзии. Как в первых, так и в поздних вещах Тра-

кля заметны черты влияния Бодлера, Рембо, Гёльдерлина, Георге, Метерлинка. Тракль оригинален в каждой своей строке. Нельзя порой многое в поэтике Тракля объяснить логически, стихи его понимаются как самовыражение страстной страдающей души в ее стремлении к прекрасному абсолюту. Печаль, отчаяние, отвращение к прекрасной суете, к миру, основанному на эгоизме и насилии, предчувствие мировой катастрофы – все это сливается у Тракля в фантастические видения, выраженные необычайным по красоте, неоднозначным, загадочным языком. Через все произведения поэта проходит тоска по утраченной красоте, по жизни, наполненной великим, ведомым поэту смыслом.

Стихи печатаются по изданию: G. T r a k l. Dichtungen und Briefe, Salzburg, 1969.

313. Перевод К. Богатырева «Распад» взят из архива поэта. Публикуется впервые.

325. Перевод Д. Выгодского «Элис» впервые опубликован в книге «Молодая Германия», Харьков, 1925.

АЛЬБЕРТ ПАРИС ГЮТЕРСЛО (ALBERT PARIS GÜTERSLOH, 1887–1973)

Поэт, прозаик, живописец. Настоящее имя Альберт Конрад Китрейбер. Родился в Вене, учился в монастырской школе, был актером у М. Рейнхардта, брал уроки живописи у Густава Климта. С 1911 г. вместе с Блеем издавал журнал „Die Rettung“, в 1919 г. был художником-декоратором в Мюнхене. С 1922 по 1923 год Гютерсло – профессор школы прикладного искусства в Вене. В 1939 г. нацисты запрещают ему любой род художественной деятельности. В 1945 г. Гютерсло возглавил кафедру живописи в Академии художеств в Вене, позднее стал ее ректором. Литературой занимался в свободное от живописи время. Однако «хобби» живописца было суждено стать одной из вершин австрийской прозы. Ее характерные черты свойственны также и поэзии Гютерсло. В последней он пытался воплотить не личные чувства, а, по его словам, «объективные, общезначимые идеи». При помощи самоиронии, сарказма, лукавой клоунады, абсурдных положений писатель стремился отобразить конфликт между художником и

обществом. Он был убежден, что лишь искусство способно преодолеть противоречия жизни, быть мостом через бездну между любовью и смертью.

Стихи печатаются по изданиям: A. P. Gütersloh. Musik zu einem Lebenslauf. Gedichte, Wien, 1957; © Treppe ohne Haus, Eisenstadt, 1974.

ПАУЛА фон ПРЕРАДОВИЧ (PAULA von PRERADOVIĆ, 1887–1951)

Родилась в Вене. Ее дед, хорватский поэт Петар Прерадович служил в австрийской армии. Отец был морским офицером. Часть детства поэтессы прошла в Далмации. Затем она воспитывалась в английском пансионе благородных девиц в Санкт-Пельтене (Нижняя Австрия). В 20-е гг. жила в Вене.

Лирика Прерадович строга и проста по форме. Пейзажи родной природы, воспоминания о детстве и юности давали Прерадович основной материал в первые два десятилетия ее творчества („Dalmatinische Sonette“, 1933). Глубоким чувством родины, христианским состраданием, верой в человека пронизаны стихи книги „Lob Gottes im Gebirge“ (1936). В сборник стихотворений „Ritter, Tod und Teufel“ (1946) вошли впечатления поэтессы от войны и гитлеровского режима, который она страстно ненавидела. П. Прерадович – автор слов государственного гимна Австрийской республики (музыка В. А. Моцарта).

Стихи печатаются по изданию: P. von Preradović. Schicksalsland, Innsbruck, 1952.

АЛЬМА ИОГАННА КЁНИГ (ALMA JOHANNA KOENIG, 1887–1942?)

Родилась в Праге в офицерской семье. Из-за болезни не смогла закончить гимназию. Образование свое завершила самостоятельно. Выйдя замуж за дипломата, получила доступ в высшие круги австрийского общества. В 1925–1930 гг. жила в Алжире. В 1933 г. связала свою судьбу с молодым поэтом Яном Таушинским, ставшим впоследствии издателем ее произведений. В 1942 г. была арестована нацистами и депортирована в концлагерь под Минском. Дальнейшая ее судьба неизвестна.

Первый сборник стихотворений Кёниг „Die Windsbraut“

вышел в 1918 г. Как и следующий, „Die Lieder der Fausta“ (1922), он включал стихи, интимное содержание которых скрывалось за античными темами и образами. Книга „Liebesgedichte“ (1930) выразила отчаяние поэтессы, не находившей в окружающей жизни места своим идеалам. Все написанное поэтессой в 30-е годы, в том числе и знаменитые „Sonette für Jan“, вышло после ее смерти.

Стихи печатаются по изданиям: A. J. K o e n i g. Die Lieder der Fausta, Wien, 1922; Sonette für Jan, Wien, 1946; Gute Liebe – böse Liebe, Graz, 1960.

РИХАРД БИЛЛИНГЕР (RICHARD BILLINGER, 1890–1965)

Родился в Верхней Австрии, в семье зажиточного крестьянина. Изучал германистику в Инсбруке, Киле, Вене. Во время первой мировой войны жил в деревне, с 1920 г. – в Вене, Берлине, Мюнхене. После окончания второй мировой войны вернулся в Верхнюю Австрию, где прожил до конца жизни.

Под влиянием экспрессионизма Биллингер выработал свой особый стиль, существенными чертами которого являлись деревенский пейзаж и реалии крестьянского быта. Но по тематике своих произведений Биллингер далек от экспрессионизма как направления в целом. Многие в его произведениях, проповедующих благоговейное отношение к природе, носят характер языческого мистицизма. Лучшие стихи Биллингера собраны в сборнике „Sichel am Himmel“ (1931). Биллингер писал также прозу и пьесы, одна из которых – „Rahnnacht“ (1931) – имела сенсационный успех.

Стихи печатаются по изданию: R. Billinger. Über die Äcker. Gedichte, Berlin, 1923.

ФРАНЦ ВЕРФЕЛЬ (FRANZ WERFEL, 1890–1945)

Родился в Праге в семье коммерсанта. Учился в Лейпциге, Мюнхене, Гамбурге. Вместе с В. Газенклевером и К. Пинтусом выпускал альманах „Der jüngste Tag“ (1913–1921), сыгравший большую роль в развитии литературы 1910-х гг. В 1915–1917 гг. Верфель служил в австрийской армии. Принял активное участие в революционных событиях 1918 года. В 20-е гг. много путешествовал.

В 1938 г. эмигрировал во Францию, затем в США. Писательская судьба Ф. Верфеля сложилась очень удачно. Особенно большой популярностью он достиг как романист. В первых экспрессионистских сборниках стихов Верфеля „Weltfreund“ (1911), „Wir sind“ (1913) перед нами лирический герой, стремящийся преодолеть индивидуализм, разрушить перегородки, отделяющие человека от человека: но он одинок, его попытки общения с миром тщетны, он пытается найти выход в богоискательстве, но это не вносит в его душу гармонии с окружающим миром. В ранних стихах Верфеля господствует высокий экзальтированный стиль. Со временем его поэзия становится более психологичной, менее отвлеченной. В ней появляется простота, песенность. Перед самой смертью Верфель попросил жену предпослать задуманному им сборнику избранных стихотворений следующую эпитафию в античном духе: „Prag gebar mich. Wien zog mich ans Herz. Wo heute ich liege, werd ich es wissen? Ich sang Menschengeschicke und Gott“.

Стихи печатаются по изданию: F. Werfel. Gedichte. 1908–1945, Stockholm, 1953.

355. Перевод В. Нейштадта «Толстяк в зеркале» впервые опубликован в книге «Чужая лира», Москва–Петербург, «Круг», 1923.

Переводы Д. Выгодского «Война» (с. 357), Б. Пастернака «Читателю» и «На земле ведь чужеземцы все мы» печатаются по сборнику «Молодая Германия», Харьков, 1925.

361. Стихотворение «Читателю» в переводе Пастернака впервые напечатано в журнале «Современный Запад», 1923, № 4.

367. Стихотворение «На земле ведь чужеземцы все мы» – в журнале «Звезда», 1924, № 4.

615. Перевод В. Парнаха «Революционный клич» впервые опубликован в альманахе «Новинки Запада», № 1, Москва–Ленинград, 1925.

ГУГО ЗОННЕНШЕЙН (HUGO SONNENSCHNEIN, 1890–1953)

Родился в Моравии. Печатался большей частью под псевдонимом Bruder Sonka. Принадлежал к кругу коммунисти-

чески настроенных писателей Австрии. Некоторое время придерживался крайне левых взглядов. В поэзии начал в духе традиций, затем примкнул к импрессионизму, к левому его крылу, призывавшему к решительным революционным действиям. В период фашистской диктатуры Зонненшейн был заключен в лагерь смерти Терезин. После освобождения жил в Чехословакии.

Стихи печатаются по изданию: Н. Sonnenschein. Erde auf Erden, Wien-Prag-Leipzig, 1920.

ГАНС ЛЕЙФГЕЛЬМ (HANS LEIFHELM, 1891–1947)

Поэт, прозаик. Родился в семье бондаря в Мёнхенгладбахе (Рейнланд в Германии). Многие годы провел в Австрии, которую считал своей второй родиной. Последнее десятилетие жизни Лейфгельма прошло в Италии, в «провинции его души». В университетах Палермо, Рима и Падуи он был профессором немецкого языка и литературы. Его называли «духовным братом» Дросте-Хюльсхоф. Он действительно шел в русле традиции, связанной с ее именем. Поэт искал гармонии между природой и творимой человеком жизнью. В его приверженности природе, выраженной очень эмоциональным, ритмически богатым стихом, было что-то космическое, устремленное в вечность. Проза Лейфгельма целиком связана с Австрией, с ее природой, селениями, отдаленными городками.

Стихи печатаются по изданиям: Н. Leifhelm. Der Pfauenschrei. Gedichte, Salzburg, 1962; Sämtliche Gedichte, Salzburg, 1955.

ЙОЗЕФ ВАЙНХЕБЕР (JOSEF WEINHEBER, 1892–1945)

Сын скотопромышленника, Вайнхебер рано осиротел и воспитывался в детском доме в Мёдлинге. В юности работал в мясной лавке у одной из своих теток, потом долго служил на почте. Много путешествовал по Германии, Швейцарии, Италии, Франции. С 1936 г. уединенно жил в своем доме в Кирхштеттене. Покончил с собой в апреле 1945 г., приняв сильную дозу наркотика. В конце 60-х гг. в Кирхштеттене поселяется выдающийся английский поэт У. Х. Оден, посвятивший памяти Вайнхебера многие свои стихи и похороненный рядом с ним.

В юности на поэта сильно повлиял Тракль, но уже в книгах

„Der einsame Mensch“ (1920) и „Von beiden Ufern“ (1923) Вайнхебер полностью отошел от экспрессионизма. Вайнхебер развивал свою концепцию «чистоты» поэтического искусства, выработал свой особый стиль. Вайнхебер воспевал героическое начало по античному образцу и в этом искал выхода из противоречий эпохи. В его мировоззрении античные и классицистские влияния соединились с глубоко национальным восприятием жизни („Adel und Untergang“, 1934). Наряду с патетическими гимнами, одами, элегиями он писал стихи в стиле народных песен как на литературном немецком, так и на родном венском диалекте. Пауль Хиндемит под впечатлением смерти поэта написал на его тексты 12 мадригалов.

Стихи печатаются по изданию: J. Weinheber. *Sämtliche Werke*, Salzburg, 1953.

380. „*PERIPHERIE*“ – стихотворение несет следы тематической связи с рильковским „Das ist dort, wo die letzten Hütten sind...“ («Где тянется последний ряд лачуг...») – см. с. 214, 215).

388. „*DIE PENSIONISTEN*“ – На создание этого стихотворения повлияли стихотворение Вильдганса «Заклученные» и одноименная картина Ван Гога (см. с. 591 и прим.).

ГАНС КАЛЬТНЕКЕР (HANS KALTNEKER, 1895–1919)

Родился в Банате (теперь в Румынии) в семье генерал-майора австрийской армии. Тяжелое заболевание (туберкулез) не позволило ему закончить школу. Долгое время он лечился в Давосе, где познакомился с немецким писателем-экспрессионистом Клубундом, поддержавшим необычайно талантливого юношу.

Необширное творчество Кальтнекера исключительно последовательно в своем развитии. Его поэзию можно назвать экспрессионистской, хотя в ней используется строгая сонетная форма. В творчестве Кальтнекера традиция и новаторство не противоречат друг другу, а соединяются в его поэтическом мышлении в единое целое.

Стихи публикуются по изданию: H. Kaltneker. *Dichtungen und Dramen*, Berlin–Wien–Leipzig, 1925.

**ЭРНСТ ВАЛЬДИНГЕР (ERNST WALDINGER,
1896–1970)**

Родился в Вене в семье промышленника. После окончания гимназии в 1915 г. попал на фронт, был тяжело ранен, с 1917 г. изучал в Вене германистику. Был близок к рабочему движению. В 1922–1936 гг. работал редактором в издательстве, выпускавшем научную литературу. С 1934 г. вместе с Т. Крамером, О. М. Градом и другими известными писателями входил в правление «Социалистического объединения австрийских писателей». В 1938 г. эмигрировал в США. Сменил там много профессий. С 1947 г. преподавал в одном из колледжей немецкую литературу. Стихи начал писать в 1913 г. Экспрессионизм мало повлиял на Вальдингера. В книге стихов „Die Kuppel“ (1934) он скорбит о недостижимости античных образцов, об Аркадии, ушедшей навеки. Суете больших городов, всевластной технике он противопоставляет нетронутый мир природы. В эмигрантских стихах („Die kühlen Bauernstuben“, 1946), полных тоски по детству, по родине, отражена трагедия поколения австрийских и немецких эмигрантов. Даже в самых, казалось бы, далеких от жизни стихах Вальдингера ощущается пульс эпохи, ее болевой накал. Вальдингер традиционен, но, как поэт новой поэтической эпохи, он пытается «до конца» выявить возможности старых форм.

Стихи печатаются по изданиям: „Der Gemmenschneider“, Wien, 1937; „Die kühlen Bauernstuben“, Wien, 1946.

**ИОГАННЕС УРЦИДИЛЬ (JOHANNES URZIDIL,
1896–1970)**

Родился в Праге в семье железнодорожного служащего. Изучал германистику, славистику, историю искусств. Активно сотрудничал в экспрессионистских журналах. С 1922 по 1933 год работал сотрудником германского посольства в Праге. В 1939 г. эмигрировал в Англию, в 1940 г. – в США, где работал инкрустатором по кожаным художественным изделиям. Умер в Риме.

Урцидиль начинал как экспрессионист. Наиболее зрелые вещи написаны им после второй мировой войны: „Die verlorene Geliebte“ (1957), „Prager Triptichon“ (1960), „Das Elefantenblatt“ (1962). В ранних произведениях Урцидила до-

минирует эпатаж отживших, по мнению писателя, свой век традиций. Но со временем писатель возвращается к классической манере письма, задумывается над тем, что помогает традиции выстоять в любых бурях века, пытается выявить непреходящие ценности старых форм, понять их «загадку».

Поэтическое наследие И. Урцидила невелико, но стихи его отличаются необычайной музыкальностью и красотой языка.

Стихи печатаются по изданию: „Memnonsäule“, Wien, 1957.

ТЕОДОР КРАМЕР (THEODOR KRAMER, 1897–1958)

Родился в селении Нидерхолабрунн (Нижняя Австрия) в семье сельского врача. В 1915 г. был отправлен на восточный фронт, в 1916-м тяжело ранен. В 1921 г. ушел с юридического факультета, не закончив курса. Работал продавцом в книжной лавке, маляром, бродяжничал. С выходом в свет первой книги стихов „Die Gaunerzinke“ (1929) к нему приходит слава. В 1939 г. Крамер эмигрирует в Англию, где его почти на год интернируют. Выйдя из лагеря, бедствует, пока не устраивается библиотекарем в один из колледжей. В 1957 г., незадолго до смерти, возвращается в Австрию.

Т. Крамер, без сомнения, один из самых крупных немецкоязычных поэтов нашего столетия. К сожалению, до сих пор не издан «полный» Крамер. В архиве поэта 12 000 стихотворений. Свет увидело не более тысячи. В настоящее время предпринимается трехтомное издание сочинений поэта.

Т. Крамер создал собственный тип немецкой баллады (влияние Ф. Вийона, Ф. Ведекинда и Б. Брехта не сказалось на их оригинальности). Короткие, чаще всего в три восьмистишия, порою усиленные рефреном, баллады эти о тех, «кто не споеет о себе», об обездоленных и нищих, об отчаявшихся. Жанр так называемой криминальной баллады Крамер развил до логической завершенности. Глубоко человеческая меланхолия пронизывает их. Трудно не поддаться жизненной правде их печали. Воздействие поэзии Крамера испытали на себе Г. Гессе, Т. Манн, К. Цукмайер. Предисловие к первому тому сочинений поэта написал со-

временник Крамера – бывший канцлер Австрии Бруно Крайский.

Стихи публикуются по изданиям: Th. K r a m e r. Die Gaunerzinke, Frankfurt a. M., 1929; Wir lagen in Wolhynien im Morast, Wien, 1931; Kalendarium, Berlin, 1930; Mit der Ziehharmonika, Wien, 1936; Verbannt aus Österreich, London, 1943; Wien 1938 – Die grünen Kader, Wien, 1946; Lob der Verzweiflung, Wien – München, 1972.

400. „DIE GAUNERZINKE“. «УСЛОВНЫЙ ЗНАК» – Заголовок буквально означает: воровская тайнопись. Стихотворение вызвало бурную реакцию одного из идеологов нацизма А. Розенберга. На страницах нацистской прессы он обрушился на Крамера с бранью и угрозами (1929).

628. «ВЕНА. ПРАЗДНИК ТЕЛА ХРИСТОВА. 1939» – Традиционный католический праздник, отмечается во второй четверг после Троицы. Торжественное шествие движется от собора св. Стефана к набережной Дуная.

РУДОЛЬФ ХЕНЦ (RUDOLF HENZ, род. 1897)

Родился в Нижней Австрии в семье сельского учителя. В 1915–1918 гг. воевал, после войны изучал германистику и историю искусств в Вене. Занимался журналистикой, работал научным сотрудником в министерстве просвещения. В 1938 г. был отстранен от работы нацистами. В годы второй мировой войны реставрировал витражи в Клостернойбурге (Нижняя Австрия). После войны, начиная с 1945 г., руководил подготовкой программ Австрийского радио. Основал журнал „Literatur und Kritik“, ставший со временем главным литературно-художественным журналом Австрии. Р. Хенц – его бессменный главный редактор.

Хенц известен читателю главным образом как прозаик. Поэзия занимает в его творчестве скромное место. Стихи Хенца посвящены в основном социальным проблемам, трактуемым поэтом в религиозно-мистическом аспекте.

Стихи печатаются по изданию: R. H e n z. Wort in der Zeit. Gedichte aus zwei Jahrzehnten, Wien, 1945.

420. **Klosterneuburg** – Клостернойбург, город близ Вены. Известен своим монастырем XII века, в особенности церковью, где находится знаменитый Верденский алтарь.

ЙОЗЕФ ЛЕЙТГЕБ (JOSEF LEITGEB, 1897–1952)

Родился в Южном Тироле в семье служащего железной дороги. Вырос в Инсбруке. В 14 лет потерял родителей. Со школьной скамьи ушел на фронт. После войны был сельским учителем в Тироле. Позднее изучал право. С 1928 г. – преподаватель школы в Инсбруке, профессор. В 1939 г. был призван в армию. С 1945 г. занимал должность инспектора инсбрукских школ.

В своих эстетических и этических воззрениях Й. Лейтгеб – наследник А. Штифтера. Творчеству Лейтгеба присуща углубленная созерцательность, соединяющая в себе непосредственность впечатления и рассудочность. Часто Й. Лейтгеба сравнивают с Г. Траклем; их объединяет та же музыка вечерних предчувствий, особая цветовая гамма, стремление постичь загадку жизни и смерти. Но Лейтгеба отличает от Тракля утешительная врачующая интонация, светлое мировосприятие, ясность и определенность поэтических образов.

Стихи печатаются по изданию: J. L e i t g e b. Sämtliche Gedichte, Salzburg, 1953.

АЛЕКСАНДР ЛЕРНЕТ-ХОЛЕНИЯ (ALEXANDER LERNET-HOLENIA, 1897–1976)

Родился в Вене в семье морского офицера, предки которого переселились в Каринтию из Франции. Сам Лёрнет-Холения считал себя незаконнорожденным отпрыском Габсбургов. В первую мировую войну был офицером. После войны жил на литературный заработок. Много лет прожил в Южной Америке. В 1939 г., вернувшись в Австрию, был призван в армию. После тяжелого ранения работал в кинопрокате. С 1945 г. принимает активнейшее участие в литературной жизни Австрии. Выпускает книги стихов, пишет для театра, переводит с итальянского и испанского, в журналах и газетах появляются его эссе на темы культуры. Однако наибольшим успехом до сих пор пользуются его ранние пьесы („Olla potrida“, 1927; „Die nächtliche Hochzeit“, 1929) и романы („Die Abenteuer eines jungen Herrn in Polen“, 1931; „Die Standarte“, 1934; „Der Baron Bagge“, 1936, и др.).

В ранних стихах Лернет-Холении ощущается влияние Рильке, которое он быстро преодолел. Характерной для

него была увлеченность античными и средневековыми формами стиха. В своих поэтических произведениях на исторические и мифологические темы он часто использовал архаичную метрику. Тем не менее в этих стихах видна актуальность. Своим символическим планом они обращены к современникам.

Стихи печатаются по изданию: A. Lernet-Holenia. Die Trophae, Hamburg–Wien, 1956, Bd. I.

428. „Linos“ – Лин, по древнегреческому сказанию, сын Аполлона и аргивской царевны, замечательный музыкант. Дерзнул состязаться в игре на кифаре с Аполлоном, за что был убит им. В честь Лина слагались плачевные песни.

РУДОЛЬФ ФЕЛЬМАЙЕР (RUDOLF FELMAYER, 1897–1970)

Родился в Вене. Окончил торговую академию и много лет служил в банке. После 1945 г. работал в министерстве просвещения и на радио. Сыграл важнейшую роль в «собрании в единое целое» и издании австрийской поэзии периода нацистской оккупации, прежде всего тех поэтов, которые погибли в те годы или умерли в эмиграции, а также в издании произведений молодых поэтов послевоенного поколения. Более 150 наименований вышло в одной только основанной Фельмайером серии «Новая поэзия Австрии» („Neue Dichtung aus Österreich“), непериодически издавалась им антология «Дверь в дверь» („Tür an Tür“, 1950, 1951, 1955, 1970); он выпустил в 1955 г. наиболее фундаментальную антологию австрийской антифашистской поэзии «Твое сердце – твоя родина» („Dein Herz ist deine Heimat“), по сей день не утратившую своей ценности. В антологиях и сборниках Фельмайера впервые опубликовались многие из тех австрийских поэтов, чье имя позднее заняло в литературе почетное место.

Уже первая книга поэта „Die stillen Götter“ (1936) привлекла внимание читателей нетривиальным метафорическим языком и жанровым разнообразием. Настоящий успех пришел к Фельмайеру после сборника „Östliche Seele im Tode“ (1945), стихи которого созданы под серьезным влиянием дальневосточной поэзии. Сборник „Wiener Nekrolog“ (1962) целиком – за исключением публикуемого нами «поэтического предисловия» – написан на венском диалекте.

Остальные стихотворения печатаются по изданиям: R. Felmayr. *Repetenten des Lebens*. Graz–Wien, 1936; *Landschaft des Alters*, Wien, 1970.

ВИЛЬГЕЛЬМ САБО (*WILHELM SZABO*, род. 1901)

Найденыш, В. Сабо был воспитан в крестьянской семье на юге Австрии. Был учеником столяра, закончил учительскую семинарию. В 1921–1938 гг. был учителем в деревнях и местечках. В 1938 г. нацисты запретили Сабо преподавание, и до конца войны он работал лесорубом. С 1945 г. вернулся в школу, многие годы был директором школы в одной из деревень в Нижней Австрии.

Поэзия Сабо связана с его родиной, с теми местами, где ему пришлось жить и работать. Поначалу в его произведениях чувствуется неприятие сельской жизни, но постепенно он открывает все больше и больше положительного в неспешности сельских будней. Сабо, как говорит он сам, пишет «для бедных и безымянных». Он нисколько не идеализирует деревню, но ценит ее тишину, полагая, что духовное начало проявляется в человеке лишь в уединении. Среди авторов этого типа, а таких в Австрии немало (это так называемая *heimatbezogene Literatur*), он, без сомнения, самый яркий, выходящий за региональные рамки. Вайнхебер назвал поэзию Сабо «серьезной, трудной и очень правдивой». Как переводчик Сабо известен книгой переводов из Сергея Есенина „*Trauer der Felder*“ (1970).

Стихи печатаются по изданиям: W. Szabo. *Herz in der Kelter. Gedichte*, Salzburg, 1954; *Landnacht*, Wien–München, 1965.

436. Стихотворение „*Autofriedhof*“ печатается с любезного разрешения издательства „*Bergland Verlag*“ (сборник: © „*Schallgrenze*“, Wien, 1974).

ХУГО ХУППЕРТ (*HUGO HUPPERT*, 1902–1982)

Родился в австрийской Силезии (теперь ПНР). Учился в Вене, Париже, Марселе. Член КПА с 1921 г. С 1928 по 1945 год жил как политэмигрант в СССР, работал в Институте Маркса–Энгельса, учился на литературном факультете Института красной профессуры, печатался в советских немецкоязычных изданиях. В 1945 г. возвратился в Австрию. В 1945–1956 гг. вновь жил в СССР. Затем вернулся

в Австрию и до конца жизни занимался литературной деятельностью.

Хупперт прославился как переводчик Маяковского. Ему принадлежат также прекрасные переводы «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели и «Василия Теркина» А. Твардовского. Х. Хупперт — один из наиболее известных писателей социалистического направления.

Стихи печатаются по изданиям: Н. H u p p e r t. Jahreszeiten, Wien, 1951; Georgischer Wanderstab, Berlin, 1954; Landauf, landab, Leipzig, 1962; Logarithmus der Freude, Berlin, 1968; Andre Bewandtnis, Halle/Saale, 1970; Poesiealbum 41, Berlin, 1971.

ГВИДО ЦЕРНАТТО (GUIDO ZERNATTO, 1903–1943)

Родился в Каринтии. Его итальянские предки поселились в Австрии в начале XIX в.; родным языком родителей был немецкий. Цернатто получил юридическое образование в Вене. В 1934 г. он стал вице-президентом государственного книжного издательства. В 1936 г. его назначают министром в правительстве Шушнигга (он был самым молодым министром за всю историю Австрии). Цернатто занимал в нем пост генерального секретаря Отечественного фронта. В 1938 г. вместе с семьей бежал в Париж, позднее, через Португалию, — в США. С 1941 г. читал курс национальной политики в Фордхэмском университете в Нью-Йорке. Много сделал для объединения австрийских эмигрантских групп в их борьбе с фашизмом.

Стихи Цернатто написаны частью до периода активной политической деятельности, частью в годы эмиграции. Как поэт испытал сильнейшее влияние Т. Крамера, однако его стихи окрашены специфически «каринтийским» колоритом. Их темы всегда неожиданны, нетипичны для лирики 20-х и 30-х гг. В тироляцах и других горцах, перебирававшихся в города после падения дунайской монархии, Цернатто видел приток здорового народного духа в «декадентский» мир Вены. Стихи эти написаны простым, непринужденным, чуждым всякой стилизации под народность языком. Поэзия периода эмиграции другая: это крик отчаяния об утраченной, гибнущей родине.

Стихи печатаются по изданию: „Die Sonnenuhr“, Salzburg, 1961.

ЭРНСТ ШЁНВИЗЕ (ERNST SCHÖNWIESE, род. 1905)

Родился в Вене. Изучал философию. Был редактором в издательстве, доцентом в высшем учебном заведении. В 1939–1945 гг. жил в Венгрии. Издавал в 30-е и 40-е гг. журнал „Silberboot“, принимал участие в издании различных альманахов и антологий. С 1945 г. занимал руководящие посты на Австрийском радио.

Шёнвизе начинал с юношески эмоциональных, но строгих по форме стихов. Постепенно он выработал свою манеру, отдавая предпочтение жанру медитативной лирики. Символическая предметность, искренность чувства, пронизывающая поэтический образ, оберегают от голой умозрительности, оживляют и одухотворяют мысль.

Шёнвизе известен также как переводчик индийской, китайской и японской лирики.

Стихи печатаются по изданиям: E. Schönwiese. Der alte und der junge Chronos, Wien, 1957; Baum und Träne, Wiesbaden, 1962; Geheimnisvolles Ballspiel, Wiesbaden, 1964; Odysseus und der Alchimist, Wiesbaden, 1968.

ЭРИКА МИТТЕРЕР (ERIKA MITTERER, род. 1906)

Родилась в Вене, окончила лицей, затем курсы сестер милосердия. В восемнадцать лет послала свои стихи Рильке, которого боготворила. Так возникла их переписка в стихах „Briefwechsel in Gedichten“ (1924–1926), опубликованная лишь в 1950 г. Большой успех имел сборник Э. Миттерер „Dank des Lebens“ (1930) с его подкупающе простодушными, по-женски откровенными стихами. В дальнейшем она опубликовала множество романов, рассказов, поэтических сборников. Один из последних, „Entsöhnung des Kain“ (1974), принес ей снова громкий успех. Непосредственность чувства своей первой книги Э. Миттерер сохранила во всех своих произведениях. Э. Миттерер и по сей день продолжает принимать участие в литературной жизни Вены. Ее стихи и проза постоянно появляются на страницах венского журнала „Literatur und Kritik“.

Стихи печатаются по изданию: E. Mitterer. Gesammelte Gedichte, Wien, 1956.

ЮРА ЗОЙФЕР (JURA SOYFER, 1912–1939)

Родился в Харькове, сын эмигрантов из России, вырос в

Вене. Литературную деятельность начал в театральной труппе «Синие блузы», придерживавшейся принципов «агитпропа». Его пьеса „Die Zeitmaschine“ имела в 1929 г. большой успех в кругах молодых социалистов. Зойфер изучал германистику и историю в Венском университете. В 1934 г. вступил в КПА. С начала 30-х гг. постоянно публиковал стихи и репортажи в „Arbeiterzeitung“. Писал сатирические скетчи для венских кабаретистов на венском диалекте. Опираясь на наследие Нестроя, он сумел соединить в своих коротких пьесах традицию народного театра, политического кабаре и лирической драматургии. В 1938 г. был схвачен гестапо и отправлен в концлагерь Дахау, позднее в Бухенвальд, где умер в феврале 1939 г. от тифа. Песня узников Дахау написана Зойфером незадолго до смерти. Она стала подлинным гимном узников и пелась во всех фашистских лагерях.

Стихи печатаются по изданию: J. Soyfer. Vom Paradies zum Weltuntergang, Wien, 1962.

*КРИСТИНА ЛАВАНТ (CHRISTINE LAVANT,
1915–1973)*

Настоящее имя Кристина Тонхаузер, по мужу Хаберних; псевдоним связан с названием ее родных мест (Groß-Edling bei St. Stefan im Lavanttal in Kärnten). Родилась в 1915 г. в Каринтии в большой и бедной семье горняка. Окончила четыре класса сельской школы, многие годы зарабатывала на жизнь вязанием.

Стихи Лавант написаны ясным, но очень сжатым метафорическим языком. Наивный католицизм и тоска по справедливой человеческой жизни являются основой ее мироощущения. При всей пространственной ограниченности произведений Лавант, внутренний мир поэтессы чрезвычайно емок. Ее стихи – это биография души, живущей в состоянии постоянной угрозы со стороны непостижимых сил, души, которой владеют отчаяние и страх среди тьмы окружающего мира. Из этого жизневосприятия рождается и сострадание к людям, заставляющее поэтессу говорить от имени многих.

Стихи печатаются по изданиям: Ch. Lavant. Die unvollendete Liebe, Stuttgart, 1949; Die Bettlerschale, Salzburg, 1956; (2. Aufl. 1963), Der Pfauenschrei, Salzburg, 1962.

КРИСТИНА БУСТА (CHRISTINE BUSTA, род. 1915)

Родилась в небогатой мелкобуржуазной семье в Вене. Рано потеряв отца, была вынуждена оставить университет, где изучала англистику и германистику. Сменила много профессий. Была репетитором, устной переводчицей, служащей в отеле. С 1950 г. работает библиотекарем. Одна из самых крупных немецкоязычных поэтесс XX века. Продолжала традиции австрийского символизма. В первых стихах Бусты преобладала социальная тематика, освещавшаяся поэтессой с недогматических христианских позиций. Со временем свое осмысление жизни Буста выражает философскими символическими категориями. Образы при этом остаются зримыми, строки полновзвучными. «Моя основная тема, — говорит поэтесса, — превращение страха, ужаса, вины в радость, любовь, в чувство свободы». Стихи Бусты населены изгоями, людьми покинутыми, безутешными — мир, нуждающийся в излечении. Природа, мифы, библия предстают в стихах Бусты как современная книга метафор и сравнений. И хотя поэтесса за свою долгую творческую жизнь отразила многие формальные увлечения австрийской поэзии, во всех стихах слышен ее собственный, легко узнаваемый голос.

Стихи печатаются по изданиям: Ch. B u s t a. Der Regenbaum, Salzburg, 1951; Lampe und Delphin, Salzburg, 1955; Unterwegs zu älteren Feuern, Salzburg, 1968; Die Scheune der Vögel, Salzburg, 1958.

646. «ВО ФЛАНДРИИ» — в обители бегиннок — бегинки — общество благочестивых женщин, возникшее в нидерландских городах в XII в. и названное в честь священника Ламберта де Бегга. Не давая монашеского обета, они жили в кельях в зданиях монастырского типа. В настоящее время это разновидность домов призрения (для вдов и сирот).

МИХАЭЛЬ ГУТТЕНБРУННЕР (MICHAEL GUTTENBRUNNER, род. 1919)

Сын батрака. Родился в Каринтии. Учился в сельской начальной школе, затем в чертежно-графическом училище. После аншлюса его несколько раз арестовывали. Во время войны на фронте лишь по случайности избежал смертной казни. После 1945 г. работал в ведомстве по вопросам культуры земельного правительства Каринтии.

Ранние стихи Гуттенбруннера рождались в условиях послевоенного хаоса, в истощенном войною мире. В них звучит обвинение фашистского тоталитаризма в бесчеловечности, сомнение в возможности восстановления ценностей прошлого, призыв «переоборудовать» мир. Гуттенбруннер называет себя «странником между надеждой и гневом». Он пишет о трудном детстве, об угрозе войны, о сильных мира сего, он пишет о бесправных и обездоленных, стремится вселить в них мужество. В формальном отношении Гуттенбруннер приверженец новой усложненной поэтики. Открытый прямой смысл его произведений часто вступает в противоречие с герметичностью формы.

Стихи печатаются по изданиям: Expeditionen, Eine Anthologie, München, 1959; Aufforderung zum Mißtrauen, Eine Anthologie, Wien, 1967; © Der Abstieg, Verlag Günther Neske, Pfullingen, 1975 (das Gedicht: *Heimkehr*); © Gesang der Schiffe. Gedichte. Claassen Verlag, Düsseldorf, 1980 (das Gedicht: *Mein und dein*).

РИХАРД ЦАХ (RICHARD ZACH, 1919–1943)

Родился в Граце в рабочей семье. С ранней юности был связан с антифашистскими кругами. В 1935 г. создал марксистский кружок. В 1939 г. был призван в армию. После ранения работал учителем в Граце. Издавал подпольный журнал. В октябре 1941 г. был арестован, предстал перед трибуналом, приговорен к смертной казни. Стихи начал писать еще школьником. Наибольшую ценность представляют стихи, написанные в тюрьме. Они свидетельствуют о большом, не успевшем полностью раскрыться таланте автора.

Стихи печатаются по изданию: © „Niemals wieder. Zellen-gedichte“. Verlag Freibord 11 + 12; Wien, 1978.

АЛЬФРЕД ГОНГ (ALFRED GONG, род. 1920)

Поэт, прозаик. Родился в Черновицах (ныне Черновцы, СССР). Изучал германистику. Эмигрировал в США. В настоящее время проживает в Калифорнии, где преподает немецкий язык и литературу. Член австрийского отделения Пен-клуба. Участвовал во многих сборниках австрийской послевоенной поэзии, в том числе в изданной Р. Фельмайером антологии.

В стихах А. Гонга отразилась судьба целого поколения австрийских и немецких эмигрантов. Его поэтические книги – это книги скитаний лишенного родины человека, лирическая биография души, ищущей пристанища в хаосе окружающего мира.

Стихи печатаются по изданиям: A. G o n g. Gras und Omega, Heidelberg, 1960; Tür an Tür, Eine Anthologie, 1951.

482. „F. GARCIA LORCA“ – **Alkazar** – Алькасар (Alcázar), название испанских крепостей и дворцов, в основном мавританского происхождения.

651. «**БОЭДРОМИОН**» – **боэдромион** – третий месяц древнегреческого календаря (с середины сентября до середины октября).

ПАУЛЬ ЦЕЛАН (PAUL CELAN, 1920–1970)

Родился в Черновицах (ныне Черновцы, СССР) в еврейской семье. Изучал медицину в Туре. Во время войны потерял родителей. В 1942–1943 гг. находился в лагере, из которого ему удалось бежать. Конец войны застал его в Бухаресте. В 1947 г. он уезжает в Вену, а в 1948 г. – в Париж, где изучал германскую филологию. С 1959 г. Целан – доцент Сорбонны. В 1970 г. покончил с собой, бросившись с моста в Сену.

Все поэтические произведения Целана (кроме первого сборника, вышедшего в Вене) увидели свет в крупнейших издательствах ФРГ. Наибольший успех имела книга „Mohn und Gedächtnis“ (1952). Ее влияние было огромным. Можно сказать, что с нее началась новая эпоха немецкоязычной поэзии. Целан выступил с совершенно новыми метафорическими моделями, синтаксическими построениями: открыл новый поэтический язык, позволивший ему, как никому в поэзии, создать трагический образ нашего века, картину распада мира, гибели человеческой культуры, образ всеобщей вины. Верлибр Целана доказал, какой внутренней цельности можно добиться в стихе при полнейшей формальной свободе. На его поэзию большое влияние оказали французские сюрреалисты, Э. Ласкер-Шюлер, И. Голль, русские поэты XX века. П. Целан оставил большое количество переводов из Рембо, Валери, Блока, Есенина, Мандельштама, Унгаретти, Ж. Кокто, Рене

Шара и др. Многие из этих переводов считаются непревзойденными.

Стихи печатаются по изданиям: P. Celan. Der Sand aus den Urnen, Wien, 1948; Mohn und Gedächtnis, Stuttgart, 1952; Von Schwelle zu Schwelle, Stuttgart, 1955; Sprachgitter, Frankfurt a. M., 1959; Die Niemandsrose, Frankfurt a. M., 1964; Atemwende, Frankfurt a. M., 1967; Fadensonnen, Frankfurt a. M., 1968.

492. **Tenebrae** (лат.) – тьма; мрак.

496. **Mandorla** (ср.-ит.) – миндальный орех; в искусстве западного Средневековья овальный («миндалевидный») ореол, внутри которого стоит фигура Христа или Девы Марии.

На языке средневековой мистики миндальный орех символизирует сокрытость истины: как ядро ореха защищено скорлупой, так духовная истина окружена неким покровом, который нужно расколоть и отбросить, чтобы вкушать глубинного знания. (Поскольку слова «миндальный орех» не имеют в русской традиции сакральных коннотаций, присущих немецкому Mandel, переводчик решился дешифровать образ и передать его функции ключевому слову «глубина».) Стихотворение в целом связано с наследием так называемой апофатической, или отрицательной, теологии (Псевдо-Ареопагит, Мейстер Экхарт, Ангелус Силезиус и т. п.): Бог выше бытия и постольку может быть описан как Ничто, но само его отсутствие есть, собственно, высший модус его присутствия.

498. **Coagula** (лат.) – сгущай! (Слово звучит как цитата из старинного рецепта, например алхимического.)

(Примечания С. С. Аверинцева)

654, 658. «Я ОДИНОК...», «Я ЗДЕСЬ ОДИН...» – переводы одного стихотворения „Ich bin allein, ich stell...“ показывают разный подход к одному и тому же тексту переводчиков разных направлений.

ЭРИХ ФРИД (ERICH FRIED, род. 1921)

Поэт, прозаик, радиодраматург, эссеист, переводчик. Родился в Вене, в 1938 г. эмигрировал в Лондон, где живет по сей день. Сменил много профессий, работал в немецкой

редакции Би-Би-Си, которую покинул из-за политических разногласий с руководством. С тех пор постоянно сотрудничает в немецких и австрийских журналах и газетах, составляет сборники поэзии, пишет радиопьесы. Популярность его у немецкоязычных читателей особенно возросла после выхода в свет сборника стихов „*Warngedichte*“ (1964). Поэзия Фрида – это бескомпромиссный разговор об основных проблемах современного буржуазного общества. Для своих стихов Фрид берет заведомо «непоэтические» темы. Он не боится занять свою позицию (зачастую весьма радикальную) по актуальным вопросам современности. Фрид много переводит, в том числе поэтов, далеких от его собственной манеры: Т. С. Элиота, Д. Томаса, Шекспира.

Стихи печатаются по изданиям: E. Fried. *Warngedichte*, München, 1964; *Anfechtungen*, Westberlin, 1967; *Befreiung von der Flucht*, Hamburg, 1968; *Aufforderung zur Unruhe*, München, 1972.

ХАНС КАРЛ АРТМАН (HANS CARL ARTMANN, род. 1921)

Родился в Вене, в семье сапожника. Изучал редкие языки, затем занимался сравнительным языкознанием. Долгое время жил в Швеции, где свою литературную деятельность начал как переводчик испанской, провансальской, а также ранней итальянской, древнеирландской и кельтской литературы. В 50-е гг. выступил со стихами на венском диалекте, принесшими ему огромную популярность. Один из основателей литературного объединения «Венская группа» („*Die Wiener Gruppe*“), видевшего свою задачу в радикальном изменении языка литературы и коммуникативных средств. Участники группы создавали «тексты для зрения», «тексты для слуха», монтажи «поведения слов в постоянно меняющемся окружающем мире» и т. п. Их целью было «обнаружить пропасть» между условностью общепринятого языка и внутренними возможностями слова. Хотя Артман пробыл в «Венской группе» недолго, он остался верен многим ее принципам. Писатель постоянно экспериментирует со словом, ему доставляет удовольствие шокировать обывателя. Уже первый поэтический сборник Артмана „*reime verse formeln*“ (1954) показал основные на-

правления его творчества. Мир для Артмана – большой сумасшедший дом. Перед нами сюрреалистическая картина мира, где «царит» нескончаемая игра непроницаемых масок. Невероятное в ней становится реальностью, алогичность – принципом. Причудливый артистизм языка барокко, принципы дадаизма и сюрреализма (Август Штрамм и Ганс Арп), грубый бытовой жаргон, стилизация в духе маньеризма – все это нашло отражение в поэтике Х. К. Артмана.

Стихи печатаются по изданию: H. C. Artmann. Ein lilienweißer Brief aus Lincolnshire, Frankfurt am Main, 1969.

КОНРАД БАЙЕР (KONRAD BAYER, 1932–1964)

Поэт, драматург, сценарист, прозаик. Родился в Вене. Работал в банке, играл в джазовом оркестре, был директором картинной галереи. Один из основателей «Венской группы» (см. справку о Х. К. Артмане). Книга „Die Wienergruppe“ (1967) суммировала достижения группы (Ахлейтнер, Артман, Байер, Винер). Эксперименты группы не прошли даром. Многими ее формальными открытиями пользуются в настоящее время даже те, кто никогда не занимался чистым экспериментом.

Стихи печатаются по изданию: „Die Wienergruppe“, Hamburg, 1967.

ГЕРХАРД РЮМ (GERHARD RÜHM, род. 1930)

Прозаик, драматург, поэт, музыковед, композитор. Родился в Вене. Изучал композицию и историю искусств, пишет авангардистскую музыку. Несколько лет провёл в Бейруте, изучая восточную музыку. Затем обратился к литературе. Не принадлежа формально к «Венской группе» (см. справку об Х. К. Артмане), постоянно поддерживал с ней связь, пропагандировал ее принципы. С 1964 г. живет в Западном Берлине.

Г. Рюм порвал с традиционным понятием поэзии. Для него язык – лишь материал, на котором он «апробирует» различные комбинации звуков. Тексты, возникающие при этом, он называет «эстетическими».

Стихи печатаются по изданию: „Die Wienergruppe“, Hamburg, 1967.

ОСВАЛЬД ВИНЕР (OSWALD WIENER, род. 1935)

Прозаик, поэт, эссеист. По образованию математик. Занимался языкознанием, играл в джазе. Один из основателей «Венской группы» (см. справку об Х. К. Артмане). В настоящее время живет в Западном Берлине.

Стихи печатаются по изданию: „Die Wienergruppe“, Hamburg, 1967.

ГЕРХАРД ФРИЧ (GERHARD FRITSCH, 1924–1969)

Родился в Вене в семье учителя. Во время войны служил в авиации. После возвращения из плена изучал германистику и историю, но курс не закончил. Многие годы работал в библиотеке, занимался переводом, писал эссе, радиопьесы, издавал журнал „Wort in der Zeit“. В последние годы жизни полностью посвятил себя прозе. Его поэзию отличает спокойная рассудительная интонация. Все фактическое, предметное надделено у Фрича символическим смыслом. Цель поэта – напомнить людям об основных духовных ценностях, растерянных ими в нравственном хаосе нашего века.

Стихи печатаются по изданиям: G. Fritsch, Der Geisterkrug, Salzburg, 1958; перевод «Австрия» („Österreich“) выполнен по изданию в журнале „Literatur und Kritik“, Salzburg, Н. 62, März 1972.

678. «АВСТРИЯ» – стихотворение написано в 1972 году.

В Ноябре попрощалась и в Марте... – В ноябре 1918 г. была образована Первая Австрийская республика, что означало окончательный распад Австро-Венгерской империи.

куруцам... – Куруцы – мадьярское обозначение мятежников. В 1514 г. крестьяне Венгрии, выступившие против турок, направили оружие и против земледельческой аристократии Габсбургов. Борьба сопровождалась тяжелым кровопролитием. Позднее куруцами в Венгрии называли всех, поднимавшихся на борьбу против Габсбургов.

...под звуки «Марша Радецкого»... – «Марш Радецкого» – произведение Иоганна Штрауса-отца (1804–1849), исключительно популярная музыкальная пьеса, посвященная фельдмаршалу Радецкому (см. прим. к с. 170).

680. ...и тогда это знала в Апреле...— в апреле 1945 г. Австрия вновь обрела независимость.

**ФРИДЕРИКА МАЙРЁКЕР (FRIEDERIKE
MAYRÖCKER, род. 1924)**

Родилась в Вене. По образованию филолог. Работала преподавателем в школе. Печататься начала с 1956 г. Выступала как радиодраматург, телесценарист в соавторстве с Э. Яндлем. Много путешествовала. В 1972 г. прочла в США курс лекций о немецкоязычной литературе. Член западноберлинской Академии искусств.

Стихи Майрёкер продолжают модернистскую традицию немецкой поэзии первой половины нашего века. Поэтесса находится в состоянии постоянного поиска. Часто ее стихи совершенно не похожи друг на друга, но все вместе они, как цвета светового спектра, составляют единое целое, создают образ поэзии Ф. Майрёкер.

Стихи печатаются по изданию: © F. Mayröcker. In langsamen Blitzen. LCB-Edition, Berlin, 1974.

ЭРНСТ ЯНДЛЬ (ERNST JANDL, род. 1925)

Родился в Вене, изучал германистику. С 1949 г.— преподаватель гимназии в Вене. Год жил в Лондоне, много переводил с английского. В 1970—1971 гг. жил в Западном Берлине в качестве гостя Западноберлинской Академии искусств. Много путешествует, выступает с чтением своих стихов в Австрии, ГДР, ФРГ, Швейцарии. Пишет радиопьесы, теле- и киносценарии.

Э. Яндль — представитель литературного направления, которое получило название «конкретной поэзии». Там, где автор не ограничивается чисто словесным экспериментом, он посредством пародийного сопоставления несопоставимого добивается остро-сатирического эффекта. Язык поэзии Яндля предельно приближен к бытовому разговорному языку. Таким способом нам сообщается образ мыслей человека, думающего и чувствующего, как большинство.

Стихи печатаются по изданию: E. J a n d l. Laut und Luise. Walter Verlag, Olten—Freiburg, 1966.

**ИНГЕБОРГ БАХМАН (INGEBORG BACHMANN,
1926—1973)**

Поэтесса, прозаик, переводчица. Выросла в Каринтии.

Изучала философию. Защитила диссертацию по проблемам философии М. Хайдеггера. С 1953 г. жила в Италии, Швейцарии, в ФРГ, в Западном Берлине. Погибла в Риме в результате несчастного случая.

Для литературы Австрии и ФРГ 50–60-х годов Бахман была центральной фигурой, оказавшей огромное влияние на молодых прозаиков и поэтов. Стихи Бахман появились через год после знаменитого целановского сборника „*Mohn und Gedächtnis*“. Как и в стихах П. Целана, сложное образное мышление И. Бахман побуждало читателя к интеллектуальной активности. Поэтессе хотелось достичь предела возможности слова, заглянуть в запредельность. Соединение трагического духовного опыта с интеллектуальной энергией, беспокойством ума, ищущего разрешения реальных проблем жизни, составляет особенность внутреннего мира И. Бахман, что и нашло отклик у современного читателя.

Стихи печатаются по изданиям: I. Bachmann. *Die gestundete Zeit*, Frankfurt a. M., 1953; *Anrufung des Großen Bären*, München, 1956; *Gedichte – Erzählungen – Hörspiel – Essays*, München, 1964; *Die Verbannten. Eine Anthologie*, 1962.

АНДРЕАС ОКОПЕНКО (ANDREAS OKOPENKO, род. 1930)

Родился в Чехословакии в украинской семье. Отец его, получивший медицинское образование (некоторое время ассистировал Бехтереву и Павлову), стал дипломатом, семья переселилась в Вену, где А. Окопенко получил образование химика и работал инженером на бумажной фабрике. Пишет радиопьесы, прозу, эссе. В поэзии продолжает эстетические принципы Макса Бензе, одного из идеологов послевоенного авангардизма (см. комментарии к П. Хандке). Но, в отличие от многих авангардистов 60-х годов, Окопенко никогда до конца не рвал с традиционными формами стиха. Рифма нужна ему для пародий, для его насмешливых, веселых, но всегда серьезных песен.

Стихи печатаются по изданию: A. Okopenko. *Orte wechselnden Unbehagens. Gedichte*, Salzburg, 1971.

ИОГАНН МАРТЕ (JOHANN MARTE, род. 1935)

Родился в Фельдкирхе (Форарльберг). Окончил гимназию в Брегенце. Изучал право в Инсбруке. Работал судьей. С 1969 г. на дипломатической службе. В 1971–1974 гг. – культур-атташе Австрии в Польше, в 1974–1982 гг. – советник по делам культуры австрийского посольства в Москве. Во время пребывания в СССР И. Марте многое сделал для пропаганды австрийской литературы. И. Марте принадлежит статья «Австрийская литература в Советском Союзе», в журнале „Pannonia“ (Magazin für europäische Zusammenarbeit), № 2, 1982. И. Марте постоянно публикует статьи по вопросам философии, права и культурной политики.

Стихи И. Марте взяты из архива автора.

ПЕТЕР ХАНДКЕ (PETER HANDKE, род. 1942)

Прозаик, драматург, поэт, эссеист. Родился в Каринтии, в семье железнодорожного служащего. Изучал право в Граце. В 60-е годы принимал участие в молодежном западно-германском движении Beatle-look, начал писать стихи в так называемом „beat-Stil“. Живет в ФРГ. Один из самых популярных современных немецкоязычных писателей.

Ранние стихи Хандке представляют собой коллажи в стиле поп-арт („Deutsche Gedichte“, 1969). Стихи Хандке не что иное, как парадокс, призванный выразить возмущение писателя порчей языка, низведением его на уровень вульгарных потребностей обывателя. В стихах 60-х годов Хандке – последователь Макса Бензе, идеолога «конкретной поэзии». Разрушая традиционный литературный язык, он пытается разоблачить накопившиеся в литературе мифы и предрассудки (ср. комментарии к Х. К. Артману, К. Байеру, Г. Рюму, О. Винеру, Э. Яндлю). В 70-е годы как в прозе, так и в стихах Хандке наблюдается возвращение к традиционной манере письма.

Стихи печатаются по изданиям: P. H a n d k e. Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt, Frankfurt a. M., 1969; „Das Drohgedicht“ – © Das Ende des Flanierens, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1980.

КРИСТИНА ХАЙДЕГГЕР (*CHRISTINE HAIDEGGER*,
род. 1942)

Живет в Зальцбурге, поэт, прозаик, член правления «Грацского объединения авторов».

Стихи печатаются по изданию: Ch. H a i d e g g e r. Entzauberte Gesichte. Lyrik.

© 1976 by J. G. Bläschke Verlag, Darmstadt.

Иллюстрации любезно предоставлены Архивом Австрийской национальной библиотеки (Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek).

Следующие стихотворения печатаются с любезного разрешения правообладателей:

Guttenbrunner M. Heimkehr. Verlag Günther Neske, Kloster, Pfullingen, BRD.

Guttenbrunner M. Mein und dein. Claassen Verlag, Düsseldorf, BRD.

Gütersloh A. P. An mich; Empfindung. Rötzer, E. Verlag (inh. Elfriede Weber), Eisenstadt, Österreich.

Szabo W. Autofriedhof. Bergland Verlag, Wien, Österreich.

Zach R. Unsterblichkeit; Winterregen; „Zählt mich immer...“. Freibord, Zeitschrift für Literatur und Kunst, Wien, Österreich.

Mayröcker F. „Durch die Gitterstäbe...“; „Vollgeregnet...“; „Eine Fußreise...“. Literarisches Colloquium Berlin, Berlin (Berlin-West).

Marte J. „Meltunk...“; „Eine Taube...“; Traum. Marte, Johann, Wien, Österreich.

Handke P. Drohgedicht. Suhrkamp Verlag, Frankfurt, BRD.

Haidegger Ch. „Unsere Einsamkeit...“ J. G. Bläschke Verlag, St. Michael, BRD.

INHALT СОДЕРЖАНИЕ

	I	II	III
	Текст ¹	Приложение ²	Приложение ³
А. В. Михайлов. Из источника великой культуры	5		
<i>PAULA VON PRERADOVIĆ</i>			
<i>ПАУЛА ФОН ПРЕРАДОВИЧ</i>			
Land der Berge, Land am Strome	41-42		
Австрийский национальный гимн. Пер. Е. Витковского	43		
<i>IGNAZ FRANZ CASTELLI</i>			
<i>ИГНАЦ ФРАНЦ КАСТЕЛЛИ</i>			
Die beiden Pflüge	44		
Два плуга. Пер. А. Богомолова	45		
Schlummerlied	44		
Колыбельная песня. Пер. А. Парина	45		
<i>MARIANNE VON WILLEMER</i>			
<i>МАРИАННА ФОН ВИЛЛЕМЕР</i>			
An den Ostwind	46		
*К восточному ветру. Пер. С. Шервинского	47		
An den Westwind	46		
*К западному ветру. Пер. С. Шервинского	47		
<i>JOHANN MAYRHOFER</i>			
<i>ИОГАНН МАЙРГОФЕР</i>			
Memnon	50		
*Мемнон. Пер. Н. Заболотского	51		
Schiffers Nachtlied	50		
*Ночная песнь лодочника. Пер. В. Вебера	51		
Heliopolis	52		

¹ Параллельные тексты.

² Русские переводы без оригинала.

³ Варианты переводов.

* Звездочками обозначены переводы прежних лет.

Содержание

	I	II	III
Гелиополис. <i>Пер. А. Парина</i>	53		
Akkorde	52		
Аккорды. <i>Пер. А. Парина</i>	53		
<i>JOSEPH CHRISTIAN VON ZEDLITZ</i>			
<i>ЙОЗЕФ КРИСТИАН ФОН ЦЕДЛИЦ</i>			
Die nächtliche Heerschau	56		
*Ночной смотр. <i>Пер. В. Жуковского</i>	57		
*Ночной смотр. <i>Пер. Ф. Миллера</i>			682
*Воздушный корабль. <i>Пер. М. Лермонтова</i>		548	
*Байрон (<i>Отрывок</i>). <i>Пер. Ф. Тютчева</i>		550	
<i>FERDINAND RAIMUND</i>			
<i>ФЕРДИНАНД РАЙМУНД</i>			
So mancher steigt herum	60		
«Не ведая стыда...» <i>Пер. Р. Дубровкина</i>	61		
Lied des Valentin	62		
Песня Валентина. <i>Пер. Р. Дубровкина</i>	63		
<i>FRANZ GRILLPARZER</i>			
<i>ФРАНЦ ГРИЛЬПАРЦЕР</i>			
Scherubin	64		
Херувим. <i>Пер. В. Микушевича</i>	65		
Allgegenwart	66		
Всеприсутствие. <i>Пер. В. Микушевича</i>	67		
Als sie, zuhörend, am Klavier saß	68		
Как она, слушающая, сидела у клавира. <i>Пер. В. Микушевича</i>	69		
Begegnung	70		
Встреча. <i>Пер. В. Микушевича</i>	71		
Eifersucht ist eine Leidenschaft...	72		
Ревность. <i>Пер. В. Микушевича</i>	73		
Für Katharina Fröhlich	72		
Катарине Фрёлих. <i>Пер. В. Микушевича</i>	73		
Kuß	72		
Поцелуй. <i>Пер. В. Микушевича</i>	73		
An eine matte Herbstfliege	72		
Осенней мухе. <i>Пер. В. Микушевича</i>	73		
Hegel	74		
Гегель. <i>Пер. В. Микушевича</i>	75		
Abschied von Gastein	74		
Прощание с Гастейном. <i>Пер. В. Микушевича</i>	75		
Napoleon	76		
Наполеон. <i>Пер. В. Микушевича</i>	77		
An den Fürsten Metternich	80		
Князю Меттерниху. <i>Пер. В. Микушевича</i>	81		

Inhalt

	I	II	III
Ohne Heim	82		
Бесприютный. <i>Пер. В. Микушевича</i>	83		
Mein Vaterland	84		
Моей отчизне. <i>Пер. В. Микушевича</i>	85		
Вдохновение. <i>Пер. В. Топорова</i>		552	
Эпиграммы			
Литераторы. <i>Пер. В. Микушевича</i>		553	
Критики (1-2). <i>Пер. В. Микушевича</i>		553	
Цензору (1-4). <i>Пер. В. Микушевича</i>		553	
Судья искусства. <i>Пер. В. Швырлева</i>		554	
Семидесятилетний юбилей. <i>Пер. В. Швырлева</i>		554	
«Зачем во взглядах ваших...» <i>Пер. В. Вебера</i>		554	
«Системе нашей неспроста...» <i>Пер. В. Вебера</i>		554	
Радикалы и консерваторы. <i>Пер. В. Вебера</i>		554	
 FRANZ SCHUBERT			
ФРАНЦ ШУБЕРТ			
Mein Gebet	88		
Моя молитва. <i>Пер. О. Татариновой</i>	89		
 EDUARD VON BAUERNFELD			
ЭДУАРД ФОН БАУЭРНФЕЛЬД			
Immer dasselbe	90		
Все как прежде. <i>Пер. В. Леванского</i>	91		
Kleine Beamte	90		
Мелкие чиновники. <i>Пер. В. Леванского</i>	91		
 JOHANN NEPOMUK VOGL			
ИОГАНН НЕПОМУК ФОГЛЬ			
Auf der Brücke	92		
*На мосту. <i>Пер. В. Вебера</i>	93		
 NIKOLAUS LENAU			
НИКОЛАУС ЛЕНАУ			
Schilflieder (1-5)			
1. „Drüben geht die Sonne scheiden...“	94		
*«Вечер бурный и дождливый...» <i>Пер. А. Анух-тина</i>	95		
*«Тихо запад гасит розы...» <i>Пер. В. Брюсова</i>			684
*«Лег последний луч на нивы...» <i>Пер. В. Левика</i>			686
2. „Trübe wirds, die Wolken jagen...“	94		
*«Сумрак... Тучи набегают...» <i>Пер. Л. Дмитриев-ского</i>	95		
*«Ветер злобно тучи гонит...» <i>Пер. В. Брюсова</i>			684
*«Смерклось. Буря тучи гонит...» <i>Пер. В. Левика</i>			686
3. „Auf geheimem Waldespfade...“	94		
*«К берегам тропой лесною...» <i>Пер. О. Чюминой</i>	95		
*«Вот тропинкой потаенной...» <i>Пер. В. Брюсова</i>			684

Содержание

	I	II	III
*«Вечеру лесной тропею...» Пер. В. Левика . . .			686
4. „Sonnenuntergang...“	96		
*«Солнечный закат...» Пер. К. Бальмонта . . .	97		
*«Солнечный закат...» Пер. В. Брюсова . . .			685
*«Тучи нанесли...» Пер. В. Левика			687
5. „Auf dem Teich, dem regungslosen...“	96		
*«На пруду, где тишь немая...» Пер. К. Бальмонта	97		
*«В ясном небе без движенья...» Пер. В. Брюсова			685
*«Пруд недвижим. Золотая...» Пер. В. Левика			687
Die drei Zigeuner	98		
*Три цыгана. Пер. М. Михайлова	99		
*Три цыгана. Пер. В. Левика			687
Herbstentschluß	100		
*Осеннее решение. Пер. Б. Николаева	101		
*Осеннее решение. Пер. В. Левика			688
Blick in den Strom	100		
*Взгляд в поток. Пер. А. Чиждова	101		
*Смотри в поток. Пер. В. Левика			689
In der Schenke	102		
*В корчме. Пер. В. Левика	103		
Herbstklage	104		
Осенняя жалоба. Пер. Н. Грищенко	105		
*Успокоение. Пер. Ф. Тютчева			690
Winternacht			
Зимняя ночь			
„Vor Kälte ist die Luft erstarrt...“	106		
*«Сквозь лед и снег...» Пер. В. Левика	107		
*2. «Чу! Воет волк в лесной глуши!» Пер. О. Чюминой		555	
Frühlingsgrüße	106		
*Весенний привет. Пер. А. Плещеева	107		
*Привет весны. Пер. В. Левика			691
*Три индейца. Пер. В. Левика		555	
Dein Bild	106		
*Твой образ. Пер. В. Бермана	107		
*Твой образ. Пер. В. Левика			691
Mein Herz	108		
Мое сердце. Пер. В. Микушевича	109		
Bitte	110		
*Просьба. Пер. К. Бальмонта	111		
Просьба. Пер. В. Микушевича			692
Aus: „Faust“			
Из драматической поэмы «Фауст»			
„Verkümmert stets, doch nie zu scharf...“	110		
*«Лишайте, только осторожно...» Пер. А. Луначарского	111		

Inhalt

	I	II	III
Einsamkeit	114		
Одиночество. <i>Пер. В. Леванского</i>	115		
Eitel nichts	114		
*«Всё суета, ничто...» <i>Пер. А. Луначарского</i>	115		
ADALBERT STIFTER			
АДАЛЬБЕРТ ШТИФТЕР			
Herbstabend	118		
*Осенний вечер. <i>Пер. В. Швырлева</i>	119		
Leben	118		
Жизнь. <i>Пер. В. Швырлева</i>	119		
Abschied	120		
Прощание. <i>Пер. В. Швырлева</i>	121		
Издалека. <i>Пер. В. Швырлева</i>		557	
Твой образ. <i>Пер. В. Швырлева</i>		557	
Руины. <i>Пер. В. Швырлева</i>		557	
ANASTASIUS GRÜN			
АНАСТАЗИУС ГРЮН			
Das Blatt im Buche	122		
*«У няни моей, у старушки...» <i>Пер. Ф. Миллера</i>	123		
*«Вот книжка бабушки моей...» <i>Пер. А. Пресса</i>			693
Botenart	122		
*Известие. <i>Пер. И. Грицковой</i>	123		
Salonszene	124		
Салонная сцена. <i>Пер. Е. Колесова</i>	125		
ERNST VON FEUCHTERSLEBEN			
ЭРНСТ ФОН ФОЙХТЕРСЛЕБЕН			
Abendlich	128		
Вечернее стихотворение. <i>Пер. А. Богомолова</i>	129		
HERMANN VON GILM			
ГЕРМАН ФОН ГИЛЬМ			
Allerseelen	130		
День поминовения. <i>Пер. А. Богомолова</i>	131		
За пальцами. <i>Пер. А. Богомолова</i>		559	
KARL ISIDOR BECK			
КАРЛ ИСИДОР БЕК			
Warum sind wir arm?	132		
Отчего мы бедны. <i>Пер. В. Леванского</i>	133		
MORITZ HARTMANN			
МОРИЦ ГАРТМАН			
Schweigen	136		
*Молчание. <i>Пер. А. Плещеева</i>	137		

Содержание

	I	II	III
Lenau	136		
Ленау. Пер. Р. Дубровкина	137		
Die Regentropfen	138		
*Дождевые капли. Пер. А. Плещеева	139		
*Дождевые капли. Пер. В. Мазуркевича			694
*Два корабля. Пер. М. Михайлова		560	
*«О, не скорби, душа моя...» Пер. Н. Познякова		560	
*«Стало мне в доме...» Пер. А. Плещеева		560	
ALFRED MEISSNER			
АЛЬФРЕД МЕЙСНЕР			
Der Verbannte	140		
Изгнанник. Пер. И. Большевича	141		
*Из поэмы «Ян Жижка». 6. Simplicitas. Пер. В. Бенедиктова			562
ROBERT HAMERLING			
РОБЕРТ ГАМЕРЛИНГ			
O trockne diese Träne nicht	142		
Слезу, что на щеке блестит... Пер. О. Думлер	143		
*«И вот опять увидел я леса...» Пер. А. Плещеева			566
*Служение красоте. Пер. О. Чюминой			566
*Под гнетом. Пер. О. Чюминой			567
*Из старых мелодий. Пер. О. Чюминой			567
MARIE VON EBNER-ESCHENBACH			
МАРИЯ ФОН ЭБНЕР-ЭШЕНБАХ			
Lebenszweck	144		
Жизненная цель. Пер. А. Парина	145		
Ein kleines Lied	144		
Маленькая песенка. Пер. И. Грицковой	145		
FERDINAND VON SAAR			
ФЕРДИНАНД ФОН СААР			
Alter	146		
Старость. Пер. И. Грицковой	147		
Otilie	146		
Оттилия. Пер. И. Грицковой	147		
Drahtklänge	148		
*Телеграфные нити. Пер. А. Доброхотова	149		
LUDWIG ANZENGRUBER			
ЛЮДВИГ АНЦЕНГРУБЕР			
Volkswaise	150		
Народная песня. Пер. Р. Дубровкина	151		

	I	II	III
PETER ROSEGGER			
ПЕТЕP РОЗЕГГЕР			
Urwaldstimmung	152		
*Настроение от первобытного леса. Пер. А. Добро- хотова	153		
Auch der Andre, der bist du	152		
Тот, другой,- он тоже ты. Пер. Ю. Сульповар	153		
 ADA CHRISTEN			
АДА КРИСТЕН			
Not	156		
*Нужда. Пер. В. Мазуркевича	157		
Ich sehne mich nach wilden Küssen	156		
Хочу безумства поцелуев... Пер. О. Думлер	157		
*«Ночь спокойна, благовопна...» Пер. Н. Позня- кова	568		
*«Тени серые на небе...» Пер. М. Прахова	568		
 JAKOB JULIUS DAVID			
ЯКОБ ЮЛИУС ДАВИД			
Am Wege	158		
На пути. Пер. Р. Дубровкина	159		
Lethe	158		
Лета. Пер. Р. Дубровкина	159		
 ARTHUR SCHNITZLER			
АРТУР ШНИЦЛЕР			
Orchester des Lebens	162		
Оркестр жизни. Пер. А. Богомолова	163		
Cabinet particulier [de] Liäson	162		
Cabinet particulier [de] Liäson. Пер. А. Богомолова	163		
 CARL DALLAGO			
КАРЛ ДАЛЛАГО			
Sonett	164		
Сонет. Пер. Р. Дубровкина	165		
 FELIX DÖRMANN			
ФЕЛИКС ДЁРМАН			
Was ich liebe	166		
Что мне дорого. Пер. Р. Дубровкина	167		
 FRANZ BLEI			
ФРАНЦ БЛЕЙ			
Vor Horizonten	168		
В распахнутый простор... Пер. Р. Дубровкина	169		

	I	II	III
<i>ALEXANDER RODA RODA</i>			
<i>АЛЕКСАНДР РОДА-РОДА</i>			
Auf dem Friedhof zu Graz	170		
На кладбище в Граце. <i>Пер. Н. Мальцевой</i>	171		
<i>HEINRICH SUSO WALDECK</i>			
<i>ГЕНРИХ СУЗО ВАЛЬДЕК</i>			
Geigerin	174		
Скрипачка. <i>Пер. Ю. Сульповар</i>	175		
Das Ufer	174		
Берег. <i>Пер. Ю. Сульповар</i>	175		
Ein fremdes Mädchen	176		
Чужая девушка. <i>Пер. Ю. Сульповар</i>	177		
<i>HUGO VON HOFMANNSTHAL</i>			
<i>ГУГО ФОН ГОФМАНСТАЛЬ</i>			
Weltgeheimnis	178		
*Вселенская тайна. <i>Пер. С. Ошерова</i>	179		
Ballade des äußeren Lebens	180		
*Баллада внешней жизни. <i>Пер. А. Зарницына</i> (<i>К. Антипова</i>)	181		
*Баллада о внешней жизни. <i>Пер. Н. Коробиц- ной</i>			695
Dein Antlitz...	180		
*Твое лицо... <i>Пер. С. Ошерова</i>	181		
Твой лик... <i>Пер. И. Белавина</i>			696
Manche freilich...	182		
*Одни, конечно... <i>Пер. А. Зарницына (К. Антипо- ва)</i>	183		
Erglebnis	184		
Видение. <i>Пер. В. Куприянова</i>	185		
Ein Traum von großer Magie	184		
Мечта о большой магии. <i>Пер. Ю. Сульповар</i>	185		
Terzinen	188		
Терцины о бренности всего земного. <i>Пер. В. То- порова</i>	189		
Vor Tag	192		
Перед рассветом. <i>Пер. В. Вебера</i>	193		
Reiselied	194		
Дорожная песня. <i>Пер. В. Топорова</i>	195		
Die Beiden	194		
Она и он. <i>Пер. В. Топорова</i>	195		
Der Jüngling in der Landschaft	196		
Пейзаж с юношей. <i>Пер. В. Вебера</i>	197		
*Газели (I–II). <i>Пер. В. Куприянова</i>		569	
*Для меня. <i>Пер. В. Куприянова</i>		569	

Inhalt

	I	II	III
Мир и я. Пер. В. Вебера		570	
Пролог к книге «Анатоль». Пер. Ю. Сульповар		571	
KARL KRAUS			
КАРЛ КРАУС			
„Man frage nicht, was all die Zeit ich machte...“		198	
«В свои дела не посвящу другого...» Пер. А. Богомолова		199	
Tango		198	
*Танго. Пер. В. Топорова		199	
Zusammenhänge		200	
Тыловые подробности. Пер. А. Богомолова		201	
Что есть что. Пер. А. Богомолова			573
Эпigramмы			
Прогресс. Пер. В. Вебера		574	
Свобода печати в Австрии. Пер. В. Топорова		574	
Газетные писаки. Пер. В. Топорова		574	
Спор с энтузиастом. Пер. В. Топорова		574	
Страшно жить. Пер. В. Топорова		575	
Дебаты о социальном обеспечении. Пер. В. Топорова			575
Мои враги. Пер. В. Топорова		575	
Реформа. Пер. В. Топорова		575	
Еще раз о писателях. Пер. В. Топорова		575	
RICHARD VON SCHAUKAL			
РИХАРД ФОН ШАУКАЛЬ			
Bildnis eines spanischen Infanten von Velasquez		202	
Портрет испанского инфанта работы Веласкеса. Пер. Д. Веденяпина			203
Kuckuck		202	
Кукушка. Пер. Д. Веденяпина		203	
Der Nachen		202	
Челнок. Пер. Д. Веденяпина		203	
Die alten Bilder		204	
Старинные полотна. Пер. Д. Веденяпина		205	
Schönbrunn. Juli 1914		204	
Шёнбрунн. Июль 1914-го. Пер. Д. Веденяпина		205	
Stille		206	
Тишина. Пер. Д. Веденяпина		207	
O Welt in deinem Scheine		206	
О мир в сиянье славы... Пер. Д. Веденяпина		207	
Alte Schlösser...		206	
Старые замки. Пер. Д. Веденяпина		207	
Zeitlichkeit		208	
Тщета. Пер. Д. Веденяпина		209	
An der Schwelle		208	
На пороге. Пер. Д. Веденяпина		209	

Содержание

	I	II	III
Pierrot pendu	210		
*Pierrot pendu. <i>Пер. В. Эльснера</i>	211		
*Май. <i>Пер. А. Зарницына</i>		576	
*В лесу. <i>Пер. А. Зарницына</i>		576	
*К луне. <i>Пер. А. Зарницына</i>		577	
*Тихая душа. <i>Пер. А. Зарницына</i>		577	
*Весна. <i>Пер. А. Зарницына</i>		578	
*Большие зловещие птицы. <i>Пер. А. Зарницына</i>		578	
 <i>RAINER MARIA RILKE</i>			
<i>РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ</i>			
Volksweise	212		
*Народный напев. <i>Пер. Т. Сильман</i>	213		
„Du meine heilige Einsamkeit...“	212		
*«О святое мое одиночество - ты!..» <i>Пер. А. Ахматовой</i>	213		
„Die hohen Tannen atmen heiser...“	212		
*«Сухие елки дышат хрипло...» <i>Пер. С. Петрова</i>	213		
„Das ist dort, wo die letzten Hütten sind...“	214		
*«Где тянется последний ряд лачуг...» <i>Пер. Е. Витковского</i>	215		
 Aus: Das Stunden-Buch			
Из «Часослова»			
*«Неосаженные твердыни...» <i>Пер. А. Биска</i>		579	
*«Как в избушке сторож у окошка...» <i>Пер. С. Петрова</i>		579	
*«Дом одинокий на краю села...» <i>Пер. С. Петрова</i>		580	
„Die Könige der Welt sind alt...“	214		
«Состарилась земная знать...» <i>Пер. В. Топорова</i>	215		
„Jetzt reifen schon die roten Berberitzen...“	216		
*«Уж барбарисы красные созрели...» <i>Пер. А. Биска</i>	217		
«Из барбарисов брызжет кровь густая...» <i>Пер. И. Грингольца</i>			697
„Denn, Herr, die großen Städte sind...“	216		
*«Господь! Большие города...» <i>Пер. В. Микушевича</i>	217		
„Da leben Menschen, weißerblühte, blasse...“	218		
*«Там люди, расцветая бледным цветом...» <i>Пер. В. Микушевича</i>	219		
„Du bist der Arme, du der Mittellose...“	220		
*«От века и навек всего лишенный...» <i>Пер. В. Микушевича</i>	221		
 Aus: Das Buch der Bilder			
Из «Книги образов»			
Zum Einschlafen zu sagen	222		
Слова перед сном. <i>Пер. В. Куприянова</i>	223		
*Говорить ко сну. <i>Пер. А. Биска</i>			697

Inhalt

	I	II	III
Слова на сон. <i>Пер. А. Гелескула</i>			698
Einsamkeit	222		
*Одиночество. <i>Пер. В. Полетаева</i>	223		
Одиночество. <i>Пер. А. Гелескула</i>			698
Herbsttag	224		
*Осенний день. <i>Пер. А. Биска</i>	225		
*Осенний день. <i>Пер. С. Петрова</i>			698
Vorgefühl	224		
Предчувствие. <i>Пер. А. Карельского</i>	225		
*Предчувствие. <i>Пер. В. Куприянова</i>			699
Abend in Skåne	226		
*Вечер в Сконе. <i>Пер. В. Полетаева</i>	227		
Карл XII Шведский терпит поражение на Украйне. <i>Пер. Е. Витковского</i>		580	
О фонтанах. <i>Пер. В. Леванского</i>		583	
Der Lesende	226		
*За книгой. <i>Пер. Б. Пастернака</i>	227		
За чтением. <i>Пер. А. Карельского</i>			699
Над книгой. <i>Пер. В. Куприянова</i>			700
Der Schauende	228		
*Созерцание. <i>Пер. Б. Пастернака</i>	229		
*Созерцатель. <i>Пер. А. Биска</i>			701
Созерцатель. <i>Пер. А. Сергеева</i>			702
Schlußstück	230		
Заключение. <i>Пер. В. Леванского</i>	231		
Aus: Neue Gedichte			
Из «Новых стихотворений»			
Der Auszug des verlorenen Sohnes	232		
Уход блудного сына. <i>Пер. А. Сергеева</i>	233		
Уход блудного сына. <i>Пер. В. Летучего</i>			703
Der Ölbaum-Garten	232		
Гефсиманский сад. <i>Пер. А. Карельского</i>	233		
Die Erblindende	234		
Слепнувшая. <i>Пер. И. Белавина</i>	235		
In einem fremden Park	236		
*В чужом парке. <i>Пер. К. Богатырева</i>	237		
*Римские фонтаны. <i>Пер. К. Богатырева</i>		584	
Das Karussell	238		
*Карусель. <i>Пер. А. Биска</i>	239		
*Пантера. <i>Пер. Г. Ратгауза</i>		584	
*Песня Абефоны. <i>Пер. Г. Ратгауза</i>		585	
Aus: Die Sonette an Orpheus			
Из «Сонетов к Орфею»			
Erster Teil			
Часть I			
I. „Da stieg ein Baum...“	240		

Содержание

	I	II	III
*I. «О, дерево! Восстань до поднебесья!» <i>Пер. Г. Ратгауза</i>	241		
I. «И к солнцу – ствол…» <i>Пер. А. Карельского</i>			704
V. „Errichtet keinen Denkstein...”	240		
*V. «Не воздвигай надгробья…» <i>Пер. Г. Ратгауза</i>	241		
V. «Надгробия не надо…» <i>Пер. А. Карельского</i>			704
VII. „Rühmen, das ists!...”	242		
*VII. «Да, чтоб восславить!» <i>Пер. А. Карельского</i>	243		
XI. „Sieh den Himmel. Heißt kein Sternbild ‚Reiter‘?...”	242		
XI. «Всадник... Странно: разве в безднах неба…» <i>Пер. А. Карельского</i>	243		
XII. „Heil dem Geist, der uns verbinden mag...”	242		
XII. «Чертежи... Воистину они…» <i>Пер. А. Карельского</i>	243		
XIII. „Voller Apfel, Birne und Banane...”	244		
*XIII. «Яблоки, и груши, и бананы…» <i>Пер. А. Биска</i>	245		
XVIII. „Hörst du das Neue, Herr...”	244		
XVIII. «Господи, слышишь, грядут…» <i>Пер. А. Карельского</i>	245		
XIX. „Wandelt sich rasch auch die Welt...”	246		
*XIX. «Облики мира, как облака…» <i>Пер. Г. Ратгауза</i>	247		
XXI. „Frühling ist wiedergekommen...”	246		
XXI. «Снова вернулась весна…» <i>Пер. Е. Садовского</i>	247		
XXVI. „Du aber, Göttlicher...”	248		
*XXVI. «Ты, о божественный…» <i>Пер. Г. Ратгауза</i>	249		
Zweiter Teil			
Часть II			
XII. „Wolle die Wandlung...”	248		
*XII. «О, полюби перемену!» <i>Пер. Г. Ратгауза</i>	249		
XIV. „Siehe die Blumen, diese dem Irdischen treuen...”	250		
XIV. «Как цветы доверяются миру…» <i>Пер. З. Миркиной</i>	251		
XXV. „Schon, horch, hörst du der ersten Harken...”	250		
*XXV. «Первые грабли впадают в нивы…» <i>Пер. А. Биска</i>	251		
XXIX. „Stiller Freund der vielen Fernen, fühle...”	252		
*XXIX. «Тихий друг пространств, ты ведать волен…» <i>Пер. Г. Ратгауза</i>	253		
„Du im Voraus...”	252		
*«О, до любви…» <i>Пер. В. Куприянова</i>	253		
„Wir sind nur Mund...”	254		
*«Мы только голос…» <i>Пер. В. Куприянова</i>	255		

Inhalt

	I	II	III
Geschrieben für Karl Grafen Lanckoroński	254		
*Посвящается графу Карлу Ланцкороньскому. <i>Пер.</i> <i>Г. Ратгауза</i>	255		
 <i>THEODOR DÄUBLER</i>			
<i>ТЕОДОР ДОЙБЛЕР</i>			
Hätte ich ein Fünkchen Glück	258		
Крупница счастья. <i>Пер. В. Топорова</i>	259		
Flammendes Schiff	260		
Горящий корабль. <i>Пер. О. Татариновой</i>	261		
Sang an Neapel	260		
Песнь о Неаполе. <i>Пер. О. Татариновой</i>	261		
Ode an Florenz	262		
Ода Флоренции. <i>Пер. О. Татариновой</i>	263		
Dämmerung	262		
Вечер. <i>Пер. И. Большева</i>	263		
Ehe	264		
Супружество. <i>Пер. О. Татариновой</i>	265		
Der Atem der Natur	264		
Дыхание природы. <i>Пер. О. Татариновой</i>	265		
Die Buche	266		
Бук. <i>Пер. И. Белавина</i>	267		
Все чаще. <i>Пер. И. Большева</i>	586		
Фарфор. <i>Пер. И. Большева</i>	586		
Одиссей. <i>Пер. Д. Сильвестрова</i>	587		
Осень. <i>Пер. Д. Сильвестрова</i>	587		
У моря. <i>Пер. Д. Сильвестрова</i>	588		
В сером. <i>Пер. Д. Сильвестрова</i>	588		
Посланец св. Антония. <i>Пер. Д. Сильвестрова</i>	589		
Бескрылый полет. <i>Пер. В. Топорова</i>	589		
Ратное поле. <i>Пер. В. Топорова</i>	590		
 <i>ANTON WILDGANS</i>			
<i>АНТОН ВИЛЬДГАНС</i>			
Ich bin ein Kind der Stadt	268		
Дитя города. <i>Пер. В. Леванского</i>	269		
Dienstboten	270		
Прислуга. <i>Пер. В. Леванского</i>	271		
Заключенные. <i>Пер. Н. Мальцевой</i>	591		
Осеннее самоуглубление. <i>Пер. Н. Мальцевой</i>	592		
 <i>STEFAN ZWEIG</i>			
<i>СТЕФАН ЦВЕЙГ</i>			
Überglänzte Nacht	272		
Лучезарная ночь. <i>Пер. Р. Дубровкина</i>	273		
Hymnus an die Reise	272		
Гимн путешествию. <i>Пер. Г. Погожевой</i>	273		

Содержание

	I	II	III
Die Zärtlichkeiten	274		
Нежность. Пер. Г. Погожевой	275		
Begehren	274		
Желание. Пер. Г. Погожевой	275		
Brügge	276		
*Брюгге. Пер. Н. Коробицыной	277		
Брюгге. Пер. Р. Дубровкина			706
*Осенняя флейта. Пер. В. Эльснера		593	
*Осенние строфы. Пер. Г. Петникова		593	
*Благодарность шестидесятилетнего. Пер. Л. Гинз- бурга		594	
Снежная зима. Пер. В. Швыряева		594	
ALFONS PETZOLD			
АЛЬФОНС ПЕТЦОЛЬД			
Der Wachende	278		
Бодрствующий. Пер. А. Гугнина	279		
Облака. Пер. Н. Боголюбовой		595	
Странная музыка. Пер. Н. Боголюбовой		595	
Молчание посеет семена... Пер. Н. Боголюбовой		596	
MARTINA WIED			
МАРТИНА ВИД			
Föhnlied	280		
Песня фёна. Пер. О. Думлер	281		
MAX MELL			
МАКС МЕЛЛЬ			
März	282		
Март. Пер. В. Санчука	283		
HANS MÜLLER			
ГАНС МЮЛЛЕР			
*Мать говорит. Пер. И. Анненского		597	
*Аретино. Пер. И. Анненского		597	
Der Kirschbaum singt	284		
*Говорит старая черешня. Пер. И. Анненского	285		
*Раскаianie у Цирцеи. Пер. И. Анненского		598	
FRANZ KAFKA			
ФРАНЦ КАФКА			
Meine Sehnsucht	286		
Тоска. Пер. П. Френкеля	287		
MAX BROD			
МАКС БРОД			
Paradiesfischchen auf dem Schreibtisch	288		
*Райские рыбки на письменном столе. Пер. А. Лу- начарского	289		

Inhalt

	I	II	III
BERTHOLD VIERTEL			
БЕРТОЛЬД ФИРТЕЛЬ			
Bin ich allein	290		
Едва я остаюсь один. <i>Пер. О. Татариновой</i>	291		
Ich werde nie dich wiedersehen	290		
Уж мне не встретиться с тобой. <i>Пер. О. Татариновой</i>	291		
 FRANZ THEODOR CSOKOR			
ФРАНЦ ТЕОДОР ЧОКОР			
Das schwarze Schiff	292		
Черный корабль. <i>Пер. Н. Мальцевой</i>	293		
Боярский пир (1710). <i>Пер. Н. Мальцевой</i>		599	
 FELIX BRAUN			
ФЕЛИКС БРАУН			
Ein Herbstblatt	296		
Осенний лист. <i>Пер. В. Перельмутера</i>	297		
Abendwerden	296		
Вечереет. <i>Пер. В. Перельмутера</i>	297		
 HERMANN BROCH			
ГЕРМАН БРОХ			
Für ein Haus am Meeresstrand	298		
Дом на берегу моря. <i>Пер. В. Топорова</i>	299		
Des Schiffes breiter Kiel	298		
Киль корабля... <i>Пер. В. Топорова</i>	299		
Auf der Flucht zu denken	300		
Наставление на время бегства. <i>Пер. В. Топорова</i>	301		
Когда мы обнимались... <i>Пер. Г. Ратгауза</i>		602	
*Те, кто... <i>Пер. В. Топорова</i>		603	
 ALBERT EHRENSTEIN			
АЛЬБЕРТ ЭРЕНШТЕЙН			
So schneit auf mich die tote Zeit	302		
Меня завьюжил мертвый век. <i>Пер. В. Топорова</i>	303		
Stimme über Barbarora	302		
*Голос о Варвароце. <i>Пер. М. Зенкевича</i>	303		
Homer	304		
*Гомер. <i>Пер. В. Куприянова</i>	305		
Verzweiflung	306		
Отчаянье. <i>Пер. В. Вебера</i>	307		

Содержание

	I	II	III
Nachtgebet	306		
Ночная молитва. <i>Пер. В. Вебера</i>	307		
Unentrinnbar	308		
Неотвратимо. <i>Пер. В. Вебера</i>	309		
Leid	308		
Страдание. <i>Пер. В. Вебера</i>	309		
*Полоненные ночью. <i>Пер. Д. Выгодского</i>		604	
 <i>GEORG TRAKL</i>			
<i>ГЕОРГ ТРАКЛЬ</i>			
Im Herbst	310		
Осенью. <i>Пер. И. Калугина</i>	311		
Menschheit	310		
Род людской. <i>Пер. А. Солянова</i>	311		
Verfall	312		
Распад. <i>Пер. К. Богатырева</i>	313		
Человечество. <i>Пер. И. Калугина</i>			707
Vorstadt im Föhn	312		
Предместье. <i>Пер. И. Калугина</i>	313		
Rondel	314		
Рондель. <i>Пер. И. Калугина</i>	315		
Рондель. <i>Пер. Н. Холодной</i>			707
De profundis	314		
Из глубины воззвх. <i>Пер. В. Топорова</i>	315		
An den Knaben Elis	316		
Мальчику Элису. <i>Пер. В. Вебера</i>	317		
<An Novalis>	318		
<К Новалису>. <i>Пер. В. Куприянова</i>	319		
Helian	318		
*Гелиан. <i>Пер. В. Вебера</i>	319		
An die Schwester	324		
Сестре. <i>Пер. В. Вебера</i>	325		
Elis	324		
*Элис. <i>Пер. Д. Выгодского</i>	325		
Abendländisches Lied	328		
*Песнь закатной страны. <i>Пер. С. Аверинцева</i>	329		
Abendland	330		
Запад. <i>Пер. В. Вебера</i>	331		
Der Herbst des Einsamen	332		
*Осень одинокого. <i>Пер. В. Топорова</i>	333		
Unterwegs	334		
В пути. <i>Пер. В. Вебера</i>	335		
An einen Frühverstorbenen	336		
К умершему в юности. <i>Пер. С. Аверинцева</i>	337		
Delirium	338		
Delirium. <i>Пер. А. Солянова</i>	339		

Inhalt

	I	II	III
Зимой. Пер. И. Русты		606	
Лето. Пер. С. Аверинцева		606	
Лето. Пер. В. Курпьянова			707
Набожные сумерки. Пер. С. Аверинцева		607	
В старый альбом. Пер. В. Вебера		607	
Ночью. Пер. В. Вебера		608	
По вечерам мое сердце. Пер. В. Вебера		608	
Гибель. Пер. В. Вебера		608	
*Молчаливым. Пер. Г. Ратгауза		608	
ALBERT PARIS GÜTERSLOH			
АЛЬБЕРТ ПАРИС ГЮТЕРСЛО			
An mich	340		
Себе. Пер. И. Большачева	341		
Empfindung	340		
Вечерние ощущения. Пер. О. Татариновой	341		
PAULA VON PRERADOVIĆ			
ПАУЛА ФОН ПРЕРАДОВИЧ			
Wiener Reimchronik 1945			
Der Dom	342		
Из Венского дневника 1945			
Собор. Пер. Р. Дубровкина	343		
An ein Mohnfeld aus Kinderzeit	342		
Маковое поле далекого детства. Пер. Р. Дубровкина	343		
ALMA JOHANNA KOENIG			
АЛЬМА ИОГАННА КЁНИГ			
Gebet	346		
Молитва. Пер. А. Парина	347		
Молитва. Пер. О. Татариновой			709
Gebet an einen Glücksgötzen	346		
Молитва божку счастья. Пер. В. Перельмутера	347		
Aus: Sonette für Jan			
Из «Сонетов для Яна»			
„Wie aus ägyptischem Relief gestiegen...“	348		
«Из каменной египетской дремоты...» Пер. В. Перельмутера	349		
Traueresche im Regen	348		
Скорбный ясень под дождем. Пер. В. Перельмутера	349		
Fausta an einen Nazarener	350		
Фауста и назарянин. Пер. О. Татариновой	351		
Статуэтка Пана. Пер. Г. Ратгауза		610	
Вешний дом. Пер. Г. Ратгауза		610	
Лица. Пер. Г. Ратгауза		611	

	I	II	III
RICHARD BILLINGER			
РИХАРД БИЛЛИНГЕР			
Die Glockenbuben	352		
Маленькие звонари. Пер. Р. Дубровкина	353		
FRANZ WERFEL			
ФРАНЦ ВЕРФЕЛЬ			
Der dicke Mann im Spiegel	354		
*Толстяк в зеркале. Пер. В. Нейштадта	355		
Der schöne strahlende Mensch	356		
*Прекрасный, сияющий человек. Пер. О. Мандельштама	357		
Der Krieg	356		
*Война. Пер. Д. Выгодского	357		
An den Leser	360		
*Читателю. Пер. Б. Пастернака	361		
Ich habe eine gute Tat getan	362		
Я сделал доброе дело. Пер. О. Татариновой	363		
Fremde sind wir auf der Erde Alle	366		
*На земле ведь чужеземцы все мы. Пер. Б. Пастернака	367		
*Все мы на земле чужие люди. Пер. В. Микушевича			710
Das Bleibende	368		
Вечное. Пер. Г. Ратгауза	369		
*Страстотерпцы. Пер. В. Микушевича		612	
*Близ старых станций. Пер. Д. Сильвестрова		613	
Баллада о провожатых. Пер. Д. Сильвестрова		613	
Последний миг. Пер. Д. Сильвестрова		614	
*Революционный клич. Пер. В. Парнаха		615	
HUGO SONNENSCHNEIN			
ГУГО ЗОННЕНШЕЙН			
Mach mich blind	370		
Дай мне ослепнуть. Пер. Е. Колесова	371		
HANS LEIFHELM			
ГАНС ЛЕЙФГЕЛЬМ			
Die Städte	372		
Города. Пер. Е. Витковского	373		
Баллада о неблагочестивом деянии. Пер. Е. Витковского			616
JOSEF WEINHEBER			
ЙОЗЕФ ВАЙНХЕБЕР			
Juli	376		
Июль. Пер. Е. Витковского	377		

Inhalt

	I	II	III
Den Toten	376		
Мертвым. Пер. Е. Витковского	377		
Allerseelen	378		
День поминовения. Пер. Е. Витковского	379		
Die Tränen	380		
Слезы. Пер. Е. Витковского	381		
Peripherie	380		
Окраина. Пер. Е. Витковского	381		
Gasse in Neapel	382		
Переулок в Неаполе. Пер. Е. Витковского	383		
Toskanische Landschaft	384		
Тосканский пейзаж. Пер. Е. Витковского	385		
Römische Osteria	384		
Римская остерия. Пер. Е. Витковского	385		
Auf eine Wienerin	386		
Уроженке Вены. Пер. Е. Витковского	387		
Die Pensionisten	388		
Пенсионеры. Пер. Е. Витковского	389		

HANS KALTNEKER

ГАНС КАЛЬТНЕКЕР

Der Mord	390
Убийство. Пер. В. Санчука	391

ERNST WALDINGER

ЭРНСТ ВАЛЬДИНГЕР

Majdanek	392	
Майданек. Пер. В. Перельмутера	393	
Ein Pferd in der 47. Straße	392	
Лошадь на 47-й улице. Пер. В. Перельмутера	393	
Nachts am Hudson	394	
Ночью у Гудзона. Пер. В. Перельмутера	395	
Венский квартал бедноты. Пер. В. Перельмутера	618	
Запахи воспоминаний. Пер. В. Перельмутера	618	
Переулок прекрасных фонарей. Пер. В. Перельмутера	619	
*Летняя прохлада хуторов. Пер. В. Топорова	620	
*Разговор с самим собой в нью-йоркском общественном саду. Пер. В. Топорова	621	

JOHANNES URZIDIL

ИОХАННЕС УРЦИДИЛЬ

Ob die Mandel noch blüht	396
«Ты цветешь ли, миндаль...» Пер. Н. Мальцевой	397

	I	II	III
„Was die Wurzeln...“	396		
«Что делают корни...» Пер. Н. Мальцевой	397		
<i>THEODOR KRAMER</i>			
<i>ТЕОДОР КРАМЕР</i>			
Die Gaunerzinke	400		
Условный знак. Пер. Е. Витковского	401		
Die Orgel aus Staub	400		
Шарманка из пыли. Пер. Е. Витковского	401		
Neusiedlersee	402		
Озеро Нойзидлерзее. Пер. Е. Витковского	403		
Von großen Fichtensterben vor Vitschau	404		
О великой гибели сосновых лесов возле Витшай. Пер. Е. Витковского	405		
Die Kräutlerin	406		
Травница. Пер. Е. Витковского	407		
Der Kriegsgefangene	408		
Военнопленный. Пер. Е. Витковского	409		
An einer Untergrundbahnstation	408		
На станции лондонской подземки. Пер. Е. Витков- ского	409		
Das Bahncafé	410		
Привокзальное кафе. Пер. Е. Витковского	411		
Abschaffung	412		
Высылка. Пер. Е. Витковского	413		
Vom Sich-eins-Fühlen	414		
Один на один. Пер. Е. Витковского	415		
Wann in mein grünes Haus ich wiederkehr	416		
«Когда вернусь я в мой зеленый дом...» Пер. Е. Витковского	417		
Requiem für einen Faschisten	416		
Реквием по фашисту. Пер. Е. Витковского	417		
«Вот-вот желтизной озарятся отавы...» Пер. Е. Вит- ковского	622		
Художник. Пер. Е. Витковского	622		
Контужный. Пер. Е. Витковского	623		
Мартовские смерти. Пер. Е. Витковского	624		
Старик у реки. Пер. Е. Витковского	624		
Десять лет аренды. Пер. Е. Витковского	625		
Сточный люк. Пер. Е. Витковского	626		
Жители вагона. Пер. Е. Витковского	627		
Вена. Праздник тела Христова, 1939. Пер. Е. Вит- ковского	628		
Тост над вином этого года. Пер. Е. Витков- ского	628		
Поздняя песнь. Пер. Е. Витковского	629		
*На полустанке. Пер. Е. Гулыги	630		

	I	II	III
*Глядя на рябину. <i>Пер. Е. Гулыги</i>		630	
День поминовения. <i>Пер. Е. Витковского</i>		631	
Рыба с картошкой. <i>Пер. Е. Витковского</i>		632	
 <i>RUDOLF HENZ</i>			
<i>РУДОЛЬФ ХЕНЦ</i>			
Aus dem Zyklus „Bei der Arbeit an den Klosterneuburger Scheiben“		420	
Из цикла «При работе над Клостернойбургскими витражами». <i>Пер. В. Санчука</i>		421	
 <i>JOSEF LEITGEB</i>			
<i>ЙОЗЕФ ЛЕЙТГЕБ</i>			
Lichtbild eines Frauengesichts		424	
Фотография женского лица. <i>Пер. В. Леванского</i>		425	
Nach zehn Jahren		424	
Через десять лет. <i>Пер. В. Леванского</i>		425	
 <i>ALEXANDER LERNET-HOLENIA</i>			
<i>АЛЕКСАНДР ЛЕРНЕТ-ХОЛЕНИЯ</i>			
Linon		428	
Лин. <i>Пер. В. Санчука</i>		429	
Das Land		428	
В деревне. <i>Пер. В. Летучего</i>		429	
Солдат. <i>Пер. В. Летучего</i>		633	
К лету. <i>Пер. В. Летучего</i>		633	
 <i>RUDOLF FELMAYER</i>			
<i>РУДОЛЬФ ФЕЛЬМАЙЕР</i>			
Blick auf den See		432	
Взгляд на море. <i>Пер. В. Перельмутера</i>		433	
Wiener Nekrolog		434	
Венский некролог. <i>Пер. В. Санчука</i>		435	
Утешительное стихотворение наутро после приезда. <i>Пер. В. Перельмутера</i>		634	
Деревенский автомобиль детства. <i>Пер. В. Перельмутера</i>		634	
 <i>WILHELM SZABO</i>			
<i>ВИЛЬГЕЛЬМ САБО</i>			
«Бедным бы стать, как в детстве...» <i>Пер. В. Санчука</i>		636	
«Ночью, когда элита...» <i>Пер. В. Санчука</i>		636	
Dorfseele		436	
Деревня-душа. <i>Пер. В. Леванского</i>		437	

Содержание

	I	II	III
Autofriedhof	436		
Кладбище автомобилей. <i>Пер. В. Леванского</i>	437		
Noch fehlt das Lehrbuch	438		
Кто сможет? <i>Пер. В. Леванского</i>	439		
*Саранча в 1338 году. <i>Пер. В. Топорова</i>		637	
Скупщик скота. <i>Пер. В. Санчука</i>		637	
На дворах гостиных... <i>Пер. В. Санчука</i>		638	
HUGO HUPPERT			
ХУГО ХУППЕРТ			
Dritter Steckbrief gegen mich selbst	440		
Третье подметное письмо против самого себя. <i>Пер. Е. Колесова</i>	441		
Der Glücksfall	440		
Повезло. <i>Пер. Е. Колесова</i>	441		
Museum	442		
Музей. <i>Пер. Е. Колесова</i>	443		
GUIDO ZERNATTO			
ГВИДО ЦЕРНАТТО			
Herbstgedicht	446		
Осенние стихи. <i>Пер. Е. Витковского</i>	447		
Wegen des Unfriedens in mir	446		
Раздор в себе самом. <i>Пер. Е. Витковского</i>	447		
«Эта выюга чуждого заморья...» <i>Пер. Е. Витковского</i>		639	
Слепец-нищий. <i>Пер. Е. Витковского</i>		639	
Последнее. <i>Пер. Е. Витковского</i>		640	
Перед первым снегом. <i>Пер. Е. Витковского</i>		641	
ERNST SCHÖNWIESE			
ЭРНСТ ШЁНВИЗЕ			
Ein Vogel, der aus dem Nest fiel	450		
Птенец, который выпал из гнезда. <i>Пер. В. Перельмутера</i>	451		
Blick nach gegenüber	450		
Взгляд через улицу. <i>Пер. В. Перельмутера</i>	451		
Alles ist nur ein Bild in einem Spiegel	450		
Всё — только отраженье. <i>Пер. В. Перельмутера</i>	451		
Wer von meinen Vätern	452		
Кто из моих отцов. <i>Пер. В. Перельмутера</i>	453		
Du warst dieselbe	452		
Ты была такой. <i>Пер. В. Перельмутера</i>	453		
«Когда незаживающая рана...» <i>Пер. В. Перельмутера</i>		642	

	I	II	III
Всё или ничего (1-2). Пер. В. Перельмутера		642	
Однажды ночью. Пер. В. Перельмутера		642	
Водопад. Пер. В. Перельмутера		643	
 <i>ERIKA MITTERER</i>			
<i>ЭРИКА МИТТЕРЕР</i>			
An Österreich. Juni 1945		454	
К Австрии. Июнь 1945. Пер. В. Перельмутера		455	
 <i>JURA SOYFER</i>			
<i>ЮРА ЗОЙФЕР</i>			
Dachaulied		458	
Песня узников Дахау. Пер. В. Летучего		459	
 <i>CHRISTINE LAVANT</i>			
<i>КРИСТИНА ЛАВАНТ</i>			
Die Goldammer		462	
Овсянка. Пер. О. Думлер		463	
„Abends zähl ich Lamm um Lamm...“		462	
«Я у дерева ягнят...» Пер. О. Думлер		463	
„Das Sonnenrad ging über mich hinweg...“		464	
«Промчалось мимо солнца колесо...» Пер. О. Думлер		465	
„Bernsteingelb ist das Geblüt der Erde...“		466	
«Запахло снегом...» Пер. О. Думлер		467	
„Die Feuerprobe hab ich hinter mir...“		466	
«Огонь уж пройден мною...» Пер. О. Думлер		467	
 <i>CHRISTINE BUSTA</i>			
<i>КРИСТИНА БУСТА</i>			
Leben auf diesem Stern		470	
Жизнь на этой планете. Пер. В. Перельмутера		471	
Wenn du zum Wasser gehst...		470	
Когда идешь ты к воде... Пер. В. Перельмутера		471	
Der Schlaf		472	
Сон. Пер. В. Перельмутера		473	
Die Botschaft		472	
Известие. Пер. В. Перельмутера		473	
Herbst über Wien		474	
Осень над Веной. Пер. В. Перельмутера		475	
Эпитафия. Перевод В. Перельмутера		644	
Птицы. Перевод В. Перельмутера		644	
Притча. Пер. В. Перельмутера		644	
Язык. Пер. В. Перельмутера		645	

Содержание

	I	II	III
К древнейшим огням. Пер. В. Перельмутера		645	
Осенний вечер в Венеции. Пер. В. Перельмутера		645	
Во Фландрии. Пер. В. Перельмутера		646	
Тайна. Пер. В. Перельмутера		646	
MICHAEL GUTTENBRUNNER			
МИХАЭЛЬ ГУТТЕНБРУННЕР			
Der Ausgestoßene	476		
Изгой. Пер. Е. Колесова	477		
Krisis	476		
Кризис. Пер. В. Куприянова	477		
Я и ты. Пер. Е. Колесова		647	
Раненый. Пер. Е. Колесова		647	
Руины. Пер. В. Куприянова		648	
Возвращение. Пер. Е. Колесова		648	
RICHARD ZACH			
РИХАРД ЦАХ			
Winterregen	478		
Зимний дождь. Пер. И. Калугина	479		
Бессмертие. Пер. И. Калугина		649	
Одиночная камера в Вене. Пер. И. Калугина		649	
ALFRED GONG			
АЛЬФРЕД ГОНГ			
Die Liebenden	480		
Любящие. Пер. Е. Витковского	481		
F. Garcia Lorca	480		
Ф. Гарсия Лорка. Пер. Е. Витковского	481		
Падение в осень. Пер. Е. Витковского		650	
Так умирает человек. Пер. Е. Витковского		651	
Боздромион. Пер. Е. Витковского		651	
PAUL CELAN			
ПАУЛЬ ЦЕЛАН			
Corona	484		
Corona. Пер. А. Парина	485		
Schwarze Flocken	484		
Черные хлопья. Пер. М. Белорусца	485		
Todesfuge	486		
Фуга смерти. Пер. О. Татариновой	487		
*Фуга смерти. Пер. А. Парина			711
Die Krüge	490		
Кувшины. Пер. М. Белорусца	491		

Inhalt

	I	II	III
„Zähle die Mandeln...“	490		
«Пересчитай миндаль...» <i>Пер. О. Татариновой</i>	491		
Tenebrae	492		
Tenebrae. <i>Пер. О. Татариновой</i>	493		
Psalm	494		
Псалом. <i>Пер. И. Большчева</i>	495		
Псалом. <i>Пер. В. Леванского</i>			712
Kristall	494		
Кристалл. <i>Пер. С. Аверинцева</i>	495		
Mandorla	496		
Мандорла. <i>Пер. С. Аверинцева</i>	497		
„Du darfst mich getrost...“	496		
«Ты можешь спокойно...» <i>Пер. М. Белорусца</i>	497		
„Fadensonnen...“	496		
«Нити солнца...» <i>Пер. М. Белорусца</i>	497		
Coagula	498		
Coagula. <i>Пер. М. Белорусца</i>	499		
Хвала твоим далям. <i>Пер. И. Большчева</i>		653	
При свете свечи. <i>Пер. В. Топорова</i>		653	
*«Париж-кораблик в рюмке стал на якорь...» <i>Пер. В. Леванского</i>			654
«Мятежное сердце...» <i>Пер. В. Леванского</i>			654
«Я одинок...» <i>Пер. В. Леванского</i>			654
«Из стаи самый белый голубь взмыл...» <i>Пер. А. Парина</i>			655
Стретта. <i>Пер. С. Аверинцева</i>			655
*«Дождь полнит кружку...» <i>Пер. В. Куприянова</i>			655
Не здесь и не сразу. <i>Пер. В. Топорова</i>			656
*Памяти Поля Элюара. <i>Пер. Г. Ратгауза</i>			657
*Воедино. <i>Пер. Г. Ратгауза</i>			657
*Очи. <i>Пер. Г. Ратгауза</i>			658
*Я здесь один. <i>Пер. Г. Ратгауза</i>			658
Что случилось? <i>Пер. В. Куприянова</i>			659
«Прижавшись щекой ни к кому...» <i>Пер. В. Топорова</i>			659
«Стоять до конца в тени...» <i>Пер. В. Леванского</i>			660
 ERICH FRIED			
ЭРИХ ФРИД			
Totschlagen	500		
*Убивать. <i>Пер. В. Куприянова</i>	501		
Sprachlos	500		
Безответно. <i>Пер. В. Куприянова</i>	501		
*Библиотека. <i>Пер. В. Куприянова</i>		661	
*«Я свободу отдал за надежду...» <i>Пер. В. Куприянова</i>			661
Меньшее зло. <i>Пер. В. Куприянова</i>			662

Содержание

	I	II	III
Дополнительное условие. Пер. В. Куприянова . . .		662	
Кто нас всего лишает. Пер. В. Куприянова . . .		662	
 <i>HANS CARL ARTMANN</i>			
<i>ХАНС КАРЛ АРТМАН</i>			
ich bin die liebe mumie		502	
«Я мумия, я лапочка...» Пер. П. Френкеля		503	
Vorsommerliches Rondo		502	
Рондо накануне лета. Пер. В. Вебера		503	
Эскиз плача по одному павшему. Пер. В. Ве- бера		664	
Вижу прет единорог. Пер. В. Топорова		665	
 <i>K. BAYER, G. RÜHM, O. WIENER</i>			
<i>К. БАЙЕР, Г. РЮМ, О. ВИНЕР</i>			
kunst kommt vom können		504	
исконность искусства искусство. Пер. П. Френ- келя		505	
 <i>X. K. ARTMAN, K. BAYER, G. RÜHM</i>			
магическая кавалерия. Пер. В. Куприянова		669	
 <i>GERHARD FRITSCH</i>			
<i>ГЕРХАРД ФРИЧ</i>			
Augustmond		506	
Августовская луна. Пер. В. Вебера		507	
Wir sind nicht in den Wald gegangen		506	
Не за пряниками колдуньи. Пер. В. Вебера		507	
Офелия. Пер. В. Вебера		673	
Что останется после нас. Пер. В. Вебера		673	
 <i>FRIEDERIKE MAYRÖCKER</i>			
<i>ФРИДЕРИКА МАЙРЁКЕР</i>			
„Durch die Gitterstäbe meines Herzens...“		510	
«Сквозь решетку на сердце моем...» Пер. В. Вебера		511	
„Vollgereget mit Blättern...“		510	
«Листьями лес...» Пер. В. Вебера		511	
„Eine Fußreise ohne Ende...“		512	
«Странница в бесконечность...» Пер. В. Вебера		513	
 <i>ERNST JANDL</i>			
<i>ЭРНСТ ЯНДЛЬ</i>			
mops otto		514	
мопс отто. Пер. В. Куприянова		515	
Десятилетний памфлет. Пер. В. Куприянова		674	
просека. Пер. В. Куприянова		675	

	I	II	III
INGEBORG BACHMANN			
ИНГЕБОРГ БАХМАН			
Ihr Worte	516		
Слова. Пер. О. Татариновой	517		
Exil	518		
Изгнанничество. Пер. О. Татариновой	519		
Das Spiel ist aus	520		
Кончена игра. Пер. Н. Мальцевой	521		
Die gestundete Zeit	522		
Отсроченный час. Пер. О. Татариновой	523		
Alle Tage	522		
В наши дни. Пер. О. Татариновой	523		
Geh, Gedanke	524		
Мысль сердца, в полет! Пер. О. Татариновой	525		
*Настал полдень. Пер. Г. Ратгауза		676	
*Осенние маневры. Пер. Г. Ратгауза		677	
 ANDREAS OKOPENKO			
АНДРЕАС ОКОПЕНКО			
In zehn Monaten	526		
Через десять месяцев. Пер. В. Летучего	527		
Alt-Wiener Erinnerungen	528		
Старовенские воспоминания. Пер. В. Летучего	529		
Ein erster Frühlingmorgen das	532		
Первое утро весны. Пер. В. Летучего	533		
 JOHANN MARTE			
ИОГАНН МАРТЕ			
Meltunk: Ssoldatt tot.-	534		
Информация: Ссоллдат мертввв.- Пер. Е. Витковского	535		
„Eine Taube...“	536		
«Голубь...» Пер. Е. Витковского	537		
Traum	536		
Сон. Пер. Е. Витковского	537		
 PETER HANDKE			
ПЕТЕР ХАНДКЕ			
Einige Alternativen in der indirekten Rede	538		
Некоторые альтернативы в косвенной речи. Пер. П. Френкеля	539		
Drohgedicht	540		
Стихотворение со скрытой угрозой. Пер. П. Френкеля	541		

Содержание

CHRISTINE HAIDEGGER

КРИСТИНА ХАЙДЕГГЕР

Unsere Einsamkeit 544

Наше одиночество. Пер. В. Куприянова 545

ГЕРХАРД ФРИЧ

АВСТРИЯ. Пер. В. Вебера 678

ПРИЛОЖЕНИЕ I 547

ПРИЛОЖЕНИЕ II 681

СПРАВКИ ОБ АВТОРАХ И ПРИМЕЧАНИЯ

(В. Вебер) 713

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
Австрийская поэзия XIX–XX вв.
Сборник
На немецком и русском языках

Составители
ВЕБЕР ВОЛЬДЕМАР ВЕНИАМИНОВИЧ
и **ДАВЛИАНИДЗЕ ДАВИД СЕРГЕЕВИЧ**

ИБ № 3060
Издательский редактор **Р. Т. КАБИНА**
Художник **В. В. КИРЕЕВ**
Художественный редактор **П. В. ИВАЩЕНКО**
Технические редакторы **Е. В. РОСТОВЦЕВА, Е. В. МИШИНА**
Корректоры **И. Б. БАУТИНА, О. В. КУВАЕВА**

Сдано в набор 14.10.86. Подписано в печать 26.10.87. Формат 84 × 108/32. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсет. Усл.печ. л. 42,84 + 1,26 печ. л. вклеск. Усл.кр.-отт. 86,94. Уч.-изд. л. 33,83. Тираж 25 200 экз. Заказ № 1177. Цена 3 р. 30 к. Изд. № 2576.

Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.



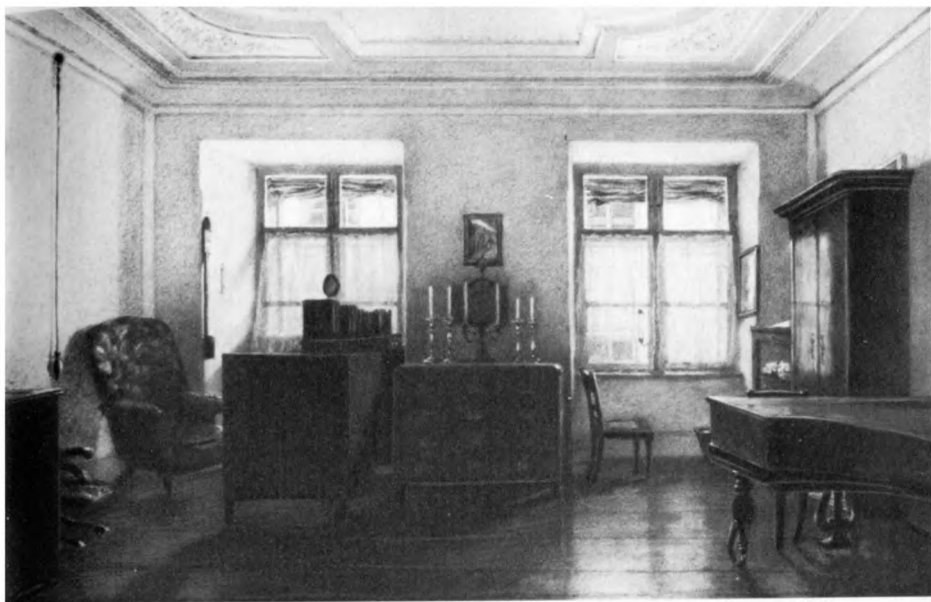
Каленберг. Вильдгрубе. 1927



Франц Грильпарцер. Лито-
графия Йозефа Крихубера.
1841

Вечер Франца Шуберта у
Йозефа фон Шпауна. Рисунок
сепией
Морица фон Швинда. 1868



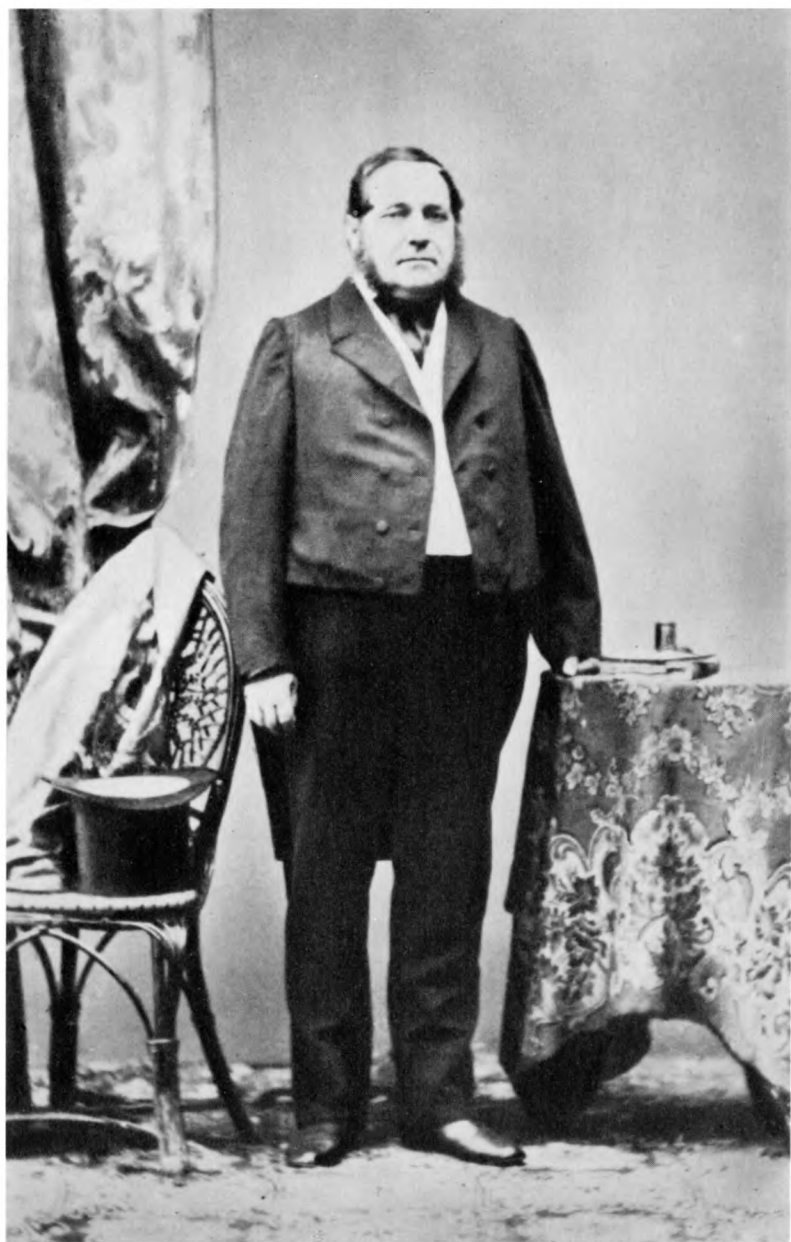


Комната Франца Грильпарцера в доме, где он жил и умер.

Вена I, Шпигельгассе, 21. Акварель Франца Альта. 1872



Фрагмент рисунка. В центре — Иоганн Майргофер



Адальберт Штифтер



Йозеф Кристиан барон фон Цедлиц.
Литография



Николаус фон Ленау. Литография
Йозефа Крихубера. 1841



Адальберт Штифтер. Крейсмонстер, вид с юго-запада. Акварель на бумаге. 1823



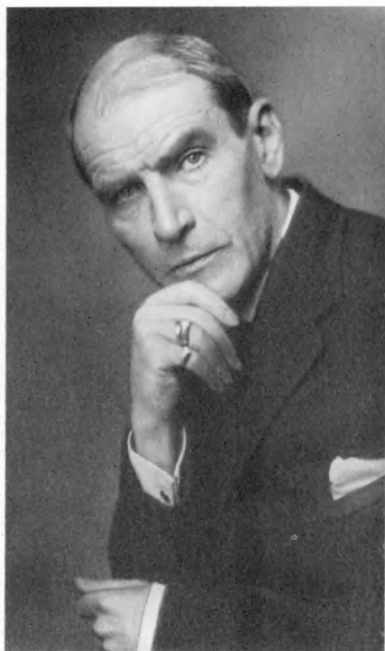
Интерьер квартиры Гофмансталя. Снимок 23 апреля 1929 года

Гуго фон Гофмансталь



Карл Краус. Снимок 1908 года

Рихард фон Шаукаль. Снимок
1924 года

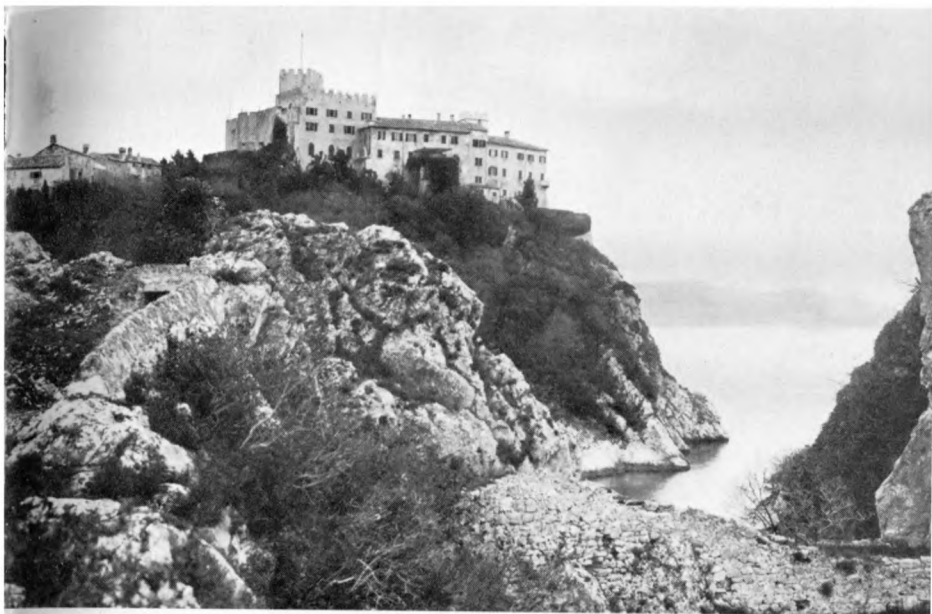




Райнер Мария Рильке.
Снимок 1906 года

Триест: город, где родился
Дойблер. 1885





Дуино. Замок Монфальконе.
Вид с северо-запада. Снимок
около 1908 года

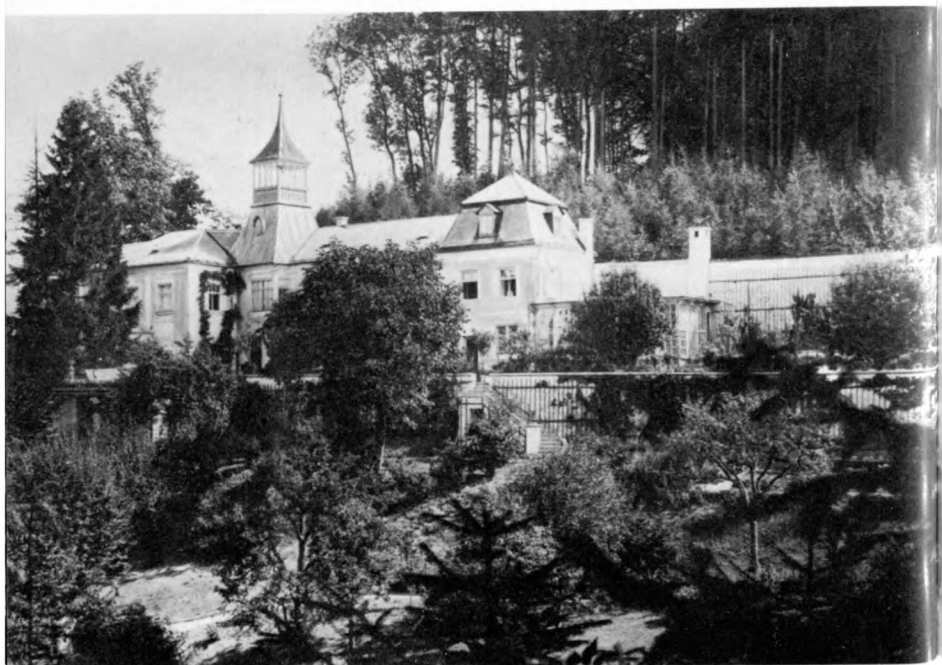


Теодор Дойблер. Рисунок
углем Карла Йоахима Фри-
дриха. 1930



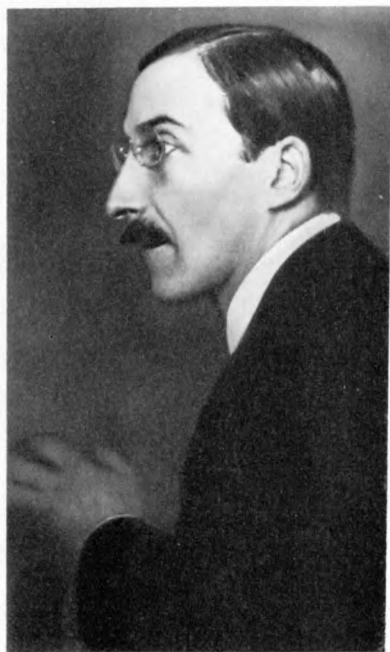
Георг Тракль. Фотография.
Декабрь 1910 года

Зальцбург.
Капуцинерберг, № 5





Зальцбург. Вид с крепости.
Снимок 17 июля 1905 года



Стефан Цвейг. Снимок 1920
года



Вена. Химмельштрасе. Снимок 1928 года



Паула фон Прерадович. Снимок 1935 года

Альма Иоганна Кёниг. Снимок 19 апреля 1929 года



Вена VIII. Йозефшtedгерштрассе, 66. Вид с Альбертгассе по направлению к центру. Снимок сделан первого мая 1920 года





Мёдинг, родной город Вильдганса. Вид на башню ратуши.
Снимок 1914 года

Антон Вильдганс

Гвидо Цернатто. Снимок 1934
года

Эрнст Шёнвизе. Снимок 1936
года







Рудольф Фельмайер. Снимок
1935 года



Герман Брох. Фотография
1937 года

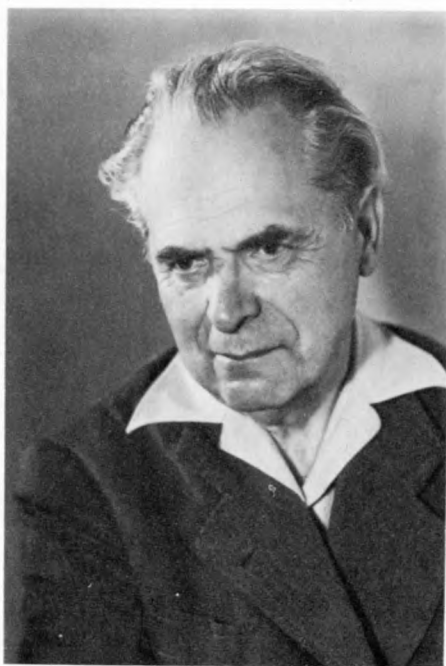
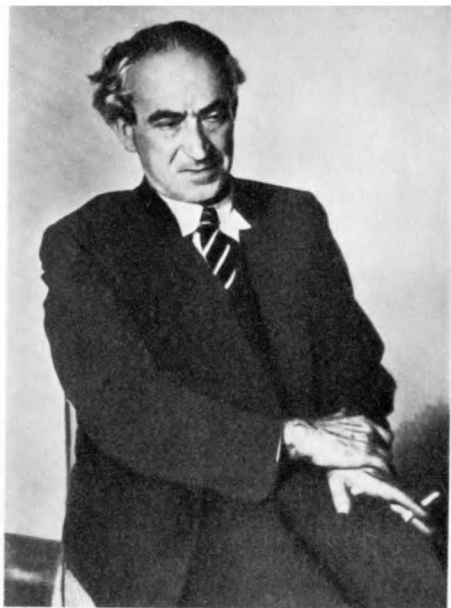


Вена I. Вид на университет



Йозеф Вайнхебер. Снимок
1937 года

Бертольд Фиртель



Франц Теодор Чокор. Фото
1956 года

Франц Верфель



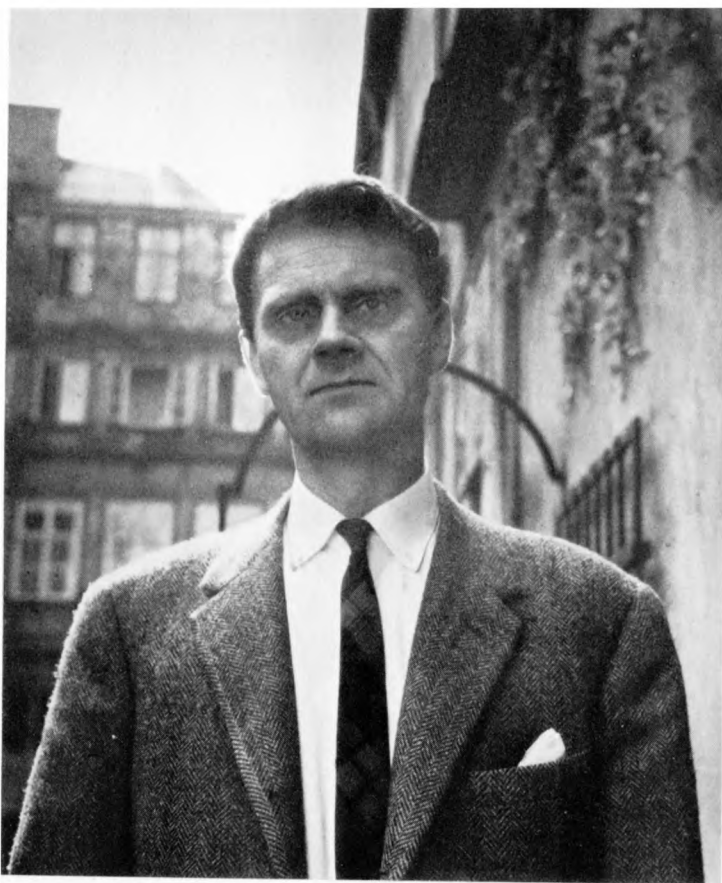
Эрнст Вальдингер. Фото 1956
года



Вена. Ратуша. Снимок 1953
года



Теодор Крамер



Ханс Карл Артман.
Снимок сделан летом 1963 года



Пауль Целан. Гравюра на меди

Вена VIII. Шмидгассе, 18. Вид с
Лангегассе на Ленаугассе. Снимок
1964 года



Кафе-читальня





Вена III. Нойлинггассе, 9. Вид с Себастьянплатц на Унгаргассе.
Снимок сделан в феврале 1967 года.

Зр. 30к.